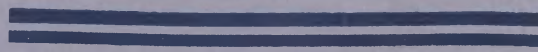


НОВАЯ МИРА

НОВАЯ
МИРА

7



1955

1955

Н О В Ы Й И М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 7

Июль, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ. ТРИ ДНЯ В КРЕМЛЕ	3
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Лирические стихи. Переводы с аварского Н. Гребнева, Елены Николаевской, Ирины Снеговой, Мих. Луконина	39
ВИКТОР УРИН — Гвоздика, стихи	44
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Зависть, стихи	46
Д. САМОЙЛОВ — Первый гром. Мост, стихи	48
НИКОЛАЙ ДУБОВ — Сирота. повесть. Продолжение	49
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Встреча, стихи	109
БОРИС ГОРБАТОВ — Алексей Гайдаш, повесть. Продолжение	111
ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА	
ВЕКОСЛАВ КАЛЕБ (Югославия). Слезы. — БРАНКО ЧОПИЧ (Югославия). Тень и бык. Перевод В. Радиной	134
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
УОЛТ УИТМЕН — Из «Листьев травы». Перевод с английского Ивана Кашкина	152
ПУБЛИЦИСТИКА	
САБИТ МУКАНОВ — На целине. Перевод с казахского Ф. Моргуна	157
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЮРИЙ ЖУКОВ — Париж, март 1955. Странички из дневника журналиста. Окончание	168
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	218
Л. Эйдли. Литература и армия — В. Новикова. Свежий ветер. — А. Бельская. В сахарной облатке... — Вл. Рубин. Для читателя-друга. — Ал. Гершкович. Венгерская новь.	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Б. РЮРИКОВ — Бессмертные мысли Ленина. К выходу книги Клары Цеткин «Воспоминания о Ленине»	235
ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ — Зеркало, которое не отражает. Заметки о языке критических статей	241

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ	250
Юрий Нагибин. По поводу одного рассказа	
КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	253
А. Волошин. Доброе слово. — М. Щеглов. Приговор народа. — Г. Койранская. Человек при деле. — В. Тельпугов. Жизненное и надуманное. — В. Сквозников. Поэма о доверии. — Ю. Капусто. Органичность героя. — Л. Михайлова. Жанр обязывает. — В. Афанасьев. «...Не лишена недостатков». — Г. Фридендер. Книга о Чернышевском-писателе.	
<i>Политика и наука</i>	272
А. Батурич. Богатый богатеет, бедный беднеет... — М. Стуруа. Поучительная история. — Кандидат исторических наук Ю. Шарапов. История жизни замечательного революционера. — Подполковник П. Корзинкин. Родина воздухоплавания. — Кандидат технических наук А. Кондратченко. Проектировщики стальных магистралей. — Е. Немировский. Новые книги об изобретателе самолёта.	
РЕПЛИКИ	283
Сергей Коненков. Всесоюзный театр. — Валерия Герасимова. За воспитание хорошего вкуса. — Заслуженная артистка РСФСР Вера Фирсова. Смена традиций. — И. Гринберг. Драгоценные черты. — Реплики услышаны.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Три дня в Кремле

В середине мая в Большом Кремлёвском дворце собрались лучшие люди заводов, шахт, промыслов, научных институтов на Всесоюзное совещание работников промышленности, созданное Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР. В работе совещания приняли участие руководители партии и правительства.

На трибуну совещания поднимались министры, академики, рабочие-новаторы, изобретатели, партийные работники, конструкторы и, коротко сообщив о достижениях своего коллектива, обращались к тому, ради чего и были они приглашены в Кремль, — к правдивой, строгой критике.

Всем было известно, что задания пятого пятилетнего плана будут в этом году не только выполнены, но и перевыполнены. Все знали, что продукция тяжёлой индустрии в три с половиной раза выросла сравнительно с довоенной и что многие десятки новых предприятий лёгкой промышленности вступили в строй за последние годы. Но разговор о достигнутых успехах не был главным на совещании.

Как обеспечить ещё более быстрое движение вперёд огромной индустрии Советского Союза? — такова была генеральная тема всех выступлений. Три дня с трибуны кремлёвского зала звучали горячие слова с тем, что мешает техническому прогрессу, и о том, какие возможности роста заключены в новейших открытиях науки, в частности, в атомной энергии. Раскрывалась широкая картина будущего — новых методов выплавки металла, новых высокопроизводительных машин, новой, более современной организации труда...

Дух благородного недовольства собой, дух строгой критики и самокритики и вместе с тем — жизнерадостная вера в неисчерпаемость наших сил царили в зале Большого дворца. Всякий, кому довелось там побывать, навсегда запомнил эти три горячих дня в Кремле!

Ниже мы публикуем литературные материалы, принадлежащие перу писателей, принимавших участие в работе совещания.

* * *

ВАСИЛИЙ АЖАЕВ

ХОЗЯЕВА СТРАНЫ

Сверкающими серебряными нитями струится дождь, пронизанный солнцем. Дождь и солнце вместе — это удивительно весело и нарядно.

Толпой стоим в вестибюле Большого Кремлёвского дворца и ждём, когда можно будет выйти. То ли от весеннего дождя, то ли от всегда праздничной обстановки Кремля, то ли от того, что звучат ещё в каждом слове речи Никиты Сергеевича Хрущёва, но у всех стоящих рядом товарищей сияют глаза и возбуждены лица. Кто-то по соседству высказывает вслух то, о чём все думаем про себя:

— Я никогда не слышал, чтобы так говорили с трибуны. Три тысячи человек — и со всеми, как с закадычным другом, о самых важных делах государства.

Переглядываемся с директором Уралмаша Георгием Николаевичем Глебовским и фрезеровщиком Харьковского тракторного завода Николаем Ивановичем Лупандиным, мы успели познакомиться за три дня Всесоюзного совещания работников промышленности, которое только что закончилось.

— Уходить не хочется, правда?— смеётся Глебовский, щуря за очками свои большие чуть припухшие глаза.— Привыкли к Кремлю, обжились.

Решаем напоследок ещё побродить по кремлёвским улицам и площадям, не заходя в соборы и музеи — туда сейчас не тянет. С того места, где мы стоим, улицы Замоскворечья предстают необычно: вереницами ярких, будто свежесмытых, умытых дождём мокрых крыш.

— Отчего у меня такое хорошее настроение?— удивляется Лупандин и внимательно оглядывает меня серыми глубоко посаженными глазами.

У Николая Ивановича хорошее лицо уверенного в себе и уравновешенного человека. Прядь тёмных волос на лбу делает его моложе тридцати шести лет. Сначала он мне показался нездоровым — худой, что называется не в теле, чуть впалые щёки, синие круги под глазами. Однако он бодр, весел, неутомим; просто все дни совещания, стараясь не потерять даром ни одной минуты пребывания в Москве, мало спит и вовсе не отдыхает. А худощавость, поджарость фигуры — результат беспокойного характера и строгого режима жизни.

Я снова ловлю на себе взгляд Лупандина.

— Если не секрет, скажите: как поживает ваш Батманов?— спрашивает он.— Я понимаю, что он литературный герой. Но ведь его связывают с живым человеком, с которым вы как будто бы вместе работали на Дальнем Востоке. Где он, вы давно его видели?

— Недавно,— отвечаю я.— Сегодня. На совещании.

— Эх, знать бы! — сожалеет Николай Иванович.— Ну как он, как у него с личной жизнью, наладилось?

Я вижу, Батманов интересует и Глебовского, и рассказываю: человек, которого чаще всего называют Батмановым, живёт хорошо, у него два внука, и теперь он работает в Москве.

— Постойте, какие же у него могут быть внуки?— недоумевает Лупандин.— Я отлично помню: у него был сын, он умер. С женой полные нелады.

— Так то в романе,— смеюсь я.— А на самом деле у него полные лады с женой всю жизнь. Сын не умирал, ибо его и не было никогда. Зато были и есть две дочери, они выросли, повыходили замуж и подарили «Батманову» внука и внучку.

— Вот они, писатели!— качает головой Глебовский.— Кругом обман.

— Образ-то хотелось сделать собирательным,— оправдываюсь я.— Семейное неблагополучие я взял у другого человека.

— Я вижу, что понравившегося литературного героя надо принимать как он есть, без попыток заглянуть за его спину,— рассуждает Глебовский.— Иначе выяснится, что за одним Батмановым стоят полсотни героев, мало похожих на него.

— А в Москве «Батманов» что делает? — не обратив внимания на замечание Глебовского, настойчиво спрашивает Лупандин.

— Да он работает в министерстве. Начальник большого главка. В его ведении уж не одно строительство, а больше десятка крупных строек.

Николай Иванович недоволен, даже разочарован:

— Куда, скажите, это годится? Превосходный начальник строительства — так его, видите ли, надо в учреждение выдвинуть. Всё равно как с новаторами: научился человек давать триста-четырееста процентов выработки, тут его сразу в начальники. И новатора уже нет, и начальник так

себе. А потом спрашивают: почему передовой опыт плохо распространяется.

Харьковчанина очень волнует этот вопрос, он говорил о нём и с трибуны Всесоюзного совещания. Сам Лупандин не поддался на соблазны выдвижения, не ушёл от станка, ныне выполняет он двадцать девятую годовую норму за пятилетку и обучает молодёжь новаторским приёмам работы на фрезерном станке.

— Вы правы, когда убеждаете личным примером, и не правы относительно человека, которого называют Батмановым,— подумав, спокойно возражает Георгий Николаевич.

— Почему же не прав? Живого человека сунули в канцелярию. Да ещё кого, Батманова!— Лупандин поднимает вверх палец.

— Вы не хуже меня знаете, что получается, когда в главках десятилетиями сидят на одном стуле неживые или полуживые люди. К нам на завод приезжал недавно один товарищ из Госплана. Человек он неплохой, инженером считается. Но прикипел к стулу, бумага его заела. Приехал к нам давать указания, а цеха наши для него всё равно, что Огненная Земля для меня: экзотика. При разделении крупных министерств в аппарат кое-куда влились новые люди с заводов, и это заметно освежило атмосферу. Если б Батмановых больше было в министерствах или в Госплане, нам всем не пришлось бы так ругаться на совещании.— Глебовский взглянул на меня: — Вы согласны со мной?

— Вообще-то согласен. Только нашего условного, так сказать, Батманова мне жаль.

— Ага!— обрадовался Лупандин.

— Почему жаль? — спросил Глебовский.

— На стройках он как-никак чувствовал себя хозяином. А в министерстве всё его сжимает и теснит, вы знаете, что почти ведь исключается для начальника главка самостоятельность принципиальных решений, много энергии уходит не на само дело, а на то, что вокруг него,— согласование, переписка, звонки, доклады, отчёты. Кстати сказать, Георгий Николаевич, ему очень по душе пришлось ваше выступление. Целиком разделяю его мнение.

Глебовский, насмешливо поджав губы, кланяется и прижимает руку к сердцу.



Нельзя было не обратить внимания, как председательствовавший Н. А. Булганин и сидевший рядом с ним, очень живо реагирующий на всё происходящее в зале Н. С. Хрущёв вели совещание. Многие ораторы с мест строили свои речи примерно так: начало — сообщение о производственных победах, цифры выполнения плана и факты положительного опыта применения новой техники; середина речи — критика недостатков, претензии к министерствам и Госплану; конец — слово коллектива о его обязательствах. Характер этих выступлений вполне понятен и оправдан: каждый выходил на трибуну не как частное лицо, а как представитель коллектива, имея наказ сказать всё руководителям партии и правительства. Хорош был бы тот директор, главный инженер или начальник цеха, который не доложил бы о доставшихся с таким трудом достижениях или забыл бы рапортовать об обязательствах коллектива. Тогда ему лучше и не показываться на заводе!

Это прекрасно понимали руководители, сидевшие в президиуме. Они со вниманием слушали и начало и конец каждого выступления, но их больше всего интересовала середина. И они «форсировали» именно сере-

дину, репликами развязывая инициативу в критике больших и малых недостатков нашей промышленности.

Знатный кузнец Уралмашзавода Олейников интересно рассказывал с трибуны о том, как создавалась и внедрялась на его заводе передовая технология. За годы пятой пятилетки Олейников и его товарищи разработали и применили более ста прогрессивных технологических карт, изученных и усвоенных затем семьями пятидесятью кузнецами. Им удалось на пятьдесят процентов повысить производительность труда. Применением манипуляторов кузнецы были освобождены от тяжелейшего труда, в несколько раз увеличилась их выработка.

Олейников рассказывал об этом, повторяю, интересно. Все слушали его со вниманием. Однако его рассказ о достижениях заметно затягивался, и к тому же речь Олейникова, подобно многим другим, оказалась накрепко «привязанной» к заранее написанному тексту. Никита Сергеевич вдруг прервал его:

— Вы подражаете ораторам, читаете по бумажке, а вы без бумаги говорите. Вот попробуйте.

Олейников обернулся к президиуму и, улыбаясь, ответил:

— Я, Никита Сергеевич, читал по бумаге о достижениях, а теперь буду говорить без бумаги о недостатках.

И у Олейникова зазвенел голос, когда он со страстью и негодованием заговорил о недостатках: оказывается, те же самые манипуляторы внедрены на Уралмаше с опозданием на много лет против заграницы, на других же родственных заводах их вовсе нет. Тридцать предприятий взяли на Уралмаше чертежи манипуляторов. И что же? Чертежи так и остались чертежами, то есть бумагой синего цвета.

— Почему, — спрашивал Олейников, — Министерство тяжёлого машиностроения недодумалось до сих пор наладить выпуск этих высокопроизводительных приспособлений на одном заводе для всех предприятий?

Уральский кузнец бросал свои обвинения министерству и товарищам по родственным заводам, а Никита Сергеевич довольно улыбался:

— Теперь другое дело, хорошо говорите, очень хорошо.

Если попытаться сформулировать главное в сильном впечатлении, оставшемся от совещания в Кремле, то этим главным будет могучий пафос недовольства собой, прозвучавший почти во всех выступлениях товарищей, пришедших в Кремль по существу с рапортами о досрочном выполнении пятилетнего плана.

Надо было видеть и слышать, как товарищи, руководившие совещанием, вводили этот поток благородного творческого недовольства собой в широкое, просторное, общегосударственное русло, освобождая людей от ненужных перегородочек, узкого местничества, недомолвок, от робости в критике.

Несколько раз Никита Сергеевич прерывал выступление начальника мартеновского цеха завода «Запорожсталь» Лескова, причём каждый раз одним и тем же вопросом.

Лесков рассказал о том, какой резкий скачок вперёд дало применение кислорода на «Запорожстали». Питание мартеновской печи кислородом приводит к очень значительному повышению мощности мартена и к заметному сокращению продолжительности плавки. Но количество печей, работающих на кислороде, невелико, распространение этого опыта идёт непонятно медленно.

— Кто в этом виноват? — спросил Никита Сергеевич.

Лесков продолжал: американцы, переняв наш метод, обогнали нас по количеству печей. И снова к оратору был обращён вопрос: кто виноват?

— Туго развивается кислородное производство, — говорил Лесков. — Мало кислородных станций, их строят недопустимо медленно.

— Кто виноват?— спросил опять Никита Сергеевич.

Первый секретарь ЦК КПСС как бы помогал Лескову перейти от констатации к анализу, призывал не бояться критиковать виновных, даже если критику нужно адресовать самому министру.

Лесков и назвал министра, только не своего, а другого — министра строительства предприятий металлургической и химической промышленности — Райзера.

— И больше никто не виноват? — допытывался всё же Никита Сергеевич.

Тут инженер с «Запорожстали» назвал наконец министра чёрной металлургии, Шереметьева.

— Критика под давлением! — слышалась ироническая реплика из президиума.

Зал ответил смехом.

Так помогали руководители выступавшим говорить с безжалостной прямоотой и смелостью о всех бедах и о всех виновниках этих бед.

Выступления на совещании были полны фактов. Эти факты должны были доказывать общие выводы, которые помогут принять решения государственной важности. Однако часто эти факты сами по себе вызвали сразу конкретные решения, так что слово, сказанное с трибуны, превращалось немедленно в дело.

Начальник объединения «Татнефть», А. Шмарев, доложил совещанию, какими быстрыми темпами развивается нефтяная промышленность Татарии. За последнее пятилетие добыча нефти увеличилась в десять раз, себестоимость нефти снижена в два раза, и ныне татарская нефть самая дешёвая в стране. Решающую роль в этих достижениях сыграло использование передовой советской технологии, в частности, метод искусственного повышения давления в нефтяных пластах подкачкой воды.

Николай Александрович Булганин, пристально следивший за выступлением Шмарева, упрекнул его: мол, очень вы отстали в бурении от США, плохая у вас организация труда.

Замечание побудило Шмарева обратиться к негативной стороне дела. Он признал: наряду с высокой, лучшей в мире технологией в разработке нефтяных месторождений применяется ручной труд в нефтедобыче, например, при очистке скважин от парафина. Бурильные бригады одну треть времени рабстают непроизводительно, часто теряют силы и квалификацию в простоях, причины же простоев чаще всего самые нелепые: отсутствие элементарных устройств, плохие дороги, нехватка электроэнергии. Разрешение двух важных проблем позволило бы поднять добычу и сделать татарскую нефть ещё дешевле.

— Каких именно проблем?— спросил Николай Александрович.

— Расширить по потребности энергетическую базу и заставить наконец наше министерство понять необходимость внедрения промышленных методов строительства буровых вышек.

— Вы обращались с этими вопросами сюда, в Москву?

— Да. Об энергетике ведём разговоры в Госплане уже восемь месяцев. Что касается механизации вышкостроения, то этот вопрос в Министерстве нефтяной промышленности обсуждается лет пять. Там у них есть начальник отдела, которому метод почему-то не нравится, хотя он и не удосужился до сих пор с ним ознакомиться.

Шестнадцатого мая выступал Шмарев. Семнадцатого же, на следующий день, мы встретились с ним в одном из залов Большого Кремлёвского дворца. Громадный мужчина, в котором всё было весьма основательным, начиная от веса в сто пятнадцать килограммов (по собственному признанию) до крупных черт лица, Шмарев буквально сиял.

— У меня приятная новость, — похвастался он. — Недаром я речь произносил: сегодня подписано постановление Совета Министров, раз-
рубающее наши узлы одним взмахом.

Прошло ещё десять дней, участники совещания вернулись в Татарию, и вот результат помощи, оказанной правительством, с одной стороны, и забившей ключом творческой инициативы масс, с другой стороны: коллектив «Татнефти» обязался уже в текущем году увеличить добычу нефти на пятьдесят процентов. Кстати добавим: в целом по Министерству нефтяной промышленности изысканы возможности для увеличения добычи нефти в этом году на два с лишним миллиона тонн. Это действительно не «жук на палочке», как шутливо заметил Никита Сергеевич Хрущёв.

* *
*

Выступление Глебовского на совещании в ряду других выступлений помогло выявить наиболее важные проблемы, далеко выходящие за пределы одного предприятия и даже одного министерства. Однако, пожалуй, не следует забегать вперёд, поскольку мы хотим рассказать о самом выступлении директора Уралмаша.

Едва только Н. А. Булганин дал слово Глебовскому — этот мягкий и тихий на вид человек преобразился. В нём как бы развернулась дотоле сжатая, свёрнутая кольцом стальная пружина. И стремительность его речи тоже, пожалуй, лучше всего сравнить с энергией распрямляющейся пружины.

Буквально в двух словах Глебовский сказал о росте и достижениях завода. Он заявил, что хочет поставить ряд принципиальных вопросов, имеющих, по его мнению, общее значение для тяжёлой индустрии. Он говорил быстро, напористо и жёстко. Изложение проблем было лаконичным, предельно сжатым. Сказать Глебовскому нужно было многое, а регламент предоставлял для этого всего пятнадцать минут. И Глебовский уложился в регламент, высказав всё, что хотел.

— Недостаточно ещё одного постановления о внедрении новой техники, — говорил Глебовский. — Надо в этом экономически заинтересовать предприятия. Надо создать условия, при которых заводам было бы выгодно внедрять новую технику и убыточно работать на устаревших машинах. В распоряжение руководителя предприятия должны быть предоставлены средства для поощрения людей, внедряющих новую технику.

Вообще пора значительно расширить права директора. Сейчас министерства превратились в попечительский совет над директором, опекают и нянчат его, бедняжку, в любых мелочах и фактически держат за руки, лишая условий для проявления инициативы. Существует множество контролирующих организаций, которые имеют право проверять, делать ревизии, представлять к выговорам и штрафам. За четыре месяца этого года на Уралмаше было уже девять проверок. Каждая комиссия требует внимания; во избежание неприятностей докладываешь ей, предьявляешь всякие оправдательные материалы, теряешь массу времени. От такого обилия проверок и отчётности мы оказываемся подчас в положении бравого солдата Швейка, у которого чемоданы украли в тот момент, когда он докладывал, что с чемоданами всё благополучно.

Нужно быстро создать и ввести в жизнь положение о правах директора. Я не говорю об обязанностях — об этом товарищи в центре позаботятся и без напоминания. Но как директор я хотел бы получить вместе с положением об обязанностях право отстаивать свои права и попросту иметь их наконец в своих руках. Тогда министерство и многие другие

ведомства будут освобождены от функций мелочной опеки и получат возможность заниматься более полезным делом.

Однажды директорам как будто предоставили право пользоваться кредитами для внедрения малой механизации. Но Госбанк дал такую инструкцию о правилах пользования этими средствами, что стало невозможно даже думать о них.

— Вот она, эта инструкция, почитайте, Никита Сергеевич,— обратился Георгий Николаевич к Н. С. Хрущёву.

— Заинтриговал всех этой инструкцией, а теперь я читай и разъясняй им,— возразил Никита Сергеевич.— Читайте уж её сами для всех.

И Глебовский под хохот и шум зала прочёл выдержки этого рекордного бюрократического сочинения.

— Необходимо вернуть права мастеру и сделать его полноправным руководителем участка,— перешёл Глебовский к другому важному вопросу, не дожидаясь, пока зал утихнет.— Раньше мастер мог накладывать взыскания, увольнять работника за нарушение дисциплины, мог устанавливать разряды. Теперь он утратил эти права. Надо, очень надо в интересах дела сделать снова мастера хозяином в цехе.

Высказав эту мысль, словно забив гвоздь в доску, Георгий Николаевич стремительно, с ходу, «атакует» крупные неурядки в планировании. Министерства и Госплан не хотят понять, что предприятия машиностроения не смогут использовать все ресурсы, пока не получат перспективного плана на два, три или четыре года. На Уралмаше производственный цикл большинства крупных машин, включая их проектирование, равен двум-тремя годам, а планы завод получает годовые, и то с запозданием! Госплан не заботится о специализации и кооперации предприятий. Почему дизели, например, делаются на целом ряде предприятий четырёх или пяти министерств? Такая же практика существует в производстве шахтных машин или доменного оборудования.

А почему так засорена номенклатура продукции крупных предприятий? На Уралмаше она поистине безгранична — вплоть до топора и шумовки. Может быть, с точки зрения Госплана, и есть какой-нибудь смысл в том, что завод, выпускающий гиганты — шагающие экскаваторы,— должен делать и шумовки. Нам до этого смысла докопаться не удаётся.

— Тут вы могли бы затронуть своё тяжёлое министерство,— заметил Никита Сергеевич.— Топоры и шумовки вам планирует не Госплан, а Казаков.

— Я рад, что наш министр слышит ваши слова,— обернулся Глебовский к президиуму.— Было время, война заставила каждый завод делать для себя всё — гайки, болты, угольники и всякие другие мелкие детали. А почему сейчас я должен делать угольник? На специализированном заводе он обходится в двадцать копеек, а мне — в двадцать рублей! Нужно, чтобы специальные заводы сполна обеспечивали нас всей этой мелочью.

Я вижу, мне пора кончать. И я хотел бы кончить вот чем. Нас скывают рамки современного планирования, рамки современной организации управления. Я убеждён: в крупных промышленных районах, вроде Урала или Донбасса, нужно создать какие-то органы, которые разрабатывали бы в комплексе проблемы развития экономики этих важных районов, имея в виду самую дальнюю перспективу.

Глебовский сказал, что коллектив Уралмаша готов выполнить новые поставленные партией и правительством задачи, и быстро сошёл с трибуны. Он дошёл до места и сидел уже среди улыбавшихся ему товарищей-уральцев, а в зале продолжали шуметь рукоплескания, и Н. А. Булганин не торопился их прерывать.

* *
*

— Присядем здесь,— предлагаю я Лупандину и Глебовскому.

Мы зашли в небольшой скверик на площади перед собором. Здесь было уютно оттого, что лишь на днях народившаяся светлозелёная нежная крона деревьев спасала нас от знойного в этот день солнца. Видимо, настал всё-таки конец непонятной погоды с холодом, неприятными ветрами и дождями. Теперь расцветёт затомившаяся сирень и распустятся цветы, словно застывшие в недоверии к странной весне.

Присели на скамейку. Молчали.

Я прерываю молчание вопросом к моим собеседникам. Многие из выступавших на совещании резко критиковали, я бы даже сказал, штурмовали министерства и Госплан, упрекая их работников в бюрократизме. А ведь министерства призваны помогать производству, облегчать и совершенствовать его работу. Почему же часто получается наоборот,— они мешают и препятствуют? В чём тут дело?

— Нас давно не собирали,— задумчиво сказал Глебовский,— многое скопилось и назрело, наболело. Поэтому и критиковали с такой яростью. Никто, конечно, не отрицает значения министерств: без них просто нельзя было бы руководить промышленностью. Но на этот раз всю громадную пользу, которую они приносят, мы взяли, так сказать, за скобки и говорили главным образом о их бедах. Вот и получилось такое впечатление.

— Вы не оправдываетесь, Георгий Николаевич, и не сдавайте позиций,— покачал головой Лупандин.

Глебовский засмеялся.

— Я не смягчаю и позиций не сдаю. Вы меня не поняли.

— Когда я впервые юношей пришёл на завод,— продолжал с волнением Лупандин,— мне показали станок «ДИП-200» и объяснили, дескать «ДИП», значит «догнать и перегнать». Этот же станок стоит во многих цехах и поныне. Выходит, и сейчас перегоняем на этом устаревшем станке? Я никогда не забуду, как министр Костоусов кипел и гневался, говоря о недостатках в работе Госплана, помните?

— Да, боевое было выступление! — улыбнулся Глебовский.

— Видимо, не выдержал и министр. Неправильная позиция работников Госплана привела к серьёзным изъянам в станкостроении. Кажется, Костоусов говорил: чтобы выполнить задание партии и создать сильную станкостроительную промышленность, надо увеличить количество конструкторов и технологов в два с половиной раза. Я рабочий, я понимаю, что значит вырастить высококвалифицированного конструктора. Как же в Госплане этого не понимают? «Задачи растут, а финансирование стоит на месте, гирями висят раз навсегда сложившиеся « типовые » схемы штатов и зарплаты», — так ведь говорил министр? Почему же это происходит? Кто придумал такое нормирование, когда один и тот же фрезеровщик за ту же самую работу получает в Харькове денег в два раза меньше, чем в Барнауле или в Минске? Или квалификация человека меняется от того, что он поездом проедет из одного города в другой? Нет, недаром Никита Сергеевич всё спрашивал, кто виноват, кто виноват...

Глебовский слушал фрезеровщика очень внимательно, согласно кивая головой. Я заметил, он хорошо умел слушать, это выдавало в нём внимание к людям.

— Никита Сергеевич разительный пример привёл с двумя каменщиками,— вспомнил я.— Они оба с одинаковой квалификацией, работают на одной улице, через дорогу, строят два больших дома. Один получает больше, другой — меньше. Попробуй, действительно, объясни им: разница,

мол, оттого, что ты работаешь в системе Моссовета, а ты в Министерстве чёрной металлургии.

— Я из практики своего завода могу привести не менее разительный пример, — усмехнулся Георгий Николаевич. — Возьмите выслугу лет и премии — какая в этом деле чехарда и неразбериха! Представьте себе: паровозные бригады, которые подают составы в литейные цеха, получают льготы. Если они подают те же составы в другие цеха, они ничего не получают. Видите ли, тут действуют инструкции разных министерств. Дико? Согласен, дико. Только устранить эту дикость нам пока не удалось. Вот вам и причина яростных нападок на Госплан и на Министерство финансов, взявшее на себя, кстати сказать, за последние годы многие несвойственные ему функции. А такие факты вам известны? Мы сооружаем для нужд строительства кирпичный завод, неподалёку другое министерство строит такой же точно второй завод. Ну зачем два, когда лучше построить один, побольше? В прошлом году Госплан записал нам готовить чугунное литьё для нашего соседа — завода «Уралэлектроаппарат». Меж тем нам самим не хватает чугунного литья. «Ничего, — отвечают в Госплане, — мы вам дадим лимит». И дали лимит — получать литьё из Ворошиловграда! Так мы сделали коммивояжёрами. Вам, наверно, кажется всё это чистым бредом, фантасмагорией? — спрашивает у меня Глебовский.

— Я и сам съел соли куль, когда был хозяйственником, — бодро отвечаю я, хотя от фактов директора Уралмаша мне становится не по себе.

— Убеждён, дело сейчас не только в технике. В области техники мы всё можем, она просто распирает нас, поговорите хотя бы с нашим Павловым, главным конструктором завода, — сказал Глебовский.

— Какие же трудности вы считаете главными?

— Мы многое накопили, многое знаем, можем делать абсолютно всё; посмотрите, какие удивительные машины делаем, — размышлял вслух Георгий Николаевич. — Но нас держат за руки и за ноги плохое планирование, устаревшие принципы организации и техники управления. Ведь самую правду сказал Н. А. Булганин: сконструировать, спроектировать, изобрести умнейшую вещь легче, нежели её внедрить. Вот на это всем — буквально всем! — самым крупным руководителям промышленности, министрам, директорам, инженерам, рабочим и вам, писателям, нужно обратить внимание. Да, писателям, — повторил Георгий Николаевич, отвечая на мою улыбку. — Очень стоило бы писателям, которые пишут о рабочем классе, подчеркнуть в романах, в рассказах, в очерках: теперь всё более решающую роль будет играть продуманная сверху донизу, умная и гибкая организация управления.

Глебовский подтвердил то, о чём последнее время много думал и я сам. Бурный рост нашей социалистической экономики, быстрый и неудержимый рост всех отраслей хозяйства требует особой заботы о формах организации, о формах управления. Они должны совершенствоваться непрерывно, не отставая от интересов и нужд самого стремительного движения вперёд. Что было прогрессивным десять лет, пять, три года назад, сегодня тормозит, тащит хозяйство вспять. В системе планирования, в технике управления, в методах организации производства, в оплате труда, в финансировании сохраняется многое из того, что можно назвать пережитками и издержками военного времени и первых послевоенных лет, тогда как индустрия оставила позади все довоенные и послевоенные уровни.

— Издержки и огрехи роста, — говорит Глебовский. — Производство и техника растут подчас быстрее, чем растут люди. Эти люди делают ошибки, ошибки пугают начальство в главках и министерствах — и тогда

появляется предельная осторожность, излишняя опека, вмешательство на каждом шагу. Надо беречь народную копейку, уголь, металл, энергию, это справедливо и неоспоримо. Однако вслед за тем выползают на поверхность издержки: излишний контроль, излишний нажим, учёт ради учёта, отчётность ради отчётности. И уже завод не имеет права по собственному почину пальцем шевельнуть, он не может выполнить даже незначительную экспериментальную установку. Помните, Ковалёв, главный конструктор ленинградского завода имени Сталина, говорил: создаём турбины без пробного образца, а разве годится так — с бумаги и прямо в производство? Сколько начинаний кончаются ничем. Оформление занимает два-три года, за такой срок самая юная идея успевает превратиться в старуху. Вы, конечно, знаете этот излюбленный нашими хозяйственниками анекдот о «тайной советнице»?

— Понятия не имею, — отвечаю я.

— «Тайная советница» — это некая часть тела начальника. Если надо предпринять что-либо, связанное с риском, начальник спрашивает у «тайной советницы»: согласна ли она покинуть кресло, в котором сидит?

Лупандин смеётся и обещает рассказать анекдот кому-то из своих начальников: ему полезно будет послушать.

— Анекдот не бог весть какого остроумия, — продолжает Глебовский. — И всё же возник он на реальной почве. Система чересчур детального, мелочного контроля со всех сторон привела к целой системе страховок от неприятностей. Спросите любого директора предприятия, и вы узнаете, сколько времени, энергии и нервов отнимает эта необходимость предусмотреть заранее все неприятности. Люди отучаются от риска, от подобия риска, избирают более безопасные, протоптанные пути... Это несколько не лучше зазнайства и шапкозакидательства, не правда ли? Почему выпускаем громоздкие машины с нехозяйской растратой металла, почему позволяем себе давать промышленности устаревшие конструкции? Да так ведь легче, безопаснее, наверняка. Новая машина может не получиться, и тогда год будешь оправдываться и писать объяснения, но сумеешь ли оправдаться?

Хватит писателю конфликтов или ещё подбросить? — помолчав, спрашивает меня Глебовский. Он переглядывается с Лупандиным, и оба они сдержанно улыбаются, видимо, не желая меня задеть.

— Давайте, давайте ещё, конфликты пригодятся, — смеюсь и я.

— Не забудьте: у директоров и фрезеровщиков есть ещё и личная жизнь, жёны и дети, — шутит Лупандин. — Вас, писателей, не зря ругают за недооценку личной жизни. Вы всё расспрашиваете нас о производстве, смотрите, не задавите нас металлом и метизами.

— А я как раз о метизах, можно? — спрашивает у Лупандина Глебовский. — Риск — благородное дело, такая есть пословица. Мне кажется, применительно к иным нашим производственникам она порой звучит иронически. На днях наш заместитель главного инженера предложил на совещании у министра организовать централизованное производство метизов. Всё равно-де, от этого никуда не уйдёшь. И если ни одно министерство за это не берётся, давайте создадим сами. Проявим, мол, сознательность. Рядом со мной сидел один начальник главка, он сказал: «Чудак, он вообразил, будто мы живём при коммунизме. Зачем же брать на себя добровольно такую тяжесть?»

— Ох, сознательный товарищ! — покачал головой Николай Иванович.

— Да, невероятно сознательный. Правда, тут есть и другая сторона медали, я это как раз хочу подчеркнуть. Мы, производственники, не избалованы продуманными в комплексе решениями планирующих организаций. И часто встречаемся с решениями малоквалифицированными и слу-

чайными, оторванными от реальной жизни производства. Скажем, завод решил внедрить какое-нибудь умное приспособление, однако получить готовым его невозможно — никто не изготавливает. С большим трудом делаем приспособление сами. И что же? Узнав об этом, заставляют нас же изготавливать приспособление для других! Зачем, спрашивается? Не нашего ведь профиля работа! Подобных случаев могу привести много. — Глебовский пожал плечами. — Выходит, надо быть осмотрительным с «неосторожным» внедрением новой техники, а то она ляжет на тебя до полнителным грузом.

— Вот она, жизнь директорская! — не без удивления восклицает Лупандин. — Правильно я держусь за станок и не поддаюсь на выдвижение.

— Зато Георгий Николаевич и не думает отказываться от хлопотного директорства. Правда, ведь интересно, товарищ директор?

— Интересно, — серьёзно отвечает Глебовский. — А сейчас, видимо, будет ещё интереснее. Развяжут нашу инициативу, а уж мы сумеем ответить партии и правительству полной мерой ответственности. И областям побольше бы самостоятельности. Через несколько лет размах промышленности увеличится вдвое; что же, и тогда всё до мелочей будет планироваться в центре?

Да, ясно, что в ближайшее время неминуемо решатся многие важные вопросы. Тот же Глебовский с завтрашнего дня начнёт трудиться в комиссии по срочной разработке положения о правах директора, а ему, как говорится, и книги в руки. Уже принято правительством решение о разделении Госплана на Госплан дальней перспективы и Комиссию текущего планирования. Создан Комитет труда и зарплаты под руководством Л. М. Кагановича. Подписано решение о создании Государственного комитета по внедрению передовой науки и новой техники в производство. С Всесоюзного совещания начинается новый этап в развитии нашей, советской промышленности. Значение происходящего трудно переоценить.

* *
*

Двадцать лет прошло с того дня, когда на Первое Всесоюзное совещание стахановцев впервые были собраны в Кремле передовики производства, революционеры индустрии. Двадцать лет, ставших историей. Какие страницы вписал в неё рабочий класс: третья пятилетка, Отечественная война и победа над фашизмом, послевоенное восстановление и послевоенные пятилетки!

Если внимательно вчитаться в документы того совещания и нынешнего, поймёшь, что произошло с рабочим классом страны. То была его юность, теперь к нему пришла зрелость — могучая и мудрая зрелость класса, закалённого испытаниями тяжелейшей войны и непрерывных трудовых, созидательных боёв!

Стоило бы подсчитать дневную выработку всех шахт, рудников и заводов в тоннах стали и чугуна, угля и нефти, в штуках автомобилей и паровозов, экскаваторов и прокатных станов. Взять, скажем, шестнадцатое мая 1955 года — день открытия Всесоюзного совещания работников промышленности, и другой день — четырнадцатое ноября 1935 года, когда в Кремле под председательством Серго Орджоникидзе открылось то первое совещание. Взять и подсчитать и сравнить: как увеличилось умение рабочего класса, производительность его труда. Эти цифры многое расскажут о биографии класса. Или попытаться хотя бы перечислить все наши заводы, построенные в первую пятилетку, построенные во вторую, в третью, восстановленные после войны и возведённые в четвёртую пятилетку, в пятую. И это простое перечисление многое расскажет о биографии рабочего класса.

Но ещё лучше судить об этой великой биографии по жизненному пути его родных сынов.

Во времена первого совещания 1935 года юноша, сын рабочего штукатура Харьковского тракторного завода, Николай Лупандин впервые пришёл в цех, и его поставили к станку. После смены он нарочно не пошёл в душ, не вымыл руки — пусть все теперь видят: вот идёт по улице рабочий с завода. Три года спустя его узнавали на улице по другой причине: он был уже мастером фрезеровки металла и внёс техническое усовершенствование — стал изготавливать фрезы из отработанного инструмента. Первое рационализаторское предложение, повысившее производительность труда!

А сколько их было потом?

Усовершенствование за усовершенствованием, новшество за новшеством, десятки изобретательских предложений — они, как вехи, отмечали жизненный путь Лупандина в такой же мере, как и участие его в исторических событиях: война, эвакуация из Харькова в Сталинград, производство танков на Сталинградском тракторном, эвакуация оборудования СТЗ на Урал, работа на Челябинском тракторном — выпуск танков для фронта, а после победы — и выпуск тракторов для сельского хозяйства, радостное возвращение в Харьков в 1948 году.

И вот теперь Лупандин — известный всей стране фрезеровщик, мастер высокой производительности труда, воспитатель и наставник молодёжи, из которой многие работают по его методу. В Кремле семнадцатого мая он имел право заявить: «У нас считают технологию за догму. Я опроверг это».

А что делал в дни совещания 1935 года инженер Георгий Николаевич Глебовский? Ему, сыну кадрового рабочего-химика Петербургского порохового завода, выпало тяжёлое детство: на восьмом году жизни у него умер отец. Вот уж где справедливы слова: «его воспитала советская власть, Советское государство» — детдом, средняя школа, Уральский металлургический институт, по окончании института — в 1934 году — начало работы на Уралмашзаводе в должности помощника мастера. В дни того совещания Глебовский работал цеховым технологом. В пятилетках и в войну он прошёл все ступени сложной инженерной выучки и на высокую кремлёвскую трибуну взошёл руководителем передового заводского коллектива, одного из крупнейших в стране.

Миллионы сынов рабочего класса, подобно Глебовскому, Лупандину, Олейникову, Быкову, Бридько, переживают ныне пору великолепной зрелости, которая позволяет им, хозяевам страны, отваживаться на выполнение любых, самых грандиозных и трудных задач.

Никита Сергеевич Хрущёв, выступая на Всесоюзном совещании работников промышленности, говорил в своей речи: «Враги могут сказать, что если мы так широко обсуждаем вопросы промышленности, значит у нас имеются большие трудности, что положение в промышленности неблагоприятное. Это, конечно, не соответствует действительности. Мы хотим лучшего, а лучшему нет предела».

В. КОЧЕТОВ

РЕЧЬ

Глава, которой нет в романе «Журбины»

Илья Матвеевич сел на голубую решётчатую скамейку, положил возле себя знаменитую свою кепочку с пуговкой, расстегнул новый китель и принялся утирать платком влажную шею.

В воздухе парило, как перед грозой. Замоскворечье лежало внизу, прикрытое дымкой. С громадной клумбы в центре кремлёвского садика на Илью Матвеевича наносило беспокоящий запах цветов. Илья Матвеевич попытался было вспомнить, как эти беспокойные белые и лиловые цветы называются,— крутил на палец мохнатую бровь, шарил в карманах,— всё равно не вспомнил; злость его на Ивана Степановича усилилась.

Размолвка с директором вышла в буфете, несколько минут назад. Понимая, что Кремль не такое уж подходящее место для проявления характера, Илья Матвеевич голоса не повысил — пересилил себя, он молча расплатился с официанткой и ушёл, оставив Ивана Степановича одного за столом.

Не поймёшь этого человека, Ивана Степановича. Когда в партийном комитете и на совещании актива при директоре обдумывали, что, о чём и как заводские представители должны будут сказать перед лицом руководителей партии и правительства, Иван Степанович поддерживал все предложения. И как поддерживал! Стучал кулаком по столу, вскакивал со стула; лысина у него потела, мелкие капельки на ней блестили, будто роса на кочане капусты. Заговорили о правах мастера. Иван Степанович: «Точно, правильно, надо вернуть мастеру те права, какие он когда-то имел. Что же это получается? Ни к увольнению представить, ни разряд повысить, ни как-то поощрить рабочего — ничего этого мастер не может. И вообще, даже денег он получает меньше тех, кем руководит». Заговорили о новой технике, Иван Степанович опять подал голос: «Надо создать экономическую заинтересованность — и для отдельных работников и для заводов в целом,— чтобы заводам было выгодно внедрять новую технику. Тогда дело пойдёт».

Ну, чего бы ни коснулись инженеры, рабочие, партийные или профсоюзные работники, на всё Иван Степанович откликнулся. А когда партторг ЦК Жуков сказал, что и о правах самого директора следует серьёзно подумать, тут Иван Степанович разразился речью на полчаса. Очень хорошо и доказательно говорил он о том, в каких направлениях и в какой мере эти права должны быть расширены. Невозможно за разрешением каждого пустякового вопроса обращаться в министерство.

Словом, в Москву ехали они, директор крупного судостроительного завода — Иван Степанович Сергеев и начальник стапельного участка — Илья Матвеевич Журбин, с полным сознанием ответственности, какую возложил на них заводской коллектив, и с обстоятельным планом речи, которую должен был подготовить и произнести с кремлёвской трибуны Иван Степанович.

Вчера рано утром, перед началом совещания, когда делегаты ещё рассказывали по брусчатым мостовым Кремля, стояли перед царь-пушкой, царь-колоколом, перед колокольной Ивана Великого, Илья Матвеевич, чуть ли не первым прошедший в зал и занявший там хорошее местечко у окна, почти целый час читал текст этой речи, написанной размашистым и не для каждого разборчивым «директорским» почерком. Уже тогда он высказал сомнение — о том ли речь, о чём условливались. Три четверти её занимает отчёт о работе завода за послевоенное время, вся-

ческие идут цифры и таблицы и только под конец высказано несколько предложений и критических замечаний по адресу министерства. Да и то высказаны они, эти замечания, столь мягонько, что никого и не заденут,— этакое лёгкое щекотаньице.

— Мы же о резервах, о возможностях, о размахе приехали говорить,— сказал Илья Матвеевич.— А у тебя, извини, конечно, за критику, Иван Степанович, никакого размаху в речи нет, никакого полёту. О прошлом да о прошлом. Всё равно, будто на юбилейном заседании в день семидесятилетия завода выступать собрался.

— Брось, брось, Илья Матвеевич,— ответил Иван Степанович тоном значительным и несколько даже загадочным.— Заседание не юбилейное, это ты прав, но и не такое, чтобы, знаешь, язык распускать, как в цеху или на стапеле. Уж ты мне поверь.

Илья Матвеевич неохотно, но поверил: как-никак, директор завода не первый раз в Москве, бывал и в Центральном Комитете и в правительстве и знает же, наверно, как тут полагается себя держать. Досадно просто было, что все горячие слова, произнесённые на заводе, при перенесении на директорскую бумагу остыли, и вот сложилась из них такая постная, сухая речь, и что подлинный голос заводского народа не дойдёт до кремлёвского зала.

Совещание, однако, наперекор утверждению Ивана Степановича, пошло совсем по-иному. Во-первых, уже во вступительной речи, открывая совещание, товарищ Булганин призвал к смелой критике недочётов, которая помогла бы Центральному Комитету и правительству наметить пути дальнейшего, ещё более мощного развёртывания промышленности. А затем, особенно когда стали выступать представители рабочего класса, Илья Матвеевич окончательно утвердился в мысли, что созвали их сюда всех в Кремль вовсе не для таких отчётных речей, какую составил Иван Степанович,— руководители партии и правительства хотели услышать именно голос народа во всей его силе, прямоте, страстности и правде, голос, идущий от души, от сердца, от хозяйских забот о судьбах своей родной страны. Когда кузнец с одного из уральских заводов тоже начал было, вроде Ивана Степановича, читать по бумажке цифры да сводки, Никита Сергеевич Хрущёв слушал, слушал, да и посоветовал, чтобы отложил кузнец бумагу и своими словами объяснил собравшимся, как он куёт металл. Лучше, мол, получится. И верно — своими словами у кузнеца получилось куда лучше.

Илья Матвеевич поглядывал по временам на сидевшего рядом Ивана Степановича и ощущал беспокойство: он очень боялся за речь, с которой Иван Степанович намерен был выйти на эту высокую трибуну.

А сегодня, с утра, Илья Матвеевич вовсе расстроился. Первым на этом заседании выступил директор того самого уральского завода, на котором работал вчерашний оратор-кузнец. Был он, этот директор, с виду вроде Ивана Степановича: и ростом не выдался, и волос немного осталось, и очки носит, и костюмчик простенький — если взглядеться, так, пожалуй, хуже тех, что его, Илья Матвеевича, сыновья носят, особенно Алёшка да Антон,— а сказал этот директор... Ну сказал он, в общем, как раз то, что Ивану Степановичу и ему, Илье Матвеевичу, наказывали сказать в Кремле кораблестроители с Лады. И о внедрении новой техники, и о правах мастера, и о правах директора, о вопросах планирования, о многом-многом другом, о чём на Ладе с неделю подряд говорилось в кабинете директора, в партийном комитете, в цеховых конторках и просто у станков, на рабочих местах.

Иван Степанович, слушая речь уральского директора, то и дело восклицал вполголоса: «Правильно! Точно! Полностью присоединяюсь!» Илье Матвеевичу тоже, конечно, очень нравилась речь уральского това-

рища, но Иван Степанович его удивлял: вот «правильно, правильно, полностью присоединяюсь», а у самого какая речь заготовлена в папке! Как только он об этом не тревожится? Ведь вот дадут слово, его же с трибуны сгонят!

Уж до чего, казалось бы, острой была речь уральца, а Никита Сергеевич разжёл его ещё больше. Получилось так. Перед этим Никита Сергеевич спросил оратора, какому министерству принадлежит завод. Оратор ответил, что Министерству тяжёлого машиностроения. «Тяжёлое министерство!» — в шутку сказал товарищ Каганович. И вот после этого Никита Сергеевич заметил, что выступающий товарищ при всей остроте своих высказываний почему-то совсем не касается министерства. «Вы хороший оратор,— сказал он.— Но своё «тяжёлое министерство» считаете, видимо, тяжёлым и для критики».

Когда был объявлен перерыв, Илья Матвеевич, выходя из зала, заговорил:

— Вот так, Иван Степанович. Промахнулись мы с тобой. «Знаю, мол, знаю. Уж ты мне поверь». Не у того учился, у кого надобно.

В первый перерыв, пока туда да сюда, толком объяснить не успели. Разговор вышел в буфете. Кремль в два часа опустел, делегаты разошлись обедать по гостиницам. Лишь немногие остались тут, вроде них с Иваном Степановичем. Сели за столик. Илья Матвеевич высказал всё, что думал о всяческих осторожных речах, в которых как бы не сказать лишнего, о людях, которые любят произносить и слушать такие речи, об оглядке на кого-то, кто должен решать за тебя то, что ты и сам можешь решить с успехом.

Иван Степанович выслушал его очень терпеливо и уже самим этим изрядно разозлил Илью Матвеевича. А потом сказал:

— Понимаешь, дорогой товарищ Журбин, всё довольно-таки верно, о чём ты говоришь. И честно тебе признаюсь, что сам не знаю, как этакая робость и нерешительность в душу залезают. От характера, может быть? Не у каждого характер героический. Оглядываешься на людей: они так — и ты так. Сегодня для меня громадная школа. Вижу, как наши руководители направляют прения, вижу, как поддерживаются смелость, самостоятельность. А то ведь, скажем, у нас, в области,— не буду от тебя скрывать — смелость не больно поощряется. Секретари обкома — и первый и другие — хорошие люди, не станешь отрицать, верно же? И специалисты в прошлом хорошие, двое из них инженеры, один учитель. А, бывает, начнёшь предлагать что-нибудь новое, например, в смысле ликвидации излишнего бюрократизма: давайте, мол, под свою ответственность, на свой страх и риск сделаю то-то и то-то, ведь это же улучшит дело. Нет, говорят, товарищ Сергеев, не можем мы санкционировать. Надо ставить вопрос перед вышестоящими организациями. Вот вы, рабочий класс завода, не знаете там, у себя, какова жизнь директорская. И тем директор плох и этим. А как он сам, этот директор, бьётся, вам и ни к чему. Верно ведь? Бывает, и самому хочется поставить вопрос перед вышестоящими организациями, да прикинешь, какое длинное, канительное предстоит дело, и решишь: а что мне больше всех надо, что ли?

— Не понимаю я твоих рассуждений,— перебил его Илья Матвеевич хмуро.— А почему это рабочий класс так не рассуждает, как ты? Почему это рабочий класс считает, что ему в аккурат больше всех и надо? Один несёт предложение, другой, третий... Каждую же неделю что-нибудь новое ребята придумают. Бейся, доказывай! Если видишь, что прав, — лопи вперёд.

Илья Матвеевич разошёлся, смахнул нечаянно пустой стакан на пол и смущённо покосился на официантку, которая подошла, чтобы подобрать осколки.

— Если бы мы и раньше так сидели, что тюхи-матюхи, колупай с братом, да только один с другим всякую чепуху согласовывали, да один от другого ждали указаний, да вопросы куда-то ставили,— ни колхозов бы у нас не было, ни индустриализации, ни хрена. Засох ты, Иван Степанович, забыл себя молодого.

— Знаешь, ты под старость хуже своего батьки становишься, деда Матвея,— сказал Иван Степанович раздражённо и холодно.— Тот сварлив. А ты ещё сварливей. И заносчивый. Один великий поэт, Руставели, сказал: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». А ты о себе подумай, какую ты позицию занимаешь. Ты только и хлопочешь: речь да речь, от имени завода, не осрамить завод и так далее. А не всё ли равно, кто об этих вопросах сказал: мы с тобой или товарищ с Урала. Важно, что о них сказано, важно, что их обсуждают. Местничество в тебе сидит:

Вот тут-то Илья Матвеевич не стерпел, встал и, отдав по дороге деньги официантке, вышел.

«Каждый учит, каждый учит! — думал он, сидя в садике перед клумбой с беспокойно пахнущими цветами.— До того все учёные стали! Уж в местники записывать принялись».

Он подошёл к клумбе, оглянулся — никого вокруг нет,— быстро сорвал один цветок и сунул его в карман. Он сvezёт этот цветок Агаше, она в цветах понимает, объяснит название.

Вспомнилась Агафья Жарповна, вспомнился дом, и пошли перед Ильёй Матвеевичем чада его и домочадцы, и встал в памяти вечер в канун отъезда в Москву. Сидели за столом всей семьёй. Виктор, Зинаида Павловна, которую Илья Матвеевич так и не научился звать Зиной, Костя с Дуняшкой; Александр Александрович Басманов пришёл; дед Матвей подрёмывал в кресле. Дряхлеть батя начал, уж не каждый день ходит в свою должность, в директорский кабинет, ходит два раза в неделю, и не так яростно распоряжается по ночам «ночной директор» — всё-таки за восемьдесят перевалило. Брат Василий с Марией тоже, конечно, явились на проводы. Не было Антона, Тони да Алексея с Катериной. Антон где-то в Китае, Тоня уже четвертую зиму прожила в Ленинграде, зачёты сдаёт. А студент-заочник третьего курса, бригадир электросварщиков Алексей Ильич Журбин бродил второй вечер по кустам вокруг больницы да старался заглянуть в окна: позавчера Катя родила сына, Илюшку, мать честная!

Нет, не о семейных делах шла в тот вечер беседа. Говорили о поездке в Москву, о Москве, о Кремле, о заводских делах, о которых надлежало доложить там, в кремлёвском зале. В кремлёвском зале надлежало доложить о рабочем классе, который не терял времени в минувшие годы, он рос, учился, осваивал новую технику, новые машины, новые методы труда.

«Вы и о себе расскажите, Илья Матвеевич,— сказала Зина.— Скажите, что вполне бы могли сдать экзамены за среднюю школу, а может быть, даже и за техникум, но не сдаёте и никогда не будете сдавать только потому, что на всём заводе нет человека упрямее вас. Пожалуйста, расскажите об этом».

Все наказывали о чём-нибудь сказать в Кремле. И что же выйдет на деле? Иван Степанович проямлит свои отчётные данные, а он, Илья Матвеевич, и вовсе ничего не скажет, и выйдет, что даром они оба проедят казённый хлеб.

Достал из кармана — из другого, не из того, где цветок лежал,— записную книжку, которую ему подарила симпатичная барышня при регистрации делегатов в вестибюле гостиницы «Москва», автоматический карандашик, и на первой странице книжки написал: «Речь».

Дальше дело не пошло. Сказать надо было слишком много, хотелось начать с того субботника, который тридцать пять лет назад происходил вот тут, в кремлёвском дворе, и в котором участвовал Владимир Ильич Ленин. Отчётливо представлял себе Илья Матвеевич эту картину: Ильич, в кругу рабочих, подставил своё плечо под тяжёлое комлистое бревнище.

Да, оттуда, с того субботника, тянулась нитка к совещанию, на которое приехал он, Илья Матвеевич. Тогда были посеяны первые зёрна коммунистического труда. Рассказать бы, как выращивали из этих зёрен всходы и как — через пятилетки, через индустриализацию, через трудности и их преодоления — вырастили богатую ниву. Вот, к примеру, выступал один строгальщик. Так ведь это же даже трудно себе представить, что он простой рабочий от станка, как бывало говаривали. Его послушать — инженер или, на крайность, техник. Он и о конструкциях станка, и о методах работы, и о науке, которая отстаёт от нужд производства... Государственный человек. А что ему? Ему, поди, и тридцати нет.

Илья Матвеевич очень удивился, увидав вдруг именно того самого строгальщика, о котором только что думал. Молодой человек в хорошем костюме неторопливо огибал клумбу. В руке он держал точно такой же цветок, какой был спрятан у Ильи Матвеевича в кармане. Обогнув клумбу, он сел на скамью Ильи Матвеевича. Илья Матвеевич чуть было не спросил, как называется пахучий белый цветок в его руке. Но удержался: такие вопросы имеют и обратное действие — по авторитету спрашивающих бьют. Он спросил о другом:

— Ну, как, страшно там, на трибуне?

— Страшновато, — ответил строгальщик охотно. — Впереди тебя две тысячи народу с лишним, а позади всё правительство. Поначалу ноги дрожали. Потом ничего, разошёлся.

— Да, страшновато, — медленно повторил Илья Матвеевич, закрыл записную книжку и спрятал её в карман. — А ты толково насчёт станков рассуждал. Верно, знаю строгальный станок, зря он в одну сторону холостым ходом ходит. Был бы в обе стороны рабочий ход — вдвое бы время сократилось. Что ж тебе конструкторы не помогут?

Строгальщик махнул рукой.

— Вот я вам скажу. Это я и в речи упомянул, — заговорил он, — что у нас есть станки с хорошей жёсткостью, но трудные в управлении. А есть станки лёгкие в управлении, зато жёсткости в них не хватает. Так ведь даже этого не могут добиться — соединить в одном станке два нужных качества. Наука наша — в обозе.

Не показалось ли молодому человеку в хорошем костюме, что рядом с ним сидит этаким старый мастер с какого-нибудь далёкого заводика, где патриархальные нравы, где ходят в стареньких кепочках с пуговками, а новые кителя надевают только в торжественных случаях, — кто его знает, за кого он принял Илью Матвеевича, только молодой человек начал слегка прихвастывать и слишком уж легко обо всём судить. Илье Матвеевичу вспомнился Алёшка — Алёшка той поры, когда его не в меру расхваливали на заводе, отчего парень вознёсся маленько выше, чем следовало.

— Отец у тебя есть? — перебил Илья Матвеевич молодого человека на полслове.

— Отец? — растерялся тот. — Нету. Погиб на фронте.

— Вот видишь. Тогда послушай меня. Тебе, я гляжу, речи произносить нравится. Но ты речами не злоупотребляй. Ты больше прислушивайся. У тебя возраст такой, когда надо отовсюду, откуда только можешь, собирать знания, опыт. А говорить... Пусть за тебя дела твои говорят.

— А чего, они и так говорят.

Строгальщику, видимо, не понравились слова Ильи Матвеевича. Он встал, сказал, что ему надо идти в Оружейную палату, и ушёл. «Ладно,— думал ему вслед Илья Матвеевич,— пусть злятся, пусть все хорошие, только один дядька с мохнатыми бровями плохой. Сказанное своё дело сделает».

Илья Матвеевич всегда считал себя ответственным за весь рабочий класс. Великой любовью любил он свой класс, веровал в его неисчерпаемые и неисчислимы силы. и не мог пройти мимо даже малейшей щербинки, малейшей слабинки у кого-либо из этой могучей семьи хозяев и творцов жизни человечества. С чужим человеком, с чужим сыном он разговаривал так, как разговаривал бы и со своими сынами.

После перерыва, когда вновь вошли в зал и уселись, Иван Степанович сказал:

— Всё фырчишь, что примус. Уже рубль денег на тебя израсходовал. Кто стакан кокнул — я или ты? И вообще, можешь не гудеть: слова мне не дадут, завода своей речью не опозорю. Записалось в прениях, как говорит, триста человек. Выступит от силы полсотни.

— Тебе не дадут, а мне дадут,— ответил Илья Матвеевич, отсчитывая на ладони рубль двугривенными.— Пятьдесят первым, да выступлю.

Он знал, конечно, что никаким — ни пятьдесят первым, ни сотым — не выступит, что в записной книжке так и останется одно это слово: «Речь». И, возражая Ивану Степановичу, думал совсем не о речи — перед ним были не слова на бумаге, а корпус корабля на стапеле. На ум вместо тезисов приходили мысли о тех практических мерах, с помощью которых можно было бы сократить пребывание корабля на стапеле.

Весь вечер сидел он потом в своём номере и под словом «Речь» записывал эти меры крупным, разборчивым, совсем не «директорским» почерком.

Пряча книжку в карман, нащупал там цветок. Достал, поразглядывал, понюхал. Неожиданная озорная мысль пришла в голову. Спустился в вестибюль, купил лист бумаги и конверт. Печатными буквами начертил на листе: «Примите этот дар в знак чувства от неизвестного». Свернул бумагу, вложил её и цветок в конверт. На конверте надписал: «Якорная, 19. Агафье Карповне Журбиной».

Когда сдавал заказным, работница почты, разговорчивая девушка, сказала, что надо бы, в общем-то, ещё и название города написать. По просьбе Ильи Матвеевича она сама это сделала и, ставя штампель на конверт, ещё сказала:

— Духами пахнет. Разве есть такие духи?

— А какие, интересуюсь?

— Да левкой.

— Для некоторых есть,— ответил Илья Матвеевич, довольный тем, что название цветка всё-таки вспомнилось.— Для тех, которые половчей.

Д. ГРАНИН

БЕСПОКОЙНЫЕ ЛЮДИ

Листки из блокнота

Это записи в блокноте, сделанные во время совещания. В них, очевидно, нет ни связного описания, ни полноты. Это просто соображения, рождённые непосредственными чувствами одного из участников совещания и тут же внесённые в блокнот.

Среди выступлений на Всесоюзном совещании меня заинтересовала речь начальника сектора Гипростали Андоньева. Могло показаться, что она звучала несколько излишне запальчиво и взволнованно. Андоньев был изобретателем, и голос его усиливала забота о многих своих соратниках по этому великолепному призванию. Многие из них проделали такой же долгий и тяжкий путь, как и он, другие только вступали на дорогу испытаний... «Беспокойные люди» — как тактично называл их один осторожный хозяйственник. Андоньев рассказал историю одного из своих изобретений. Вместо обычного водяного охлаждения металлургических печей он предложил так называемую испарительную систему. Печь охлаждалась не холодной, а кипящей водой! На первый взгляд эта идея кажется странной, парадоксальной, в действительности же обладает той изумляющей простотой, которая возникает в итоге мучительных поисков, бесчисленных разочарований и отвергнутых вариантов. Теперь кажутся нелепыми старые системы охлаждения с их громоздкими охладительными установками... Очевидно, не о б ы ч а й н о с т ь идеи, её резко революционный характер привели к тому, что Андоньеву пришлось более двух лет доказывать эффективность своего предложения.

Может быть, новый принцип требовал специальных теоретических исследований, обоснований?

Встретившись после совещания с Андоньевым, я спросил его об этом. Ничего подобного, принцип был ясен, его подтверждали все — от крупнейшего советского теплотехника, академика Кирпичёва, и до учебника физики. Но именно эта ясная, ошеломляющая простота испугала работников министерства. Лишь когда Андоньев всякими правдами и неправдами реализовал своё изобретение на одном из заводов другого министерства, он мог добиться его внедрения и у себя.

Тут же Андоньев с увлечением сообщил подробности ещё одного своего нового изобретения. Восемьдесят лет почти без изменения существуют мартеновские печи. Факел в них расположен горизонтально, и тепло передаётся на свод, а потом на ванну. Андоньев предложил направить пламя прямо на металл.

— Понимаете, в чём разница? — спросил он меня. — Всё равно, как если вы будете держать ладонь сбоку от пламени свечки, — будет тепло. А вот если вы поставите её над пламенем — сожжётеся.

— Ну, а как с этим новым предложением?

Андоньев сердито махнул кулаком.

— У нас появился недопустимый разрыв между изобретением и его внедрением.

Сергей Михайлович Андоньев — крупный, известный стране инженер, награждённый за своё открытие Сталинской премией, человек закалённый и понаторевший в боях за технический прогресс, и, оказывается, что и ему трудно, порой невыносимо трудно, когда надо реализовать новое. Что же говорить о тех, кто первый раз вступает на этот путь?

Нельзя мириться с таким положением. Оно противоречит всему существу советского общества!

Сколько раз мы читали и по сей день читаем в газетах истории о долгих летних мытарствах изобретателей. Как часто мы и в жизни встречаем этих людей. Мне вспоминается поистине героическая борьба инженера Филимонова за реализацию своего изобретения в области передачи энергии постоянным током. Он был уволен из института и в течение четырёх лет не мог добиться прямого, честного обсуждения своей разработки. А этот человек обладал потрясающей настойчивостью, упорством. Инженер-электрик К. изобрёл новый автоматический регулятор. После длительной, изматывающей борьбы на помощь изобретателю пришла газета.

Была напечатана резкая статья в «Ленинградской правде», и всё равно никаких мер не было принято. Понадобилось вторичное выступление газеты, чтобы К. получил возможность установить регулятор на станции.

Подобных примеров может немало привести каждый производственник. Эти примеры возмущают. Они потрясают своей нелепостью, несправедливостью, своим противоречием всему духу, строю нашего советского миропонимания. Почему открытия, новые методы, машины, аппараты, дающие экономию огромных средств, облегчающие труд людей, повышающие качество изделий, почему они часто с таким трудом находят себе дорогу? Почему порой столько лишений приходится преодолевать нашим изобретателям? Ведь, как правило, деятельность этих людей, бескорыстных энтузиастов своего дела, есть проявление самых светлых патриотических качеств советского человека и прежде всего — его стремления к творчеству во имя силы нашей Родины.

Капитализм с его цинично торгашеской меркой уродовал, калечил, умерщвлял самые прекрасные подвиги человеческой мысли. «Изобретатель, — писал ещё Диккенс, — перестаёт быть невинным гражданином и становится злодеем. К нему относятся, как к человеку, совершившему адское преступление. Он становится человеком, которого нужно водить за нос, выпроваживать, осмеивать, окидывать суровым взглядом, направлять от одного высокопоставленного молодого или старого джентльмена к другому высокопоставленному молодому или старому джентльмену и обратно. Человеком, который не имеет права распоряжаться своим временем... бродягой, от которого нужно отделаться во что бы то ни стало, которого нужно извести всеми возможными средствами». Почему подобное отношение к изобретателям в некоторых наших учреждениях сохранилось без изменения с диккенсовских времён?

У нас вся система нашей советской жизни побуждает человека творить, открывать, изобретать для своего народа, для себя, для дела победы коммунизма. Непрерывно растут ряды изобретателей, рационализаторов. Но было бы наивно полагать, что само по себе существование социалистического строя обеспечивает в каждом случае победу нового, лёгкую и счастливую судьбу любого изобретателя. Нет, борьба старого и нового идёт и в нашей советской действительности, она протекает на иной основе, её характер и цели определяются задачами всего общества, но борьба существует, и подчас в жёстких и сложных формах.

Сам по себе изобретатель — это уже борец, потому что он выступает против существующей сегодняшней техники, против традиций и сознания людей, применяющих эту технику. И чем более новаторский характер носит открытие, тем большее сопротивление оно встречает.

Почему же у нас возможны такие, подчас позорные случаи, когда изобретателя третируют, преследуют, отказывают ему в признании?

Всегда интересна психология тех, кого обычно называют консерваторами, рутинёрами, противниками нового. Откуда в них берётся это опасливое равнодушие, а порой активная трусость перед новым? Неужели они не сознают преимущества, пользы того или иного изобретения? Что заставляет их вставать глухой стеной на пути движения нового? Часто объясняют природу консерватизма стремлением к спокойной жизни, бюрократизмом, несознательностью. Думается, что в этом лишь часть правды. Сводя всё к субъективным качествам того или иного руководителя, мы недооцениваем роли экономических усовершенствований, создающих объективные условия для внедрения новой техники.

Существуют же у нас и устаревшие и не оправдавшие себя системы оплаты изобретателей, материальной заинтересованности производственников, качественной оценки новизны. Как тут ни взывай к сознатель-

ности, как тут ни наказывай — всё равно недостатки старых методов будут сказываться. Заслуга совещания состоит в том, что оно раскрыло эти объективные условия, которые откроют широкую дорогу техническому новаторству.

Кто-то из выступавших на совещании высказал очень точную и глубокую мысль — «всякое налаженное производство по своей природе консервативно». Действительно, всем известно, какого напряжения сил требует организация серийного производства. Тут и оснастка, и разработка технологии, и инструмент, и кооперация, и великое множество преодолённых забот. Наконец-то завод освоил, начал выполнять план, коллектив приобретает нужный ритм. И вдруг появляется новая конструкция. Снова надо всё ломать, перестраивать, организовывать. Период освоения новой продукции занимает иногда годы. При этом неизбежно страдает и заработок и рабочих и инженеров. Так что дело не только в желании или нежелании отдельных руководителей, дело в том, что производство должно быть экономически заинтересовано во внедрении и освоении новой техники, чтобы новой техникой заниматься было выгодно.

Так это требование и было сформулировано в выступлениях многих ораторов.

Изобретательство имеет свои особенности. Недавно мне довелось читать интересную рукопись статьи В. Мухачева и Ф. Ланге, занимающихся вопросами изобретательства. В числе многих правильных положений авторы выдвигают и такое: «При продвижении и распространении изобретения важно премировать лиц, содействующих изобретательству, поставив это премирование в зависимость от скорости продвижения изобретений». Думается, что подобное предложение соответствует мыслям, высказанным на совещании. Необходимо продумать этот вопрос в соответствии с принципом материальной заинтересованности.

Один известный ленинградский учёный, электротехник, как-то с горечью и возмущением спросил меня: «Почему я должен оставить свою научную работу и превратиться в толкача? Да ещё без всякой уверенности в том, что мне удастся самому воплотить свою идею...»

Есть немало людей, которые рассуждают примерно так: вместо того чтобы убивать годы на проталкивание своего открытия, я лучше буду работать над новым. Они превращаются в коллекционеров авторских свидетельств. И в то же время их трудно иногда упрекать за это.

Даже когда изобретение внедрено, борьба не утихает. В дни совещания я получил письмо от инженера С. Фомина с Закавказского металлургического завода. Им была разработана новая теория стойкости чугунных изложниц. Осуществляя её, завод получил экономию в 12 миллионов рублей, увеличилась стойкость изложниц, улучшилось качество стального слитка. Однако дальше события повернулись неожиданным образом: «...меня отдавали под суд и в настоящее время подыскивают причины для увольнения только потому, что я отказал некоторым лицам в принудительном соавторстве...»

Или вот такая проблема: кто и какую ответственность несёт за судьбу изобретения? Наши законы сурово карают расхитителей социалистической собственности. Всей тяжестью нашего общественного воздействия мы обрушиваемся на тех, кто запускает руку в карман государства. Мы осуждаем, презираем, наказываем этих людей. Так почему же мы снисходительно относимся к тем, по чьей вине годами консервируются предложения, дающие государству экономию? Только за прошлый год эффект от испарительного охлаждения, введённого по принципу Андоньева, составил 25 миллионов рублей. Будь оно реализовано хотя бы на год раньше, государство получило бы ещё 25 миллионов рублей. По сути

дела, люди, которые в силу невежества, трусости, косности или корыстных интересов препятствовали реализации этого изобретения, похитили у государства 25 миллионов! Они не положили их в свой карман, но они вынули их из кармана государства. Этим гражданам следует ставить на одну доску с расхитителями нашего советского добра. По их вине мы теряем десятки, сотни миллионов рублей. Эти люди должны нести строгую ответственность перед общественным мнением, а может быть, и перед государством.

Судьба человека, открывателя нового, издавна волновала художников. В конце концов весь процесс развития человечества тесно связан с пытливыми поисками человеческого разума, вечно беспокойного творца новых и новых орудий. Изобретатель был всегда одинок, он шёл впереди, он должен был доказывать, отстаивать свою правоту. Он всегда был опасен, в нём таилось что-то от революционера — он тоже ниспровергал, выступая против существующих в технике порядков.

Когда власть взял рабочий класс, изобретатель впервые начал творить для тех, кто работает. Роль изобретательства стремительно возрастает в жизни нашего общества. Вероятно, при коммунизме оно станет одним из самых главных человеческих дел.

Я начал с изобретателей потому, что они как-то наиболее концентрированно и ярко выражают то революционное беспокойство, которое выросло в ходе совещания.

Ленин говорил, что революция и есть самый нормальный порядок для революционера. К сожалению, кое-кто из наших хозяйственников, инженеров давно перестали чувствовать себя революционерами, полагая, что революция в промышленности — вещь вредная и опасная. Совещание показало необходимость решительных преобразований в промышленности, необходимость сделать революцию в ней нормальным порядком, повседневностью, а революционность — основным качеством характера наших производственников.

Проблема внедрения новой техники включает в себя не только изобретательство, здесь неизбежно возникает целый комплекс задач, связанных с ролью конструкторов, технологов и планированием производства, с правами директора предприятия, местом науки, её связью с практикой. Значение совещания состояло в том, что оно подняло весь этот большой круг проблем во всех их взаимосвязях. Первые же выступления породили атмосферу беспокойной, деловой заботы о дальнейших путях технического прогресса. И реплики товарищей Хрущёва, Булганина, Кагановича и реакция аудитории способствовали духу острой принципиальной критики.

Только сильный может позволить себе открыто говорить о своих недостатках. Во время совещания ораторы часто сравнивали советскую технику с американской. На некоторых металлургических заводах США анализ стали производят значительно быстрее, чем у нас. На гидростанциях США находят применение напоры выше наших.

Нам нечего опасаться, избегать подобных сопоставлений. Практика наших пятилеток доказала преимущества и возможности нашей социалистической системы. Однако преимущества эти не дают нам права на самоуспокоенность.

Наш народ талантлив, история нашей техники бесспорно богата великими открытиями во всех областях. Мы многое открыли и открываем первые в мире, но ведь главное состоит в том, чтобы не только раньше открывать, но и раньше внедрять.

Да, мы были излишне спокойны. Сознание этого рождало у каждого участника совещания хорошую, нужную тревогу. Повышение степени беспокойства в душах наших людей стало одним из наиболее значительных итогов совещания.

В памяти моей возникали заводы, стройки, где приходилось бывать последние годы, встречи, споры, судьбы людей, их труд, неудачи, волнения. Сколько вопросов, на которые мы не находили ответа! Сколько было вопросов, решение которых было ясно, и всё же они не решались!

Разговор с Еленой Александровной Панкратовой происходил года два назад в конструкторском бюро Таганрогского завода. Панкратова — молодой инженер, влюблённая в свою конструкторскую работу, только что закончила многообещающую разработку нового способа обмуровки котлов. Она член парткома, её ценят на заводе, у неё десятки творческих замыслов... И вдруг на каком-то повороте разговора она призналась, что хочет уходить с завода.

— Нет, вы не подумайте, что меня тут затирают или что-нибудь подобное. Но, поймите, это не зависит от администрации... Это, как бы вам назвать, служебная стационарность. Дело не в том, что я получаю 950 рублей, а вот рядом техник — 1 200 рублей. С этим в конце концов можно бы помириться, появившись какая-то перспектива. Но ведь у нас на заводе вместо перспективы — штатное расписание. Стоишь перед ним, как перед глухой стеной. Можешь учиться, придумывать, изобретать, стать лучшим специалистом и всё-таки, пока не освободится соответствующая клеточка расписания, останешься рядовым инженером. А клеточка может освободиться через десять лет...

И когда в Большом Кремлёвском дворце говорилось о расширении прав директора, о том, что недопустимо, когда конструкторов и технологов относят к административному персоналу, когда Никита Сергеевич Хрущёв сказал, что конструкторы — святая святых, то я, аплодируя вместе со всеми, чувствовал рядом с собой радость и Елены Панкратовой и моих знакомых конструкторов с ЛМЗ и с маленького Ярославского завода, где мне пришлось побывать года полтора назад. По плану этому заводу надо было спроектировать и пустить в производство восемь новых машин. В конструкторском бюро не хватило 81 конструктора! Их работало всего 17 человек, по два на каждую машину.

— А вы говорите: вводить новую технику, — усмехнулся тогда главный инженер. Это был замученный, задёрганный человек, о котором почему-то сложилось мнение, как о любителе спокойной жизни. Его заедали организационные неурядицы. Завод имел самые низкие тарифные ставки в области. Чтобы как-то удержать рабочих, приходилось «мудрить». Не хватало технологов, и из-за отсутствия технологии ежедневно простаивали десятки рабочих.

Мы встретились с этим главным инженером здесь, в Москве, во время перерыва, в Георгиевском зале. Впервые я видел его улыбающимся.

— Знаете, — сказал он мне, — я наконец чувствую, что начинаю существовать как главный инженер. Ещё, так сказать, вчерне, но начинаю. А помните, — тон его из шутливого стал серьёзным. — Я вас ещё тогда просил написать о положении конструкторов на производстве, всё то, о чём сегодня говорили... Два года назад, да?

Да, я помнил. В тот же день вечером я перелистал старые записные книжки. Ярославль, «Запорожсталь», Таганрогский котельный завод, Россельмаш, ленинградские заводы... И после посещения каждого завода оставались записи:

«Необходимо учитывать выполнение исследовательских работ наравне с производственными заказами».

«Количество поданных рацпредложений возросло, а процент принятых снизился, а процент внедрения ещё более того».

«Своими силами пришлось делать машину для определения циклической вязкости материалов. Обошлась она в семь раз дороже. Но зато, как объяснил главный инженер, это быстрее, чем хлопотать о размещении заказа».

«Начальник цеха Т. уволил никуда не годного работника, на следующий день пришло указание от райкома и обкома профсоюза восстановить его на прежнем месте».

Часто упрекают писателей в плохом знании жизни. Перечитывая свои заметки и вспоминая очерки, написанные на этом материале, я думал о том, что читатели, вероятно, тоже винили автора в поверхностном изучении материала, потому что в очерках исчезало многое из того, что волновало и тревожило людей на многих наших заводах.

* *
* *
* *

На совещании присутствовала небольшая группа писателей, чьё творчество так или иначе было связано с промышленностью. Полгода назад мы встречались в этом же зале в дни съезда писателей. И вот сейчас как будто снова продолжался разговор о литературе. Его продолжали живые герои наших произведений, они не занимались разбором, оценкой стихов или романов, и тем не менее они поднимали насущнейшие вопросы нашей литературной жизни. Они рассказывали о конфликтах, рождённых в недрах цехов, лабораторий. Технологи на некоторых заводах получают в зависимости от количества проработанных деталей, следовательно, такая система оплаты ведёт к тому, что технологи как бы заинтересованы в сложности изготавливаемых машин.

Институт выпуск аспирантов планирует, и получают учёные «по плану», а не по призванию. Заводу невыгодно для выполнения плана введение новой техники...

Таких примеров, в той или иной мере типичных, приводилось на совещании множество. Да и каждый из нас сталкивался с ними, собирая материал для своих произведений. Но поднимала ли наша литература эти вопросы? Мало и робко. Не только в романах, но и в очерках, в газетных статьях мы избегали обобщений. Избегали рассказывать о тех сомнениях и тревогах, которыми делились с нами наши будущие герои и которые мучили нас самих. Мы считали эти трудности несущественными и несостоятельными художественных произведений. Мы успокаивали себя: важнее писать об успехах, эти недостатки временны, да и, может быть, они свойственны только данному предприятию. Мы снимали с себя ответственность — это дело министерств, это вопросы не нашей компетенции. В сущности это были то же зазнайство, та же самоуспокоенность, та же потеря чувства ответственности, о которых говорил Н. А. Булганин, вскрывая причины недостатков в промышленности.

С этой же исторической трибуны полгода назад в приветствии ЦК КПСС Второму съезду писателей прозвучало требование: «Наша литература призвана не только отражать новое, но и всемерно помогать его победе». Создание образа героического современника требует отбора конфликтов, типических обстоятельств. Помогать победе нового — значит отбирать такие обстоятельства, которые с наибольшей силой выражают противоречия нашего общества. Не обходить, не замазывать, не сглаживать эти противоречия, а вводить своих героев в самую гущу этих противоречий. Вселить в читателей то же беспокойство, недовольство собой, которое мы испытали, слушая речи на совещании.

Участники совещания — директора, молодые рабочие, министры, — они не только выдвигали проблемы, они намечали пути их решения. Желание помочь новому заставляет и писателя искать какие-то конкретные ответы на вопросы, которые ставит жизнь. Пусть эти ответы не бесспорны, не единственны, но ведь и спорность их тоже поможет поискам истины.

— Подскажите нам новые методы руководства, создайте образы директоров, партаргов, у которых мы могли бы научиться. Покажите нам, например, социалистическое соревнование настоящее, живое, горячее, которое мы могли бы взять себе в пример, — вот о чём просили писателей в беседах участники совещания. И это было тоже требованием помощи новому. Можно было, конечно, возражать, ссылаясь на некоторые успехи советской литературы, сказать, что Батманов многому учит в искусстве руководства, что, читая «Журбины», молодой рабочий задумывается над своим местом в жизни, что образ Насти Ковшовой пробуждает у молодых специалистов чувство требовательности, принципиальности. Но речь шла не о достижениях, а о задачах... Материалы совещания наполнили горячей кровью фактов и наши размышления о противоречиях, свойственных социалистическому обществу.

Мы покидали совещание со сложным чувством, где была и гордость за мудрую зоркость нашей партии, и недовольство собой, своей работой, и нетерпеливое желание привить каждому советскому человеку, каждому нашему читателю эти чувства, вырастить в нём вражду к самодовольному спокойствию, ко всему, что порождает равнодушие и кичливость.

Ещё светятся совсем близко от Москвы керосиновые лампы, пыhtят на железных дорогах старомодные прожорливые паровозы, вязнут в сырой пашне слабосильные громоздкие тракторы, уходит в воздух драгоценный азот на металлургических заводах, выпускаются устарелые грузовики, которые растрачивают впустую десятки тысяч тонн горючего. Ещё восседают кое-где в институтах невежественные, но воинственные победоносиковы и оптимистенко различных мастей и калибров...

В каждом сердце рождалось страстное, нетерпеливое желание скорее что-то сделать, как-то вмешаться, помочь. Порой возникало ощущение, как будто весь огромный зал, тысячи людей — это один человек, способный заглянуть во все уголки своего большого дома, беспокойный, рачительный, требовательный хозяин. Он много сделал, но сегодня он вдруг увидел, как много ещё надо сделать.

У поэта Вадима Шефнера есть такая строфа:

Когда лампа полночная светит
И бумага лежит на столе,
Я не только за строки в ответе —
Я в ответе за всё на земле.

Мы за всё это в ответе, каждый из нас!

АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ

Корреспонденция

1

В Харькове я оказался благодаря детскому велосипеду и четырём турбостроителям. Я заметил их ещё в Кремле. Стараясь отгадать, кто они, я исподволь наблюдал за ними. Они сидели вместе, занимая четыре кресла в одном ряду. У двоих, что сидели по краям, поблёскивали на пиджаках лауреатские медали. Кто-либо из них приходил в зал задолго до начала заседаний, чтобы занять места для остальных. Так они сидели четвером, внимательно слушая ораторов, обмениваясь впечатлениями.

Один раз они остались втроем. Это было, когда Николай Александрович Булганин объявил, что слово имеет токарь-карусельщик Харьковского турбинного завода Кисляков. Тогда один из них, сидевший с краю, поднялся и, подбадриваемый напутствиями товарищей, с напряжённым лицом пошёл к трибуне. Трое других подались вперёд, поправляя наушники.

Кисляков начал речь. Когда он говорил о своём паротурбинном цехе, который успешно, из квартала в квартал, выполняет программу, но который мог бы давать ещё больше продукции, один из товарищей Кислякова, крупноголовый блондин, с досадой махнул рукой.

— Ты не только про свой цех, про весь завод тоже скажи, — с горячностью бросил он, словно Кисляков мог его услышать.

Но вот Кисляков стал ругать Уралмаш и Ново-Краматорку, которые срывают поставку заготовок турбостроителям, и все трое радостно заулыбались: видимо, Кисляков попал в точку.

Когда Кисляков вернулся на своё место, крупноголовый блондин первым пожал ему руку.

— Хорошо говорил. Только про завод надо было побольше. И про «что нам мешает» развить.

Другой, как и Кисляков с медалью лауреата, улыбнулся.

— Если так, то я могу упрекнуть Кислякова: почему он не сказал ни слова о конструкторах.

— Может, вам ещё дадут слово, — сказал Кисляков.

— Вряд ли, — товарищи Кислякова дружно покачали головами.

На следующий день я был в Министерстве тяжёлого машиностроения. В просторном вестибюле и больших залах была организована своеобразная выставка машин, выпускаемых заводами министерства. Машины эти были столь огромными, что ни одна из них не поместилась бы здесь. На стендах стояли модели турбин и буровых машин, мостовых кранов и шаровых мельниц, в витринах висели фотографии мощных шагающих экскаваторов и гигантских прокатных станков, проекты новой техники. Лишь одна машина была представлена здесь в натуральную величину. Она стояла на самом видном месте и пользовалась необычайным успехом. Никто не проходил мимо неё без того, чтобы не высказать своей оценки.

— Тяжмаш пошёл в гору!

— Молодцы харьковчане.

— Где уж нам с нашими шагающими угнаться за этим чудом индустрии.

Этим «чудом» был обыкновенный трёхколёсный детский велосипед. Если и было в нём что-либо от тяжёлого машиностроения, то только вес. Я попробовал эту детскую игрушку на руку: действительно тяжёлая. Она весила не меньше полпуда. Каково управляться с такой игрушкой пятилетнему ребёнку!

В этот момент я увидел Кислякова и его товарища — высокого блондина. По тому, как они, смущённо улыбаясь, слушали ехидные реплики о велосипеде, нетрудно было догадаться, что они имеют к нему какое-то отношение. Табличка, прикреплённая внизу, подтверждала это — да, детский велосипед выпущен Харьковским турбинным заводом.

Я подошёл к харьковчанам, как к старым знакомым. Высокий блондин — его звали Павел Георгиевич Деев — оказался главным инженером турбинного завода.

— Эх, Кисляков, — проговорил Деев, — не сказал ты в Кремле о велосипеде. А надо бы. Вот он у нас где сидит, — обратился Деев ко мне, проведя ладонью по горлу. — Приезжайте к нам на завод. Посмотрите, как харьковские турбинщики делают детские игрушки. Материала для вас хватит. Не только о велосипеде...

Через день я вылетел в Харьков.

2

Большой разговор, начавшийся в Кремле, продолжился на заводах и шахтах, в исследовательских институтах и конструкторских бюро, когда участники совещания вернулись к своим рабочим местам. Пошла повседневная кропотливая работа, претворяющая в жизнь то, о чём говорилось на совещании.

Первенец первой пятилетки — харьковский турбинный завод имени Кирова — не представлял исключения из общей картины. То, что происходило в эти дни по всей стране, как в капле воды, отражалось и здесь.

Это было начало больших перемен.

Неискущённому взгляду показалось бы, что на заводе всё идёт по старому, как шло неделю, месяц тому назад: ещё сходили с поточных линий устаревшие машины, ещё были в ходу карты старой технологии, ещё со скрипом и медленно ворочалась громоздкая ведомственная машина, ещё томилась под сукном сотни смелых начинаний и изобретений, но уже повсюду ощущалось веяние нового. Оно, это новое, было пока почти незаметным, как незаметны молодые ростки растений, пробивающиеся сквозь толщу земли к свету. Но семена были посеяны, и они были брошены на благодатную почву. Уже недолго было ждать первых всходов.

И это новое прежде всего и ярче всего проявлялось в ощущениях и чувствах тех, кто был в Кремле и возвратился теперь домой.

Главный инженер сначала сам не мог понять, что происходит. Без сомнения, завод остался точно таким же, каким был неделю назад, когда главный инженер уезжал в Москву. И вместе с тем что-то изменилось на заводе.

Это непонятное для Деева ощущение появилось почти сразу после того, как он поднялся в лифте на седьмой этаж огромного производственного корпуса и начал обходить цеха. Такой порядок обхода был установлен издавна: спускаясь по лестничным пролётам вниз, из цеха в цех, главный инженер как бы следовал за технологическим процессом турбинного производства. Процесс этот был сложным и длительным: от той минуты, когда первая заготовка ложилась на станок, до того момента, когда заканчивались испытания готовой турбины, проходили многие недели большого, кропотливого труда. Однако перед глазами человека, который обходил цеха, этот процесс ускорялся в сотни раз, сжимался до нескольких часов.

В первом цехе на шлифовальных станках доводились до блеска лопатки будущих турбин. В другом — плыли на кранах большие металлические диски. В третьем — диски и лопатки сходились вместе. Их соеди-

няли, клепали, шплинтовали, балансировали, насаживали на валы и, наконец, отправляли на сборку.

Раскрытые внутренности турбин, лежавших на сборочных стандах, щетинились сотнями лопаток. Куда бы ни направлял шаги Деев, везде он видел лопатки. Они-то и тревожили главного инженера. Деев снова поднялся в лопаточный цех, где начиналось турбинное производство.

Из металлических брусьев здесь вырезались тысячи лопаток самой различной формы — плоские, горбом, в виде лодочки, винтовой лопасти, большие и маленькие, от пятидесяти килограммов до тридцати граммов весом. Десятки станков, выстроившиеся по обеим сторонам длинного пролёта, последовательно обрабатывали детали.

Главный инженер прошёл в конец пролёта, взял со шлифовального станка готовую лопатку, ещё тёплую после шлифовки, и положил её рядом с бруском. Он рассматривал заготовку и готовое изделие так, словно видел их впервые. Тонкая лёгкая лопатка казалась совсем крохотной в сравнении с бруском, из которого она была сделана. Лопатка была в пять раз легче и меньше бруска. Куда же делась остальная часть бруска? На этот вопрос давали ответ большие ящики с металлической стружкой, которые стояли возле каждого станка.

Да, именно так изготовлялись лопатки в лопаточном цехе, который было бы правильнее назвать цехом по производству стружки. Четыре пятых каждого бруска, обрабатываемого в цехе, превращалось в стружку.

Здесь изготовлялась стружка всех сортов и видов — спиральная, кольцевая, пружинная, конусная, всех цветов и оттенков — яркзолотистая, жёлтая, бурая, темнофиолетовая.

Стружка была мелкая и рассыпчатая, как солнечные блёстки на воде, длинная и вьющаяся, как русые кудри, матовая и блестящая, сухая и маслянистая, колючая и гладкая, порошкообразная и пылевидная, холодная и горячая.

Стружка текла бесконечными лентами из-под резцов, крошилась под фрезами, рассыпалась веером золотых брызг под шлифовальными кругами, завивалась, сплеталась толстыми жгутами. Стружку поливали маслом, смачивали молочной эмульсией. Её собирали в большие металлические ящики, но всё равно она шуршала и хрустела под ногами, осыпалась со станков, как лепестки увядших цветов, покрывала толстым слоем стеллажи, прилипала к одежде. Казалось чудом, как это только удавалось людям извлекать из такого обилия стружки маленькие детали готовых лопаток.

Стружка производилась в цехе в таких огромных количествах, что людям, работающим здесь, приходилось всё время ломать голову — как бы ускорить процесс её производства, как бы снять её побольше, по крупнее. И вот в процессе производства стружки начинали рождаться рационализаторские предложения, начинали применяться, в сущности освоенные вовсе не для этого, скоростные и силовые режимы резания, тщательно испытывались особые, из твёрдого сплава, резцы, которые снимали вдвое и втрое больше стружки, чем обычные, устанавливались новые и новейшие станки, которые одним махом справлялись с бруском, сдирая с него добрую половину и выкидывая из себя стружку в виде кусков стали с острыми зазубренными краями, напоминающими осколки снаряда.

Словом, это было вполне современное производство, организованное по последнему слову техники, — производство стружки. Никому не нужной, никчёмной стружки, годной разве для ёлочных украшений и мишуры. И уж несомненную ценность, редчайшую находку представила бы эта стружка для сатирического пера. Ведь хождения стружки, по сути дела, только начинались.

Как и лопатки турбин, стружка производилась из особой прочной дорогостоящей стали. Выполняя план сдачи стружки, люди собирали её в ящики, грузили в вагоны, везли по железной дороге, плавил в мартеновских печах, пропускали через прокатные станы, разрезали на бруски и снова привозили в тот же лопаточный цех, где снова эти же бруски превращались в стружку. Затем круговорот стружки повторялся в третий, четвёртый раз.

Труд сотен людей превращался в стружку.

Подобный способ производства складывался годами. Он был хорошо налажен и освоен, укоренился в сознании людей, казался им единственно возможным и правильным способом.

Деев молча продолжал разглядывать лопатку, лежавшую рядом с бруском. То, что раньше было так привычно, теперь кололо ему глаза. К Дееву подошёл начальник цеха.

— С приездом, Павел Георгиевич! Какие новости в Москве?

— Вот у вас, я вижу, никаких новостей нет, — сухо ответил Деев.

— Какие у нас новости, — охотно согласился начальник цеха, — конец месяца, гоним план. Тут не до новостей.

Да, на заводе всё оставалось попрежнему. Проходя по цехам, Деев снова и снова убеждался в этом.

По-старому обтачивали колёса, по-старому нарезали резьбу на винтах.

На огромном токарном станке вращалась четырёхметровая лопатка гидротурбины. Половинки её с шумом рассекали воздух, пуская по цеху ветряные вихри. Слышался резкий удар. Это резец, обрабатывающий торец лопатки, на какое-то мгновение соприкасался с металлом, выбрасывая толстую изогнутую стружку. Затем резец бездействовал, пока к нему не подлетала вторая половинка лопатки. Снова короткий удар, снова холостой ход. Этот холостой ход в десять раз превышал рабочее время. Мощность станка использовалась лишь на шесть—восемь процентов. И здесь была своеобразная «стружка» — пустая трата сил и времени.

Проходя мимо участка, на котором работал Кисляков, главный инженер вспомнил выступление Кислякова в Кремле. Знатный токарь-карусельщик говорил с трибуны:

— Станок у меня огромный, а готовую деталь приходится в лупу рассматривать: за стружкой её и не видать вовсе.

Вопрос о стружке вырастал в государственную проблему. Завод производил тонны и тонны стружки. Так было. Но так не должно быть больше.

Примерно такие же, новые ощущения были и у Шубенко, главного конструктора завода, и у Карпова, парторга ЦК на заводе, и у Кислякова — у всей четвёрки, сидевшей вместе в зале Кремлёвского дворца. Все четверо смотрели на свою прежнюю работу новыми глазами и находили в ней многое такое, чего не замечали прежде.

Главный конструктор Шубенко, едва придя в бюро, сразу же вместе со своим заместителем занялся проектом, который надо было сдавать через два дня.

— Ну вот, — сказал через несколько часов Шубенко, откладывая в сторону листы проекта. — Сделайте поправки и можно посылать на утверждение. Через месяц запустим новую турбину в производство.

— Через месяц? — усомнился заместитель. — Последний раз мы отсылали проект в январе 1954 года, однако я до сих пор не слышал, что он утверждён.

— Так то же было в прошлом году... Позвольте, да я же ещё ничего не рассказал вам о совещании. Теперь всё пойдёт по-другому... — и Шубенко с увлечением начал рассказывать о поездке в Москву.

Парторг ЦК на заводе Карпов, проходя по цехам, увидел небольшое объявление: «В 7 часов вечера в красном уголке цеха состоится закрытое партийное собрание. Повестка дня: «О ходе выполнения заказа № 1249».

Парторг ЦК неодобрительно покачал головой — увязли наши парторганизации в текучке. В толкачей превратились. Так за планом всё равно не угонишься. Надо активизировать инициативу рабочей массы, направить её на выявление резервов. Карпов достал записную книжку — об этом и следует потолковать на первом же собрании.

Токарь-карусельщик Кисляков едва успел встать к своему станку, как его вызвали на совещание. Сначала пришлось засесть в райкоме партии, потом в обкоме профсоюза. Так и не удалось Кислякову в первый день поработать у станка. А ведь именно об этом и говорил он в Кремле. Стоит рабочему хоть немного выдвинуться, как его начинают растаскивать на части по разным заседаниям. Столько приходится заседать, что и работать некогда. И у Кислякова всё оставалось пока по-старому. Каждый из них обнаруживал свою «стружку», и так или иначе она теперь колола им глаза.

Конечно, каждый из них понимал, что перемены, которым предназначено свершиться в жизни завода, не могут произойти в один день.

Собственно говоря, эти перемены начались ещё в те дни, когда коллектив завода посылал своих делегатов в Москву. Турбостроители везли в Москву не только победные рапорты о своих достижениях, они везли с собой увесистую коричневую папку — своеобразный перечень недостатков, вскрытых на партийно-хозяйственном активе, который состоялся в начале мая. Сколько неиспользованных резервов оказалось у турбостроителей!

Достаточно привести две цифры из коричневой папки — триста и полтора миллиона. Первая из них — число внесённых рабочими и инженерами предложений, вторая — сумма годовой экономии, которая будет от них получена.

Уже тогда коллектив завода потребовал снять с производства безнадежно устаревшую турбину «АК-50». Это требование было тем более знаменательным, что все свои ежемесячные и ежеквартальные премии завод получал за выпуск именно этой устаревшей машины. Отказываясь от неё, коллектив лишал себя всех привилегий, которые она приносила. Это было новое веяние, идущее наперекор установившимся понятиям в отношениях между заводом и государством.

Так было положено начало большим переменам. Но для того, чтобы намеченные планы обрели реальность, надо было в первую очередь выявить и устранить всё то, что стоит на их пути, вымести всю «стружку», которая приводит к бесплодной трате сил и времени, путается под ногами, сдерживает ход нового.

Завтрашний день завода начинался с перетряски вчерашнего.

3

После обеда я отправился на розыски главного конструктора завода Леонида Александровича Шубенко. В конце длинного коридора виднелась дверь с загадочной надписью: «ЦОКБ». Две последние буквы, по всей видимости, означали «конструкторское бюро». О значении «ЦО» оставалось лишь догадываться.

— ЦОКБ, — пояснил мне Шубенко, — это Центральное опытное конструкторское бюро. Только не очень-то верьте этому, особенно букве «О». Это так — лишь вывеска. Народу у нас в обрез. Вот и приходится загружать почти всех конструкторов текущей работой, выполнять срочные заказы. На опыты не хватает ни людей, ни времени. Да и как мы можем

вести исследовательскую работу, если наша экспериментальная база сужена до предела. И, наконец, главное. Заводу невыгодно, чтобы мы занимались экспериментами: расходы на них входят в себестоимость продукции. Получается нелепица: чем шире мы развернём исследовательские работы, чтобы улучшить, удешевить наши машины, тем дороже они будут стоить. Так что заводу выгоднее выпускать устаревшую машину. О каком же «О» может идти речь в таких условиях.

Шубенко похлопал ладонью по толстой папке, лежавшей на столе.

— Вот заготовки к выступлению в Кремле, — пояснил он. — Был в числе трёхсот записавшихся. Выступить, к сожалению, не удалось. Впрочем, о многом сказали и без меня. Есть какие-то общие вещи, которые в одинаковой степени мешают и турбинщикам, и паровозникам, и экскаваторщикам, и автомобилистам.

Шубенко придвинул папку к себе, и я увидел под ней стопку иностранных технических журналов с яркими обложками.

— Итак, — продолжал Шубенко, — почему же, если подвести итог всему, что говорилось на совещании о конструкторах, почему же получился некий разрыв между возросшим уровнем техники и её тылами и штабами? Почему, образно выражаясь, отстали наши тылы? Суженность фронта конструкторских и исследовательских работ, узость экспериментальной базы — первая причина. Отсутствие творческого соревнования, монопольное положение многих конструкторских коллективов — вторая. И организационная немощь — третья.

Как ни горько бывает признавать свои недостатки, это необходимо сделать — иначе всё останется попрежнему.

Мы живём в век бурного развития науки и техники, в век атомной энергии. Каждый день приносит известия о новых, удивительных достижениях человеческой мысли. В таких условиях фактор времени приобретает решающее значение. Кто остановился хотя бы на день — обречён на отставание.

Получилось так, что, расходуя свои силы на удовлетворение сугубо насущных нужд производства, наша инженерная и научная мысль мало думала о завтрашнем дне, не имела возможности создавать необходимые технические заделы. Отставание это, сначала незаметное и, может быть, прикрываемое самоуспокоением, ныне стало сдерживать бурный рост нашей техники.

Вот и получилось, что некоторые наши машины, ещё вчера не уступавшие лучшим образцам мировой техники, сегодня уже устарели, стали, скажем, хуже американских.

Каждый из нас видел на улицах пёструю толпу зевак, окруживших автомобиль новой иностранной марки. Нет-нет да и раздастся над толпой огорчительный возглас:

— Наши так не могут.

Неужели справедливо это замечание? Неужели советские конструкторы менее талантливы, чем конструкторы концерна Форда или компании «Дженерал моторс»?

Ничуть не бывало. Наши могут так. Могут лучше, чем так.

Что же касается уличных зевак... — кстати, не надо обижать их этим словом и не надо обижаться на них! — пожалуй, эти люди интересуются новой техникой больше, чем те горе-руководители, от которых зависит выпуск нового образца автомобиля.

А за советскими инженерами дело не станет. Наша научная и конструкторская мысль не раз доказывала делом свою способность производить совершенные передовые машины — те же экскаваторы, самолёты, турбины. А наши открытия в области атома?

Выходит, талант учёных и конструкторов здесь ни при чём.

Вот пример: мы до сих пор вынуждены пользоваться расчётами аэродинамики проточной части турбин двадцатипятилетней давности, да и то иностранного происхождения. Будь у нас возможность провести эксперименты, мы на основе свежих расчётов легко могли бы поднять коэффициент полезного действия нынешних турбин хотя бы на пять процентов и дать стране минимум двести миллионов рублей экономии на топливе. Если бы из этих двухсот миллионов, которые мы ежегодно выпускаем на наших электростанциях в атмосферу, отпустить нам на исследования хотя бы десять миллионов, через год мы вернули бы сто девяносто. Нет, Министерство финансов упорно не желает получить две тысячи процентов прибыли.

Крайне суженный фронт конструкторских работ приводит и ко второй нашей беде — к отсутствию творческого соревнования. У нас нет и не может быть звериной конкуренции, — Шубенко сердито постучал пальцем. — Но соревноваться нам надо. А соревноваться не с кем. Мы монополисты в своей отрасли. Ленинградский металлический завод держит монополию по другим турбинам. Критиковать нас некому; что бы мы ни сделали — всё хорошо. Недавно наше министерство проявило инициативу — поручило разработывать эскизный проект гидротурбин для новой строящейся гидростанции сразу трём конструкторским коллективам — нашему, Ленинградскому и Сызранскому турбинным заводам. Кто лучше сделает эскизный проект, тот будет делать и технический проект и строить гидротурбину. Очень хорошее начинание — три коллектива загорелись, стараются сделать лучше, чем другие. Такое соревнование надо всячески развивать.

Шубенко заходил по кабинету.

— Это, так сказать, большие проблемы Большой энергетики, — продолжал он, — но, оказывается, Большая энергетика зависит и от мелочей, от того же карандаша. Вот эти «мелочи». Кому-то пришло в голову включить конструкторов в АУП — административно-управленческий аппарат. В стране идёт сокращение аппарата. Приходится сокращать и конструкторов, самых нужных людей для производства. Сократили управленческие расходы, разумеется, не на телеграммы и всякую бумажную волокиту — сократили в первую очередь карандаш и чертёжную бумагу. Покупаем за своего счёт. Вы можете представить себе рабочего, который покупает в лавке сверло? А конструкторы именно так делают. Вспоминаю прошлогоднюю эпопею с десятью чертёжными комбайнами-кульманами. Есть у нас в Харькове небольшой завод: он делает эти кульманы. Однако всё устроено так, что ни тот директор не может нам продать кульманы, ни наш директор не может их купить. А конструкторы лишены самых простейших необходимых приборов. Чтобы раздобыть десяток кульманов, пришлось итти на всяческие унижения и хитрости: прибегать к так называемому «блату», потрясать всеми своими регалиями сначала в обкоме, потом у того директора. Я продолжаю хождение по инстанциям: с какой стороны ловчее бы подобраться к этому директору. Наконец тот смиловился — хорошо, выпущу сверх плана десять комбайнов и продам их вам. Лечу к своему директору — дайте денег на кульманы. Казалось бы, что значат в масштабах нашего завода несколько тысяч рублей. Но, оказывается, директор завода не имеет права истратить такую кучу денег без разрешения высших инстанций. Пришлось заняться комбинациями. Пожалуй, сам великий комбинатор Остап Бендер мог бы позаимствовать нашей находчивости. Провели эти деньги по графе капитального строительства. Купили десять кульманов и с трепетом ждём ревизии. Пронесло... Если бы так пошло дальше, боюсь, что и карандаши попали бы в категорию капитального строительства.

Выходит, и у конструкторов имеется своя, профессиональная «стружка», большая и малая, острая и тупая, которая мешает их работе, заставляет размениваться на мелочи. И эти трудности конструкторской работы не заканчиваются с разработкой проекта. Изобрести, сконструировать — это ещё полдела. Снова начинает путаться под ногами «стружка».

Недаром Николай Александрович Булганин сказал в своей речи в Кремле:

— Не без основания наши отдельные конструкторы и научные работники говорят: легче изобрести машину, чем её внедрить. Для внедрения требуется огромная пробивная сила, а не всякий изобретатель или конструктор такой силой обладает.

Возросший уровень советской техники, её мощный наступательный потенциал требуют самого скорейшего подтягивания и усиления тылов. Вместе с техникой должна совершенствоваться и организация дела. Жизнь настоятельно требует этого. И такую организационную перестройку следует начинать с конструкторских бюро. Ведь конструктор стоит у истоков производственного процесса, он диктует ему свои законы, думает о его будущем.

Может быть, как раз в эту минуту в конструкторском бюро нанесена на чертёж линия, которая только через десять лет воплотится в металл, станет невиданной доселе машиной, могущей оторваться от земли и улететь к звёздам.

Могут сказать — и говорят! — дайте только волю конструкторам, освободите их от контроля и опеки, они такого вам тут навидумывают!..

В этих словах сквозит недоверие к конструктору, стремление умалить его значение в производственном процессе. Именно производство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы конструктор направлял его и вдохновлял.

В день открытия совещания в Георгиевском зале я обратил внимание на высокого угловатого мужчину, который стоял у белой стены и, порывисто жестикулируя, громко, так, что его нельзя было не слышать, говорил соседу:

— Что же выходит с конструкторами? Возьмём такой пример. Машинист получил маршрутный лист. В пути он ведёт состав по своему разумению, сам принимает решения, неся огромную ответственность за сотни человеческих жизней, за ценный народный груз. В пути он первая и последняя инстанция, которая принимает все решения, — выше его разве один светофор. И такой порядок ведения дел никого не удивляет. А теперь представьте на минуту, что рядом с машинистом стоит наблюдатель, который путается у него под ногами, следит за каждым его поступком и то и дело говорит ему: «Ты хочешь тормозить перед выемкой? Я тебе не разрешаю: ты уже превысил план торможения». «Ты хочешь дать свисток вон той корове, что пасётся у дороги? Нельзя: ты уже перерасхододал лимит пара».

Что сказал бы машинист этакому наблюдателю? «Не мешай мне, браток, а то сброшу с паровоза. Раз я отвечаю за маршрут, я и решаю, что мне делать». Выходит, у машиниста больше прав, чем у того конструктора, который делал паровоз. Я отвечаю головой за свою машину, а решать ничего не решаю. За меня решают те, кто ни за что не отвечает.

Обилие наблюдателей и опекунов лишь порождает безответственность в работе конструкторов. Главный конструктор должен быть главным, иначе слово «главный» в обозначении его производственного положения становится пустым звуком, той же «стружкой».

Окрепло мастерство наших конструкторов, во много раз выросла их теоретическая подготовка, организационная сноровка — соответственно должно вырасти и их право на самостоятельность.

Прощаясь со мной, Шубенко сказал с улыбкой:

— Ну вот, если не считать сугубо технических вопросов, выложил вам почти всё, о чём собирался говорить в Кремле. Можете считать это моей непродуманной речью.

4

Я зашёл в этот цех случайно и долго не мог понять, где нахожусь: слишком уж не похоже на турбинное производство. У станков лежат какие-то трубки, колёса. Цех разгорожен кирпичными стенками на клетушки. Я открыл следующую дверь. Ба, да это мой московский знакомый, трёхколёсный детский велосипед. Сколько их тут — голубые, красные, синие!

Увлечённый потоком новых впечатлений, я совсем было забыл о велосипеде.

Что же можно сказать о трёхколёсном детском велосипеде? Вряд ли нужно говорить о его полезности и необходимости. Послушаем лучше, что говорят о нём те, кто его делает.

Перед главным инженером стоит невысокий худощавый мужчина — начальник велосипедного цеха. Деев «прорабатывает» его.

— Подумать только, — жёлчно говорит он, — даже по велосипеду устроили штурмовщину. Сегодня двадцать четвёртое число, а у вас нет ещё и половины плана. Может быть, велосипеды, как турбины, стали изготавливать по второму классу точности?

Начальник цеха смущённо оправдывается. За причиной ходить недалеко.

— Подвели заготовительные цеха...

— Ага, понимаю: вам необходима перлитная сталь, — не унимается Деев.

Вконец пристыжённый, начальник цеха признаёт свою вину. Деев сразу добреет.

— То-то же. Но смотрите, чтобы план был в ажуре.

Начальник цеха клянётся, что план будет «в ажуре». Деев добреет ещё больше:

— Скажу по секрету. Есть предположение, что скоро от нас заберут велосипед.

— Неужели! — Начальник цеха расплывается в улыбке. Он растроган и пускается в излишества: — А то что же случилось? Был я турбинщиком, а стал велосипедистом. Одни убытки приношу заводу. Пошлёте снова меня в паротурбинный, Павел Георгиевич?

Деев утвердительно кивает головой. Довольный такой «проработкой», начальник цеха уходит. Деев говорит:

— В самом деле. Разве станет разумный человек делать велосипеды, которые приносят убыток? На каждом велосипеде завод, и вместе с ним государство теряет двадцать рублей. А в первое время этот велосипед вообще обходился нам втридорога. Я не против велосипеда, у меня самого дети приближаются к велосипедному возрасту. Но нужно и к велосипедам подходить по-хозяйски. Пусть будут специальные заводы по ширпотребу. На Украине наверняка найдётся небольшой машиностроительный завод, номенклатуру которого без ущерба можно передать пяти-шести другим заводам, близким по профилю. А тому заводу отдать все наши цеха ширпотреба — пусть он делает и велосипеды, и детские коляски, и кастрюли, — для него это станет основной продукцией; он наладит поточные, пусть даже автоматические линии, пустит конвейеры. Такой завод завалит республику ширпотребом и будет давать прибыль. В своё время решение о расширении цехов ширпотреба было правильным — большим заводам было легче освоить производство этих изделий. Мы,

например, для своего велосипеда чего только не навывдумывали: автоматы для обработки колёс, нипелей, приспособления для завёртки спиц. И всё равно мы смотрим на велосипед как на второстепенную продукцию. Я начальника цеха больше для острастки проработал. Разве я не понимаю, что значит заниматься нелюбимым делом. К тому же мы злы на велосипед. Он забрал у нас почти пять тысяч квадратных метров производственных площадей. Сколько десятков тысяч киловатт мощности могли бы мы снять с этой площади. А снимаем убытки.

Трёхколёсный детский велосипед может послужить хорошей иллюстрацией к вопросу о специализации производства. Необходимость специализации также диктуется возросшим уровнем техники. Разве правильно, что авиационные заводы вдруг начинают выпускать кровати (причём план на них спускается в тоннах: чем тяжелее будет кровать, тем выгоднее заводу), Уралмаш начинает вдруг выпускать шумовки, турбинный завод — велосипеды.

Заводы загружаются несвойственной им продукцией, распыляют свои силы.

В кабинете главного инженера то и дело звонит телефон. Идёт второй день, как участники совещания приступили к работе, к работе по-новому. И это новое — не только на Харьковском турбинном заводе.

Говорит Ново-Краматорка. Снабженец, уехавший «выколачивать» детали, докладывает:

— Обещают отгрузить поковки. Говорят, наш Кисляков проработал их в Кремле. Теперь они пошевеливаются.

Звонит директор проектно-технического института:

— Разрешите принести нашу работу. Свели тысячу видов фрез для обработки лопаток к двадцати типам. Поможет?

— В пятьдесят раз упростит документацию, только и всего, — отвечает Деев. — Приносите сегодня же. Посмотрим.

Деев кладёт трубку.

— Кстати, о лопатках. Кончаем производить стружку. Главный технолог начинает переводить лопатки на штамповку. Думаем послать инженера на Ленинградский металлургический завод, там уже год назад перешли на штамповку лопаток. Надо поучиться у них. А вообще, если уж зашла речь о специализации, надо создать завод или один лопаточный цех, который штамповал бы лопатки для всех турбостроителей страны. Тысячи тонн сэкономленного металла. Наша стружка, если покопаться в ней, — самый настоящий пережиток древней технологии, пережиток тех времён, когда техника ещё не знала штамповки. Тогда волей-неволей приходилось обрабатывать брусок всякими механическими способами: точить, долбить, строгать. А теперь, когда старая технология изживает себя и штамповка всё более вытесняет механообработку, для этого оправданий нет. Или возьмите тот же примитивный способ токарной обработки направляющих лопаток гидротурбин. Станок работает на удар. Ведь это, по сути, — прямое издевательство над станком, не говоря уже о том, что сам станок загружается при этом всего на шесть—восемь процентов. Хватит крутить пустую лопатку, мешать ею воздух! Устанавливаем в цехе специальный станок. Лопатка будет неподвижна, двигаться будет фреза, обрабатывающая её торец.

Деев сделал энергичное движение рукой и закончил:

— Пора, пора выметать всю стружку вон!

Снова зазвонил телефон. Говорил кто-то из цеха, повидимому, один из начальников отделов. Главный инженер резко изменил тон:

— Ай-яй-яй. Сам не может решить, бедняга... Что же это за начальник цеха, который не может самостоятельно решать вопросы? И зачем вы только мне об этом докладываете?.. Согласовать? Никаких согласо-

ваний. Приказываю вам ничего не решать и тотчас покинуть цех. Хватит работать за начальника цеха. У вас есть свои дела, думайте о механизации. Пусть начальник цеха сам принимает решение — тогда мы сразу увидим, на что он годен... Нет, нет, сейчас же шагом марш из цеха.

Главный инженер раздражённо бросил трубку.

— Привыкли к нянькам. И мы, чего греха таить, сами привыкли быть няньками. Каждый пустяк увязываем, согласовываем, утрясаем. Погрязли в текучке, дальше некуда. Минуты свободной нет, чтобы подумать о завтрашнем дне. У нас прежде, ещё месяц назад, считали: тот главный инженер хорош, который умеет гонять детали по цехам. Надо поворачивать мозги от таких понятий. Мы сегодня на совещании у директора решили — разделить инженерные силы на заводе. Как разделили Госплан. Теперь у нас одни инженеры будут заниматься текущей работой, а другие — обеспечивать производство на месяц, на год, на два вперёд. А конструкторы — так на всю следующую пятилетку. Надо бы создать специальную штатную единицу — «инженер Заётра». Пусть он — конструктор или технолог — сидит на заводе, ходит по цехам и думает только о завтрашнем дне. О сегодняшнем дне запретить ему думать под страхом наказания. Вот тогда пойдёт дело.

Улетая из Харькова, я невольно вспоминал прошлые поездки на заводы. Как трудно бывало раздобыть так называемый критический материал, нащупать недостатки. Их всячески старались упрятать, сгладить, затушевать. Как много действовало согласно поговорке: не выносить сора из избы.

Как часто приходилось слышать такой ответ:

— Что нам мешает? Нам ничего не мешает. Разве при нашей системе нам может что-нибудь мешать?

Теперь другое. Люди не таят свои недостатки, откровенно и решительно вытаскивают их на свет, чтобы убить их огнём критики. Мы заговорили о наших недостатках в полный голос. Тем быстрее мы сметём их с дороги.

Разумеется, тут не обойдётся без борьбы. Не об этом ли свидетельствовала характерная фраза, услышанная мной в одном из цехов перед самым отъездом:

— Главный закручивает гайки, — говорил сердитый скрипучий голос за перегородкой. — Видно, дали им жару в Москве.

Обывательщина — тоже одна из причин, порождающих «стружку».

Начинается борьба за новое. Будущее — за ним.

Харьков—Москва. Май



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХИ

С аварского

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Мы вместе по зимнему лесу снегами
Бродили весь день, но понять не могу,
Как вышло, что рядом с моими следами
Твоих я не вижу следов на снегу.

Я слышал — здесь только что песни звучали.
Ты песни мне пела, а лес повторял.
Твои онемевшие пальцы не я ли
Сейчас вот в ладонях своих согревал?

За ель забежав, покрасневшись от стужи,
Дразнила меня: «Догони, не боюсь!»
И если сейчас не тебе, то кому же,
Сбиваясь, читал я стихи наизусть?

Не ты ли смеялась, не ты ли сердилась,
Меня упрекала за то, что не прав.
Скажи, не тебе ль я сдавался на милость,
Все шаткие доводы исчерпав?

Со мною ты шла по снегам непримятым.
Но где же следы? Я понять не могу...
Ты где-то, а мысли, — а мысли крылаты,
От них не бывает следов на снегу!

Перевод Н. Гребнева.

Я ВЛЮБЛЕН В СТО ДЕВУШЕК

Я в сотню девушек влюблён,
Они везде, повсюду,
Они и явь, они и сон,
Я век их помнить буду.
Я помню давнюю весну:
Мальчишка босоногий,
Я встретил девочку одну
С кувшином на дороге.
Казалось, девочка была,
Совсем как тот кувшин, мала.

Вода была холодной в нём —
 Я знал наверняка, —
 Но обожгла меня огнём
 Вода из родника.
 Таил насмешку быстрый взор...
 Её люблю я до сих пор.

А позже — в стужу и весной —
 У сизых волн каспийских
 Я брёл за девушкой одной,
 Не подходя к ней близко.
 Ходил за ней я, как во сне,
 По улицам кружа.
 А чтоб увидеть тень в окне
 Второго этажа,
 Влезал я на высокий клён...
 Я до сих пор в неё влюблён.

Не позабыть, пока живу,
 Мне девушки одной,
 Что как-то ехала в Москву
 В одном купе со мной.
 Спасибо, дорогой кассир,
 Что дал места нам рядом,
 Что с ней в одно окно на мир
 Одним смотрели взглядом.
 Так, рядом с ней, вдвоём, без слов,
 Всю жизнь я ехать был готов.

Мне злая девушка одна
 И до сих пор мила,
 Что, раздражения полна,
 Стихи мои рвала.

Люблю я взгляд весёлых глаз
 Одной девчонки милой,
 Что в восхищенье столько раз
 Стихи мои хвалила.

Я в злую девушку влюблён,
 В простую девушку влюблён,
 И в очень строгую влюблён,
 И в недотрогу я влюблён,
 И в равнодушную влюблён,
 И в девушку смешливую,
 Я и в послушную влюблён,
 Влюблён я и в строптивую.
 Я в каждом городе влюблён,
 На всех путях-маршрутах,
 В студенток разных я влюблён
 Всех курсов института.
 Своей любовью окрылён,
 Их всех зову я «милой» —
 Я в сотню девушек влюблён
 С одной и той же силой.

Но ты мрачнеешь — неспроста!
Ты даже с места встала.
— Ах, значит, я одна из ста?
Спасибо, я не знала!..

Я отвечаю: нет, постой,
Мой друг, все сто в тебе одной!
Сто разных девушек в тебе,
А ты одна в моей судьбе!..

Когда бежал я вдоль села
Мальчишкой босоногим,
Ведь это ты с кувшином шла
По узенькой дороге.
А в городе, средь суеты,
Где Каспия прибой,
Не замечала разве ты,
Как шёл я за тобой?
Потом — ты помнишь стук колёс
И поезд, что в Москву нас вёз?

Сто девушек — всё ты сама,
Ты их вместила всех:
В тебе — и лето и зима,
В тебе — печаль и смех.
Порой ты равнодушная,
Бываешь злой — не скрою,
Порою ты послушная
И нежная порою...
Куда бы ни летела ты,
Я за тобой летел,
Чего б ни захотела ты —
Добыть тебе хотел.
С тобою шли мы по горам,
Где туч стада лежали,
И к самым разным городам
Мы вместе подъезжали.

Я в сотню девушек влюблён
С одной и той же силой...
Тебя, любовью окрылён,
Сто раз зову я «милой».

В тебе сто девушек любя,
В сто раз сильнее люблю тебя!

*Перевод Елены Николаевской
и Ирины Снеговой.*

★ ★
★

Промолвил отец мой, вздыхая,
Пред тем как навеки угас:
«Я знаю, вода ключевая
Меня б исцелила сейчас,

Мне горная влага поможет,
 Я, выпив её, не умру!»
 И воду в сосудах из кожи
 Ему принесли поутру.
 И поднялся старый отец мой,
 Холодной воды отхлебнул
 И вспомнил далёкое детство,
 Повисший над бездной аул.
 И щёки его заалели,
 И стал он ровнее дышать,
 И ожил отец на неделю...
 Но вот ослабел он опять.

Промолвил отец мой, вздыхая,
 Пред тем как навеки угас:
 «Цветы луговые, я знаю,
 Меня б исцелили сейчас...»
 И дети, услышав об этом,
 С нагорий родимой земли
 Десятки пунцовых букетов
 Наутро отцу принесли.
 Вдохнул он знакомый и сладкий
 Далёких лугов аромат
 И вспомнил о той, что украдкой
 Любил он полвека назад.
 И щёки его заалели,
 И стал он ровнее дышать.
 Он ожил ещё на неделю...
 Но вот ослабел он опять.

Сказал мой отец, умирая,
 Пред тем как навеки угас:
 «От песен родимого края
 Мне стало бы легче сейчас!»
 Услышав об этом, горянки
 Прошли через горы и лес
 И в город пришли спозаранку,
 И песня взвилась до небес.
 И вспомнил старик поседелый
 Всё то, чем дышал он и жил,
 Все песни, которые пел он,
 Которые в жизни сложил.

Хожу я по отчему краю,
 Дорогам не видно конца.
 Журчит ли вода ключевая,
 Цветы ль головами кивают,
 Доносится ль голос певца,
 Встаёт мой отец, оживая,
 И тихие слышу слова я —
 Последние просьбы отца.

* * *

Стихи

он о жене сегодня пишет,
 Что не включает в жизнь часов и дней,
 Когда её не видит и не слышит,
 Как вдалеке он думает о ней.
 Жене он пишет:

«Свет мой дорогой!

Любимая!

Ищу тебя по свету!

Где ты?..»

Жена из комнаты другой
 Вошла тихонько в кабинет к поэту.
 Дотронулась рукою до плеча,
 С улыбкою в лицо ему взглянула...
 Поэт очнулся,

сразу встал со стула

И зашагал по комнате, крича:

— Опять?

Зачем ты ходишь?

Вот беда —

Работу прерываешь мне всегда!

Перевод Мих. Лукоинна.



ВИКТОР УРИН

★

ГВОЗДИКА

Лежат в конверте семена гвоздики.
Они здесь и некстати, может быть,
но наряду с важнейшим и великим
уместно и о них поговорить.

О том, как расцветут они несмело,
как их полюбит городок степной.
Гвоздика...
Но совсем не в этом дело,
а в том, что муж поссорился с женой.

Так получилось.
Дело было в мае.
Не то чтоб рвался он на целину...
Он просто согласился, понимая,
что нужен, и уехал в ту весну.

С женой при людях попросался чинно,
не губы в губы, а к руке рука.
Не всё ль равно, какая там причина,
чтобы ответить сухо:
— Ну... пока...

А он считал, она по белу свету
за ним пойдёт хоть к чёрту на рога.
А нет так нет.
На нет и спросу нету.
Разведен мост. Расстались берега.

И он один живёт на новом месте,
тоскует и не пишет никому.
Попробуйте, в его-то шкуру влезьте,
судите сами, каково ему.

Но вот посланье...
Полное значенья!
А он считал, что сожжены мосты,
совсем не думал, что на день рожденья
она, как прежде, принесёт цветы.

И радовали, мучили догадки.
Решится ли? Приедет ли она?

Растроганный, он приготовил грядки
под эти дорогие семена.

Шли дни за днями, и казаться стало,
что вовсе не цветы —
она сама
под окна в палисадник прибежала
из этого хорошего письма...



Евг. ЕВТУШЕНКО

★

ЗАВИСТЬ

Завидую я.
Этого секрета
не раскрывал я раньше никому.
Я знаю, что живёт мальчишка где-то,
и очень я завидую ему.
Завидую тому,
как он дерётся,—
я не был так бесхитростен и смел.
Завидую тому,
как он смеётся,—
я так смеяться в детстве не умел.
Он вечно ходит в ссадинах и шишках —
я был всегда причёсанней,
целей.
Все те места, что пропускал я в книжках,
он не пропустит.
Он и тут сильнее.
Он будет честен жёсткой прямою,
злу не прощая за его добро,
и там, где я перо бросал: «Не стоит...»,
он скажет: «Стоит!» —
и возьмёт перо.
Он если не развяжет,
так разрубит,
где я ни развяжу,
ни разрублю.
Он, если уж полюбит,—
не разлюбит,
а я и полюблю,
да разлюблю.
Я скрою зависть,
буду улыбаться.
Я притворюсь, как будто я простак,—
кому-то же ведь надо ошибаться,
кому-то же ведь надо жить не так...
Но сколько б ни внушал себе я это,
твердя:
«Судьба у каждого своя...»,
мне не забыть,
что есть мальчишка где-то,
что он добьётся
большего, чем я.

* * *

С усмешкой о тебе иные судят:
«Ну кто же возражает —
. даровит.

Но молод, молод.
Есть постарше люди.

Чего он всех быстрее норовит?»
Внушают:

«Повзрослеешь —
поумнеешь.

Не сразу всё.
Читай побольше книг.

Ты погляди —
вот Николай Матвееч...

А он всего трудом,
трудом достиг!»

Качают головами,
сожалея:

«Да, юность, юность —
что поделать с ней! —
казаться хочет лет своих взрослее...»

Ты слушай,
а не слушайся...
Взрослей!

Таланту,
а не возрасту будь равен,—
пусть разница смущает иногда.

Ты не страшись
быть молодым, да ранним.

Быть молодым, да поздним —
вот беда!

Пусть у иных число усмешек множишь,
а ты взрослей —

не бойся их смешить.

Взрослей,
пока взрослеть ещё ты можешь,

спеши,
покуда есть куда спешить...



Д. САМОЙЛОВ

★

ПЕРВЫЙ ГРОМ

Стоят дубы с обнажёнными сучьями,
Как молотобойцы с рукавами засученными.
Ударят кувалдой по пням-наковальням —
Откликнется роща громом повальным.
Как мехи, ветрами задышат тучи,
Как мехи, загудят, запоют, заревут.
И калёную молнию бросит подручный
Остывать, как подкову готовую, в пруд.

МОСТ

Стройный мост из железа ажурного,
Застеклённый осколками неба лазурного.
Попробуй, вынь его
Из неба синего —
Станет голо и пусто.
Это и есть искусство.



НИКОЛАЙ ДУБОВ

★

СИРОТА

Повесть*

17

Маленький Слава засорил кирпичной пылью глаз. Промывание не помогло: глазное яблоко покраснело, веки набрякли, из-под них всё время струилась слеза. Прикреплённый к детдому педиатр Софья Наумовна, увидев окривевшего Славу, раскричалась и потребовала, чтобы его немедленно отправили в детскую поликлинику к специалисту. Вести больного поручили Лёшке. Притихший Слава ухватился за его руку и, спотыкаясь от непривычки смотреть одним глазом, покорно побрёл в поликлинику. Там, пока, вывернув ему веки, промывали глаз, а потом капали лекарство и бинтовали, он держался храбро, только старался всё время не выпускать Лёшку из поля зрения. После перевязки он повеселел: боль утихла, толстая повязка закрывала половину лица, и все смотрели на него с сочувствием, что Славе очень нравилось.

На обратном пути, в сквере, Слава выдернул свою руку из лёшкиной и, смешно наклонив голову зрячим глазом вперёд, побежал: под кустом, качаясь на дрожащих лапках, пищал мокрый, взъерошенный котёнок. Слава подхватил его, начал гладить и ласково приговаривать. Котёнок выпустил свои крохотные острые когти, вырвался и, выгнув дугой спину, запрыгал прочь. Слава бросился следом. Навстречу, засунув руки в карманы, шёл подросток с бесцветными, гладко причёсанными волосами и бледным лицом. Поравнявшись с котёнком, он дрыгнул ногой — котёнок, переворачиваясь, взлетел на воздух и шлёпнулся на газон. Слава ошеломлённо остановился, задрожал и, подняв кулаки, бросился на кошачьего обидчика... Тот, презрительно улыбаясь тонкими губами, дождался нападения и встретил Славу тычком, от которого тот растянулся на аллее. Паренёк опять сунул руки в карманы, но сейчас же выхватил — к нему ринулся Лёшка.

Белобрысый сильно ударил его в скулу, но Лёшка даже не почувствовал боли и так заработал кулаками, что тот отпрянул и пригнулся. Лёшка снова подскочил, но тут же с размаху ударился головой обо что-то твёрдое, перед глазами его всё покачнулось и опрокинулось. Как сквозь стену, он услышал негодующий крик «Камнем, подлюка?!», глухие удары и удаляющийся топот. Лёшка опёрся на руки, поднял гудящую голову. Перед ним, заглядывая ему в лицо, присели на корточки перепуганный Слава и паренёк с толстыми губами и густыми, нависшими бровями.

— Витька?

— О! — заулыбался Витька. — Вот здорово! Я думал, тебя уже нет...

* Продолжение см. «Новый мир» №№ 4, 5, 6 с. г.

Лёшка сел и почувствовал на щеке горячую струйку. Из разбитого надбровья текла кровь.

— Это он камнем, гад... — объяснил Витька. — Я, как увидел, ка-ак дал ему... Здоровый, чёрт! Я с ним уже дрался.

— Ну?

— Меня тоже побил. Раньше... Это Витковский.

Лёшка потрогал разбитое место: там вздувалась опухоль.

— Пойдём к фонтану, помойся, — сказал Витька.

Кровь перестала бежать, Лёшка смыл её водой из фонтанного бассейна. Шишка становилась всё больше. Витька сорвал с куста широкий листок.

— На, приложи.

— Не поможет, — вздохнул Лёшка, но всё-таки приложил. Его беспокоила не шишка. Он опять вспомнил о совете отряда и грозном предостережении Аллы. — Ох, и будет мне!

— А что тебе будет? Разве ты начал?.. Я ведь видел!.. Вот пойду с тобой и скажу... И вон малый — он ваш? — он тоже видел...

— Ты не бойся, — успокоил Слава. — Я скажу, что ты не виноват. Ты же за меня дал ему...

Листок нагрелся, Лёшка выбросил его. Всё равно такую шишку листочком не прикроешь. Как картошка.

— Ладно, пошли, — сказал Лёшка и опять взял Славу за руку.

Витька пошёл рядом.

— А я тебя искал, — сказал он.

— Я тоже... Попало тебе тогда, за ракету?

— Не... не очень.

— Так и не долетела до Луны? — улыбнулся Лёшка. — Больше не стрелял?

— Бросил. Ракеты — чепуха!.. Ты кем будешь? — внезапно остановился он.

— Я? Не знаю.

— А я — моряком. Кабы не родители, я бы сейчас уехал. В школу юнгов, — ответил он на вопросительный лёшкин взгляд. — Только не захотел их расстраивать... Но я всё равно уже учусь. Хочешь со мной? Может, тебя тоже возьмут...

— Куда?

— Как куда? Я ж тебе объясняю: на водную станцию. Это вроде школы будущих моряков.

Перед Лёшкой, как на вспыхнувшем вдруг экране, заблестал простор штилевого моря, «Гастелло», белый пароход махинджаурских мечтаний, зазвучал тревожный голос маяка. И всё исчезло. Под ногами — неровный кирпичный тротуар, вокруг — бурые, растрескавшиеся стволы акаций и рядом — Слава с обмотанной бинтами головой. Лёшка вздохнул.

— Не пустят меня. Директор не разрешит.

— Что значит «не разрешит»?! Вот пойдём сейчас и скажем ей...

Храбрость Витьки сразу увяла, как только он увидел, что лёшкин директор — та самая Людмила Сергеевна, из-за которой ему когда-то досталось. И хотя случилось это давно и теперь она была совершенно посторонней для него, Витька присмирел.

Людмила Сергеевна выслушала спотыкливый рассказ Лёшки о столкновении с белобрысой мальчишкой и, вопреки его ожиданиям, не рассердилась, а только расстроилась. Витьку она похвалила за помощь, и тот снова расцвёл. Рассказ Лёшки показался ему слишком коротким и скучным. Он дополнил его живописными подробностями: «Ка-ак Витковский даст!.. Лёшка — брык... А я Витковскому ка-ак дам!..» — и хотел

рассказать, какой гад этот Витковский, но Людмила Сергеевна сказала, что достаточно, всё ясно.

Несмотря на благодушную встречу, немедленно отпустить Лёшку на водную станцию она не согласилась.

— В другой раз, — сказала Людмила Сергеевна. — Иди, Ксения Петровна перевяжет.

Витька пошёл с приятелем к воспитательнице, посмотрел, как Лёшка морщится и кричит от йода. Потом Лёшка проводил Витьку за ворота.

— У них всегда так! — огорчённо сказал Витька. Он не объяснил, что «они» означает — взрослые, но Лёшка отлично понял, кого он имеет в виду. — Никогда ни с чем не считаются... Думают, важное только то, что сами придумали... А тут, может, в сто раз важнее...

— Так ты приходи! Ладно?

— Ладно... Если не уйдём в плавание, — значительно добавил Витька и покраснел: никаких походов на водной станции не предвиделось.

Он прибежал в воскресенье. Людмила Сергеевна после некоторого колебания разрешила Лёшке пойти, напомнив, что он обещал не заплывать.

— Да мы вовсе и не будем купаться! — заверил Витька.

На станции было тихо, прочёсанный граблями песок ещё чист и не изрыт босыми пятками будущих моряков. На двери маленького белого домика висел замок. Под замком были и двери сарая, в котором хранились вёсла, паруса и прочее имущество. Седая старушка с добрым морщинистым лицом сидела возле дома в тени дерева и необыкновенно быстро вязала из красной шерсти какую-то большую ажурную штуковину. Она взглянула на пришедших и сказала:

— Али не поспеете? Вы бы с вечера приходили, ещё бы лучше...

— Здравствуйте, тётя Феня! — сказал Витька. — Мы нарочно, тётя Феня, пораньше... Мы покататься хотим. Вот тут, совсем близенько... Вы нам вёсла дадите, тётя Феня?

— Нет, не дам, — ласково ответила тётя Феня.

— Что вам жалко? Вы же меня знаете, я же на станции.

— Всех я вас знаю — все одинаковы. И не улещай — всё одно не дам, — ещё ласковее сказала тётя Феня. — Придёт Пётр Петрович или товарищ Лужин, тогда и катайтесь. Подите-ка погуляйте покуда, а то враз здесь намусорите...

— Мы совсем немножко! — уныло попробовал Витька ещё один «подход». Но и этот подход не удался: тётя Феня не ответила, только крючок её замелькал ещё быстрее.

— До чего вредная старуха! — сказал Витька, когда они отошли. — И что ей... жалко?... Матрос, Матрос, сюда! — закричал он и захопал себя по ноге.

Лопухий щенок, лежавший в тени железного ящика для мусора, поднял голову, усердно заработал хвостом, но выбежать на солнцепёк не пожелал.

Сидеть на песке было жарко, ребята перебрались на причальные мостки между детской станцией и досфлотовской. Под мостками, у самой поверхности воды застыли стайки черноспинных мальков. Нагретые доски пахли смолой и тиной, вода тихонько плескалась о сваи, по ним бегали солнечные зайчики.

— Вон наш корабль, — показал Витька. — «Моряк» называется. Шесть тонн водоизмещения.

Метрах в ста от берега на якоре стоял большой бот с чёрными смолёными бортами и толстой мачтой.

— Что значит «водоизмещения»?

— Ну, помещается шесть тонн.

— Воды?

— Нет!.. Ну, вроде груза... — Витька слегка покраснел и нахмурил густые брови. — Так говорится только.

Лёшка понял, что Витька сам «плавает», и деликатно переменял разговор.

— А вон та, тоже ваша?

Ближе к берегу, покачиваясь даже в такую тихую погоду, стояла лодка, до половины закрытая палубой; в бортах её виднелись крохотные иллюминаторы.

— То «Бойкий», швербот. Он так тихоходный, а в свежий ветер всех обставит... О, смотри: яхта «Орджоникидзе»...

От рыбацкой гавани в открытое море скользил косою белой парус. Казалось, гигантская белая бабочка, сложив крылья, села на воду, и даже не ветер, а солнечный свет несёт её, невесомую, по сверкающей ряби.

— В порт пошла... Эх, на такой бы яхте в кругосветное! Здорово бы, да?

Лёшка вдруг отчётливо увидел разлинованные меридианами ультра-мариновые океаны школьного глобуса. Белокрылая бабочка выпорхнула из-за полюса, села между курсивными буквами «Великий или Тихий», и сразу исчез курсив, исчезли линейки меридианов. Косою белоснежный треугольник парусов, накрываясь, скользил по синим пенистым волнам, с печальным криком оставались позади чайки. И вот уже не было ничего и никого, только ветер, море, жгучее солнце и стремительный полёт, от которого щемило под ложечкой и перехватывало дыхание.

— А меня примут? — спросил Лёшка.

— Конечно!.. Я с Петром Петровичем поговорю, как только придёт. Это наш инструктор.

До прихода Петра Петровича было далеко. Витька и Лёшка разделись, попрыгали в воду. Стайки мальков брызнули в разные стороны, и, словно тоже стараясь убежать, заметались солнечные зайчики на сваях и досках настила.

— А ну, нажми! — закричал Витька и поплыл к берегу.

Лёшка «нажал» и приплыл первым.

— Ничего плаваешь! — сконфуженно признал Витька. — Я б тебя догнал, только водой поперхнулся.

На берегу появилась девочка в пёстром платье и стоптанных туфлях. Она подошла к решётчатому белому ящику на столбе, поднялась по небольшой лесенке и отперла ключом дверцу ящика. Прозрачными льдинками сверкнули термометры.

— Вон «бог погоды» пришёл, — сказал Витька.

— Кто?

— Наташка Шумова. Она за погодой наблюдает... Здорово, бог погоды! — крикнул Витька.

Девочка мельком оглянулась и начала записывать что-то в блокнот. Ребята подошли ближе.

— Ураган скоро будет? — насмешливо спросил Витька.

Девочка не ответила, только ресницы её дрогнули. Они были необыкновенно длинные, густые: большие глаза казались мохнатыми. Наташа была некрасива: худая, угловатая, со скуластым лицом и большим ртом. Стриженные выющиеся волосы падали на лоб, щёки, в пышной этой шапке лицо её казалось ещё более худым.

Она заперла дверцу и, не обращая внимания на ребят, направилась к другому столбу, на котором было установлено ведро — дождемер.

— Правильно! Меряй осадки, — засмеялся Витька. — Тут сейчас такой ливень был!..

Девочка взобралась наверх и заглянула в ведро.

— Видал, задаётся! — сказал Витька. — Считает, что все мальчишки — дураки...

— Зачем все? — ломким голосом отозвалась Наташа. — Хватит тебя одного.

— Ты не очень-то, а то... — нахмурился Витька.

— А то что? — с насмешливым вызовом спросила Наташа. — Драться будешь? Ну, попробуй! — Сжав кулаки, она подошла ближе.

— Нужно мне связываться!..

— То-то! Герой... — засмеялась Наташа. Она побежала к мосткам и на верёвке забросила в воду термометр в деревянной оправе.

— Кабы не тут, я бы ей показал, — сказал Витька.

— С девчонкой?

— Ого, она так дерётся с ребятами — дай бог! Она вёрткая, и рука у неё тяжёлая. Маленькая, маленькая, а как даст...

— И тебе? — улыбнулся Лёшка.

— Ну, мне!.. Я про других говорю. Да ну её! — сказал Витька. — Пошли, вон уже ребята собираются.

Ребята собрались. Из-под мусорного ящика, потягиваясь и виляя хвостом, вылез Матрос.

Пришёл Пётр Петрович. Он не был ни седым, ни старым, как ожидал Лёшка. На загорелом полном лице его не было ни одной морщинки, только в уголках глаз от постоянной прищурки змеились гусиные лапки. Под чёрными подстриженными усами то и дело блестели в улыбке очень крупные зубы. На плечах синего рабочего кителя Петра Петровича ещё сохранились тесёмки для погонов.

Инструктора окружило несколько ребят, и он ушёл с ними в комнату, где стояли недостроенные и уже совсем готовые модели яхт и парашютов.

Тётя Феня сняла замок, ребята начали выносить из сарая вёсла, пробковые поплавки.

Инструктор вышел наконец из комнаты моделестов. Витька и Лёшка подошли к окружённому ребятами Петру Петровичу, чтобы поговорить о лёшкином производстве в будущие моряки. Широкоскулый мальчик упрасивал инструктора:

— Разрешите, Пётр Петрович, на «двойке», а? Мы вот с Давыдовым покатаемся...

— Моряки на шлюпках не катаются, а ходят! Понятно? Катаются дачники...

— Разрешите походить... Немножко!

— А сигнализацию выучил?

— Выучил!

— Флажков нет... Ну, ничего, давай пиши руками: «Военный моряк должен образцово знать сигнализацию».

Мальчик отступил на шаг, свирепо закусил губу и, вскинув руки, начал двигать ими в разные стороны, вверх и вниз. Закончив, он вытер рукой пот на верхней губе и улыбнулся, ожидая похвалы.

— Плохо, — сказал Пётр Петрович. — Пишешь быстро, а неграмотно. Какой же из тебя будет сигнальщик? Слово «военный» пишется через два «н», а не через одно, а слово «образцово» — через «з», а не через «с». Ты сегодня получишь «двойку», только не лодку, а... по русскому!

Ребята засмеялись, мальчик покраснел и, понурившись, отошёл.

— Пётр Петрович! — сказал Витька. — Можно вот ему, — показал он на Лёшку, — поступить к нам на станцию? Он сейчас в детдоме, а папа у него был моряк, и он тоже хочет...

Пётр Петрович оглянулся.

— Очень хорошо! А директор разрешит? Принеси разрешение и табель. Как у тебя с отметками?

— У меня... у меня ещё нет табеля, — растерялся Лёшка. — Я ещё не учусь.

— Ну! — Пётр Петрович даже присвистнул. — Так дело не пойдёт. Поступай в школу, принеси табель, тогда и поговорим...

Лёшка отошёл.

— Ты не расстраивайся, — утешал Витька. — Главное — не теряйся!.. Подумаешь — табель! Принесёшь за первую четверть — и всё, и примут...

Когда-то оно ещё будет!.. Как ни старался Витька развеселить его, Лёшка, возвращаясь, всю дорогу молчал, размышляя о своей невезучести и о том, как неправильно всё устроено. Никогда нельзя сразу, легко и просто получить, если чего захочешь, а приходится ждать и что-то ещё для этого делать.

Доступное не имеет цены, дорого — добытое трудом, но эта простая истина далеко не всегда утешает взрослых, и ещё меньше она могла утешить Лёшку.

18

Ерёменко выполнил обещание. Однажды около полудня во двор детдома въехала полторка. В кузове её, придерживая что-то, прикрытое рогожей, стояли трое ремесленников, в кабине сидел Ерёменко. Он вылез из кабины, пожал руку Людмиле Сергеевне и вытер платком лысину.

— Вот привезли, пользуйтесь... Где ваша мастерская?.. Вот это?! — задохнулся он, когда увидел сарай. — Да тут всё поржавеет! Крыша течёт?

Людмила Сергеевна сказала, что её покрыли новым толем, течь не должна.

— Обязательно потечёт! — заверил Ерёменко. — А замок? Как же можно без замка?

— Нам пока запирать нечего.

— Что значит «пока»? Вот уже есть. А ну, давай, хлопцы!

«Хлопцы», среди которых была девочка, с любопытством глазели на детдомовцев, окруживших машину, а те с немалым интересом разглядывали их форменные синие рубашки, белые металлические пуговицы, на которых были выдавлены молоток и гаечный ключ. По команде Ерёменко ремесленники открыли борт, спустили на землю два побрякивающих железом ящика. Ерёменко открыл ящики и широким жестом показал на инструменты:

— Прошу!

Ребята окружили их плотным кольцом, но Ерёменко опасливо прикрыл руками:

— Расступитесь, молодые люди, потом... Принимайте, хозяйка!

Он достал из кармана два листа бумаги, протянул один Людмиле Сергеевне, а по своему начал читать:

— Французский ключ один...

Стриженный под машинку голубоглазый ремесленник вынул из ящика ключ и положил на траву.

— Ножовка и к ней три полотна...

Ножовка и полотна тоже легли на траву. Ерёменко прочитал весь список.

— Всё правильно? А теперь... — Он повернулся к машине и легонько махнул кистью. — Давай, Оля!

Девочка, оставшаяся в кузове, стащила рогожу, и перед онемевшими детдомовцами оказался настоящий, всамделишный, поблёскивающий

краской и маслом токарный станок... Кира захлопала в ладоши, захлопали все, а Валерий Белоус с дурашливым восторгом закричал: «Ура-а!» Ерёменко расплылся в улыбке, прижимая одну руку к своей вышитой груди, а другой вытирая взмокшую лысину. Людмила Сергеевна, пытаясь перекричать шум, благодарила.

Ремесленники снисходительно улыбались: они-то знали цену этому подарку, который назывался попросту «козой» или «таратайкой». Завезённый в незапамятные времена не то из Бельгии, не то из Англии, он давно утратил не только паспорт и марку, но даже признаки своего происхождения. За исключением высокой станины, в нём не осталось ни одной десятки раз не сменённой детали. Ещё до первой пятилетки он был признан инвалидом и списан с производства в школу ФЗУ, где, подремонтированный, вернее, заново построенный, терпеливо выносил все промахи будущих рекордсменов на отечественных «ДИПах». В школах ФЗУ появились станки поновее, а он, всё так же стуча и гремя, тянул лямку. Работал он не от мотора, а от шкива, для смены скоростей нужно было менять каждый раз шестерни, никакой сложной и тонкой работы выполнять он не мог и, в сущности, годился только для обдирки, самой грубой обработки простейших деталей. В нём меняли вконец разболтавшиеся бабки, обеззубевшие шестерни, суппорт, изъеденные временем салазки, и дряхлый ветеран упорно сопротивлялся всем попыткам новичков привести его в полную негодность. Иногда он, как упрямая коза, и впрямь нескладной своей статью похожий на козу, артачился и переставал работать. Ерёменко звал ремонтного мастера и говорил:

— Посмотри, голубчик, опять что-то капризничает...

Мастер крутил папиросу, искоса поглядывая на заупрямившийся станок, и спокойно заверял:

— Уговорим!

После длительных «уговоров», смены деталей, он, скрипя и постукивая, начинал работать. Случалось, выведенный из себя ученик бросал со злостью резцы, ключи и кричал, что «нехай на этой чёртовой таратайке сам директор работает!». Ерёменко приходил, ласково похлопывал по плечу недовольного:

— Ничего, голубчик! Работай, работай... Этот же станок — ему цены нет! — он же у тебя характер выработает, а не только токарем сделает...

— Мне не характер, а норму надо выработать! — кричал ученик.

— Ничего, ничего! — успокаивал его «Голубчик», как между собой ученики прозвали Ерёменко. — Привыкнешь...

Это было давно. После войны мастерскую в ремесленном не восстанавливали: на «Орджоникидзестали» была оборудована новая, с хорошими станками. «Коза», окончательно списанная по амортизационному акту, но не допущенная Ерёменко под копёр, осталась ржаветь в ремесленном. Сначала она стояла в бывшей мастерской, а когда мастерскую превратили в гимнастический зал, её отправили в подвал. Оттуда она перекочевала в сарай, где и обрелась грязью и ржавчиной.

Пристыжённый Шершнёвым, Ерёменко отобрал слесарные инструменты поплотше — всё равно там поломают! — и хотел отправить, но вспомнил о «козе». Её извлекли из сарая, очистили от грязи и ржавчины, смазали, и она столько напомнила Ерёменко о его молодых годах, что опять показалась красивой и нужной, и ему стало жалко отдавать. Но отступить не было возможности: он сам позвонил Шершнёву и, будто спрашивая совета, похвастал своим щедрым даром. Шершнёв похвалил и, конечно, запомнил. Память у него, как клещи...

Шофёр, Устин Захарович и ремесленники осторожно спустили по доскам «козу» и, поддевая ломиками, втащили в сарай.

— Где же вы ставить будете? Прямо на землю? — снова ужаснулся Ерёменко. — Нельзя, фундамент нужен! Дело ваше, но я предупреждаю. Пойдёмте оформим, — сказал он Людмиле Сергеевне. — Не репа всё-таки, а станок...

Ерёменко и Людмила Сергеевна ушли в кабинет. Девочки, перекинувшись несколькими словами с ремесленницей, сразу же перешли на приятельский шёпот и увели её в сторонку. У ребят было труднее. Они с добродетельным интересом приглядывались к ремесленникам, те к ним, но и те и другие молчали.

— Закурим, что ли? — спросил высокий черноглазый ремесленник. — У тебя есть, Сергей?

Сергей, русоволосый паренёк с широким улыбчивым лицом, такого же роста, как и Лёшка, только постарше, достал пачку сигарет «Прима». Оба взяли по сигарете, Сергей протянул пачку детдомовцам:

— А может, вам не разрешают?

— Не разрешают.

— Ясно. Ну, а как вы тут живёте?

— Ничего, живём.

Разговор иссяк. Оба ремесленника старательно затягивались и выпускали дым.

— А вы токари? — спросил Митя.

— Вот он токарь, — кивнул Сергей на товарища. — А я сталевар.

— Сталевар? — фыркнул Лёшка. — Разве сталь варят?

— Думаешь, только борщ варят? — оба снисходительно, но необидно посмеялись. — Ещё как варят!

— А как?

— Долго рассказывать... и не поймёшь. Приходите, покажем. На борщ не похоже, — снова засмеялся Сергей.

— А работать на нём трудно? — спросил Митя, кивая на станок.

— На «козе»?.. Плёвое дело! — сказал черноглазый. — Вот у нас в мастерских станки — да! А в цеху и вовсе мировецкие... — он тут же спохватился: — «Коза» тоже ничего, работать можно...

— Бросай, Ломанов! Голубчик идёт... — негромко сказал черноглазый.

Сергей торопливо бросил сигарету и наступил на неё башмаком.

— А вам разрешают? — усмехаясь, спросил Яша. — Ясно!

Ломанов улыбнулся и подмигнул.

— Ничего, живём.

— Ну вот, голубчики, — сказал Ерёменко, подходя. — Пользуйтесь, учитесь... и берегите! Дарим мы вам с открытой душой и с открытой душой говорим: подрастёте — идите к нам! Научитесь делать и инструменты сами и ещё много чего... Желаем успеха!

— Спасибо! — сказала Людмила Сергеевна. — Только знаете, товарищи... если уж у нас завязалась дружба, давайте её продолжим. Правильно я говорю, ребята?

— Правильно! — поддержали детдомовцы.

Ерёменко, вытирая лысину и приподняв бровь, насторожённо слушал, куда она гнёт.

— Хорошо, если бы ваше училище взяло шефство над нашим домом и помогло нам в смысле обучения. У нас специалистов нет, а у вас — целая армия, — ласково оглянулась Людмила Сергеевна на ремесленников.

«Экая лукавая баба! — Ерёменко не сомневался, что посещение Шершнёва и вся история с инструментом — её рук дело. — Теперь примется доить!..»

— Мысль, конечно, хорошая, здоровая мысль, — сказал он. — Ну, сам

я этого не решаю, поставим на обсуждение... А теперь — бывайте здоровы, до побачення! Давайте, хлопцы, по коням!

Ремесленники забралась в кузов, закрыли борт. Ерёменко попрощался с Русаковой, сел в кабину; машина, провозжаемая всем детдомом, тронулась. Шофёр переключил на вторую скорость, но в воротах внезапно затормозил. Дверца кабины приоткрылась, Ерёменко, высунувшись, закричал высоким тенорком:

— Смазывайте! Смазывайте, говорю, всё. А то поржавеет к чертям...

— Смажем! — смеясь, закричали ребята, замахали руками.

Ребята десятки раз пересмотрели, перещупали все инструменты и приставали к Устину Захаровичу с бесконечными вопросами. Устин Захарович, хмурый, помрачневший, отмахивался, говорил «не знаю», потом ушёл совсем.

Он не любил машин. Они были сложны и непонятны. Они могли испортиться, сломаться, для них нужны были ток, смазка — и мало ли ещё что было нужно. Устин Захарович понимал, что машины облегчали труд, но, по его мнению, делали человека торопливым, легкомысленным потому, какая же могла быть серьёзность у человека, если работа у него лёгкая. Сам он никогда не работал за станком, дело это казалось ему лёгким, ненастоящим, и квалифицированных рабочих он называл про себя «паны»... В сущности, из всех инструментов он по-настоящему ценил только один — свои руки. Для них ничего не было нужно, и они всегда были готовы для любого дела. Он считал, что ценность и важность работы определяются её тяжестью, и был убеждён, что настоящим делом занимается только тот, кто работает на земле...

До сих пор детдомовцы охотно трудились на подсобном участке. Устин Захарович боялся, что с появлением мастерской участок отодвинется на второй план, а на первом будут привезённые из ремесленного «цацки», как в сердцах называл он подарок училища.

Ребятам не терпелось пустить в ход полученные сокровища, а самое главное — пустить станок. Это оказалось совсем не просто. Нужно было поставить станок на фундамент, а никто не знал, как это сделать, нужно было достать мотор и установить, а этого никто не умел. «Коза» стояла у стены мастерской, наводя на ребят уныние. Попытки Людмилы Сергеевны заручиться помощью ремесленного не удались: Ерёменко говорил, что без собрания нельзя, а до начала учебного года не собрать — все разъехались... Выход нашла Ксения Петровна. Он открылся в громе и треске «драндулета».

Вадим Васильевич в сопровождении всех пошёл в мастерскую. Увидев «козу», он широко открыл глаза и восторженным шёпотом закричал:

— Народы! Ведь это реликвия! На нём ещё Ной обтачивал мачту своего ковчега...

Ребята серьёзно и выжидательно смотрели на него — они не поняли.

— Ну, ладно! Где будем ставить?

Он обследовал стены, обмерил станину и указал место.

— Копайте яму. Нужны кирпич, цемент и болты...

Потом оказалось, что нужны мотор и трансмиссия, приводной ремень и решётки для ограждения, рубильник и провода — словом, столько всякого имущества, что Людмила Сергеевна пришла в ужас и спросила, не лучше ли отправить Ерёменко обратно его щедрый дар? Вадим Васильевич озабоченно посопел носом в кулак и сказал, что отправить всегда успеется, надо попробовать достать. Драндулет умчал своего хозяина, а через несколько дней стрельбой и треском возвестил первую победу: в коляске лежал обломок трансмиссии со шкивами холостого и рабочего хода. Потом появились болты, рубильник. Припёртый к стене Ерёменко отыскал среди хлама, ржавящего в сарае, небольшой моторчик...

Треск и грохот стали для детдомовцев сигналом: они бросали всё и стремглав летели во двор к окутанному сизым облаком мотоциклу. Вадим Васильевич, не выпуская руля нравной своей машины, горделиво подмигивал и кивал на коляску. Оттуда с ликованием извлекался очередной трофей.

Уже во время установки «козы» и мотора сами собой определились пристрастия и симпатии. Митя Ершов с головой ушёл в электротехнику. Он не расставался с книжкой, принесённой Вадимом Васильевичем, был его первым помощником «по электрооборудованию», как он говорил, и мечтал о техникуме. Самыми азартными токарями оказались Кира и Толя Савченко. Они сразу же заспорили, кто первый начнёт работать на станке, хотя он ещё не был установлен на фундаменте. Кира оказалась первой, потому что с Толей произошёл скандал, и он на некоторое время потерял общее расположение. Это случилось вскоре после того, как группа Ксении Петровны побывала на экскурсии в краеведческом музее.

19

По сторонам входной двери стояли исклёванные ветром каменные бабы с плоскими лицами, большими животами и толстыми короткими ногами. Ребята заглянули во двор. Там стояли, валялись на земле такие же бабы. С полдюжины их, привалившись к стене, равнодушно смотрели пустыми глазницами на зачем-то привезённый сюда кладбищенский памятник — беломраморного ангела с опущенными крыльями и жеманно склонённой головкой. В первой комнате на скамейке сидела тётка с вытаращенными яркоголубыми глазами и меднокрасным лицом. Вывихнутыми руками она держала веретено и кудель. Тётка из папье-маше изображала крепостную, выполняющую оброк...

Чем меньше музеев, тем сильнее они стараются быть похожими на большие и тем они смелее. Там, где богатые экспонатами и учёным аппаратом большие музеи отступают, понимая тщетность попыток объять необъятное, маленькие храбро бросаются на это необъятное и расправляются с ним решительно и простоудшно. В этом музее было всё. Он старался быть и был всемирным и всеобщим. История вселенной отлично укладывалась в две рисованные от руки схемы. История Земли, энергично сведённая к четырём картинкам, подкреплялась моделью мастодонта размером с кошку, бюстом питекантропа и настоящим зубом мамонта. Все последующие эпохи и годы были объединены в отдел «дореволюционное прошлое». Его открывал бюст неандертальца, который, несомненно относясь к прошлому дореволюционному, должен был, повидимому, служить связующим звеном между эрой мастодонтов и эпохой капитализма. Несколько рисунков и фотографий с картин показывало, как помещики эксплуатировали крестьян, а также, как обжирались и кутили купцы. Целый угол был отведён для демонстрации помещичьего быта: там под колпаком были выставлены тарелки и чашки товарищества М. С. Кузнецова, стоял резной позолочённый столик на изогнутых ножках, два пуфа и креслице белого дерева с шёлковой обивкой. На креслице лежала картонка, запрещающая садиться и трогать руками. Несмотря на запретительную надпись, Валерий Белоус попробовал: «мягко ли паразиты сидели?» Остальные тоже пощупали и убедились, что паразитам сидеть было мягко. После нескольких картинок, показывающих революцию и гражданскую войну, шли диаграммы и плакаты об индустриализации и коллективизации. Посреди зала стояла прекрасная металлическая модель домы. Она была не больше самовара, но сделана так хорошо, что, казалось, зажги — и над ней закурчавится пыль и дым, а из лёгки потечёт ослепительная огненная струйка. Рядом с портрета маслом сердито смотрел на

ребят знатный доменщик Коробов. Он имел основание сердиться: усы у него были почему-то зелёные...

Вся история города: от плана запорожской крепости до фотографии памятника лёгчикам героям Отечественной войны, стоящего в городском парке,— помещалась в крохотной комнатке. Здесь же находились могильные кресты, похожие на огромные орденские знаки немецкого «Железного креста».

Кира вспомнила их — она оставалась с матерью в городе, когда здесь были немцы. Центральный городской сквер немцы превратили в своё кладбище, и там торчало много таких крестов...

На гладких квадратах в центре крестов были сделаны надписи. Ксения Петровна прочла одну из них:

Soldat
Otto Fricke
geb. 17.1.21. KW Zg ^{9/616} gef. 2.5.42.

Надпись была сделана масляной краской. При нужде её легко было замазать и сделать иную, для другого, который мог geboren (родиться) позже или раньше, но не миновал чугунного креста. Впрочем, в этом не было нужды: кресты заготовлялись в избытке. На литейных формах была выгравирована дата изготовления, и все кресты украшала выпуклая надпись: «1939 год». Отто Фрике ещё только кончал школу, когда для него уже отлили награду за будущие подвиги во славу фюрера.

Ребята притихли и помрачнели. Им не было жалко Отто Фрике, у них были с ним свои счёты. Отто Фрике получил заслуженную награду, но он напомнил им о том, что всё дальше уходило в прошлое, но не забывалось: о голоде и страхе, о ненависти и утраках...

В следующем отделе — чучела птиц, ящики с образцами почв, лягушки, ужи в формалине — показывали богатства края. Целый угол был отведён под панораму заповедной целинной степи. Из пыльной соломы, изображающей буйные степные травы, выглядывало траченное молью чучело волка, рядом с ним перепёлка безмятежно разглядывала собственное гнёздышко, а сверху на фоне линялого неба распластал крылья подвешенный на шпагате коршун.

Последний отдел показывал послевоенное восстановление города и его производственные достижения. Фотографии и любительские картины изображали дымящие трубы, корпуса, возле которых сутились крохотные человечки. Две картины были одинаковые, только одна маленькая, а другая шириной метра в два. В чернильной темноте, заливавшей оба холста, висели оранжевые пятна и пятнышки. Называлась картина «Орджоникидзесталь» ночью». Ребята поискали среди фотографий свою улицу, детдом, не нашли и с удовольствием вышли во двор к жеманному ангелу и каменным бабам.

Простодушное усердие, с которым устроители затолкали в музей всё: от космических туманностей до сводки выполнения плана рыбоконсервного комбината — могло внести изрядную сумятицу в ребячьи головы, и Ксения Петровна в небольшой беседе выделила только одну тему. Пренебрегая мастодонтами и неандертальцами, она рассказала о жизни рабочих при капитализме, о том, как надрывались в непосильном труде простые люди, а помещики и капиталисты, сами ничего не делая, заставляли других работать на себя. Она немного знала дореволюционную историю города, и в её рассказе безликие и не очень понятные «капиталист» и «помещик» приобрели фамилии, характеры и поступки, стали достоверными и понятными. И точно так же она рассказала о том, как переменялся город и люди после революции, как вместо церквей и кабаков появились школы и дворцы культуры, как бельгийского управляющего на

заводе сменил рабочий и завод стал носить имя Ленина, как в первую пятилетку был построен гигант «Орджоникидзестьаль»...

Ребята внимательно слушали. Пригорюнившись, слушал мраморный ангел, и лишь каменные бабы всё так же равнодушно смотрели пустыми глазницами. Валерий Белоус потихоньку швырял в них камешки, а потом, чтобы оживить плоское каменное лицо, обломком кирпича пририсовал одной длинные, запорожские усы.

Ребята вернулись домой, экскурсия не оставила никаких видимых следов. И вдруг они проявились в неожиданном скандале.

Толя Савченко был тихий, послушный мальчик, усердно, хотя и без блеска, учился, в меру баловался, с удовольствием принимал похвалу, когда его ставили в пример другим, словом, был отрадой воспитательских и учительских сердец. И Людмила Сергеевна не поверила, когда к ней прибежала Жанна и с порога возмущённо закричала:

— Идите скорей — там Толька сдурел!

— Что за глупости, Жанна?

— А конечно, сдурел! Не хочет работать, не хочет дежурить...

Возмущение было так сильно, что сейчас «Великая немая» размахивала руками и чистила не хуже Киры. Людмила Сергеевна пошла следом за Жанной. Посреди столовой стоял разгорячённый, покрасневший Толя Савченко и вызывающе сверкал глазами на Киру, Симу и Митю, которые громко и враз кричали на него. Из раздаточного окна выглядывала Ефимовна с сердито поджатыми губами. Увидев директора, ребята замолчали и расступились, а Толя втянул голову в плечи, словно опасаясь удара, но не опустил сверкающих глаз.

— В чём дело, ребята?

— Он накрывать на стол не хочет... А уже на обед звонить надо...

— Почему, Толя?

— Не буду я накрывать и разносить...

— Почему?

— Не хочу, и всё!

Привлечённые скандалом, ребята столпились в дверях, заглядывали в открытые окна.

— Но ведь причина-то есть? Объясни, почему не хочешь.

— Я не слуга и накрывать не буду. Лакеев нет, теперь не капитализм... Это при капитализме одни на других работали...

За окном кто-то, должно быть Валет, громко засмеялся.

— А Ефимовна? Воспитатели? А я? Мы что же, лакеи, по-твоему?

— Вы зарплату получаете. А я не обязан...

Людмила Сергеевна побледнела. Толя начал трусить, но смотрел так же вызывающе. Он «занёсся», и теперь, как бы ни повернулось дело, ни отступить, ни остановиться не мог. В иное время дикий заскок этот без труда можно было бы унять, нелепый гнев и глупая оскорблённость взбудораженного мальчика угасли бы в конфузливом смехе, но сейчас исход поединка подстерегала вокруг в десятки глаз и ушей выжидательная тишина. Да Толя и не услышал бы ничего: сейчас он упивался своим геройством. Любая нотация, наказание только ожесточили бы его, а глупая выходка засияла ореолом жертвенности.

— Хорошо, — как можно спокойнее сказала Людмила Сергеевна. — Раз так — обеда сегодня не будет.

— Как не будет? — открыла глаза и рот Кира.

— Толя считает, что он никому не обязан, ничего не должен делать, и для него никто не будет делать... Закрывайте, Ефимовна, окошко, а вы, девочки, уберите посуду, — уже поворачиваясь уходить, распорядилась Людмила Сергеевна.

— Да ведь перепреет всё! — заворчала было Ефимовна, но, встретив злой, вприщурку, взгляд директора, поспешно отпрыгнула от окна и захлопнула застеклённую раму.

Запрету никто не поверил. Не могла же в самом деле Людмила Сергеевна оставить без обеда весь детдом потому, что Толька Савченко, по определению Тараса, «сказывся». При чём здесь остальные? Виноват Савченко, а отвечать должны все?.. Разумеется, это была только угроза, и в конечном счёте получалось, что Толька вышел победителем... Людмилу Сергеевну любили, уважали, некоторые побаивались. Но как было не порадоваться тому, что всегда правую и ставящую на своём Людмилу Сергеевну тоже, оказывается, можно «подковать»!.. Валерию исход дела понравился как нельзя более, и он, злорадствуя, одобрил:

— Правильно, Толька! Так ей и надо!

— Ты помолчи... — презрительно процедил Митя.

— Алла. иди сюда! — крикнула Кира, увидев в окошко Аллу.

— Что у вас там опять? — поморщившись, подошла Алла к открытой двери.

— Толька Савченко не хочет дежурить! Скажи ему...

— Опять детские капризы?

— Да нет, он, понимаешь, такое выдумал... Я, говорит, не лакей, теперь не капитализм...

— Дур-рак! — процедила Алла, искоса посмотрев на Толю, и отошла от двери.

— Куда же ты, Алла? Скажи ему, ты же председательница!..

— Так и нянчиться с вами без конца? Некогда мне...

— Чего это она? — удивлённо произнёс Митя.

— А уже не первый раз... В техникум зачислили — вот и задаётся.

— Подумаешь!

Ребята посмотрели вслед Алле, потом снова повернулись к Толе.

— Я считаю так, ребята, — сказала Кира. — Савченко не хочет подавать другим, и ему никто не будет. Пусть как хочет. А почему остальные должны не обедать? Правильно? Снимай повязку!

Толя отстегнул дрожащими пальцами булавку.

— На... Очень нужно!..

— Это мы увидим, — сказал Митя. — Кто завтра должен дежурить? Сима и Горбачёв? Надевай, Горбачёв, повязку, иди с Жанной к Людмиле Сергеевне, пусть разрешит обедать. А с Савченко мы ещё поговорим...

Все нашли, что это правильно. Однако Лёшка и Жанна вернулись от директора обескураженные. Людмила Сергеевна отобрала у Лёшки повязку и сказала, что никакой замены не разрешает, обеда сегодня не будет.

— Ничего не хочет слушать... И больше, говорит, никаких адвокатов...

— Значит, мы из-за одного паразита так и будем сидеть? — звенящим от негодования голосом спросила Кира.

Толя Савченко, гордый победой, уговаривал себя, что в конце концов один день можно и поголодать, зато он настоял на своём и, значит, был прав. Он не понимал, что присутствие Людмилы Сергеевны было скорее защитой для него, чем опасностью, и что, уходя, она оставила его с глазу на глаз с судьёй, не знающим пощады.

Некоторое время этот многоголосый судья недоумевал по поводу странного упрямства Людмилы Сергеевны, которая оставляла всех без обеда из-за «оболтуса», у которого вдруг «вывихнулись мозги», но потом внимание от задержанного обеда и решения директора естественно переключилось на самого «оболтуса» и характер его «вывиха». С обедом можно и потерпеть. Но что значит — он не лакей? А другие — лакеи?

И что он такое, чтобы ему подавали? Да ему только при капитализме жить, а не при социализме!.. Ишь какой барон выискался!..

Толя пытался спорить и огрызаться. Он не понимал того, что затронул и обратил против себя самое опасное. Коллектив признаёт авторитет одного, если он заслужен, но он не прощает пренебрежения к себе. И теперь многоликая, сверкающая насмешливыми, сердитыми глазами Немезида взяла провинившегося в тесное кольцо. Толя попытался уйти, но ему преградили дорогу и оттеснили к стене. Его не собирались бить, хотя кое-кто предлагал «дать ему как следует», а Ефимовна, снова появившаяся в окне, приговаривала что-то о пользе применявшейся прежде берёзовой каши. Если бы его прибили, было бы легче. Над ним смеялись.

Даже Валет, который недавно кричал, что «ей так и надо», теперь тоже, зловредно осклабясь, обозвал его «фон-Патефоном». В течение нескольких минут в дружной, наперегонки и вперехлёст, язвительной атаке Толе Савченко показали его «паразитскую» сущность...

Толя перестал отбиваться. Подвиг его вывернулся наизнанку и оказался постыдным срамом, а геройский ореол мгновенно превратился в беззвучно и бесследно лопнувший мыльный пузырь. Он затравленно озирался, и уже не геройские искры, а подозрительная влага поблёскивала в его глазах. «Фон-Патефон» доконал Толю. Губы у него задрожали, по щекам заструились слёзы.

— О, барон сок пустил! — добивая, провозгласил Валет.

На него цыкнули. Виновный получил по заслугам, даже, пожалуй, чуточку сверх заслуг — ничего, пусть помнит! — и они недолгое время молча смотрели, как жертва их приговора, вздрагивая всем телом и задыхаясь, размазывает по щекам горячие доказательства раскаяния.

— Ну, хватит! — нарочито суровым голосом сказал Митя. — Подбери нюни... и иди к Людмиле Сергеевне. Проси прощения.

Сердобольная Сима разжалобилась и протянула Толе салфетку.

— Вытрись!

Толя вытерся рукавом и, опустив голову, пошёл в кабинет директора.

Людмила Сергеевна уже жалела о своём поспешном решении. Эка, придумала: из-за одного сбрендившего мальчишки оставить всех без обеда... И отступить нельзя. Умные-то, постарше которые, те бы поняли. А остальные, маленькие?.. Для них дурачок этот станет героем. Как же — самой директорши не побоялся! Тогда, какие слова ни говори, не поможет. Нет, такие вещи надо под корень!

А не слишком ли глубоко лопату засадила? Что, как черенок хрустнет да обломится?.. И если, как в первый год, когда ещё был Ромка Кунин? С криком, свистом — камни в окна... Их ведь легко повернуть. Не может быть. Не должно быть!

Послышался робкий, скребущийся стук, и в приоткрытую дверь втиснулся Савченко с красным, истерзанным переживаниями лицом. Сдерживая ликование и жалость, Людмила Сергеевна как можно спокойнее спросила:

— Что скажешь, Толя?

— Я больше не буду, — глядя в землю и шмыгая носом, сказал Толя. — Простите меня...

Слёзы уже не текли из глаз, но накапливались в носу, и он то и дело проводил под носом рукой.

— Ты не меня оскорбил, а товарищей. У них и надо просить прощения. Пойдём.

Жалкое, прерывистое толино лопотание ребята выслушали молча.

— Как вы считаете, ребята,— спросила Людмила Сергеевна,— можно его простить? Я думаю, можно. Он ведь не плохой мальчик, просто у него заскок случился...

— Я ж говорю: ~~сказывся~~, — подтвердил под общий смех Тарас.

Этот смех, уже не язвительный, а добродушный, означал прощение.

— Иди умойся...

Через пять минут, всё ещё красный, но уже лишь изредка шмыгающий носом, Толя приколол повязку дежурного и разносил тарелки с борщом.

Так закончился бесславный «бунт» Толи Савченко.

Лёшке было жалко запутавшегося по глупости Тольку, но он понимал, что возмездие необходимо. А если оно не очень нежное — не нарывайся. Про себя Лёшка решил, что он-то уж никогда не нарвётся.

Однако он «нарвался». Это случилось уже в школе.

20

Документы Лёшки нашлись в армавирской школе, — убегая из Армавира, дядя Троша о них не вспомнил. Людмила Сергеевна добилась через гороно, чтобы Лёшку приняли в ту же школу, где училось большинство детдомовцев, и сказала Лёшке, что он зачислен в шестой «Б». За несколько дней до первого сентября ему выдали новенький дерматиновый портфель, тетради и два потрёпанных учебника: по географии и ботанике. Учебников не хватало, пользоваться ими нужно было сообща. Тарасу Горовцу достались история, зоология и задачник, Симе и Жанне, как более аккуратным, — остальные. С Тарасом и девочками Лёшка был в одном классе. Валерий Белоус тоже ходил в шестой, но его Лёшка не считал. Он предпочёл бы учиться с Яшей и Митей, но те вместе с Кирой были уже в седьмом.

Школа была такая же, как и в Ростове, — двухэтажная, с большими окнами и начисто вытоптанном небольшим двором. Так же как и там, возле забора торчала несколько обломанных затоптанных прутьев — измочаленные останки торжественно вкопанных саженцев. Лёшке на минутку показалось даже, что он опять в Ростове, вот сейчас по лестнице, стуча башмаками, сбежит Митька, изловчится и стукнет его портфелем... Кто-то изо всей силы хлопнул его по спине. Лёшка повернулся — сзади сиял улыбкой Витька Гуцин.

— Здоров!

— Здоров!

— Ты тоже у нас? Вот хорошо!

Лёшка обрадовался Витьке. Жаль только, что он в другом классе. Они сбежали посмотреть витькин класс. Лёшка заглянул через дверь — там смеялись и громко, как глухие, переговаривались впервые после каникул встретившиеся ребята. Среди них была большеротая девочка с мохнатыми глазами — «бог погоды».

— И она тут?

— Кто, Наташка Шумова? Ну да... Пошли во двор.

Двор гудел от топота и крика. Кто-то на радостях уже сражался портфелями. Витьку окликнули, он исчез в толпе. Лёшка подождал, потом решил итти в класс. Он пробирался между бегающими друг за другом младшеклассниками, и вдруг его резко толкнули плечом. Перед ним стоял в новеньком костюмчике гладко причёсанный Витковский и вызывающе улыбался. В руках у него был не ученический, дерматиновый, а настоящий, кожаный, портфель, и он раскачивал его, держа за ручку одним пальцем.

— Ты что?

— Ни-че-го! — процедил Витковский.

— Лучше не лезь!

— А что будет? — прищурился Витковский.

— Неважно будет, — пообещал из-за спины голос Тараса.

Лёшка обернулся: рядом стояли Тарас и Валет. Валет вложил в рот пальцы и коротко, призывно свистнул. Сразу же откуда-то появились Митя Ершов, Толя Савченко, все детдомовцы, с которыми Лёшка шёл в школу. Они молча и выжидательно окружили Лёшку и Витковского полукольцом. Улыбка Витковского стала напряжённой.

— Детдомовцев не тронь! Понятно? — сказал Митя.

— А может, ему того... объяснить? — замысловато покрутил кистью Валерий.

Витковский, презрительно улыбаясь, сделал шаг назад, повернулся и отошёл, раскачивая на пальце портфель.

— Он что, опять? — расталкивая школьников, подбежал на помощь Витька.

— Нет, струсил.

— Надо было дать ему!

— Ничего, дадим, когда надо будет!

Звонок рассыпал по двору призывную трель, с шумом и гамом ребята побежали в распахнутую дверь.

Лёшка сидел рядом с Тарасом и, слушая учительницу, приглядывался к классу. К нему тоже приглядывались, он то и дело ловил на себе изучающие взгляды. Подросток на соседней парте рассматривал Лёшку во все глаза. Он был толстощёкий, с широко открытыми, словно радостно удивлёнными глазами и почти постоянной улыбкой, от которой на щеках прорезывались ямочки. Учительница вызвала Юрия Трыхно, и толстощёкий поднялся. Он, улыбаясь, выслушал и записал на доске пример, постоял, подёргал себя за чубчик полубокса и, всё так же улыбаясь, сказал, что не знает, как решить.

— Чему же ты радуешься? — спросила учительница. — Садись на место.

Трыхно несколько не устыдился, а улыбнулся ещё шире. Учительница спросила, кто может решить, со всех сторон поднялись руки, Лёшка — не очень решительно — поднял тоже.

— А, новенький! — заметила учительница. — Иди к доске.

Лёшка, чувствуя спиной взгляды, быстро решил пример и оглянулся. Жанна с передней парты улыбалась, Сима одобрительно кивала.

— Хорошо, — сказала учительница. — Только не надо так стучать мелом...

В этот день Лёшку вызывали ещё раз, по русскому, и он опять хорошо ответил: несмотря на длительный перерыв, он помнил многое. Его хвалили все — и учителя, и Ксения Петровна, и Людмила Сергеевна, которые подробно расспросили его о первом дне.

Первые недели проходили знакомое Лёшке по недолгим занятиям в Ростове и Армавире, готовить уроки не было нужды, и он незаметно привык к мысли, что учить их незачем будет и дальше. Дальше было совсем не так. Учительница географии вызвала его, чтобы он показал самую большую реку Западной Европы. Указка в руках Лёшки некоторое время поколебалась между Днепром и Дунаем, а потом поползла вверх по Днестру.

Класс зашевелился, Сима в ужасе схватила за щёки.

— По-твоему, реки текут из моря? — спросила учительница. — Надо показывать от истока к устью. Какую реку ты показал?

Лёшка скосил на карту глаза, но прочитать не смог. От ближних парт донеслась еле слышная подсказка: «...тр... тр... р-р...»

— Днепр! — догадался Лёшка.

— Вот как! Вместо Дуная показал Днестр, да и тот переименовал в Днепр... Покажи Печору.

Лёшка начал с Вычегды, потом переметнулся на Сухону и слишком поздно понял ошибку. На лице у Симы было отчаяние, класс смеялся, а учительница уже ставила отметку. Борис Костюк, приподнявшись с передней парты, заглянул и потом, чтобы не видела учительница, поднял вверх два пальца...

Лёшке было неловко, как бывает при досадном промахе, мелкой неудаче. Неловкость быстро прошла. На следующей неделе он получил двойки по украинскому и по математике. Привыкнув ещё в Ростове к превратностям ученической судьбы, Лёшка не огорчился.

После очередной двойки, когда они возвращались из школы, Митя Ершов подошёл к нему и внушительно сказал:

— Ты это брось!

— Что?

— Двойки хватать.

— А тебе что?

— То есть как «что»? Слышите, ребята?

Ребята слышали. Сжав губы, сердито щурясь, они окружили Митьку и Лёшку.

— Мы что, домашние дети, чтобы плохо учиться? Мы государственные!.. Понятно?

Лёшка пожал плечами.

— Ну так что?

— А то, чтобы двоек больше не было! А то мы с тобой иначе поговорим...

Лёшка вспомнил «разговор» с Толей Савченко, и ему стало жарко.

— Словом, кончай это дело, не нарывайся! — внушительно посоветовал ему Митя и пошёл вперёд.

С ним ушли все ребята, кроме Яши. Уходя, Кира несколько раз оглянулась. Когда ребята напали на Лёшку, она молчала. И даже, кажется, жалела... Очень ему нужно, чтобы она жалела!

— Ты не должен обижаться, — мягко сказал Яша. — Понимаешь, ты ведь не один, не сам по себе, а с нами. Значит, мы за тебя отвечаем. Если тебе трудно, мы поможем — и я и другие.

Лёшка покосился на Яшу — тот и не думал смеяться.

Яша никогда не смеялся над другими и не говорил пренебрежительно, свысока, хотя знал больше, чем остальные. Лет ему было столько же, сколько и другим, но говорил он умудрённо, словно ушёл вперёд и, протягивая руку из своего далека, терпеливо и добродушно ждал, пока к нему подойдут. Знал он не по возрасту много, и ребята называли его «академиком». В классе его вызывали последним, если уж никто не мог ответить, и он отвечал всегда.

— Мне кажется, — продолжал Яша, — тебе трудно потому, что ты мало читаешь...

— А когда читать? На уроки времени не хватает...

— Но я же читаю! И другие тоже... Тебе только кажется, что времени не хватает и мешает учиться... Когда человек развивается, ему легче воспринимать и не надо зубрить...

— А я разве не хочу? Так у нас же книг нет.

— В школе мало, — согласился Яша. — Пойдём со мной, тебя запишут в библиотеку.

Через два дня окружающее перестало для Лёшки существовать. Он читал «Белый рог», и каждая страница открывала перед ним двери в новый мир, в котором не было места ни будничному, ни скучному.

Лёшка не подозревал об умении писателей видеть необыкновенное в обыкновенном, изумляться ему и радостно удивлять других. Ему казалось, что герои книжки — люди удивительные, непохожие на других, и такими сделала их профессия. Лёшка тоже захотел стать таким: он твёрдо решил учиться на геолога. Яша одобрил это решение, но сказал, что геологу нужно очень хорошо знать математику, физику и химию. Лёшка приналёг на уроки и некоторое время снисходительно поглядывал на Валерия, который «парился» у доски на каждом уроке математики.

Добытая где-то Витькой замусоленная, растрёпанная и вспухшая, как мочала, книжка Сетон-Томпсона о животных захлестнула Лёшку новыми восторгами, а картина «Лесная быль» окончательно заслонила недавние. Нет, не геологом, а натуралистом и охотником следовало Лёшке быть! Потом Джек Лондон зажёл мерцающее таинственным светом полярное сияние над бескрайними льдами Арктики, а «Два капитана» Каверина указали Лёшке его окончательное призвание полярника... Паустовский рассказал о превращении гиблой Колхиды в апельсиновый сад, а в рассказах Станюковича, заплескалось, зашумело море, и Лёшка снова услышал призывный голос маяка...

Бесконечная и необъятная, единая и многоликая жизнь звала его тысячью голосов, простирала перед ним тысячи дорог, и Лёшка с замирающим сердцем метался между всеми дорогами, откликался на все голоса. До уроков ли уж тут!

Ксения Петровна увидела лёшкин табель за первую четверть и всплеснула руками:

— И тебе не стыдно?

В тот же вечер его позвали к Людмиле Сергеевне. Лёшка не видел её целый день и, войдя, поздоровался. Людмила Сергеевна ответила, не глядя. В комнате сидели Сима, Жанна и все члены совета отряда. Они тоже не смотрели на Лёшку. Только Кира и Алла коротко взглянули и сейчас же отвели глаза.

— Что будем с ним делать? — спросила Людмила Сергеевна, кивнув в лёшкину сторону и опять даже не взглянув на него.

— Пусть он сам скажет, как это получилось, — предложил Митя.

— Он уже высказался, — Людмила Сергеевна взяла лежащий перед ней лёшкин табель и показала. — Что он ещё может сказать: что он неспособный? Что к нему придираются?

Все посмотрели на табель, потом на Лёшку.

— Молчите? Тогда я скажу. Вы плохие товарищи! Да, да!.. Вы гордитесь, что, мол, вы все за одного... Где, в драке? Там, конечно, вы вступитесь. А если он плохо учится, портит себе будущую жизнь, вам нет дела?

— Мы говорили, — вставил Митя. — Воздействовали...

— Это Яша виноват, — сказала Кира и покраснела. — А что? Конечно!.. Он его книжками заразил...

— Глупости какие!.. — усмехнулась Алла. — Просто Горбачёв — лентяй.

— Никакие не глупости! Я же знаю... Раньше он хорошо учился, ну, не совсем хорошо, а всё-таки ничего... А потом начал книжки читать и забросил уроки. Даже в столовой пробовал читать...

— Пожалуй, верно, — смущённо признал Яша. — Я думал, он полюбит читать, станет культурнее и ему будет легче. А получилось вот так... — развёл он руками.

— Запретить ему — и всё! — энергично потрянул кулаком Митя.

— Запретить читать книги? Вот уж это действительно глупости! — сказала Людмила Сергеевна. — Запрещать мы не будем. Эх, Алёша,

Алёша! — вздохнула она и помолчала. — Я думала, ты уже большой, сознательный мальчик и всё понимаешь... Если мы за галчатами... за малышами следим, чтобы пуговицы были целы, чтобы под носом было чисто, — это понятно, они маленькие... А ты... Ну что ж, будем и тебе нос вытирать...

Все ребята, кроме Аллы, улыбнулись. Она смотрела на Лёшку с недосягаемых высот техникумовского первого курса с таким пренебрежением, с таким холодным и даже брезгливым любопытством, будто и на самом деле под носом у него повисла капля.

— Можешь итти, — сказала Людмила Сергеевна, — а вы останьтесь. Лёшка ушёл.

Как он их ненавидел!.. Ну, книжки читал, ну, не учил уроков... А может, ему эти уроки совсем не нужны? Может, у него будет такая специальность, что можно без всяких уроков?.. Очень просто: вот возьмёт уедет и станет... Лёшка остановился под топодем и задумался о том, кем он станет.

Дул холодный ветер, голые ветви, обледенелые после мокрого снегопада, стеклянно звенели. Под ногами громко шуршали палыс, тоже заледеневшие листья. Лёшка бегал с ребятами к морю и знал, что по утрам у берега появлялся хрупкий тонкий ледок, вода стала густой и тяжёлой, будто тоже сжалась от холода.

А на севере, куда ушёл «Гастелло», должно быть, — сплошные льды. Может, «Гастелло» вмёрз где-нибудь в ледяное поле, Алексей Ерофеевич, капитан с Чернышём и все стали, как челюскинцы... Оттого, наверно, Алексей Ерофеевич ни разу не написал. И хорошо, а то бы Людмила Сергеевна и ему написала про двойки...

Лёшка представил, как Алексей Ерофеевич читает такое письмо, Анатолий Дмитриевич заглядывает ему через плечо и, присвистнув, говорит: «Сдрейфил парень! Кишка тонка»... Алексей Ерофеевич молчит и только прищуривается, как... как будто это не он, а Алла.

Ну и пусть! А он уедет, и пусть шурятся, как хотят, и пусть говорят... Вот сейчас он потихоньку уйдёт, сядет на поезд, на товарный какой-нибудь, и всё... Его хватятся, будут искать, заявят в милицию. А он будет сидеть на площадке, будет холодно, но он всё равно не слезет с поезда и не вернётся...

Ветер пронизывал брюки у колен, задувал под куртку. Лёшка запахнул куртку плотнее и уже без восторга рисовал себе последствия бегства.

— Ты что здесь стоишь? — подбежала к нему Кира. — Пойдём, замёрзнешь.

— Не твоё дело. Отстань!

— Какой ты... — дрогнувшим голосом сказала Кира, потопталась около него и убежала.

— Ребята! — услышал издали её голос Лёшка. — Заберите Горбачёва, вон он там стоит... Он же простудится!

К нему подошли Яша и Тарас.

— Пойдём домой, — сказал Яша.

— Да что вы привязались? Маленький я, что ли? — закричал Лёшка.

— А то нет? — ответил Тарас. — Вон и Людмила Сергеевна говорила, что маленький... Сам пойдёшь чи отвести?

Лёшка пошёл сам.

Мало-помалу горечь и обида после разговора у Людмилы Сергеевны ослабевали. Ослабела, а потом и вовсе исчезла мысль о бегстве, однако со своими обидчиками Лёшка не разговаривал. Они делали вид, будто ничего не случилось.

Кто-то разболтал о том, что было на совете отряда, и однажды вечером Валет, ухмыльнувшись, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Может, деткам пора баиньки?..

Лёшка притворился, что это его не касается.

В другой раз Валет, уже глядя прямо на Лёшку и так же отвратительно ухмыляясь, запел: «Спи, младенец мой прекра...»

Лёшка ринулся к нему, но его перехватило несколько рук, усадило на кровать и придержали, пока он не перестал вырываться. К Валету подошли Митя и Тарас.

— А ну, пойдём, поговорим, — сказал Митя и кивнул на дверь.

— А чё те надо? — огрызнулся Валет, но, посмотрев на обоих, притих и вышел вместе с ними.

Разговор был недолгий. Валет вернулся запыхавшийся, слегка помятый. На Лёшку он не смотрел.

Лёшкино ожесточение не смягчилось. Не нужно ему ни заступничества, ни помощи. Раз с ним так, и он будет тоже... От ребят он держался в стороне, и ему всё чаще становилось не по себе. Всё чаще Лёшке приходилось подхлестывать затихающее воспоминание, заново растравлять обиду, чтобы не заговорить, не засмеяться, когда смеялись другие, и чтобы не получилось, будто он всё забыл и уже не сердится.

Он не собирался ни забывать, ни прощать. Пусть не думают... Тоже нашлись умные! Он не глупее. Захочет — не хуже их будет. Вот возьмёт и докажет...

Доказать оказалось трудно. Надо было навёрстывать пропущенное и учить новое, чтобы не отстать. А новое зачастую было непонятно — оно опиралось на пройденное, там же у Лёшки обнаруживался то один, то другой провал. Лёшка злился и ожесточённо читал и перечитывал пройденное. Иногда, запутавшись, он поднимал голову от учебника и ловил взгляды Мити, Киры, Яши. Взгляды выражали сочувствие и готовность немедленно помочь. Лёшка отворачивался и, сжав виски кулаками, начинал снова. Думают, он попросит. Не дождутся!..

Прошло немало недель, пока двойки исчезли, их заменили тройки и даже четвёрки. Теперь, когда Лёшка отвечал, на лице Тараса появлялось сдержанное одобрение, «Великая немая» улыбалась, а подпухшие глазки Симы сияли. Лёшка делал вид, будто ничего не замечает. Очень ему нужно их одобрение! И вообще они ему не нужны. У него есть настоящий друг — Витька Гушин.

Кроме Витковского, Витька ладил со всеми одноклассниками, но привязался к Лёшке, может быть, потому, что тот охотнее других слушал, как и каким великолепным моряком станет он, Витька, не спорил и не подсмеивался. Дома Витька перерисовывал из книг все картинки с парусниками, пароходами и развешивал их на стенах. Милочке иногда удавалось проникнуть в комнату брата и благодаря лёшкиному заступничеству остаться там. Она с завистливым восхищением смотрела на картинки и тяжело вздыхала: у неё таких не было. Лёшка рисовал для неё пароходы, и они получались очень похожими на настоящие. Но Милочка не признавала реализма. Прижимая верхнюю губу языком и пыхтя от усердия, она лёгкий дымок из трубы заменяла толстой кудрявой спиралью, на палубе пририсовывала человечков ростом с мачту, а над пароходом помещала самолёт, похожий на растрёпанную курицу...

Часто и надолго к Гушину ходить не удавалось: надо было успевать домой к обеду, ужину, готовить уроки. А дома он всё время чувствовал себя скованно и неловко. Как ни расковыривал Лёшка свою обиду, переживать её наново не удавалось. Теперь он уже не понимал, почему и за что так рассердился, рассорился с ребятами на всю жизнь. В том, что ссора на всю жизнь, он не сомневался.

Однажды после уроков Митя поотстал от ребят, поравнялся с Лёшкой и сказал, будто продолжая прерванный разговор:

— Вот видишь: я оказался прав!

Лёшка покосился на него.

— Все говорили, что тебе надо помогать, а я говорил, не надо, ты так догонишь. Ну вот, догнал... И хватит дуться!

— А я дуюсь?

— А кто, я, что ли, голова садовая? — засмеялся Митя и стукнул его портфелем по спине.

— А что же, я? — также засмеялся Лёшка и тоже стукнул его портфелем!

— Ребята! наших бьют! — закричал Митя.

Он сгрёб горсть снега и швырнул в Лёшку. Тот ответил. Подбежали ребята, снежки посыпались на него, на Митю, и через минуту на улице бушевала снежная пурга. Прохожие замедляли шаг и, улыбаясь, смотрели. Должно быть, им вспоминалось своё, такое же весёлое, горластое детство, снежные баталии, и им тоже хотелось, наверное, залепить в кого-нибудь хорошим зарядом, но они были взрослые. Они подхватывали с земли горсть снега, уминая его, смущённо улыбались и шли дальше по своим, взрослым делам, унося быстро тающую между пальцев памятку юности.

Внезапно в кипящий бой ворвался крик:

— Вы что безобразничаете? Хулиганы!..

Пожилой мужчина на тротуаре потрясал палкой. На чёрной драповой груди его красовалась снежная корона — след вдребезги разлетевшегося снежка.

— Полундра! — крикнул Валерий, и, подхватив портфели, ребята бросились бежать.

Они вовсе не испугались ни пожилого гражданина, ни его палки. Им просто было так же весело и радостно бежать, как только что было весело и радостно бросать друг в друга хрустящие в руках, пахнущие холодом и свежестью снежки. И они бежали, крича во всё горло и изо всех сил топая, чтобы громче хрустел и звенел под ногами снег...

Шумная пурга на улице смела призраки обид, которые Лёшка собирался на всю жизнь поселить между собой и товарищами. Он опять пошёл с Яшей в библиотеку. Опять открывал каждую книгу, как сказочную дверь в новый, неведомый мир, чудодейственно поместившийся на нескольких сотнях страничек. Только теперь Лёшка уже не пытался захлопнуть эту дверь за собой и забыть об остальном.

«Коза» и моторчик уже стояли на фундаментах, трансмиссия со шкивами была прикреплена к стене, проводка сделана. Теперь, когда Вадим Васильевич в воскресенье влетал на мотоцикле во двор детдома, Кира, Митя и Толя запирались с ним в мастерской и оттуда доносились то басовое гудение, то треск и постукивание. Наконец Вадим Васильевич объявил, что всё готово и можно, пожалуй, попробовать, но тут же добавил, что следует обставить всё по-человечески.

Что значит «по-человечески»? Конечно, это не гигант тяжёлой индустрии, но мастерская у них в детдоме открывается не каждый день. Разве это не торжество? И разве для тех, кто на этом ветхозаветном ветеране снимет первую в своей жизни стружку, это не праздник? Отчего бы и не назвать так: «Праздник первой стружки»? А? Ничего звучит! Может, у них даже появится такая традиция: чтобы каждый, кто начинает работать на станке, снимал свою первую стружку при всех, торжественно? Традиции надо не только чтить, но и создавать... Неплохо придумано, а?

Вадим Васильевич, склонив набок голову, зажмурил левый глаз и широко открытым правым вопросительно оглядел всех, став похожим на диковинную лысую птицу. Никто не замечал в нём смешного, будущие токари смотрели на него с обожанием.

— И из ремесленного позвать! — предложила Кира.

— Правильно! — поддержала Людмила Сергеевна. — Главные помощники.

Из ремесленного пришли уже знакомые ребятам воспитанники и Ерёмко. Ерёмко с ревнивой тщательностью осмотрел всё, перешупал, даже попробовал покачать «козу» на фундаменте.

— Ничего, ничего, — проговорил он, отдуваясь и вытирая руки концами. — Смазывать побольше надо! Она... станок, я говорю, смазку любит!

— А разве мало? — удивилась Кира. Она следила за каждым движением Ерёмко, вместе с ним заглядывала всюду, перепачкалась, и даже на носу у неё появились чёрные пятна.

— Нет, ничего, ничего, — успокоил Ерёмко. — Вот из тебя будет токарь, по носу видно! — засмеялся он, увидев масляные пятна на кирином носу. — Ну что ж, голубчики, начинайте!

— Нет уж, начинайте вы, — сказала Людмила Сергеевна, протягивая ему ножницы. — Ваш подарок, вам и начинать.

Рукоятка рубильника была привязана к шиту тоненькой красной ленточкой. Такой же ленточкой был привязан к станине суппорт станка. Зрители расположились полуколемом вокруг станка — маленькие спереди, постарше сзади. Даже Ефимовна оставила свою кухню и пришла посмотреть, как будут пускать станок. Позади всех высилась сутулая фигура Устина Захаровича. Он укладывал фундамент, помогал устанавливать мотор и станок, но отношения к ним не переменял и смотрел на всё неодобрительно.

Ерёмко ступил в полукруг, в наступившей тишине ножницы в его руках дважды щёлкнули.

— В час добрый, как говорится! — сказал он, отступил от станка и машинально, словно привычный микрометр, попытался засунуть ножницы в карман гимнастёрки.

Митя подошёл к мотору и включил рубильник. Мотор загудел. Дрогнув, побежал вверх приводной ремень и, как метроном, защёлкал швом о шкивы. Напряжённая, слегка побледневшая Кира ступила на деревянную решётку возле станка и оглянулась на Вадима Васильевича. Тот кивнул. Кира вставила в патрон круглую заготовку и, поворачивая патрон, начала ключом поджимать кулачки. Ключ вырвался у неё из рук и звякнул о салазки.

— Осторожно! — страдальчески крикнул Ерёмко, протягивая к станку руку, в которой так и остались ножницы, не влезавшие в карман. Он недоуменно посмотрел на них и сунул соседу.

Кира дёрнула рычаг рабочего хода, патрон с заготовкой завертелся. Склонившись над ней, Кира осторожно подвела суппорт. Резец чиркнул по заготовке раз, другой, на тёмной, почти чёрной заготовке сверкнуло блестящее колечко, расширилось в ленточку. Съедаемая черноту, к патрону поплыла блестящая поверхность обнажённого металла. Подрагивая, вилась спиралью стружка. Запахло нагретым маслом и железом. По остывающей стружке бежали жёлто-синие разводы. Резец дошёл до кулачков. Кира отвела суппорт, выключила станок и обернулась.

— Ну вот, а мне не верили, — сказал Ерёмко. — Я же говорил: прекрасный станок! — и первый захлопал в ладоши.

Захлопали, закричали все зрители. Кира вытерла пальцами выступившие от волнения бисеринки пота на губе, на лбу — там появились тёмные

пятна и полосы. Ребята засмеялись, захлопали ещё усерднее. Они смеялись не над нею, а от радости. Перепачканная масляными пятнами, она была сейчас не смешной, а красивой, эта девочка с полуоткрытым в счастливой улыбке ртом и сияющими гордостью глазами.

Ерёменко снял обточенный валик, осмотрел и одобрительно сказал: — Ничего, очень даже ничего!

Валик пошёл по рукам. Каждому хотелось потрогать, понюхать эту ещё горячую, будто она живая, блестящую штуку. Они зачарованно поглаживали тёплый кусок круглого железа и неохотно выпускали его из рук, потому что кто же не завидовал сейчас Кире и кому же не казалось, что он держит в руках кусочек и своего будущего!

Вадим Васильевич поднял змеящуюся, в синих разводах, спираль стружки. Отломив кусок, он положил его в коробочку, которую достал из кармана.

— Конечно, это не бриллиант, — сказал он. — Но пройдёт время и ты поймёшь, что память о сделанном впервые своими руками дороже всех бриллиантов. На, береги!

Кира осторожно, будто кусок железа мог вспорхнуть и улететь, взяла коробочку. Снова изо всех сил хлопали в ладоши и что-то кричали ребята. Она не слышала: синий цвет побежалости сиял цветом счастья. Такого дня ещё не бывало в кириной жизни, и она была бы совсем-совсем счастливой, если бы... если бы не прстивный Лёшка Горбачёв. Он стоял в стороне, разговаривал с Сергеем Ломановым, чему-то смеялся и не обращал внимания ни на Киру, ни на её радость.

21

Витька переменялся. Он то притихал на несколько дней, то вдруг начинал отчаянно озоровать, на переменах кричал больше всех, задирали других и при малейшем поводе дрался. Внушения не помогали. Он диковато смотрел в сторону, обещал, что «больше не будет», и продолжал безобразничать. Учиться он стал неровно: то получал пятёрки, то съезжал на тройки. Классная руководительница вызвала в школу мать. Оказалось, и дома Витька вёл себя так же: то замолкал, слова не добьёшься, то приставал к сестре, доводил её до слёз, грубил домработнице и даже матери.

— Переходной возраст,— вздыхала руководительница.— В этом возрасте многие дети так... Надо устранять по возможности все раздражающие факторы...

— Да кто его раздражает? Он сам всех раздражает.

— Психология подростка — сложная вещь. Надо оберегать, надо оберегать...

Одноклассники не собирались оберегать Витьку. Его «прорабатывали» на собрании класса, на сборе пионерского отряда. Красный, надутый, он монотонно и угрюмо оправдывался. Он оглядывал исподлобья своих прокуроров и сердито сжимал пухлые губы. Заладили: уроки, отметки, успеваемость... Разве им можно открыть душу?..

Смятенная витькина душа жаждала открыться, излить радости и горести, меж которых, как щепка на штормовой волне, металась эта душа и заставляла его безобразничать. Потом он раскаивался, но раскаение быстро уходило, а смятение оставалось, и всё шло попрежнему. Один Лёшка Горбачёв не лез к нему с вопросами и нравоучениями, и ему Витька решил рассказать.

Они возвращались после уроков, и Витька нарочно дал крюку, чтобы дальше идти вместе. Он шёл по краю тротуара и стучал ногой по стволам деревьев. Ветки деревьев вздрагивали и роняли пушистый иней. Внезапно решившись, Витька повернулся к приятелю:

- Никому не скажешь?
- Нет. А что?
- Слово?
- Слово!
- Ты был когда влюблённый?

Лёшка удивлённо открыл глаза и покраснел. Кто же говорит об этом вслух?

— Нет,— ответил он.

— А я влюбился,— мрачно сказал Витька и изо всех сил пнул ногой очередное дерево.

Лёшка поколебался, не зная, что в таких случаях надо говорить, и спросил:

- В кого?
- В Наташу Шумову...
- В Шумову?
- Ну да... А что? — с вызовом спросил Витька.
- Нет, ничего... Я думал, в другого кого.
- Что, некрасивая, да? Я тоже так думал... раньше.

Эта большеротая, скуластая девочка с растрёпанными волосами действительно не казалась Лёшке красивой.

— И почему это так? — недоуменно продолжал Витька.— Была некрасивая, некрасивая, а потом вдруг стала красивая?

— Не знаю,— сказал Лёшка. Он твёрдо знал, что Алла всегда была красивой и становилась всё красивее.

— Неправильно это! — вздохнул Витька.

— Что?

— А вот когда так... — туманно ответил Витька.— Только смотри: слово!

Ещё совсем недавно Наташа Шумова ничем не отличалась от других девочек в классе и даже от ребят. Её можно было при случае дёрнуть за волосы, стукнуть, а уж дразнить и подавно. Витька делал всё это не без удовольствия, потому что она сама задиралась и ни в чём не уступала ребятам. Когда она на большой перемене сказала, что у него из одной губы можно выкроить три, Витька погнался за ней, намереваясь дать ей как следует. Он нагнал её возле самого забора, так что дальше бежать было некуда, схватил за руку и дёрнул. Наташа повернулась к нему, раскрасневшаяся, растрёпанная, сердито сверкая большущими своими глазами.

— Ну, тронь! Тронь только!..

И вот тут-то Витька, уже размахнувшийся для удара, вдруг увидел, что она красивая. Две-три секунды он остолбенело смотрел на неё, потом покраснел, будто его ошпарили, и опустил руку. Наташа убежала.

Поражённый внезапным открытием, Витька весь урок украдкой поглядывал на Наташу. Она была удивительно, необыкновенно красива! Всё в ней было красиво. И глаза, и брови, и не подчиняющиеся гребешку волосы, и даже рот, её большой рот, не казался теперь Витьке ни большим, ни некрасивым. А как блестяли у неё зубы, как она взмахивала своими мохнатыми ресницами или изгибала тонкую шею так, что на ней сквозь кожу просвечивала голубая жилка!

Наташа давно забыла про Витьку. Она слушала учителя, писала, шепталась с подругой и ни разу не взглянула в витькину сторону. А он краснел, бледнел и не сводил с неё глаз. Наташа поднимала худенькую, тонкую руку — его пронзала нежность и почему-то жалость к этой бледной маленькой руке. Она поворачивалась спиной — и он, как величайшим радостным открытием, любовался аккуратной штопкой на локте её зелёной шерстяной кофточки. Он смотрел и смотрел, готов был смотреть всё

время, всегда, вечность... Но вечность любви не в ладах со школьным расписанием: обрывая её, загремел звонок на перемену. Наташа убежала с подругами, а Витька побрёл следом, чтобы хоть издали, хоть мельком видеть её.

С этого дня Витька не задирался и не дразнил её. Он безропотно сносил от Наташи любые насмешки, безмолвно плёлся за ней, куда бы она ни шла, терзаясь стыдом и обмирая от радости, терпел от неё всё и думал только об одном: что бы такое сделать, лишь бы Наташа одобрительно посмотрела на него и улыбнулась. Придумать Витька ничего не мог. Он надувался, пыхтел, с пылающими ушами и сердцем вертелся возле неё и даже домой начал ходить по другой улице, чтобы издали следить за ней. Наташа не обращала на него внимания. Если Витька дрался или выкидывал ещё что-нибудь нелепое, она поводила плечиками и смотрела на него, как сквозь пустое место.

Витька много раз давал себе честное слово не подходить к Наташе, даже не смотреть в её сторону. Но как только он приходил в школу, ноги его сами собой шли, а голова поворачивалась туда, где была она.

Обиженный равнодушием Наташи, Витька мечтал о болезни, с мрачным ликованием и щемящей жалостью к себе рисовал в воображении картины своей смерти и запоздалого горя Наташи, которая слишком поздно поняла и оценила его и безутешно плачет возле гроба, а он лежит бледный, холодный и ко всему безразличный...

Витька вглядывался в зеркало, отыскивая на своём лице следы страданий, предвестников близкой смерти, но видел там всё те же красные, будто подпухшие губы, всё те же толстые щёки, налитые румянцем, никак не подходившие умирающему от скорби страдальцу.

Витька был убеждён, что безответное чувство похоронено в глубине его сердца, но, придя как-то в класс, увидел формулу, написанную мелом на доске: « $G + Ш = ?$ ». Витька покраснел и поспешно стёр. На следующей перемене формула появилась снова. Витька сделал вид, что надпись его не касается, но, посмотрев в сторону Наташи, похолодел: красная от смущения, она метала в витькину сторону ненавидящие взгляды. Подозревая в глупых надписях то одного, то другого, Витька грозил и даже дрался, но это не помогало, надписи появлялись снова. Однажды уже другую формулу — « $G : Ш = \text{дурак}$ » — увидел на доске Викентий Павлович. Удивлённо подняв брови, он посмотрел на неё и сказал:

— М-да... Уравнение назидательное. Однако сотрите.

Витькины кулаки не помогли, помогла привычка. К его «влюблённости» привыкли и перестали замечать, как не замечали прошлогоднюю царапину на доске и чернильное пятно на полу возле первой парты.

Наташа не разговаривала с Витькой, но уже как будто и не очень сердилась. Витька до сих пор не осмеливался ничего сказать, теперь он решил выяснить отношения. Исписав и изорвав целую тетрадь, он убедился, что никакие слова не могут передать его чувства. После долгих поисков он нашёл наконец способ выразить их кратко и красноречиво. Ни чернила, ни карандаши для этого не годились, это должен был быть голос самого сердца. Витька утащил у Сони иголку и заперся в своей комнате. Уколов палец иголкой, он выдавил на чистое перо каплю крови, нарисовал сердце, а посередине написал: « $B + H$ ».

Целый день он не мог собраться с духом, и только перед последним уроком с упавшим сердцем Витька подбросил записку, сложенную в крохотный четырёхугольник. Он боялся, что Наташа выбросит её, не развернув. Она не выбросила. Витька притворялся слушающим учителя, а сам, скосив глаза, наблюдал. Наташа развернула записку и начала краснеть: щёки, уши и даже шея у неё стали малиновыми. Она нахмурилась и спрятала записку. Потом Витька увидел, что она достала записку и что-то

старательно пишет на ней. Обмирая от волнения, Витька ёрзал на парте и ждал ответа. Ответа не было. Вместо этого Витька увидел, как Наташа показала записку соседке и та фыркнула. Записку передали на другую парту, там девочки тоже зафыркали, зашептались. Записка пошла от парты к парте, её перехватил Вошakov, и теперь уже ребята поглядывали на Витьку и смеялись. Он побагровел, опёрся висками на кулаки, чтобы скрыть горящие щёки и закипающие на глазах слёзы. Сзади зашевелились, захихикали. Витька обернулся и выхватил злополучное послание. Во что оно превратилось! Наташа старательно замазала букву «Н», написала полностью «Виктор», а к нарисованному витькиной кровью сердцу пририсовала длинные обвисшие уши. Пылающее любовью сердце стало похоже на унылую ослиную башку...

Такого оскорбления никто не наносил Витьке за всю его жизнь. Уткнувшись в книгу, он делал вид, будто читает, но строчки сдваивались и таяли, плавали в радужном тумане.

Едва досидев до звонка, Витька схватил заранее уложенный портфель и первым выскочил из класса. Пулей слетел он по лестнице, вырвал пальто из рук сторожихи и полуодетый выбежал на улицу. Он бежал, не слыша зовущих его сзади голосов. Звенел и пел под ногами схваченный морозом снежок, сияло на ясном голубом небе солнце. Небо казалось Витьке чёрным, солнце дрожало, тряслось от смеха, и визгливым хохотом заливался снег... Гром и Ловкий заскулили от витькиных пинков, осыпая штукатурку с притолоки, грохнула дверь.

— Явился, вояка! — заворчала Соня.

Витька заперся в своей комнате и после настойчивого стука прокричал через дверь, что обедать не будет, не хочет и ещё что-то неразборчивое. Милочка подошла к запертой двери и прислушалась: из-за двери доносились странные звуки.

— Витя плачет, — растерянно прошептала Милочка кукле и на цыпочках отошла от двери.

Витька плакал. Так он ещё никогда не страдал. Всё было оскорблено, унижено и растоптано. И, задыхаясь от обиды и сострадания к себе, Витька заливался слезами.

Бурные грозы — недолгие грозы. Смыв первую, самую острую горечь обиды, слёзы иссякли. Витька, лежавший лицом в подушку, перевернулся на спину, заложил руки под голову.

Дальнейшая жизнь не имела смысла. Если никто в мире (то есть Наташа) не понимает и не ценит его, зачем Витьке этот мир? И не лучше ли с гордым презрением отказать от него? Он, Витька, расстанется с ним без сожаления. Всё уже потеряно, больше нечего терять и не о чем жалеть. Пожалеют о нём, но будет поздно...

С мрачной решимостью Витька начал перебирать доступные ему способы покинуть этот мир, но тут пришла мама, громко постучала в дверь и сказала, чтобы он перестал валять дурака и немедленно шёл обедать. Витька попытался прикинуться спящим и даже захрапел, однако мама не поверила и пригрозила, что расскажет о витькиных фокусах отцу. Прощание с миром пришлось отложить.

Витька умылся, но глаза остались красными, опухшими. Мама заметила и со свойственной родителям нечувствительностью начала допытываться, что случилось. Он сказал, что ничего не случилось, он просто поссорился с... Вошakovым. Поссорился или подрался? Ну, пускай подрался...

Уныло размышляя о своей трагической судьбе и неумении родителей «найти общий язык» с детьми, когда те страдают, Витька незаметно съел суп, котлету, а киселя попросил было вторую чашку, но спохватился, горестно махнул рукой и отказался. Что кисель!..

Потом, вместо того чтобы учить уроки, — зачем теперь они? — Витька, опершись подбородком на кулаки, смотрел за окно, где медленно кружились, падали мохнатые снежинки.

Так он, сломленный горем, и заснул и потом не мог вспомнить, каким образом оказался в постели.

Утром Витька наелся хлеба с маслом, выпил чаю и собрался в школу — всё это только для того, чтобы не вызвать подозрений у мамы. Как назло, почти у самых ворот он столкнулся с Толей Крутилиным.

— Пошли вместе? — спросил Толя.

Витька собрал всю свою выдержку и пошёл рядом. Увидев входящую в класс Наташу, он мучительно покраснел, отвернулся и больше в её сторону не смотрел.

Враньё маме про Вошакова оказалось пророческим. На большой перемене Вошаков так, чтобы видел Витька, приложил к голове кисти рук и пошевелил ими, будто длинными ушами. Витька бросился в драку. Вызванный к директору, Витька взял всю вину на себя. Больше всего он боялся, что Вошаков расскажет, из-за чего они подрались. Вошаков приоткрылся непонимающим и ничего не рассказал.

Наташа не замечала витькиных мучений. Она попрежнему отлично училась, бегала на переменах и не думала страдать от того, что Витька ходит с несчастным видом. Витька старался не смотреть в её сторону, но очень хорошо замечал, что она всё чаще и охотнее разговаривает и смеётся чему-то с Витковским, а после уроков идёт домой с ним вместе...

Хуже этого быть не могло. Если уж она предпочла этого прилизанного пижона, о чём можно было говорить, чего она заслуживала?! Только одного — презрения.

Не вдаваясь в подробности, Витька объявил Лёшке, что в жизни он разочарован, никакой любви нет, всё это чепуха, выдумки и что он лично ценит по-настоящему только мужскую дружбу. Раньше он дружил с Серёжкой Ломановым, но тот после шестого ушёл в ремесленное, и, если он, Лёшка, хочет, они будут дружить всю жизнь.

Лёшка обрадованно заверил его, что он, конечно, хочет дружить, потому что самый лучший его друг, Митька, остался в Ростове. Относительно любви Лёшка промолчал: он не знал, что о ней думать.

Лёшкина любовь не походила на бурные метания Витьки. И вообще это не была «любовь». Любовью занимались взрослые в книжках, которые он читал. Там люди очень много и скучно говорили про любовь, страдали и были несчастными. Потом они женились или выходили замуж и снова страдали и были несчастными. То, что он чувствовал, совсем не было похоже на описанное в книжках, и ему казалось, что такого не было и не могло быть у других, а было только у него.

Сначала он был убеждён, что просто ненавидит Аллу, да так оно и было. Но чем чаще он встречался с Аллой, тем с большим трудом вызывал в себе враждебное чувство к ней. Первая стычка на совете стряда давно утратила остроту, забылась обида, вызванная её высокомерной речью, и он уже без неприязни, а с удовольствием смотрел на неё, слушал, когда она говорила. Она была красивее всех, умнее всех и всё делала лучше всех. И голос — звонкий и певучий, и походка — лёгкая, скользящая были у неё не такие, как у других, а несравненно лучше. Вещи её были тоже лучше, чем у других. Они были такие же, но они были лучше, потому что принадлежали ей. Он всегда старался сесть или стать так, чтобы видеть Аллу. Ему и в голову не приходило подбрасывать записки, подобные витькиной. Он бы сгорел от стыда, если бы Алла догадалась о том, как нравится Лёшке смотреть на неё. Сам он никогда не заговаривал с Аллой, а если ей случалось обратиться к нему, он терялся, краснел и уходил.

Алла ни о чём не догадывалась. Она была поглощена занятиями в техникуме, новыми впечатлениями, знакомствами и подругами по первому курсу. Возвращалась Алла уже поздно, в темноте. Лёшка старался оказаться во дворе к тому времени, когда она возвращалась, а то выходил и за ворота. Если ему везло, он видел, как по аллейке, обсаженной подстриженными кустами, лёгкой, скользящей походкой Алла приближалась к дому и скрывалась за воротами. Завидев Аллу, Лёшка прятался в тень и провожал её взглядом.

Случалось, Аллу провожали новые подруги, соученицы. Они громко разговаривали и ещё громче смеялись. В последнее время бывало всё чаще, что её провожали не девушки, а ребята, вернее, всегда один и тот же парень. Они останавливались, не доходя до детдома, на аллейке и говорили уже совсем не громко. У Лёшки становилось сухо во рту, и ему хотелось сделать что-нибудь назло. Нет, не ябедничать Людмиле Сергеевне, а подговорить, например, ребят посадить провожатого на забор и заставить кричать петухом, как это делали парни в Ростове, если девушек с их улицы провожали чужие... Лёшка молчал. В конце концов, если бы Алла послала Лёшку за ним, за тем парнем, он и тогда затаил бы обиду, но пошёл...

Часть третья

КАПИТАНЫ

22

Людмила Сергеевна с тревогой думала об Алле, хотя и не подозревала о её вечернем провожатом. Оставаясь в детском доме, Алла всё меньше проявляла интереса к его жизни, у неё прорывалось пренебрежительное ко всему отношение. Конечно, она старше других ребят, конечно, у неё новая среда в техникуме, новые интересы, но слишком легко и поспешно Алла отрекалась от того, что совсем недавно было её жизнью. Было ли? Или увлечённо занималась она всем этим только потому, что стояла на виду, главенствовала? И прежде прорывались у неё нотки превосходства, пренебрежительного старшинства. Прежде были нотки, теперь это становилось линией поведения. Раньше не происходило в детдоме ничего, в чём бы Алла не участвовала, о чём бы не знала. Теперь она не участвовала ни в чём, ничем не интересовалась, а если её привлекали, со скучающим видом ожидала, когда всё кончится. Совет отряда, бессменной председательницей которого она была полтора года, захирел, а дела достаточно... Один Белоус чего стоил!

Как и у многих, отец Валерия погиб на войне. Солдатской пенсии, которую получала мать на Валерика, и её зарплаты уборщицы не хватало, но кое-как, от лета до лета, когда появлялись овощи, перебивались. Окаменевшая земля засуха сорок шестого лишила единственного подспорья — огородной зелени. Пошли на толкучку остатки и без того небогатого имущества, но это поддержало ненадолго. Как всегда в трудное время, с необыкновенной быстротой расплодилось крикливое, увёртливое племя спекулянтов, цены на базаре взвились так, что к продуктам не подступиться. А Валерик рос, ему нужны были и сахар и масло... Спасал пайковый хлеб. Недоедая, мать выкраивала буханку и несла на базар, чтобы продать из-под полы и купить что-нибудь на приварок. Торговля хлебом в ту пору строго преследовалась. Мать Валерия задержали вместе с группой крупных спекулянтов и осудили на пять лет.

Валерий остался один в пустой комнате. Всё, что можно, было уже продано, а есть нужно было каждый день. Соседки жалели мальчишку, изредка прикармливали — давали то тарелку супа, то несколько карто-

фелин. Однако у каждой была своя семья, свои заботы, и Валерий забыл, что значит есть досыта. В садах зрели яблоки, груши. После ночных набегов с ребятами на чужой сад Валерий ходил со вздувшимся животом, но оставался голодным — яблоки не хлеб, от них сыт не будешь. Да и удавались такие набеги не часто — хозяева сторожили сами или держали в садах злых, горластых кобелей.

Валерий начал промышлять на базаре. По неопытности еды ему удавалось добыть мало, зато часто попадало от разъярённых торговок. Здесь он сблизился с такими же безнадзорными ребятами и получил кличку «Валет». Новые приятели смеялись над неловкостью и наивностью, с которой Валерий выпрашивал или воровал съестное: они признавали только добывание «шайбочек», то есть кражу денег. Настоящим вором Валерий стать не успел: милиция заметила начинающего блатного, его забрали в детприёмник, оттуда отправили в детский дом. Здесь он сразу же стал правой рукой, есаулом, подручным, кем угодно, у Ромки Кунина.

...Ах, какое время было, что этот Ромка вытворял! Самый старший, самый сильный, никого не боялся и не слушался. Да и кого слушать, кого бояться? Одни малыши — ни пионерской организации, ни воспитателей... А ему уже пятнадцать, здоровенный парень. Курил, не таясь, малышей гонял за папиросами, даже водкой от него иногда пахло... Случалось, уходил и дня два не показывался вовсе.

А в тот раз, когда принёс кучу пряников, конфет и раздавал малышам, как барин дворне... Украл, конечно, — где же иначе взять?! Те, глупенькие, радовались, ели... А она — тоже хороша! — совсем потеряла голову: вырывала у них, бросала на землю, топтала и кричала что-то про воровскую малину, про жуликов... Вот тоже умна была! Ушла к себе, металась по комнате, чуть криком не кричала: как же быть, что делать?! А тут со двора свист, камни в окно... Прямо бунт самый настоящий... Это он подбил ребятню, Ромка. Ещё немного — и всё бы разгромили. Не помня себя, выбежала во двор, к ним, закричала:

— В меня целили? Ну, вот я — бросайте! У кого камни есть? У тебя, у тебя?..

Только этим и остановила. Не бросили. А могли и бросить. Ох, как она боялась, что бросят!.. Обошлось. Ромка в дом ворованного больше не приносил, но и её только что терпел.

— Вы не старайтесь больно-то, — говорил он, — всё одно я тут жить не буду...

Сколько раз пыталась объяснить ему, что он катится по наклонной плоскости и в конце концов пропадёт. Он, пренебрежительно усмехаясь, выслушивал, и всё оставалось как было. После поножовщины на Стрелке, когда Людмилу Сергеевну вызывали в милицию для опознания её воспитанника Кунина, она в несчётный раз попыталась пробудить разум Ромки, нарисовала его будущее, если он не исправится: суд, тюрьма, какой-нибудь исправительно-трудовой лагерь... Ромка угрюмо слушал, потом сказал:

— Ничего вы со мной не сделаете! Отправьте лучше в колонию... А тут дела не будет.

То же самое ещё раньше ей советовали и в гороно и в милиции, но Людмила Сергеевна не соглашалась. Ей было жаль этого полуюношу с тонким лицом, непреклонным характером и, как ей хотелось думать, хорошими задатками. Должно быть, Ромка и сам понимал, на какую дорогу он становился, но не мог оторваться от тёмной компании за стенами дома. А у неё не было ни сил, ни умения оградить его от дурных знакомств, от самого себя. И она сдалась. Единственное, на чём настояла, — чтобы ехал сам, без сопровождающего, как отправляют преступников. В милиции над нею посмеялись, предсказывая, что поехать-то он по-

едет, только совсем в другую сторону. Но Людмила Сергеевна уловила, как поражён был Ромка её предложением, как оно польстило его самолюбию, и ей так хотелось верить его обещанию...

Она купила ему билет, дала — из своих — денег на дорогу и проводила на вокзал. До отхода поезда стояли под дождём на открытой платформе. Оба молчали. Ромка время от времени зябко поводил шеей от затекающих за воротник холодных струек и говорил, глядя в землю:

— Вы идите, чего вам мокнуть?

— Ничего, я подожду,— отвечала Людмила Сергеевна.

Глухо, будто под мокрым мешком, брякнул второй звонок. Людмила Сергеевна протянула Ромке, как взрослому, руку и сказала:

— До свидания. Я верю, что ты станешь хорошим человеком.

Он искоса посмотрел на неё и полез в вагон. Поезд ушёл. Людмила Сергеевна стояла на платформе и смотрела ему вслед, пока перронный контролёр не предложил ей уйти.

Из колонии пришло официальное извещение, что Кунин прибыл. Потом год — ни весточки, ни звука. И вдруг пришло письмо. Ромка продолжал жить в колонии, начал опять учиться и играл в духовом оркестре на баритоне, что нравилось ему больше всего. Он вспоминал свои подвиги в детдоме и, хотя теперь уже было поздно, просил прощения... С тех пор он писал каждые два-три месяца, сообщая не только названия попури, разученных духовым оркестром, но и отметки. Ромкины письма хранились в коробочке, где самое ценное: метрики девочек, мужнина орденская книжка и облигации займов...

Ромка — это характер. Такие или ломаются и гибнут совсем, или выпрямляются и становятся настоящими людьми. Валерий, как вьюн, ускользал между пальцев. Он никогда не решался на открытое, прямое сопротивление, но, делая вид, что подчиняется, не подчинялся, обещая что-либо сделать, не делал ничего.

После отъезда Кунина Валерий, потеряв жожака и заводилу, на некоторое время притих. Потом попытался сам стать жожаком. В это время уже был создан пионерский отряд, появились ребята постарше, и с него быстро сбили спесь. Однако почти всё дурное, проникавшее в детдом с улицы, шло через него... Он первый завязал знакомство с блатными голубятниками, привёл их в детдом. Он потихоньку курил, подбирая на улице «бычки» — окурки. Он отлынивал от работы при малейшей возможности и с радостью поддерживал всякую «бузу», как называл проявление недовольства.

Призванный к ответу на совет отряда или к Людмиле Сергеевне, Валерий протестовал, врал и всячески стирался, а будучи уличённым, соглашался со всем, с необыкновенной лёгкостью и щедростью давал обещания, которых потом не выполнял. Он взял на себя роль добровольного шута и старался смешить других, издевался над теми, кто был слабее его, но не затрагивал сильных. Учился он через пень в колоду: дневник его не знал ни одной пятёрки, зато тройки были в изобилии, случались и двойки.

Все методы, все средства были испытаны, и ни одно не дало нужных результатов. Валерий юлил, каялся, врал и не менялся. Не бить же его в самом деле? Выведенные из терпения, ребята не раз грозили «дать ему жизни», и Людмила Сергеевна всерьёз опасалась, что они вот-вот потихоньку отдубасят Валерия.

Людмила Сергеевна решила ещё раз поставить вопрос о нём на сборе. Сбор всё равно был необходим, чтобы заменить Аллу в совете отряда.

Избранный председателем сбора Яша огласил повестку дня: избрание председателя совета и о Валерии Белоусе. Все тотчас оглянулись и посмотрели на Валерия. Он выразил на лице полное равнодушие и бес-

страшие, однако притих и перестал «выжимать сало» — двигаться по скамейке и теснить соседей.

Людмила Сергеевна объяснила, что теперь, когда Алла занимается в техникуме, нагрузка у неё большая, она не может уделять совету отряда достаточного внимания и работа от этого страдает, поэтому она предлагает Аллу освободить и избрать другого председателя.

Алла сидела в президиуме и с деланным безразличием смотрела в окно. Ей было жалко, что она уже не будет главной среди ребят, её слово самым авторитетным, и вместе с тем радовалась: пора развязаться с детскими нагрузками, в конце концов она уже взрослая, незачем ей путаться среди малышей, у неё дела поважнее.

— Митю Ершова! — закричало несколько голосов.

— Яшу Брука!

— Киру! — крикнула Сима.

— Хватит девчонок!

— Нет, не хватит! У девочек дисциплина лучше!

— Зато авторитета нет!

— Хватит для вас авторитета!

— Митю!

Яша поднял руку и, когда ребята стихли, объявил, что записаны три кандидатуры: Митя Ершов, Кира Рожкова и он, Яша Брук.

— Только меня не надо, ребята, — сказал Яша. — Я делаю самоотвод, потому что не гожусь.

— Почему это самоотвод? Мы сами знаем, кто годится, кто — нет!

Тарас Горовец поднял руку.

— Про Яшу ничего не скажешь — он и авторитетный и, мабуть, культурнее всех. Вот только он слишком добрый, ему всех жалко... А лодырей жалеть нечего, председатель должен быть — во! — Тарас сжал кулак и потряс им перед воображаемым лодырем.

— Что же ему драться, что ли? — иронически спросила Сима.

— Не драться, а требовать дисциплину. Поэтому я предлагаю Митю.

Сима вскочила с места и стала доказывать, что Кира ничуть не хуже, она хорошо учится и сумеет наладить дисциплину, выбрать надо обязательно её, чтобы мальчишки не зазнавались. Кира сидела рядом и, опустив голову, дёрнула Симу за платье, чтобы та села: она стеснялась, когда её расхваливали при всех, и знала, что мальчишки будут против — она их всегда задирала.

Большинство проголосовало за Митю Ершова. Он нарочно опустил глаза, чтобы не смотреть на голосующих, изо всех сил старался сохранить равнодушное выражение, но когда Яша объявил результаты, он не выдержал, улыбнулся и покраснел, выдав свою радость.

Алла поднялась и направилась к двери.

— Ты куда? — спросил Яша.

— Мне теперь нечего здесь делать, — напряжённо усмехнулась Алла через плечо.

— Как это — нечего?

— А вот так!

Дверь захлопнулась.

— Чего это она?

— Обиделась.

— Понимает об себе много...

— Ну и ладно. Обойдёмся!

— Следующий вопрос — о Белоусе, — объявил Яша и посмотрел на Людмилу Сергеевну.

— Вот сейчас ты получишь! — пообещала шёпотом Сима, обернувшись к Валерию. Тот, втянув голову в плечи, смотрел на директора.

Людмила Сергеевна встала, с минуту, покусывая губы, молчала. Не хорошо с Аллой получилось. Надо было предварительно поговорить... И с Белоусом нельзя с бухты-баракты. Надо сначала обсудить...

Чем больше она молчала, тем тише становилось в комнате и тем больше съёживался на своём месте Валерий.

— Вот что, ребята,— сказала наконец Людмила Сергеевна,— вопрос в повестке дня сформулирован неправильно... По моей вине,— сейчас же оговорилась она.— И вообще, я думаю, лучше сначала обсудить его на совете, а потом, если нужно, вынести на общее собрание.

— Так закрывать собрание?

— Закрывай. А совет пусть останется.

Ребята разошлись, остались только члены совета и нахохлившийся Белоус.

— Ты тоже можешь итти,— сказала Людмила Сергеевна.

— Так про меня же будете...

— Ничего, когда надо будет, позовём...

Такого ещё не было: Ругали его всегда при всех. Валерий, втянув шею и открыв рот, во все глаза смотрел на Людмилу Сергеевну. Тарас подошёл и легонько стукнул его под нижнюю челюсть.

— Закрой! И давай не задерживай.

Валерий вышел.

— Совсем не о том пойдёт речь, о чём думаете вы,— сказала Людмила Сергеевна.— Через неделю будет день рождения Валерия. Я предлагаю его отпраздновать...

Члены совета дружно рассмеялись. Они поняли: Людмила Сергеевна предложила это нарочно — и с удовольствием смеялись весёлой шутке.

— Я предложила совершенно серьёзно.

Смех затих.

— Вы помните, какой это хороший праздник в семье — именины. Надо ввести и нам. Семья у нас большая, именинников будет много... А начать я предлагаю с Белоуса.

Члены совета переглянулись.

— Тю! Да он же хулиган!..

— Босяк!

— Лодырь!

Кира, захлёбываясь от возмущения, перечислила преступления Валерия: он плохо учится, ничего не хочет делать, по-уличному ругается, пишет на стенах всякие гадости... Обижает маленьких, делает пакости девочкам и всем, кто послабее. Он не честный, а врун, и вообще — гад!.. И такому устраивать именины?! Если уж начинать, так с кого-нибудь стоящего... А если таким делать именины, тогда она просто не знает что...

— Правильно!

— Пусть заслужит!

— Всё это я знаю, ребята,— сказала Людмила Сергеевна,— и не согласна с вами. Вы думаете, что Белоус — плохой, а я думаю, что он только притворяется таким. Из озорства, из молодечества... И, может быть, назло. Вы, мол, считаете меня плохим, ну, я и буду плохим... Так ведь тоже бывает. А как к нему относятся?

— А что, плохо? Только и знаем — нянчимся...

— Да, но как? Ругаем да прорабатываем, будто он бог весть какой преступник... А он просто мальчик. Пока ещё не слишком большой и не слишком умный...

— То верно! — сказал Тарас.

— И ему, так же как и вам, будет приятно, если отпразднуют его день рождения...

— Ну, вы ж и хитрые! — лукаво прищурился Тарас.

— Не очень, — улыбнулась Людмила Сергеевна, и все тоже заулыбались.

— Выходит, подарки ему надо дарить? — спросил Митя.

— Конечно.

— А пирог? — подхватила Кира. — Ой, какой пирог мама делала! С вареньем...

— Правильно: и пирог. Чтобы были настоящие именины. Вот давайте всё и обдумаем... Только ему ничего не говорите, держите пока в секрете...

В секрете не удержали. Дня два растерянная ухмылка не сходила с лица Валерия. Он не знал, как следует отнестись к предстоящему празднику, и подходил то к одному, то к другому:

— Слыхал? Мне именины делают... Вот чудачки!

23

«Чудачки» старались изо всех сил. Ефимовна с трудом отбивалась от советчиц и добровольных помощниц. Нового председателя совета и Людмилу Сергеевну осаждали предложениями купить, сделать, подарить. Осуществив все эти предложения, Валерию понадобилась бы кладовка, чтобы хранить подарки, а продовольствия хватило бы на целую зиму. Тарас Горовец, именины которого никогда не праздновали и в семье, считал это ненужной выдумкой и недовольно ворчал:

— Да что он, с голодного края, чи шо? Надумали... Да вин трисне, а не поест!

Людмила Сергеевна вынуждена была охлаждать не в меру разыгравшееся усердие, и совет отряда постановил: по одному подарку от мальчиков и от девочек. Дело не в количестве. Лучше устроить вечер самостоятельности, чтобы было весело. Подготовкой вечера занялась Ксения Петровна, и каждый день до самого отбоя из столовой доносились музыка, топот и весёлые голоса.

Проснувшись в воскресенье, Валерий не спешил вставать — он не спешил никогда, — потянулся и вдруг заметил, что брюк и рубашки на спинке кровати нет. Он вскочил, заглянул под кровать — там тоже не было.

— Ребята, кто мою робу взял?

К нему повернулись удивлённые лица.

— А кому она нужна?

— Да бросьте разыгрывать! Кто спрятал?

Валерия и его койку окружили.

— Никто не прятал. Ты поищи получше, сам, небось, засунул...

— Нужно мне совать... — Но Валерий всё-таки проверил всю постель, ещё раз заглянул под кровать. Одежды не было.

— Ну, чё в самом деле... — начал злиться Валерий.

— А это что? — показал Митя на свёрток в газете, лежащий на тумбочке.

Валерий развернул газету — там лежали новые брюки и рубашка.

— Это не мои...

Тарас деловито пощупал материал.

— Ничего! Даже жалко...

— Чё жалко?

— Всё одно скоро порвёшь.

— Так это мне?

— А кому же? У тебя на тумбочке — значит, тебе.

Валерий недоверчиво посмотрел на ребят, на обновку и осторожно, словно боясь обжечься, начал одеваться. Обновка громко шуршала и пахла мануфактурным магазином.

— Ну, прямо хочь картины с него пиши,— засмеялся Тарас.

Новый костюм стеснял Валерия. Он привык к своей всегда измятой и уже не раз штопанной «робе», а теперь, хотя костюм был как раз впору, нигде не жало и не резало, ему казалось, что всюду жмёт и режет. Валерий попробовал ухмыльнуться всегдашней пренебрежительной ухмылкой — улыбка получилась растерянной. Ребята подходили, рассматривали, будто щупая материал, шипали Валерия. Он притворялся равнодушным, но не мог удержать улыбки. Так она и осталась на его лице до самой ночи — озадаченная, растерянная улыбочка.

К Горбачёву пришёл Витька Гущин и тоже обратил внимание на праздничный вид Валерия.

— Чего это ты, как новый двугривенный? — спросил его Витька.— А, костюм! Подходяще...

Витька пришёл будто бы по делу, за книгой, а на самом деле потому, что не находил себе места. Разочарованная, опустошённая душа требовала наполнения, а наполнить её дома было нечем. Поэтому, когда Лёшка, спросив у Людмилы Сергеевны разрешения, предложил ему остаться на вечер, Витька безнадежно отмахнулся и... остался. Поначалу он хранил выражение разочарованности, то есть насупливал брови и накопыливал пухлые губы, отчего лицо его становилось совсем детским, обиженно надутым, потом повеселел, губы и брови его вернулись в нормальное положение. Время от времени он спохватывался, вспоминал о своей неутешной печали, но вскоре совсем забыл о ней.

Послеобеденный чай решено было совместить с ужином, а ужин перенести на шесть часов, чтобы освободить вечернее время. Когда все собрались в столовой, Митя, уловив кивок Людмилы Сергеевны, поднялся и постучал вилкой по графину.

— Ребята... то есть товарищи! Сегодня у нас торжественный день... Мы празднуем день рождения нашего товарища, Валерия Белоуса...

— Встань! Встань! — зашипели на Валерия со всех сторон.

Валерий поднялся. Он привык к тому, что его стыдили, ругали. Он не ощущал при этом ни раскаяния, ни неловкости. Ему даже нравилось, что он был предметом общего внимания, и держался свободно и независимо. Сейчас его не собирались ругать или стыдить, и он вдруг почувствовал неловкость и смущение. Особенно плохо было с руками. Их некуда было девать и нечем занять. Он попробовал сунуть их за пояс — это было неудобно. Пошарил сзади, отыскивая спинку стула, — она была слишком далеко. Тогда он левую руку глубоко засунул в карман, а правой, согнув её в локте, оперся о бедро и так, избочившись фертом, застыл в неуклюжей, смешной позе.

— Сегодня ему исполняется четырнадцать лет. От имени всех ребят поздравляю тебя с днём рождения и выражаю уверенность... выражаю уверенность, — запнулся Митя, — что ты с честью оправдаешь надежды...

Аплодисменты вручили оратора, не привыкшего к длинным торжественным периодам.

— Девочки тебе дарят... Кира!.. дарят своё вышивание...

Кира подошла и протянула Валерию два вышитых крестиком платочка. Все захопали; Валерий неловко, будто деревянной рукой взял платочки и сунул в карман.

— А мы, ребята, вот...

Митя развернул обёрточную бумагу и преподнёс имениннику толстую общую тетрадь с картинкой на обложке. Подходящей к случаю картинке не нашлось — на обложке был изображён дед-Мороз с ёлкой за плечами, красной краской было напечатано: «С Новым годом!» Валерий взял тетрадь и сел, но тотчас же встал: к нему подошли Людмила Сергеевна

и Ксения Петровна. Они тоже поздравляли Валерия и чего-то желали ему. Расслышать, что ему желали, помешали аплодисменты.

— Здорово! А? — сказал Лёшке Витька. Ему очень понравились такие, непохожие на домашние — с обязательными поделуями — именины.

— Ничего, — согласился Лёшка.

Ему нравилось всё, кроме речи Мити. Парень он хороший, только говорить совсем не умеет. Вот Алла, та бы сказала так сказала!.. И всё было бы интереснее и лучше. Аллы не было. Сославшись на какие-то мероприятия в техникуме, она ушла на целый вечер.

Подали ужин — котлеты с гречневой кашей, разнесли чай. Кира, Сима и Жанна убежали на кухню и торжественно вышли оттуда, неся на прикрытых полотенцами блюдах пирамиды нарезанного пирога. Их встретили овацией. Девочки остановились за спиной у Валерия, тот озадаченно оглянулся.

— Что ж ты? — сказала Людмила Сергеевна. — Сегодня ты именинник, хозяин, все у тебя в гостях — вот и угощай!..

Взмокший от волнения, Валерий взял у Киры блюдо и пошёл вдоль столов, раскладывая куски пирога на тарелки. Он раздал всё, сел на место и горделиво оглянулся.

— Ну, как пирог? — войдя в роль хозяина, спросил он.

— Мировой! — набитым ртом ответил Тарас.

Валерий только взял было свой кусок, как на всю столовую зазвенел дрожащий от обиды голос:

— А мне?

Маленькой Люсе не хватило. Она подождала, надеясь, что сейчас ей принесут тоже, но ей всё не несли, а соседи уже начали есть. Пирог был такой пышный, с такой красивой корочкой, в нём столько было подвдла. Слёзы появились у Люси на глазах.

— А мне?

Так хорошо начавшийся праздник мог закончиться скандалом. Старшие девочки переглянулись, вскочили.

— Возьми у меня половину, Люся! — подбежала к ней Кира.

— Не хочу половину!

— Ну, возьми весь!

— Не хочу! Он твой!.. А где мой? — Люся, уткнувшись в ладошки, безутешно заплакала.

Валерий сердито оглянулся на вздрагивающий бант в люсиных волосах — «так бы и дал ей по затылку...» — посмотрел на свой кусок, схватил его и поставил перед Люсей.

— На! Вот твой пирог! Не реви, рёва-корова!..

Плач оборвался, Люся из-под растопыренных мокрых пальцев посмотрела — пирог стоял перед ней. Прерывисто вздохнув, она потянулась к нему и сразу успокоилась.

— Чего там? — появилась в окошке голова Ефимовны. — Не хватило, что ли? Нате вот!..

На стойке появилась тарелка с пирогом.

Валерий умял свою порцию. Пирог был вкусный, ему хотелось ещё. Тарелка стояла перед ним, там было много кусков, и прежде он, не задумываясь, потянулся бы за вторым. Но теперь он, удивляясь самому себе, не протянул руку, а запрятал обе в карманы и с деланным равнодушием отвернулся. Пусть не думают, что он жадный, он вообще не нуждается!..

Ужин кончился, убрали посуду, начали сдвигать в стороны столы, и Валерий с азартом двигал столы, покрикивал на галчат, торопившихся занять места. За занавеской, повешенной в углу, скрылись «артисты». Все расселись вдоль стен, оставив пустой середину столовой. Сима позвонила в колокольчик и, вступив на середину комнаты, объявила:

— Начинаем нашу самодеятельность. Отрывок из стихотворения Исаковского «Песня о родине» прочитает Слава Кулагин.

Слава шагнул вперёд, прижал изо всех сил руки к бокам и, вытаращив от усердия глаза, прокричал стихотворение.

— Русская. Протанцуют Кира Рожкова и Тома Бондаренко.

Ксения Петровна села за пианино и заиграла. Из-за ширмы выбежали Кира в сарафане и Тома в косоворотке, в брюках и сапогах. Они плавно прошлись по кругу. Потом Кира остановилась и начала обмахиваться платочком, а Тома, сдвинув фуражку на затылок, застучала каблуками неторопливо и как бы вызывающе. Кира ответила пренебрежительным перестуком. Тома застучала быстрее, требовательнее, и Кира опять ответила. С каждым разом переборы учащались и, наконец, слились в единый дробный перестук, танцорки ухватились за руки, закружились на одном месте и убежали. Им долго хлопали, они выбегали раскрасневшиеся, счастливые и снова убегали.

Толя Савченко, стараясь говорить басом, прочитал отрывок из поэмы Маяковского «Хорошо!». Валерий с застывшей, будто наклеенной улыбкой, начал танцевать «Яблочко», но поскользнулся и сел на пол. Все засмеялись и тут же захолопали, чтобы он не очень переживал. Но Валерий и не думал переживать: он поднялся и с той же улыбкой достучал танец до конца. Потом малыши начали разыгрывать «Квартет» Крылова.

Витька сказал, что ему надо уходить, и вместе с Лёшкой пробрался к выходу. Лёшка тоже оделся и пошёл его проводить.

— Весело у вас, — сказал Витька. — И вообще хорошо!

— Ага, — согласился Лёшка.

— Здорово она танцевала!

— Кто?

— Ну эта, Рожкова, в сарафане... И вообще, она ничего.

Лёшка удивлённо посмотрел на приятеля — что могло ему понравиться в Кирке?

Обратно Лёшка шёл медленно. Покалывал щёки лёгкий мороз, громко и весело хрустел под ногами снег. Мохнатые от инея ветви деревьев сплетались в замысловатые кружева, нависающие над головой. Разрисованные морозом окна были освещены, за ними звенели смех и голоса.

Лёшка чувствовал себя счастливым. До сих пор он не задумывался, хорошо у них или плохо, а теперь подумал, что Витька прав, и хорошо, что он попал в этот детдом. Он был бы ещё счастливее, если бы Алла не ушла в техникум. Лёшка с грустью подумал, что ей там веселее, чем с ними. Может, она уже возвращается и они встретятся?

Лёшка дошёл до сквера перед домом и, как уже не в первый раз, остановился в тени, между кустами. Подмораживало сильнее. Ярче разгорались звёзды, звонче хрустел снег под ногами редких прохожих и от этого явственнее становилась тишина. Во дворе детдома зазвучали голоса, смех — ребята ушли в спальни, догадался Лёшка. Ссутулившись, глядя себе под ноги, прошёл Устин Захарович. Потом Лёшка услышал голос Ксении Петровны.

— Ну, как мои артисты? Хорошо, по-моему! А? Такие забавные! — засмеялась Ксения Петровна.

Смех неожиданно прервался, послышалось всхлипывание, и сейчас же огорчённо и укоризненно зазвучал голос Вадима Васильевича.

— Ну вот опять, Сеничка! Не надо...

— Боже мой! — сдавленно проговорила Ксения Петровна. — Ты так любишь детей... и я... У нас... мы могли тоже... — Ксения Петровна заплакала.

— Не надо, Сеничка, не надо! — встревоженно уговаривал Вадим Васильевич. — Успокойся, не надо!

Плач затих, заскрипел под ногами снег.

Сердце Лёшки громко билось, он долго стоял и прислушивался, боясь, что они не ушли и могут увидеть его. Он не понял, о чём они говорили, почему плакала Ксения Петровна и дрожал голос у Вадима Васильевича. Оба всегда такие весёлые. А теперь рядом с ним плакало, трепетало большое горе...

В доме напротив хлопнула форточка, из неё вырвался белый пар и гнусавый, с подвывом голос: «У меня есть сердце, а у сердца песня...» Смех заглушил поющего. Форточку закрыли.

Лёшка почувствовал, что ноги у него окоченели. Он вышел из своей засады. Улица была пуста. В свете фонаря, медленно кружась, падал с проводов невесомый иней. Лёшка зябко поёжился и пошёл домой.

24

Именинный столбняк не проходил несколько дней. Валерий с равнодушием, слишком заметным, чтобы оно могло быть настоящим, носил обложку, придя в класс, первым делом выкладывал на парту дарёную тетрадь с дедом-Морозом. Носовых платков он не признавал, но теперь, обойдясь при помощи пальцев, доставал из кармана вышитый платок и проводил им под носом. Мало-помалу костюм стал привычным, тетрадь потёрлась и платки потеряли праздничный вид. Валерий опять стал прежним: так же шумел на уроках, делал каверзы и не упускал случая поднять кого-нибудь на смех.

Однако именины не прошли бесследно. Внезапно устроенный в его честь праздник внушил Валерию мысль, что он не такой уж пропащий, как до сих пор ему говорили, а может, он ничуть не хуже всяких активистов, вроде Ершова или Рожковой. Может, даже и лучше. Только он не лезет вперёд, как они, но в случае чего — докажет...

Случай «доказать» вскоре представился. Митя Ершов сказал ему, что на следующий день он, Валерий, старший дежурный. Старшим его ещё никогда не назначали. Валерий обрадовался, но виду не подал.

— Ну так что?

— Сам не знаешь? Следи, чтобы был порядок.

На следующий день Валерий вместе с санкомиссией обошёл все помещения. Комиссия проверяла, как убраны постели, нет ли где мусора, пыли, Валерий, привалившись к притолоке и ухмыляясь, наблюдал. Всерьёз эту проверку он не принимал.

После обеда он вместе с Симой должен был взять из кладовой пряник чи к чаю. Идя к кладовой, Валерий услышал, как Кира сказала:

— Ну, Валет до кладовой дорвался — всю переполовинит.

Валерий хотел было дать ей подзатыльник, но во-время заметил идущую по двору Ксению Петровну. В кладовой он нарочно стал возле самой двери, чтобы его видели со двора, и наблюдал, как Сима отсчитывает пряники. Потом его пронзила мысль: если Сима ошибётся и хотя бы одного пряника не хватит, все подумают, что съел он!..

— Пустя, я сам, — сказал он, отстраняя Симу.

Он начал считать, и так как очень боялся ошибиться, несколько раз ошибался, злился и начинал считать заново. В другое время он не упустил бы случая набить себе карманы, теперь думал только о том, как бы не сбиться со счёта. Счёт оказался правильным. Никто не обратил на это внимания, но Валерий чувствовал себя героем и горделиво поглядывал на Киру.

Дежурный — вроде начальства, хотя и временного. Начальствовать Валерию до сих пор ни разу не приходилось, и ему нравилось всюду ходить и наблюдать, чувствуя, что он старший.

В комнате для занятий малыши решали примеры и на все лады писали, как мама даёт Маше кашу и Маша кашу ест. Слава уже покончил с Машей, которая без конца ела кашу, и, высунув от усердия язык, рисовал на обёртке букваря звезду. Звезда получалась кривобокая. Слава старательно подправлял, но она всё больше кособочилась. Старших ребят в комнате не было, и Валерий не удержался.

— Уроки делай! — начальственно сказал он Славе.

— Я уже.

— Что — уже? А ну, покажи!

Слава готовно открыл тетрадь, но сидящая рядом Люся сказала:

— А чего это ты будешь смотреть? Ты не учитель!

— Я дежурный, а это всё равно, что учитель!

— Тоже — учитель! А у самого двойки да тройки...

Малыши засмеялись: все знали, что его то и дело пробирают за плохие отметки.

— Ты поговори! — вспыхнул Валерий. — Вот я тебе... Вот ты у меня...

Он хотел её застрашать, даже вздуть... Но вместо этого сорвал повязку дежурного и побежал к Людмиле Сергеевне.

— Натё! — бросил он повязку. — Не буду я дежурить!

— Почему?

— Не хочу!

— Но почему?

— Раз не слушают, так и не хочу!..

— Кто тебя не слушается?

Признаться, что на смех его подняли самые маленькие, было стыдно. Валерий уже пожалел, что прибежал: сейчас директор начнёт про всё допытываться и, конечно, допытается... Людмила Сергеевна допытываться не стала.

— Не капризничай, надень повязку и кончай дежурство. Сейчас не слушают, потом привыкнут... Ты думаешь, авторитет приобрести просто? Его заслужить надо!

Несколько дней Валерий ходил мрачный. Потом пришёл к Людмиле Сергеевне и сказал, что потерял дневник и пусть ему выдадут новый.

— Как же ты потерял? Где?

— Не знаю.

— Ты поищи как следует, может, он найдётся.

— Я и искать не буду! На кой он мне...

— То есть как «не буду»?

— Пускай новый дают, а старый искать не буду!

— Но там же отметки.

— Ну и пусть! Нужны они мне...

— Как не нужны? Нет, здесь что-то не так!

— А что не так? Не хочу я старый — и всё... Пусть тогда совсем без дневника.

— Что за выдумки? А ну, посмотри на меня. В чём дело, Валерий?

Валерий шмыгнул носом, но головы не поднял.

— Не хочу я. Какой у меня может быть авторитет, когда там такие отметки?..

Он ещё ниже опустил голову. Людмила Сергеевна порадовалась, что он не видит её улыбки. Бедный малый! Там сплошь дурные отметки, и вот Валерий — Валет! — уже не мог с этим мириться: жизнь начиналась заново...

— Хорошо, — серьёзно сказала Людмила Сергеевна. — Я попрошу, чтобы тебе выдали новый дневник, — теперь она не сомневалась, что старый вовсе не потерян, а попросту уничтожен, — но больше не терять, а главное — опять не испортить его плохими отметками...

Валерий стрельнул в Людмилу Сергеевну повеселевшими глазами и убежал.

Он не давал никаких обещаний, честных слов, да с него их никто и не требовал, но жизнь действительно начиналась заново. Он привык к тому, что его ставят ни во что, и даже гордился этим: он не был похож на других. И он заботился о том, чтобы эта непохожесть не забывалась: дружил, уроков не учил, непрестанно задирился. Его ругали, стыдили, и он принимал это с удовольствием, потому что какая ни на есть, а это была слава.

И вдруг оказалось, что внимание к себе можно привлечь не только этим. Оказалось, он ничуть не хуже других — «всяких задавак», — может дежурить, командовать, и его слушаются так же, как и других, а старшинство и командовать ему чрезвычайно нравилось. Жизнь начиналась заново, и в ней всё должно быть новым. Если бы было возможно, Валерий смеялся бы даже коже. После очередного медосмотра Людмиле Сергеевне рассказали, что Белоус чуть не со слезами требовал, чтобы его лечили — свели татуировку. В давние, безнадзорные времена ему вытатуировали на левой кисти имя, и так как татуировщики были в грамоте не очень сильны, имя было без «й» и получилось как бы на французский лад: «Валери». На груди тоже была татуировка: морской якорь обвивала длинная, похожая на спиральную пружину змея. Одни завидовали ему и с восхищением смотрели на татуировку, другие смеялись над малограмотной вывеской на руке, над якорем и змеей и называли Валерия моряком с потонувшего корабля. Теперь Валерий был бы рад избавиться от татуировки, но снять её можно было только с кожей.

Жить по-новому Валерий начал с таким рвением, что то Мите, то самой Людмиле Сергеевне приходилось сдерживать его. К месту и не к месту он делал другим замечания, выговоры, требовал дисциплины, грозился поставить вопрос на совете отряда и так всем надоел, что на совете отряда поставили вопрос о нём самом. Опять, как прежде, он стоял перед всеми у стола, красный и потный от стыда, и все по очереди «вправляли ему мозги», чтобы не заносился, не задавался и не корчил из себя начальника.

Валерий перестал приставать с замечаниями, но ударился в другую крайность: он решил стать оратором. То ли зависть к товарищам, которые так складно ругали его на совете отряда, то ли пробудившееся тщеславие выталкивали его вперёд на каждом собрании, заседании, и он произносил речи. Это были ужасные речи. Если очистить их от бесчисленных «вот», «значит», «товарищи», «такое дело» и бесконечных повторений, любую его речь можно было уложить в две-три фразы, но он говорил и говорил, пока его не лишали слова и силком не усаживали на место. Ребята смеялись над ним, он и сам посмеивался, но упрямо повторял:

— Ладно, смейтесь! Буду говорить, пока не посинею, а всё одно научусь...

Собрания в детдоме были нечасты, там ораторский зуд Валерия сдерживали, и он отводил душу в школе. По любому поводу он поднимал руку и «отрывал» речь. Они были бестолковы и бесконечны. Ребята хохотали, и если бы не вожатый, Валерию не удавалось бы их заканчивать. Старший вожатый Гаевский строго одёргивал ребят и ставил Валерия в пример: вот раньше он хулиганил, а теперь становится настоящим активистом. Ребята, ухмыляясь, переглядывались, а Валерий ликовал: наконец его оценили, и не кто-нибудь, а сам пионервожатый!

Ребята пристрастились к газетам.

Разбитые гоминдановцы откатывались под натиском Народно-освободительной армии. Уже были освобождены Мукден, Гирин, Чанчунь. Народные войска овладели проходами в Великой Китайской стене, вступили в Северный Китай и вплотную подошли к Тяньцзину. Бойцы Народной армии знали, что за каждым их шагом с волнением и радостью следят и шанхайский ткач, и кантонский кули, и не знающий ни одного иероглифа пастух Синьцзяна. Но они не подозревали о том, что за двенадцать тысяч километров от них есть город на берегу Азовского моря, а в нём — небольшой детский дом, в котором каждая их победа, каждый шаг вызывали ликование и восторг.

На одной из читок ребята поставили Ксению Петровну в тупик своими вопросами. Они хотели понимать всё, что написано в газете, и знать больше, чем в ней написано. Отрывочные газетные телеграммы, в которых мелькали трудные китайские имена и названия, будили жадное любопытство, но не могли рассеять незнания.

Ксения Петровна пообещала через несколько дней провести специальную беседу. Она обегала библиотеки и знакомых, собирая книжки и статьи о Китае, разыскивая карты и картинки, и потом рассказала ребятам всё, что сумела узнать о самой древней цивилизации и самой многочисленной нации мира, об удивительном китайском народе, не знающем меры таланту и трудолюбию. Она рассказала о боксёрском восстании, о Сунь Ят-сене и революции, о контрреволюционном перевороте Чан Кай-ши, о Великом походе на север революционных войск, о Мао Цзэ-дуне и Чжу Дэ, о пещерном городе Яньане, который стал академией революции, о борьбе 8-й армии и партизан против японских захватчиков, о клике Чан Кай-ши, которая отдавала страну американским империалистам в обмен на пушки и танки, и о том, как свежий ветер, поднятый коммунистами, превратился в грозную бурю народного гнева и выметал теперь из Китая империалистов и гоминдановцев.

Беседа продолжалась два часа, а закончившись, началась снова: слушатели узнали много, но хотели знать ещё больше.

— Ребята! — взмолилась наконец Ксения Петровна. — Так же нельзя! Я не министр иностранных дел и не профессор, я не могу всё знать. Давайте изучать вместе! Каждый пусть читает всё, что сможет найти о Китае, а потом рассказывает остальным. А в комнате для занятий устроим специальный уголок. Сделаем большую карту и будем отмечать положение на фронтах. Интересные сообщения и картинки тоже будем вывешивать...

Активнее всех участвовал в создании уголка Гушин. Придя на каникулах к Лёшке, Витька остался послушать беседу Ксении Петровны и тоже увлёкся Китаем. Он вызвался начертить большую карту, только, конечно, не один, а с помощью других. Из всех других он явно предпочитал Киру Рожкову, хотя надписи она делала невнятно, а рисовать не умела совсем. Витька доверял ей только карандашные наброски, всегда переделывал их потом, но говорил, что она очень хорошо помогает.

Пока длились каникулы, Витька чуть не каждый день приходил в детский дом и вместе с Кирой старательно рисовал сначала карту, потом портреты Мао Цзэ-дуна и Чжу Дэ, причём Кира делала только фон, а Витька — всё остальное. Они рисовали и разговаривали о Китае: какая это интересная страна, как героически сражается Народно-освободительная армия и как здорово было бы, если бы удалось туда поехать, чтобы тоже воевать против гоминдановцев за народную власть. Каждый раз они с грустью приходили к выводу, что поехать не удастся: из дому не отпустят.

Когда начались занятия, Витька и для школы нарисовал карту Китая. Её повесили в зале, и, как только появлялись новые сообщения, Лёшка, который делал это и в детдоме, перекалывал булавки и передвигал красную ленточку, показывающую линию фронта.

Увлечение Китаем охватило старшие классы, как незадолго до этого оно охватило детдом. Ребята перерыли свои квартиры в поисках вещей китайского происхождения. Юрка Трыхно принёс металлическую коробочку из-под чая. Коробочка была старая, ржавая, но на ней явственно виднелись выдавленные иероглифы. Юрка, горделиво улыбаясь, показывал всем своё сокровище. Подошёл Яша, внимательно осмотрел и забраковал:

— Чепуха! Это дореволюционная русская жестянка, только сделана под китайскую... Вот смотри, — и показал на донышке остаток стёршегося печатного текста «...и К°. Москва».

Народно-освободительная армия подошла к Бейпину, и гоминдановские войска в нём капитулировали. На большой перемене Лёшка подставил к карте стул и, окружённый толпой наблюдателей, воткнул булавку с красным флажком в кружок, обозначающий на карте местоположение Бейпина, который снова стал Пекином.

— Очень хорошо, ребята, что вы интересуетесь международной политикой, — сказал чей-то голос.

Лёшка обернулся. За его спиной стоял Гаевский, старший пионервожатый школы.

— Если вы так интересуетесь этим делом, мы подготовим специальный сбор. Приходи и ты, — сказал Гаевский Лёшке. — Ты ведь не пионер? А почему?

Лёшка замялся.

— Так.

— Что ж ты плохо над своим товарищем работаешь? — обратился Гаевский к Гушину. — Ходите всегда вместе, а он до сих пор не пионер. Не хорошо! Все сознательные школьники должны быть пионерами. Ну, мы ещё поговорим об этом...

Гаевский отошёл.

— А ты чего в самом деле не поступаешь? — спросил Витька. — Я так уже скоро в комсомол буду подавать.

В Ростове Лёшка был пионером, но потом бросил школу и перестал быть им. Какое там пионерство в забегаловке дяди Троши? Однако на сбор, посвящённый Китаю, Лёшка пришёл.

Председатель совета дружины Толя Крутилин, который уже носил комсомольский значок, открыл сбор и объявил, что слово предоставляется Борису Радову.

Веснушчатый, коротко остриженный шестиклассник подошёл к столу, положил перед собой тетрадку и начал по ней читать доклад. Читал он плохо, запинаясь и подолгу застревал на трудно произносимых, должно быть, непонятных ему словах. Боясь потерять строчку, он следил за ней не только глазами, но даже двигал из стороны в сторону головой. Всё, что он читал по тетрадке, ребята уже знали, они знали значительно больше, слушать и смотреть на обращённое к ним стриженое темя докладчика было неинтересно, и в классе началось гудение. Если оно слишком усиливалось, Толя Крутилин или сам Гаевский стучали карандашом по столу и покрикивали:

— Тихо, ребята!

Докладчик поднимал покрасневшее от натуги лицо, набирал воздуха в лёгкие и, опять уткнувшись в тетрадку, читал.

Лёшка тоже перестал слушать, разглядывал ребят, президиум и вожатого. Гаевский следил глазами за ребятами и, встретившись взглядом с говорюнами, укоризненно покачивал головой. Худощавое лицо его было

бледным, как у болезненных людей, которые никогда не загорают даже под сильным солнцем, а только розовеют. Однако он не казался ни больным, ни хилым, всегда озабоченно куда-то торопился. Он даже улыбался озабоченно, и тогда запавшие, близко поставленные глаза его почти совсем скрывались в лучащихся морщинках. Зачёсанные назад очень светлые волосы падали ему на виски, он поминутно поправлял их горстью и прижимал к затылку, но как только отпускал руку, они сейчас же распались ото лба до макушки на две льняные пряди.

Докладчик дочитал тетрадку и сел за стол, с опаской поглядывая на ребят: он ожидал вопросов и боялся, что ответить на них не сумеет. Кто-то спросил его о династии Мин в древнем Китае, но вожатый сказал, что доклад о современном международном положении Китая и залезать в дебри незачем. Больше вопросов не было.

— Кто хочет высказаться?

Несколько ребят сразу же подняли руки. Один за другим они выходили к столу и читали по запискам, что отряд такой-то или звено такое-то в ознаменование побед Народно-освободительной армии Китая обязуется повысить успеваемость, добиться ещё больших успехов в учёбе. Слова употреблялись разные, в разных сочетаниях, но все были об одном и том же: об уроках, дисциплине и домашних заданиях. Гаевский внимательно слушал и одобрительно кивал. Потом он поднялся, похвалил докладчика, выступавших и сказал, что они очень правильно понимают задачу пионеров и всех школьников: святой долг всех школьников — отлично учиться, чтобы стать достойной сменой.

На этом сбор окончился. Лёшка, Витька и Кира пошли домой вместе. Витька нарочно делал теперь крюк, чтобы идти вместе. Он то задерживал Лёшку, то торопил его, и всегда получалось, что они выходили с Кирой одновременно. Лёшка давно разгадал эти манёвры. Неприязнь к Кире у Лёшки прошла, он уже не злился, если она была с ними, и только не понимал: если Витьке хочется быть вместе с Кирой, зачем нужен при этом он, Лёшка?

Лёшка был Витьке необходим. При нём он чувствовал себя свободно и говорил всю дорогу. Стоило ему остаться с Кирой вдвоём, как он безнадежно замолкал, надувался и ничего не мог выдать из себя, кроме «ага», «понятно», «конечно», если Кира пыталась разговаривать. Кира удивлённо посматривала на него, тоже умолкала, и обоим становилось неловко и трудно, будто они поссорились.

Витька понимал теперь, что вся история с Наташей Шумовой была ошибкой. Это была никакая не любовь, а просто увлечение. Бывает же, увлекаются люди, а потом у них открываются глаза. О таких увлечениях знакомых говорили между собой мама и Соня и он читал в книжках. Теперь у него тоже открылись глаза, он понял ошибочность своего увлечения. Правда, и сейчас при встрече с Наташей сердце у него почему-то обмирало, но это скоро проходило. Тем самым подтверждалось его убеждение, что с увлечением покончено и только теперь началась настоящая любовь.

Ему хотелось всё время быть возле Кире, и он под всякими предложениями старался это устроить. Если бы можно было, он бы перешёл в параллельный класс, в котором училась Кира, но не мог придумать основания для такой просьбы. Каждую перемену он подходил к Кире, а если предлог не отыскивался, просто вертелся где-нибудь поблизости. Больше всего он любил их совместные, втроём, возвращения из школы. Тут никто не мешал Витьке говорить, строить планы дальнейшей жизни и хвастать будущей профессией моряка. Кира смеялась, называла его выдумщиком, и Витька блаженствовал.

Сегодня он молчал. Ему уже было мало блаженства, испытываемого в одиночку. Неразделённое, оно начинало казаться ему неполноценным и даже сомнительным. Любовь распирала его, но он помнил, во что Наташа Шумова превратила его написанное кровью послание, терзался сомнениями и вздыхал. Вздохи были такие мрачные и громкие, будто *воздух с шипением выходил из лопнувшей камеры.

Лёшка сказал, что сбор ему не понравился.

— Почему? — спросила Кира.

— Скучный. Все читали по бумажкам. Зачем это — по бумажкам?

— А как же иначе? Вожатый прочитал всё, проверил, чтобы не было ошибок. Он помог и написать выступления.

— Выходит, он за всех написал? Пусть бы тогда он один и выступал. А то долдонят, как попугай...

— А если так полагается?

Лёшка не нашёлся и промолчал. Они дошли до сквера перед детским домом.

— Ну, всего! — сказал Лёшка и вместе с Кирой свернул в аллею.

Витька остался на тротуаре. Он посмотрел им вслед, испустил ещё один страдальческий вздох и окликнул:

— Кира! На минутку.

Кира вернулась.

— Понимаешь, я должен сказать тебе одну вещь, — угрюмо сказал Витька, глядя в сторону. — Пройдём туда.

Они прошли в боковую аллею, на которой не было прохожих.

— Только дай честное слово, что никому не скажешь!

— Честное слово! — пообещала Кира.

— Понимаешь, это очень серьёзное дело... — Витька говорил с таким трудом, будто бегом взбежал на крышу «пятиэтажки», жилдома «Орджоникидзедали», самого высокого в городе. — Дело в том... — он переступил с ноги на ногу и, зажмурившись, ринулся с «пятиэтажки» вниз: — Дело в том, что я тебя люблю!

— Ой, что ты! — попятилась Кира.

— Факт! — мрачно отрезал Витька и покраснел.

Кира испуганно посмотрела на него и тоже начала краснеть.

— Вот честное слово!

— Что ты, Витя! — повторила Кира. — Тебе просто показалось...

— Ничего не показалось. Я же не маленький! — горько возразил Витька.

— Ну, зачем это? — растерянно сказала Кира. — Так было всё хорошо...

Краска залила кирино лицо, она отвернулась. Не менее красный Витька тоже смотрел не на неё, а куда-то вверх заиндевевших кустов. Так, глядя в разные стороны и боясь посмотреть друг на друга, они постояли некоторое время молча.

— Знаешь, Витя, — сказала наконец Кира. — Давай не будем про это говорить!.. А? Пускай будет, как раньше. Хорошо?

— Хорошо! — готовно согласился Витька. — Просто, понимаешь, я должен был тебе сказать, вот и всё.

— И больше никогда не надо. Ладно? До свидания! — Кира убежала.

Получилось совсем не так, как бы ему хотелось, да, по правде говоря, он и сам не знал, как бы ему хотелось, чтобы это объяснение произошло, но оно произошло, и Кира совсем не смеялась. Настроение Витьки сразу улучшилось. Он, разбежавшись, подкатывался на «ковзанках» — ледяных дорожках, накатанных ребятишками на тротуарах, стучал портфелем по заборам и калиткам. Собаки во дворах гремели цепями и лаяли. Звон цепей и собачий лай провожали Витьку, как оркестр.

Гром и Ловкий бросились у калитки хозяину под ноги. Притворившись, что он поскользнулся, Витька упал и начал с ними бороться. С притворной яростью Гром и Ловкий бросались на него, он хватал их за шеи, за ноги, и они, взвихривая снег, лохматым клубком катились по двору. Соня начала выговаривать за вывалянное в снегу пальто, но он так смешливо и весело оправдывался, что насмешил и Соню. На шум прибежала Милочка. Витька схватил её за спину и живот, приподнял, перевернул колесом и опять поставил на ноги. Милочка завизжала от удовольствия.

Витька вдруг понял, что все вокруг необыкновенно весёлые, добрые и хорошие. Себя он тоже чувствовал добрым и хорошим, весёлым и хорошим был дом и этот день, а ещё лучше должно быть завтра. Вся жизнь впереди звенела и переливалась радостью.

26

— Тебя Людмила Сергеевна зачем-то звала, — сказала Сима, когда Лёшка садился обедать.

Он отодвинул стул и побежал к директору.

— Тебе письмо, Алёша, — сказала Людмила Сергеевна.

— От кого? — удивился Лёшка.

— Вскрой, вот и узнаешь, — улыбнулась Людмила Сергеевна.

На смазанном почтовом штемпеле с трудом можно было разобрать окончание слова «...манск». Лёшка надорвал конверт. Письмо начиналось словами: «Здравствуй, тёзка!»

— Ой, вы знаете, от кого это? — поднял Лёшка просиявшее лицо. — От того старшего помощника с «Гастелло», что меня привёл... Помните? Алексей Ерофеич...

Письмо было коротким. Алексей Ерофеевич сообщал, что они находились в длительном и трудном плавании в Заполярье, потому он не мог написать раньше. Николая Фёдоровича уже не было на «Гастелло», его перевели на Чёрное море капитаном пассажирского теплохода, и он уехал вместе с Чернышём. Капитаном «Гастелло» назначен он, Алексей Ерофеевич. Все остальные на местах, помнят Лёшку и шлют ему приветы. Как ему живётся в детском доме? Ладит ли он с товарищами? Он, конечно, учится, а вот какие у него отметки? «Помни, тёзка, — писал Алексей Ерофеевич, — чтобы стать настоящим человеком, заслужить уважение других, нужно хорошо делать своё дело. Мы ждём от тебя письма и сообщения о твоих успехах».

Анатолий Дмитриевич в короткой приписке спрашивал, не разводит ли он сыров, как тогда в Батуми, и повторял свой совет: всегда идти «полным ходом вперёд, чтобы ветер свистал в ушах!»

Лёшка протянул письмо Людмиле Сергеевне.

— Прочитайте!

— Хороший, видно, человек, — задумчиво сказала Людмила Сергеевна, возвращая письмо.

— Вы ещё не знаете, какой он хороший! — восторженно подхватил Лёшка.

С Алексеем Ерофеевичем он был всего два дня, но Лёшке казалось, что он знает его много лет и что другого такого хорошего человека нет на свете.

Лёшка показал письмо Яше, Мите, оно пошло по рукам. Его читали и перечитывали, с завистью поглядывая на Лёшку: шутка сказать — ему писал настоящий капитан дальнего плавания! С лица Лёшки не сходила восторженная улыбка.

На следующий день он прибежал в школу пораньше, чтобы показать письмо Витьке. Весть из Заполярья Витьку ошарашила. Каждую переме-

ну он бежал к Лёшке, отводил его в сторону и горячо шептал — почему-то ему казалось это тайной — о том, куда и какое плавание совершил «Гастелло» и что пришлось пережить его экипажу. Витька был убеждён, что плавали они по Великому Северному морскому пути, что их затирали льды, они голодали, болели цынгой... Он не прочь был допустить, что «Гастелло» раздавили торосы и моряки, как челюскинцы, жили на льдине. К витькиному сожалению, Алексей Ерофеевич ничего об этом не писал. По счастью, в этот день Витьку не вызывали, иначе в дневнике его остались бы печальные следы смятения, вызванного письмом капитана.

И без того всегда взбудораженное витькино воображение получило такой сокрушительный толчок, что в течение нескольких дней он не мог говорить ни о чём, кроме моря, ледовых полей, торосов, айсбергов и великолепной, отчаянной и неподражаемой жизни моряков-полярников. Сам он — это было ясно, как дважды два, — должен стать таким же капитаном, как Алексей Ерофеевич.

— Я ему тоже напишу! Ладно? — сказал он Лёшке и, не удержавшись, выдал свою сладостную надежду: — Может, он к себе возьмёт? Хоть кем-нибудь, а?

Лёшка написал ответ и принёс Людмиле Сергеевне, чтобы она проверила — вдруг там ошибки.

— Нет, зачем же проверять? — сказала Людмила Сергеевна. — Пусть будет, как есть. Алексей Ерофеевич ждёт письма от тебя, а не от меня. А это будет вроде подделки.

Лёшка подумал и решил, что это правильно. Если даже и есть ошибки, так что уж... Вот выучится — тогда другое дело.

— А про отметки написал? Хорошо бы послать Алексею Ерофеевичу табель за обе четверти. Вроде полного отчёта. Я думаю, ему это будет приятно.

— Ага! Только... — Лёшка замаялся и слегка покраснел, — только, может, за одну вторую четверть?

— Что ж, можно и за одну вторую, — улыбнулась Людмила Сергеевна.

Лёшка старательно переписал табель, Людмила Сергеевна заверила и от себя приписала, что «воспитанник Алексей Горбачёв хорошо учится, дисциплинирован и дружно живёт с товарищами».

Витька хотел было посылать своё письмо отдельно, потом передумал: в одном конверте вернее.

«Дорогой товарищ Алексей Ерофеевич! — писал Витька. — Мы лично не знакомы, но я лично хочу стать капитаном, как вы. Мы с Горбачёвым — друзья. Он рассказывал, как плавал с вами на теплоходе «Николай Гастелло». Мне очень понравилось. Напишите, как сделаться настоящим капитаном дальнего плавания. Я хотел уехать в школу юнгов, но мне сказали, что такой школы нет. По-моему, это неправильно. Многие хотят стать юнгами, только не знают как. Может, вы возьмёте меня в юнги? Я буду стараться и делать всё, что скажут. Я с самого лета в кружке юных моряков, умею грести и немножко управлять парусом, а скоро научусь совсем. Я знаю азбуку Морзе, умею семафорить флажками. Мороза я не боюсь, хожу всю зиму с расстёгнутым воротником, так что в Заполярье могу ехать когда угодно...»

Они пошли вдвоём, чтобы опустить письмо в почтовый ящик. Витька приподнял откидную крышку, а Лёшка сунул конверт в узкую щель. Витька на всякий случай постучал по ящику.

— А то ещё застрянет, — сказал он. — Жди тогда...

Они постояли, посмотрели на ящик, мысленно прослеживая путь письма из этого ящика до Мурманска, о котором они только и знали, что там полгода не бывает солнца, стоит полярная ночь, протекает Гольфстрим и поэтому море не замерзает.

— Эх, авиапочтой надо было! — спохватился Витька. — В два счёта бы дошло...

Всю дорогу он прикидывал и рассчитывал, когда Алексей Ерофеевич получит письмо и когда можно ждать ответа. Сроки получались самые неопределённые.

— Всё равно, — решил Витька, — надо готовиться!

Подготовка шла по двум направлениям: изучения Заполярья и личной закалки, тренировки в борьбе с лишениями. На стенах витькиной комнаты появилась большая самодельная карта Советского Заполярья, рисунки кораблей были отеснены перерисованными или просто вырванными из книг картинками, изображающими затёртые льдами суда, северное сияние и торосы. Путешествуя по своей карте с запада на восток и с востока на запад, Витька заучил названия островов, мысов и заливов и всё, что сумел найти о них в Большой Советской Энциклопедии, стоящей в отцовском шкафу.

Теоретической подготовке никто не мешал, и она подвигалась успешно. Хуже обстояло дело с личной закалкой: мама и Соня восставали при малейших попытках Витьки перейти от слов к делу. Особенно плохо было с едой. Если бы не они, Витька доказал бы, что он, как настоящий полярник, может несколько месяцев питаться одними сухарями и консервами. Но чуть что — мама и Соня пачинали кричать о «дурацких выдумках», грозились пожаловаться отцу, и приходилось есть свежий хлеб, супы и прочие разнеживающие блюда. Как ни скандалил Витька, отстоять кепку не удалось, пришлось носить ушанку. Витька принципиально не опускал наушников, приучал лицо к холоду, но всё-таки это было не то. Отыгрывался он на том, что сразу же за воротами сдёргивал кашне, совал его в карман и целый день ходил с расстёгнутым воротом куртки. Против меховой куртки Витька не возражал: она напоминала кухлянку.

Полярникам приходится на долгие месяцы расставаться с близкими, любимыми людьми и стойко переносить разлуку. С папой и мамой расстаться, конечно, не легко — Милка в счёт не шла, — но Витька не сомневался, что разлуку перенесёт. Вот только проверить было нельзя: никакой разлуки в близком будущем не предвиделось.

Иное дело — разлука с любимыми. Любовь к папе и маме была совсем «отдельная», домашняя. Настоящая любовь была у Витьки к Кире. После объяснения о ней больше не говорили, но Витька был убеждён, что любовь существует и становится сильнее. Сможет ли он перенести разлуку с Кирой? Витька представил себе, что будет, если он не сможет каждый день видеть Киру, слышать, как она скороговоркой сыплет слова и заразительно смеётся. Ему стало скучно от этой мысли, он почувствовал какую-то унылую пустоту. Должно быть, так и страдали от разлуки моряки и полярники.

Витька попробовал растравить своё страдание, но оно не стало сильнее, и он подумал, что ничего страшного нет, переживёт. Разлука будет даже полезна, чтобы проверить свою любовь. Вдруг Кира права, и ему действительно «просто показалось»?

Дойдя до этого пункта размышлений, Витька опять почувствовал смущение, которое всё чаще испытывал последние дни.

Он был убеждён, что с Наташей Шумовой покончено раз и навсегда, она нисколько его не интересуется. Однако он замечал всё, что она делает и что вокруг неё происходит. Так он заметил, что Наташа уходит домой уже не с Витковским, а с подругами или одна, а с Витковским даже не разговаривает. Конечно, Витьке это было абсолютно безразлично, тем не менее, он почувствовал удовольствие от того, что Наташа с Витковским рассорилась. Потом однажды Наташа, как будто она ни в чём не была виновата, обратилась к Витьке, а он вместо того, чтобы гордо отвернуться,

ответил и даже заулыбался от удовольствия. За эту улыбку Витька презирал себя и решил, что больше такое никогда не повторится. Но повторилось это на следующий же день и с тех пор повторялось непрерывно. Всё началось сначала, как будто не было сердца, превращённого в ослиную башку, и его страданий. Опять, как стрелка компаса на север, витькина голова постоянно была обращена в наташину сторону. Опять он томился, если не мог подойти к ней, а другие подходили, и опять он был счастлив, если Наташа разговаривала с ним.

В то же время ему попрежнему хотелось быть вместе с Кирой. Значит, он продолжал её любить? А при чём тогда Наташа?

Витька пытался разобраться в этой путанице, но разобраться не мог и со страхом ожидал, что или та или другая догадается и засмеёт его. Наташа и Кира подружились, хотя учились в параллельных классах, и на переменках держались вместе. Они ведь могли просто рассказать друг другу — девчонки такие болтушки! Витька иногда замечал, что девочки лукаво поглядывают в его сторону и улыбаются. Витька в панике убегал.

Он попробовал поговорить об этом с Лёшкой, умышленно начав с отвлечённых предположений:

— Скажи, ты бы, вот если кого полюбишь, мог сделать всё, что тот захочет?

Лёшка подумал, что бы могла потребовать от него Алла, и кивнул.

— А ради неё прыгнул бы с пятого этажа?

— Зачем?

— Ну так, вообще... А в огонь прыгнул бы?

— Не знаю! — честно признался Лёшка.

— Я бы, наверно, прыгнул! — вздохнул Витька. Отвлечённые вопросы были исчерпаны, но ничего не прояснили. Он помолчал и осторожно спросил: — А как по-твоему: можно любить двоих сразу?

Лёшка мысленно поставил рядом с Аллой всех девочек, каких знал, и решительно сказал:

— Нет. По-моему, нельзя.

Витька насупился.

— А что, — усмехнулся Лёшка, — ты уже двоих любишь?

— Нет, я просто так спрашиваю, — замыл Витька разговор.

Лёшка страданий друга не принимал всерьёз. И любовь витькина и метания его — всё это было ребячеством.

Они были одноклассниками, но ребяческого, детского в нём оказывалось значительно больше, чем у Лёшки. Витька во всё вносил азарт и увлечение, какие возможны только в игре. Лёшка относился к этому снисходительно, как старший. Живя с дядей Трошей, он научился играть. Стадкиваясь с чем-нибудь и увлечшись, он начинал прежде всего пристально, неотступно думать об этом. Витька не думал, а выдумывал.

Письмо Алексея Ерофеевича подхлестнуло увлечение морем. Необузданное воображение легко и просто подставляло Витьку на место капитана «Гастелло», переносило в Арктику, на Северный полюс, куда угодно. Стоя коленками на стуле, он водил пальцами по самодельной карте и выбирал маршрут поопаснее. Мысленно он уже совершал его: плыл по разводьям, пробивался через торосы, слышал, как трещит корпус судна, сдавленного льдами, нёс вахты в темноте полярной ночи. Он допускал и даже надеялся, что Алексей Ерофеевич оценит его и вытребует к себе.

Лёшка не верил, что такое счастье может вдруг упасть на него или на Витьку. Это случалось в сказках, в жизни так не бывало. Он вспоминал отца, маячный зов в Махинджаури, двухдневный переход на «Гастелло», Алексея Ерофеевича, капитана. То были настоящая жизнь и настоящие люди. Нельзя было сразу очутиться в этой жизни и стать такими, как они. Для этого, писал Алексей Ерофеевич, нужно хорошо делать своё дело.

А где это дело, в чём оно? Он уже прожил немалую жизнь, а ещё ничего не сделал и даже не знает, что он должен делать.

Вот говорят — будь, как Корчагин, как Серёжка Тюленин. А как стать таким? Шла война, и они показали своё героичество. А что ему делать? Случись война — он бы себя, конечно, показал, будьте уверены! Но мы ведь за мир и воевать не хотим...

Воспитатели и учителя говорили, что нужно хорошо учиться, окончить школу, а тогда, избрав специальность, посвятить ей всю жизнь. Лёшке казалось, что этот совет отодвигает начало жизни до тех пор, пока он кончит школу. Но ведь он уже живёт, жизнь идёт и не будет ждать, пока он окончит школу!

Лёшка говорил с Ксенией Петровной, но или не сумел объяснить, или Ксения Петровна не поняла и повторила то, что он уже слышал много раз: надо окончить школу, стать полноценным человеком, и тогда всё станет ясным. Людмила Сергеевна тоже не сразу поняла, чего Лёшка добивался.

— У нас есть мастерская, кружки. В школе тоже есть кружки. Понемногу мы подходим к политехническому обучению. Выбирай себе дело по душе и занимайся.

Лёшка не понял, что значит «политехническое обучение», и сказал, что он говорит не про это.

— А про что же?

— Про жизнь.

— Жить, не работая, нельзя, правда? Вот выберешь себе профессию, работу и занимайся ею.

— Но ведь жизнь — это не только работа! А сама жизнь? — спросил Лёшка и замолчал, не умея выразить свою мысль точнее.

— Ну, жизни, дружок, только сама жизнь научит! — улыбнулась Людмила Сергеевна.

Такое объяснение ничего Лёшке не объясняло.

Хорошо было бы поговорить с Вадимом Васильевичем, но, очень занятый в последнее время на заводе, он в детский дом не приходил. Книги многое объясняли и многому учили, но они все были о том, что уже случилось, произошло раньше. Книги рассказывали о жизни людей, которые жили прежде, большинство рассказывало о таких, которые жили, когда Лёшки не было даже на свете. Читать о других людях было интересно, но они были другие, их жизнь уже кончилась, а Лёшкина только начиналась, и ему казалось, что она совсем не похожа на другие жизни, своя, особая, и всё должно происходить в ней иначе, чем в чужих, прежних жизнях.

Среди книжек для детей было много таких, что Лёшка не мог их дочитать до конца. В сущности это были не книги, а сборники задачек по поведению, примеров того, что нужно и похвально делать детям и что делать нельзя и непохвально. Придуманные мальчики и девочки, совсем не похожие на тех, что были вокруг Лёшки, прилежно решали эти скучные задачки.

Такие книжки напоминали пироги, которые пекла Лёшкина мама, когда ничего для начинки не было. Назывались они «пироги с аминем». Снаружи пирог, как пирог, даже корочка красивая, а внутри не было ничего — только смазано постным маслом, чтобы не слиплось.

О том, что происходило в жизни на самом деле, такие книги не писали.

Жизнь не укладывалась в книги, узнать о ней всё из книг было нельзя.

Школа? В школе занимались только одним: учились. Но если жизнь не укладывалась во все книжки, какие существуют на свете, где уж было втиснуть её в школьные учебники. В школе были кружки, но они считали своей задачей только повторять то, что говорили учителя и учеб-

ники. А учителя непрерывно говорили об одном и том же: о дисциплине и учёбе, об учёбе и дисциплине.

На пионерских сборах тоже непрерывно говорили об учёбе и дисциплине, только уже не взрослые, а сами ребята. То один, то другой пионер читал по тетрадке доклад на сборе, и о чём бы он ни был, какой бы он ни был, дело всегда сводилось к тому, что нужно быть дисциплинированным и хорошо учиться. Пионеры непрерывно учили друг друга хорошему поведению и усердию. Помогало это плохо: то одного, то другого «прорабатывали» за неуспеваемость или баловство. Они произносили много торжественных слов, но слова эти были как бы сами по себе и не влияли на их поступки. Стоило им уйти со сбора, и они так же шумели и баловались, подсказывали и списывали, так же притворялись больными, не выучив урока, и радовались, если удавалось провести учительницу.

Детдом и воспитатели, школа и учителя подталкивали Лёшку на торную дорогу. Лёшка уже не упирался, идя по ней. Но во все стороны уходили, переплетались и вновь разбегались иные дороги и тропы, то гладкие, то изрытые, по ним шли другие люди. Лёшка оглядывался, но ему говорили: «Рано, успеешь!» — или: «Нехорошо, нельзя!». Лёшка шёл по торной дороге и озирался по сторонам, раздираемый нетерпением, желанием увидеть, что там, на других, узнать, почему нехорошо и нельзя...

Отрочество! Незаметен шаг, неуловим момент, когда ребёнок перешагивает его черту и от бездумной радости бытия переходит к затаённым раздумьям, настойчивым попыткам понять. В детстве радуются радостному, печалются печальному, не понимая и не доискиваясь причин. Наступление отрочества — рождение сознания. Оно бесстрашно и беспощадно всматривается в мир — «каков он?», и в себя — «зачем я?»

Обнеся чертой то, что, по их мнению, составляет круг детских интересов, взрослые с помощью книг, нотаций и даже наказаний пытаются удержать в нём детей. Но черта существует только в их воображении. Дети непрестанно перешагивают её, а если им запрещают — делают это тайком.

Родители пытаются оградить детей от узнавания множества вещей. Но дети видят и узнают всё. Они видят смерть и горе, узнают любовь и ненависть, подлость и благородство, низменные поступки и высокие взлёты. В сущности, человек уже в отрочестве узнаёт жизнь и всё, что в ней происходит. Потом он узнаёт больше, точнее, будет думать и чувствовать тоньше, но никогда последующие высокие витки спирали не могут сравниться с первыми, отроческими, по которым он ковылял ещё нетвёрдо и неуверенно, оступаясь и падая, с душой, потрясаемой то ужасом, то восторгом.

Мир ребёнка не сужен расчётливым делением на нужное, полезное и безразличное. Мир его неделим, в нём нет м о ё и н е м о ё, всё — его и для него. В нём нет места получувствам, прихотливым смещениям удовольствий с огорчениями. Чувства здесь чисты и могучи. Никогда не будет так безутешен человек в зрелом возрасте, как подросток, когда в его безоблачном мире появляется первая тень обмана. Ничто не приносит взрослому ликования и восторгов, равных испытанным в отрочестве. Не потому ли на склоне жизни он благоговейно вспоминает не удовольствия зрелых лет, а бесхитростные радости отрочества?..

Лёшка не умел думать высокими, торжественными словами. Все его метания уложились в формулу, ему доступную, столь же краткую, как и ёмкую: «Скучно!» Скучно стало убирать постель и дежурить по дому, скучно стало ходить в школу и учить уроки, скучно стало всё вокруг — привычное, наперёд известное!

Витька, которому Лёшка сказал об этом, сразу согласился, что, правда, всё скучно и надоело. Но Лёшка начал разговор не для того, чтобы ему посочувствовали.

— Учиться! — сказал он. — Учиться — мало. Ну вот в книгах герои разные, они ведь не ждали, пока научат, всё сами узнавали. А почему мы должны ждать, пока нам скажут и научат?

— Правильно! Мы же готовимся к будущему, — сказал Витька и, повторяя чужие слова, добавил: — Будущее принадлежит нам, детям!

— Мы не дети!

— Ну да, конечно, но большие считают, что мы ещё дети... Вот мы им и докажем!..

— Совсе ничего не надо доказывать. Мы ведь не для того, чтобы задаваться, а для будущего...

— погоди! Мы ещё такое сделаем — ахнут!

Через два дня Витька с таинственным видом отозвал Лёшку после уроков, переждал, пока ребята ушли вперёд, потом оглянулся и решил, что улица — неподходящее место для серьёзного разговора.

— Пошли в сквер.

В боковых аллеях снег укрывал дорожки нетронутой пушистой пеленой. Ветер раскачивал голые хлыстики кустов, ерошил перья нахохлившихся на ветках воробьёв. Скамейки были убраны ещё осенью, ребята сели на поваленную урну для мусора.

— Будем сами, — сказал Витька. — Будем всё изучать и готовиться. Испытывать себя и закаляться. Я считаю, что нужно организовать такой кружок или общество, — Витька оглянулся по сторонам, — вот как раньше делали, чтобы никто не знал... Все будут считать, что мы, как все, обыкновенные, а мы будем изучать и готовиться. и, когда дойдёт до дела, окажется, что мы всё знаем и умеем.

— Да что знаем-то?

— Как что? Ты кем хочешь быть? Я лично буду капитаном. А ты не хочешь?

— Нет, почему, — сказал Лёшка. Стать капитаном было не плохо, только он слабо верил в такую возможность.

— Так вот и будем готовиться. Читать всякие книжки, изучать морское дело, корабли, закалять волю и выдержку, чтобы ничего не бояться и никогда не отступать... Можно, конечно, и в кружке юнморов на водной станции, только там что — в матросы готовят... Лучше самим!

— А зачем тайком?

— Ну, как ты не понимаешь? Во-первых, интереснее... Кружок — всё равно как школа, там все. А мы — сами. Никто не будет знать, а потом — вот видали! — Витька вытянул ладонь, будто показывая грядущий эффект внезапного превращения их в капитаны. — Ну, а потом... — он замаялся. — Мало ли что... Вдруг не получится? Смеяться же будут!.. А так никто не узнает.

Лёшка согласился: верно, в случае неудачи обязательно засмеют, лучше помалкивать.

— Нет, надо клятву дать, чтобы не проговориться... Название я уже придумал: «Будущее». Хорошо? Только лучше не по-русски, чтобы, если кто услышит, было непонятно. Будущее по-латински «футурум». Вот пускай и у нас будет «Футурум». Здорово, правда?.. Только надо ещё девиз придумать.

— Какой девиз?

— Ну это... как лозунг. Чего мы хотим. Понимаешь? Ну вот, как в средние века на гербах писали.

— Так сейчас же не средние. Выдумываешь ты!

— Ничего не выдумываю. Вон в «Двух капитанах» у Сани Григорьева и Петьки Сквородникова была клятва: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». А у нас цель есть? Есть! Вот и надо, чтобы в девизе была сказана цель.

— «Будем капитанами!» — засмеялся Лёшка. — Так, что ли?

— Ну, если ты будешь смеяться... — обиделся Витька.

— Ладно, не буду. Девиз так девиз, всё равно.

— Я думаю так: «Знать и уметь!» Ничего?

— Ничего. Только... надо же и делать?

— Тогда постой... Тогда вот как...

Витька отломал прутик и столбиком написал на рыхлом снегу:

Видеть!

Знать!

Уметь!

Делать!

— Здорово, по-моему, а?

— Хорошо! — согласился Лёшка. Девиз был деловит и энергичен, как приказ.

— Только полностью писать не будем, — сказал Витька и старательно затоптал написанное. — А кого ещё примем?

— Зачем ещё?

— Интереснее будет. А то что мы всё вдвоём да вдвоём... Как ты думаешь, — с притворным безразличием спросил он, — если Киру?

— Придумал! Что она понимает? И девчонок во флот не берут! Какие из них моряки?

— Не знаешь, а говоришь! А капитан дальнего плавания Щетинина? А эта... вот забыл только фамилию!.. Она капитаном в китобойной флотилии на Дальнем Востоке. Ого, ещё какие капитаны!.. И Кира — ты зря на неё. Она развитая и очень интересуется...

Лёшка сказал, что если Витьке нравится водиться с девчонками, пусть водится, это его дело, а капитанство здесь ни при чём, он для того всё и выдумал, чтобы чаще с ними быть, а Лёшку это не интересует. Витька обиделся, и они поссорились.

Вся затея с обществом, девизом и секретами казалась Лёшке детской, а привлечение Киры и вовсе делало её легкомысленной. Потом Лёшка остыл. В конце концов не всё ли равно, будет Кира или нет? Чем она помешает? И стоит ли из-за этого терять дружбу?

Через несколько дней Лёшка подошёл к Витьке и сказал, что он передумал, пусть Витька принимает кого хочет. Оказалось, тот хотел принять и Наташу Шумову. Он не потерял времени даром: Кира и Наташа были уже посвящены в тайну, а сам Витька изготовил герб общества и печать. Он вырезал их на резине, для чего отодрал с каблуков набойки. Дома удивились, как это обе набойки отвалились сразу, потом Соня, ворча, носила башмаки к сапожнику, чтобы поставил новые. Печать была простая — латинская буква «F», заключённая в кольцо, а герб — даже красивый: по морю, ребристому, как рифлёные шторы у магазинов, плыл, накренившись, парусник, по четырём углам стояли начальные буквы девиза. Придумать торжественную клятву Витька не успел. Лёшка сказал, что, по его мнению, обыкновенное честное слово лучше всяких клятв. Витька примирился с этим при условии, что слово дадут торжественно.

В том же сквере, в боковой аллейке, все четверо скрестили руки в едином рукопожатии и дали честное слово никому и никогда не выдавать ни «Футурума», ни его членов, ни то, что они делают или сделают... Лёшке казалось, будто они разыгрывают самодеятельный спектакль, и он не мог сдержать улыбки. Кира рассеянно прсделала всё, что требовалось, не при-

давая этому значения. Только Витька и Наташа держались, как настоящие заговорщики: говорили торжественным шёпотом и опасно оглядывались.

Покончив с обещанием, Лёшка сказал, что хватит разводить всякое таксе, пора переходить к делу. Перейти к делу хотели все, но не знали, в чём оно должно состоять. Витька сказал, что летом они сделают поход на лодке, он управлять парусом умеет, остальные научатся в походе.

— А пока будем изучать корабли, — сказал Витька. — Теоретически и практически. У меня есть книжка, и там описываются всякие.

— А практически? — спросил Лёшка. — Море замёрзло, в порту ни одного парохода.

— Ничего подобного! — сказала Наташа. — Около мола стоит. Тот, что немцы сожгли. Для начала годится. И около «Орджоникидзе стали»... Там совсем большой пароход.

— Где ты тонул? — спросил Лёшка.

— Ну да, — кивнул Витька. — Я — за. Только всем вместе ходить нельзя — очень заметно. Давайте поделимся по двое.

Решили, что Кира и Витька проберутся в порт на сгоревший барк, Наташа и Лёшка — на взорванный пароход.

В воскресное утро Лёшка, как условились, дождался Наташи возле школы. Ветер дул с востока, от «Орджоникидзе стали» поднималось и расплывалось в небе широкое полотнище дыма. Не очень заметный в городе, ветер стал пронизывающим, как только они вышли на окраину. Перед ними лежала заснежённая луговина. Кое-где ветер сдул снег, обнажив выцветшую траву, в иных местах возвышались снежные наносы, присыпанные копатью и красноватой пылью.

— Как пойдём? — спросил Лёшка. — Где-нибудь дорога, наверно, есть.

— Ну да, ещё искать, обходить! — сказала Наташа. — Пошли напрямик — ближе.

Присыпанный пылью наст был тонок и непрочен, с хрустом подламывался, и они проваливались в рассыпчатый, будто толчёный снег. Лёшка обходил наносы: итти было легче и снег не набивался в ботинки. Наташа несколько раз презрительно оглядывалась на Лёшку и наконец сказала:

— Так ты закаляешься? Тут и снегу-то по щиколотки.

Снегу было немного, но туфли Наташи то и дело погружались в него, он таял на ногах, чулки Наташи стали мокрыми, потемнели. Ветер донимал её, она поворачивалась к нему то одним, то другим боком, а то и спиной, и шла вперёд пятясь. Задетый замечанием, Лёшка шёл, не выбирая дороги, с усмешкой поглядывал на Наташу и ждал, когда она пожалуется на холод. Наташа не жаловалась. Упрямо закусив губу, она шагала напрямик.

Пароход, укутанный снежными сугробами, вздымал из-под них только ржавые трубы и рваные прутья поручней. У самого борта ребята провалились в сугроб по пояс. Лёшка обозлился. И зачем он согласился на такую глупую выдумку? Что тут изучать — рваные трубы да обгорелые каюты?

В полузанесённых снегом каютах не было ветра, но казалось холоднее, чем наверху, словно стылое железо само излучало холод. Наташа впервые попала на пароход, с любопытством всё разглядывала и расспрашивала Лёшку. На мостике Лёшка показал штурманскую рубку, объяснил, как в пустой ныне коробке нактоуза плавала прежде катушка компаса, как действует руль. Наташа тронула рукоятку щербатого штурвала, колесо скрипнуло и повернулось.

— О, работает!

Глаза Наташи вспыхнули, она встала к штурвалу и ухватила за рукоятку.

— Командуй!

Команда раздалась снизу:

— А ну, слазьте!

На палубе стоял мужчина в коротком полушубке и, задрвав голову, сердито смотрел на них.

— Вы чего залезли?

Наташа и Лёшка спустились с мостика.

— Что вы тут делаете?

— Ничего, — ответил Лёшка, — мы просто посмотреть.

— Нечего тут смотреть, — так же сердито сказал мужчина в полушубке. — Расшибётесь, а потом за вас отвечай. Смотрельщики...

Они спустились с парохода, поднялись на берег к домику. Сердитый мужчина шёл следом. Из трубы дома вился дымок, он напомнил о домашнем тепле, и от этого сделалось ещё холоднее.

Наташа, выбравшись с запретной территории, осмелела:

— За что вы нас прогоняете? Мы ничего не делали.

— А может, сделаете, почём я знаю? Не положено посторонним, и всё.

Он подошёл к двери домика, собираясь её толкнуть, но Наташа не могла уйти, не оправдавшись.

— Мы ничего и не собирались, просто пришли изучать. Мы пароходы изучаем.

— Кто ж их на кладбище изучает? Надо не покойника, а настоящий, живой. А тут что, коробка, и всё.

— А вы сторож? — спросил Лёшка.

— Капитан-шкипер, — усмехнулся человек в полушубке.

— Тут всё время и живёте? — с трудом двигая непослушными от холода губами, спросила Наташа.

— Тут... — он внимательно посмотрел на Наташу, на Лёшку и так же сердито, как на палубе, скомандовал: — А ну, идите греться, изучальщики!

Из открытой двери пахнуло сухим жаром, устоявшимся запахом махорки и овчины. Маленькая железная печурка была раскалена докрасна, по ней, догоняя друг дружку, перебегали искры. Наташа и Лёшка сели на табуретки поодаль, протянули к печке лиловые, непослушные пальцы.

— Ближе, ближе садитесь! — сказал шкипер. — Ты сними-ка да просуши чулки, красавица.

Наташа немножко постеснялась, потом сняла. Лёшка повесил их над печкой, а туфли Наташи прислонил стоймя к ящику с углем.

— Ты бы тоже снял.

Лёшка пошевелил в ботинках занемелыми пальцами и сказал, что ничего, он так.

— На чём же вы сядете? — смущённо сказала Наташа: она и Лёшка заняли обе табуретки.

— У меня есть трон без износу...

Шкипер снял полушубок, присел на чурбак и подбросил в печку угля.

— А зачем его сторожить, если он потонул, его же не украдут? — спросила Наташа. Она расстегнула пальто и уселась поудобнее, поджав под себя голые ноги.

— Как это, зачем? Государственное имущество. Полагается охранять, и всё. А украсть, конечно, не украдут. Он своё отработал.

— Он вокруг света плывал?

— Вокруг света? Нет, вокруг света не ходил. Куда ему, незадачливо-му! Пароходá, они, как люди: тому везёт, а другому нет. Вот и этот такой невезучий. Ходил по Чёрному морю, нефть возил. Потом машины

сняли, водили его, как баржу, на буксире. Потом остарел, его вовсе к берегу пристроили — вроде нефтебазы, только наплаву. А тут война. Куда его? Ни вывезти, ни разобрать... Немцы ему всю серёдку и разворотили. В сорок пятом еле подняли. Ну, пластырь — дело временное, он постоял, постоял и опять на грунт сел.

— Так и будет стоять?

— Стоять ему нельзя. Зачнут опять руду возить, а тут он поперёк ковша торчит — ни повернуться, ни выйти... Уберут!

Наташа надела высохшие чулки. Туфли разогрелись и как будто стали ещё более мокрыми. Она сказала, что добежит так. Ребята попросились со шкипером и ушли. От домика в город вилась утоптанная тропинка. Ветер дул теперь в спину, Лёшку не так донимал холод, но Наташа опять посинела — ноги в мокрых туфлях застыли.

— Стоило из-за этого мёрзнуть! — сказал Лёшка, когда они вошли в город.

— А п-по-м-моему, очень интересно, — стуча зубами, ответила Наташа.

— Пустое дело! Выдумывает Витька всякую ерунду...

Витькина экспедиция была ещё неудачнее. По льду Кира и Витька добрались до сгоревшего барка. Железный корпус его почти весь был подо льдом, только устремлённый к морю бушприт высоко вздымался над сугробами, будто силится вырвать мёртвый корабль из ледового плена. Внутри коробки всё выгорело и тоже было затянато льдом, прямо изо льда подымались ржавые стальные трубы мачт. Ветер пересыпал от борта к борту недавно выпавший снежок, мачты уныло и глухо отзывались на его порывы. Кира и Витька ушли ни с чем и на трамвае вернулись в город.

Витька не оправдывался и не пытался спорить, когда Лёшка напал на него. Насупливая густые брови, он признал, что придумано было плохо. Он расстроился ещё больше, узнав, что Наташа не пришла в школу. Кира после уроков сбегала к ней: Наташа лежала с высокой температурой, врач сказал, что у неё грипп, но не исключено воспаление лёгких. Всё это Кира выложила Витьке, безжалостно напирая на то, что Наташа промочила ноги во время похода, значит в болезни Наташи виноват Витька, и никто другой.

Огорчённый и подавленный, Витька размышлял о своей невезучести, о том, что все его затеи приводят к смешным или печальным неудачам. Потом он подумал, что великим начинаниям всегда сопутствовали трудности, а знаменитые люди потому и становились знаменитыми, что стойко переносили неудачи и не отступали перед трудностями. Отсюда легко было перейти к мысли, что неудачи выпали на витькину долю не зря. Самое обилие их доказывало витькину незаурядность и неперемное торжество в будущем. Приободрившись, он принялся обдумывать дальнейшие шаги «Футурума» и пути его членов к славе.

Следствием этих размышлений были записки, которые он сунул через день Лёшке и Кире, вызвав их во время перемены на улицу. Кира получила две — одна предназначалась для Наташи.

— Что это? — спросил Лёшка, развернув записку. В ней не было ничего, кроме нескольких строчек, заполненных цифрами.

Витька оглянулся по сторонам и тихо сказал:

— Шифр.

— Зачем?

— Теперь насчёт «Футурума» будем сообщать друг другу шифром. Чтобы, если кто увидит, не мог догадаться.

— Да зачем нам записки? Каждый день видимся, можно и так сказать.

— А! Ну как ты не понимаешь? — досадливо поморщился Витька. — Мало ли что — могут услышать...

— Опять ты детскую игру затеваешь — записки, шифры...

— Ну, знаешь, — обиженно надулся Витька, — это ты по-детски, а не я. Если тайное общество, так надо уметь хранить тайну. И потом, — рассердился он, — никто тебя не заставляет. Не хочешь, не надо! Обойдёмся!

Кира не возражала против шифра, её забавляла таинственность, которую напускал на всё Витька. Витька объяснил, как расшифровать записку.

На уроке немецкого языка Лёшка заложил её в учебник, отвернулся от Тараса, сидящего рядом, и расшифровал. Записка сообщала, что чрезвычайный сбор «Ф» назначается в сквере «Надежд» в полдень воскресенья.

«Вот выдумщик! — рассердился Лёшка. — Полчаса надо возиться, чтобы прочитать, а читать нечего...»

Он оглянулся по сторонам, спрятал записку в карман. Сидящий через проход Юрка Трыхно смотрел на доску, Тарас, шевеля губами, списывал в тетрадь упражнения. Лёшка тоже принялся переписывать задание, но не успел до звонка и задержался на несколько минут. Сунув тетрадь и книгу в парту, Лёшка выбежал в коридор, где уже поджидал его Витька.

— Ну, прочитал?

— Прочитал. Если б знал, что такая чепуха, и возиться бы не стал! Очень нужно копаться. И что это за сквер такой? Где он?

— Это наш сквер! Помнишь, где мы первый раз про «Футурум» разговаривали? Ну, а я так назвал, чтобы... Да ведь неинтересно это, когда без всякого названия! А что, плохо, да?

— Нет, неплохо.

— Вот видишь!.. А записку сжёг? Надо сжечь.

— Где я её жечь буду? Порву, да и всё, — он полез в карман, пошарил в нём, потом полез в другой. Записки не было.

— Потерял?!

— Да нет, куда она денется...

Лёшка вынул платок, вывернул карманы. Записки не было.

— Эх, ты, — презрительно сказал Витька. — Так тебе можно доверять?

Лёшка побежал в класс. Дежурный Юрка Трыхно старательно вытирал мокрой тряпкой доску. Лёшка заглянул под парту, сдвинул её. Он хорошо помнил, что сунул записку в карман, но на всякий случай перевернул книжки и тетради, потом, глядя под ноги, прошёл от парты к двери.

— Ты чего ищешь? — спросил Юрка.

— Ничего... А ты ничего не находил?

— Нет. А что?

Большие улыбочивые глаза Юрки смотрели спокойно и открыто.

Лёшка, не ответив, ушёл из класса.

— Нету?

— Нет, — пристыжённо пожал Лёшка плечами.

Витька насупился, помолчал, потом неожиданно улыбнулся.

— Ну, кто прав? Если кто нашёл, всё одно ничего не поймёт... А ты говорил!

Воспоминание о потерянной записке возвращалось несколько раз, но Лёшка не придавал ей значения и к концу дня забыл о ней.

На следующий день после большой перемены, когда прозвенел звонок и все сидели на местах, в дверях класса появилась Нина Александровна.

— Горбачёв! — окликнула она. — Поди сюда.

Провожаемый удивлёнными взглядами товарищей, Лёшка вышел за дверь.

— Мне... нам надо поговорить с тобой.

Следом за классной руководительницей он пошёл в учительскую. Учителя уже разошлись по классам, в комнате возле окна стоял только Гаевский. Он подождал, пока Нина Александровна сядет, плотно прикрыл дверь и сел за стол рядом с Ниной Александровной.

28

Викентий Павлович давно решил бросить курить. На папиросы уходила пропасть денег, стал донимать кашель, особенно по утрам. Просыпался рано, сразу же начинал кашлять и будил весь дом. И нервы начали сдавать. Чуть что, нервически начинало дрожать левое веко, всё труднее становилось сдерживать вспыльчивость. Для сосудов никотин — смерть. На щеках уже проступали багровые склеротические жилки. Врачи в один голос настаивали — бросать немедленно. Викентий Павлович без врачей знал, что бросать надобно, необходимо, твёрдо решил бросить и только со дня на день отодвигал исполнение решённого. Теперь, когда решение было окончательным и назначен срок — завтрашний день, каждая папироса стала особенно драгоценной. Придя с урока, Викентий Павлович забивался в угол, чтобы спокойно и сосредоточенно выкурить «отдохновенную».

Докурить отдохновенную во время большой перемены помешали. К столу, за которым окутанный дымом сидел Викентий Павлович, подошли Нина Александровна и Гаевский. Викентий Павлович не любил Гаевского и отвернулся к окну.

— Вот полюбуйтесь, — многозначительно сказал Гаевский, — чем занимаются ваши подшефные.

— Ничего не понимаю. Цифры какие-то...

— Я тоже не понимаю. И ничего удивительного: записочка-то шифрованная!

— Что вы! — засмеялась Нина Александровна. — Просто какая-нибудь задача-головоломка, вот и всё. Ребята поиграли и бросили. Мало ли чем они занимаются.

— Ну, знаете! А если они там приучаются водку пить или водятся с дурной компанией? Надо знать, чем они занимаются. Совсем не головоломка, и её не бросили, а потеряли! Головоломку не разыскивают так, как Горбачёв искал эту записку. Он чуть не весь класс облазил...

— Так это у Горбачёва? А откуда...

— Не играет значения, откуда я знаю... — прервал Гаевский. — Я бы на вашем месте вызвал Горбачёва. Пускай объяснит, что это за записка.

Викентий Павлович покосился на стол. Перед Ниной Александровной лежал смятый листок бумаги, она в нерешительности смотрела на него.

— Вызвать нетрудно, только вдруг это пустяки какие, а я буду допрашивать... — она подняла голову и встретилась взглядом с Викентием Павловичем. — Как по-вашему?

— Что такое? — досадливо поморщился он, взглянув на дотлевающий сжурок.

— Да вот, — протянула Нина Александровна записку, — не знаем, что это — задача или...

Викентий Павлович взял записку. На ней было три строки цифр, вместо подписи стояла латинская буква «F», заключённая в кружок.

Он посмотрел на обратную сторону, подумал.

— Похоже на криптографию. Когда-то я интересовался этим делом.

— На что похоже? — не понял Гаевский.

— Тайнопись. Шифр.

— Вот видите! — с торжеством сказал Гаевский. — А я что говорил? Нина Александровна растерялась.

— Как же теперь?.. Он ведь не скажет?

— Что значит «не скажет»? Скажет как миленький!

— Погодите,— остановил их Викентий Павлович, продолжая разглядывать записку.— Кажется... Если я не ошибаюсь, это проще пареной репы... Одну минутку! — он начал что-то писать, потом оставил и сказал Гаевскому: — Дайте-ка, пожалуйста, вон с того стола алфавитную книгу.

Он пронумеровал буквы алфавита и, сверяясь с ним, начал переводить записку.

— Ну, конечно! Самый наивный и примитивный шифр из всех существующих... Младенческий, можно сказать. Вот, пожалуйста! — и он протянул Нине Александровне перевод записки:

«В! З! У! Д!

Чрезвычайный сбор членов «Ф» назначается в полдень воскресенья в сквере Надежд. Ф».

— Что это значит? — недоумевая, спросила Нина Александровна.

— Вот уж этого не знаю! — развёл руками Викентий Павлович.— Какие-нибудь «сыщики-разбойники»... Шифр — детский, почерк — тоже. Словом, пустяки, ребята забавляются. Пошли на урок, звонят.

Нина Александровна достала из кармана сложенную бумажку, расправила на столе и, придерживая, показала Лёшке.

— Ты знаешь, что это такое, Горбачёв?

Лёшка, узнав витькину записку, почувствовал замешательство, но тут же сообразил, что никто не видел у него записки, доказать ничего нельзя.

— Нет.

— Это не твоя записка?

— Я же говорю, нет. Если б моя, так я б знал...

— Так-таки ничего про эту записку и не знаешь?

Лёшка отрицательно покачал головой.

— А зачем ты её искал?

Лёшке вспомнились открытые, ясные глаза Юрки Трыхно. Он перевёл дух и, помрачнев, сказал:

— Откуда вы знаете, что я искал? Я вовсе не записку, а карандаш.

— Так... И что в ней написано, ты тоже не знаешь?

— Откуда я могу знать? Что я её писал?

— А кто её написал?

— Что вы у меня спрашиваете? Не знаю я, и всё!

— Хватит дурака валять! — жёстко сказал Гаевский.— Говори правду. Ну! — прикрикнул он.

— Вот что, Горбачёв,— не дождавшись ответа, сказал Гаевский.— Мы знаем, что тут написано. Мы знаем больше, чем ты думаешь... Да, да! — подтвердил он, поймав лёшкин, исподлобья, взгляд.— Но мы хотим, чтобы ты с а м рассказал обо всём. Если расскажешь, ни тебе, ни твоим товарищам ничего не будет. Ну, а если будешь запираешься, отрицать — дело кончится плохо. Оч-чень плохо!.. В твоих интересах рассказать нам всю правду. Разве мы хотим тебе зла?

Гаевский переменял тон, старался говорить задушевно, но близко поставленные колючие глазки его шарили по лёшкиному лицу, и тот не поверил задушевному тону.

— Что такое «Ф»? Кто её члены?

Кончики лёшкиных ушей начали гореть.

— Да чего вы ко мне пристали? Не знаю я ни про какое эф...

— Смотри, Горбачёв! — угрожающе сказал Гаевский.— Говорить мы тебя заставим. Ты ещё раскаешься и пожалеешь, только потом будет поздно...

— Чего мне каяться, если я ни в чём не виноват? — С вызовом посмотрел Лёшка на сверлящие колючки Гаевского. — Я пойду в класс...

— Никуда не пойдёшь!

— Подожди, Горбачёв, — сказала Нина Александровна. — Зачем ты упрямисься? Расскажи нам всё, что знаешь, тогда и пойдёшь заниматься.

— Ничего я не знаю, нечего мне рассказывать, — сказал Лёшка и нарочно стал смотреть в окно, чтобы они видели, что он ничего не боится.

— Пойдёмте к Галине Фёдоровне, — сказал Гаевский. — Оставлять так нельзя.

Из-за дверей классов доносились неясные голоса учителей. За дверью витькиного класса послышался смех и тотчас стих. Уборщица мела в коридоре пол. Она посторонилась, покачала головой, увидев, как между пионервожатым и учительницей идёт на расправу к директору очередной баловник. Они прошли, уборщица опять стала мести.

Рыхлая, стареющая женщина в очках сидела за столом, читала какую-то бумагу и делала в ней пометки толстым красным карандашом.

— Можно к вам, Галина Фёдоровна? — спросила Нина Александровна, приоткрывая дверь.

Галина Фёдоровна зажала пальцем строку, подняла голову и сняла очки.

— Кто там? В чём дело?

Гаевский подошёл к столу, положил перед директором лёшкину записку и перевод.

— Вот посмотрите, чем наши школьники занимаются! Шифровочка!..

Галина Фёдоровна прочитала записку, подняла глаза на Гаевского.

— Шифр, условное место встречи — всё как полагается... Вы понимаете, что это значит?!

Подбородок директора дрогнул.

— Вот он потерял, Горбачёв, из шестого «Б».. Нам ни в чём не признаётся. Спросите его сами.

— Подожди, Горбачёв. — Лёшка подошёл к столу. — Это твоё? — протянула Галина Фёдоровна руку к записке, но не дотронулась, будто боялась обжечься. — Откуда это у тебя?.. Отвечай, когда спрашивают!

Она говорила строгим голосом, брови её сердито хмурились, но Лёшка видел, что в прыгающих глазах у неё не гнев, а страх.

— А что мне отвечать? Я ничего не знаю и не буду говорить...

— Нет, как вам это нравится?! — возмущённо воскликнула Галина Фёдоровна. — Он не будет говорить!

Она с негодованием посмотрела на Нину Александровну и Гаевского. Нина Александровна тоже выразила на лице негодование, а Гаевский сидел с таким зловещим видом, что подбородок у директора затрясся.

— Сейчас же выкладывай всё! Слышишь?

Лёшка исподлобья посмотрел на неё, переступил с ноги на ногу и сказал:

— Что вы на меня кричите, если я ни в чём не виноват?

— Он ещё будет... — начала Галина Фёдоровна и осеклась. — Хорошо, Горбачёв, — сказала она, помолчав, — я первая буду рада, если ты не виноват, потому что это такое... такая... тень на школу, что... — голос её дрогнул, она снова замолчала. — Если ты ни в чём не виноват, тебе нечего бояться и незачем скрывать то, что ты знаешь. Этим ты только навредишь себе, своим товарищам и школе... Я тебя не принуждаю, а прошу: помоги нам разобраться во всём для твоей же пользы. Иди сюда, садись и расскажи всё, что ты знаешь об этой записке...

Лёшка не сел и продолжал молчать.

— Может быть, тебе её дали не в школе, а где-нибудь на стороне? — с надеждой в голосе спросила Галина Фёдоровна. — Неужели ты не лю-

бишь своих товарищей, тебе не дорога школа, её честь? Ты хочешь подвести всех нас?

Галина Фёдоровна подождала ответа, потом сухо сказала:

— Иди на урок. И чтобы завтра твой отец пришёл в школу!

— У него нет родителей,— сказала Нина Александровна.— Он из детдома.

— Тогда пусть придёт директор. Напишите записку, Нина Александровна, я подпишу. И передайте через кого-нибудь другого.

— Шо там таке? — прошептал Тарас, когда Лёшка вернулся в класс и сел на место.

Лёшка не ответил Тарасу. Опершись скулами о сжатые кулаки, он смотрел на парту и думал, что теперь будет и что скажет Людмила Сергеевна.

Прозвенел звонок, ребята повскакали с мест.

— Что? Что такое, Горбачёв? Зачем вызывали?

Лёшка отодвинул их рукой и шагнул через проход к парте Юрки Трыхно. Тот очень сосредоточенно и старательно перекладывал в ящике парты тетради и книжки.

— Так ты ничего не находил? — спросил Лёшка.— И записку не видел?

Юрка поднял на него большие открытые глаза.

— Нет, ничего,— ответил он.

Юрка не покраснел, не смутился, но по тому, как еле уловимо дрогнули, покосились куда-то в сторону его глаза, Лёшка понял, что выдал его он. Юрка тоже догадался, что Горбачёв понял, и, не сводя с него глаз, начал отодвигаться, отстраняться от него. Лёшка, не замахиываясь, коротко и резко ударил его по лицу раз и другой.

— Стой! Что ты? За что? — схватили его ребята и оттащили от Юрки.

По щекам Юрки торопливо побежали крупные слёзы, они стекали в полуоткрытый трясущийся рот, и он торопливо слизывал их языком, не сводя с Лёшки всё таких же открытых и правдивых глаз.

Юрка не возмущался, не оправдывался, и по тому, что он не делал ни того, ни другого, Лёшка окончательно убедился, что записку подобрал и передал Юрка. И тут же он понял, что выдал себя. Прежде он мог всё отрицать, отпираться от записки, никаких доказательств, что она принадлежала ему, не было. Сказанное Юркой можно было оспаривать и не признавать. Избив Юрку, он доказал свою виновность. Если он не знал записки, не имел к ней отношения, за что же тогда бить Трыхно?!

Лёшка вырвался и выбежал из класса. Чтобы не отвечать на распросы, он на улице дождался, пока позвонят на урок, и вошёл в класс вместе с учителем. На перемене он хотел опять убежать, но Тарас, Сима и Жанна удержали его, подошёл Яша и другие детдомовцы.

— За шо ты ударил Трыхно?—спросил Тарас.— Яка то была записка?

— А какое вам дело? — огрызнулся Лёшка.

— Як то, какое дело?! — сказал Тарас и оглянулся на товарищей.

Лёшка увидел встревоженное лицо Киры. «Бойтся!» — презрительно подумал он и сказал вслух:

— Ничего я не скажу!

Митя оглянулся — их начала окружать толпа школьников.

— Хватит, ребята! — сказал он.— Дома поговорим.

Лёшку оставили в покое, но и на переменах и на уроках он ловил на себе недоумевающие взгляды. Чтобы не встречать этих взглядов, он смотрел в парту или на доску, не понимая написанного, не слыша того, что говорят ученики и учитель.

После уроков он отделился от ребят, старался идти как можно медленнее, чтобы отдалить разговор с Людмилой Сергеевной. Его догнал запыхавшийся, озабоченный Витька.

— Где ты пропадал? Целый день не было... Тебя к директору вызывали?

— Ага.

— И Трыхно морду набил?

— Набил. Мало! — с сожалением вздохнул Лёшка. — Это он записку передал.

— Он сам сказал?

— Нет. Да уж я знаю!

— Ну и что?

— Сначала классная руководительница и Гаевский допытывались, прозили, потом директор... Теперь Людмилу Сергеевну вызывают.

— И чего они так перепугались?

Лёшка промолчал.

— Что ж теперь будет, а? — растерянно спросил Витька.

— Не знаю. Да уж — что будет...

Он оглянулся и увидел на лице Витьки страх.

— Не бойся, не выдам! — горько усмехнулся Лёшка.

— Да вовсе я не боюсь! — сдавленным голосом сказал Витька.

Это была неправда: он испугался. Не за себя. Что будет, если дознаются об его участии и сообщат отцу?.. Витька редко вспоминал, как из-за него — он был убеждён, что из-за него, — заболел отец после витькиного столкновения с Людмилой Сергеевной. Сейчас всё вспомнилось с такой страшной отчётливостью, будто случилось не два года, а два часа назад.

Лёшка не знал о Шарике, о болезни витькиного отца и не понимал причины испуга товарища, но ясно видел, что Витька боялся. Наташа болела, она в счёт не шла. Испуг Киры был в порядке вещей, другого Лёшка от неё не ждал. Но оказалось, что и Витька, друг и товарищ на всю жизнь, тоже боится. Лёшка оставался один, ему одному приходилось брать всё на себя, отвечать за всех.

(Окончание следует)



ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

★

ВСТРЕЧА

... она скончалась в бедности. По странной случайности гроб её повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.

Из старой энциклопедии.

Ей давно не спалось в доме деревянном.
Подходила старуха, как тень, к фортепьянам,
Напевала романс о мгновенье чудном
Голоском еле слышным, дыханьем трудным.
А по чести сказать, о мгновенье чудном
Не осталось грусти в быту её скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала, как нищенка, на медные деньги.

Да и господи боже, когда это было,
Да и вправду ли было, старуха забыла:
Как по лунной дорожке, в сверканье снега,
Приезжала к нему, вся томленье и нега.
Как в объятьях жарких, в молчанье ночи
Он её заклинал, целовал ей очи,
Как уснул на груди её и дышал неровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна.

В ту же зиму пришёл её час последний.
И всесветная слава и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волненьем сам благочинный:
— Во блаженном успении вечный покой ей! —
Что в сравнении с этим счастье мирское...
Ничего не слыша, спала бездыханна
Раскрасавица Керн, болярыня Анна.

Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десятков, не боле;
Не сановный люд, не знатные гости
Поспешали зарыть её на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал, как назло.

Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, держал правее возница,
Потому что в Москву по воле народа
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чём-то, ещё не забытом
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чём-то, навеки близком.

Вот он, отлит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде
Он стоит, кудрявый и дерзкий, как прежде.
Только страшно вырос — прикиньте, смерьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно молод, страшно спокоен.
Поглядите, правнуки: точно такой он!

Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чём не печалься.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновение чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертною бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано и встретились поздно.



БОРИС ГОРБАТОВ

★

АЛЕКСЕЙ ГАЙДАШ

Повесть *

4

Наконец я получил письмо от Алёши. На конверте стоял штамп: «Красноармейское». Я обрадованно вскрыл письмо. Оно было написано карандашом, лихим, размашистым почерком. Чувствовалось, что автор больше привык подписывать бумаги, чем писать письма.

«Крепость. 3 ноября 1930 года.

Здравствуй, дорогой Сергей!

Вокруг меня сейчас не казарма, а целая канцелярия. Все сидят и пишут письма. Дурацкое запятие, я никогда не был силен в нём. Но заразительное. Неужто и мне некому написать письмишко? Подумал-подумал, решил написать тебе. А что написать — и сам не знаю. Ну, жив, здоров. Цел, невредим, чего и тебе желаю. Ещё что? Знаю, ждёшь ты от меня красочных описаний, переживаний, да не мастер я на них. Вокруг горы. Самое интересное в них то, что половина из них уж не наша — турецкая. Вчера сказал нам об этом командир, показал рукой, — это уж турецкие горы! Они синели где-то, и очень далеко и очень близко. Я бы за полдня мог взобраться на ближнюю из них — оттуда, говорят, можно увидеть турецкую землю. Вот куда занесло меня. Что скрывать? Это наполнило меня гордостью и волнением — сразу показалась мне наша старая казарма, и койки, заправленные солдатскими одеялами, и часовой у ворот, и протоптанные в застывшей грязи дорожки, и каменистый плац, и горнист, протрубивший развод наряда, — всё показалось мне наполненным особым смыслом. Не скрою — стал я с почтением поглядывать на горы. Они нагнулись на нас и к вечеру кажутся чёрными и зловещими. Граница наша мирная, дружественная, но в горах пошаливают бандиты, и изредка с заставы привозят убитых или раненых пограничников. Всё больше — нож в спину...

(Я улыбнулся, узнав в этих строках Алёшу. Армия стала ему милее, когда он узнал об опасностях. Это было похоже и на него, и на меня, и на всех ребят нашего возраста.)

В городе я ещё не был — мы на карантинном положении. Но городок, видать, грязненький, дай ему бог здоровья, но любопытный. Впрочем, сужу по рассказам.

Карантинное положение — это мерзость, откровенно говоря. Нас шупают доктора, делают уколы, нянчат, как барышень, и осторожненько, полегоньку приучают к армейской жизни. Никогда не думал, что командиры такие искусные педагоги. Нас понемногу «втягивают» в строй, учат заправлять койку, складывать на ночь гимнастёрку, чистить зубы. По утрам

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

делают смотр нашим стриженным головам, заглядывают, чисты ли уши, и уккоризненно выговаривают, что надо быть культурным и хоть изредка, да уши мыть. Вещь, разумеется, полезная, но зачем меня, как малого ребёнка, учить ходить ножками, никак не пойму...»

Я вспоминаю теперь, что письмо Алёши вызвало во мне странное чувство, в котором я сначала не сумел даже разобраться. Я видел сквозь строки, что нелегко даётся Алёше внезапное превращение из секретаря окружкома в рядового красноармейца. Но не об этом думалось мне, когда я рассеянно перебирал листки. Мне показалось даже, что письмо Алёши преследовало какую-то затаённую цель. Может быть, он хотел, чтобы показал я письмо ребятам из окружкома, тем, которые «ехидничали». Ну ладно, покажу. Хотя и не знаю, кого он имеет в виду.

Нет, и не об этом думал я. Я представил себе Алёшу в полутёмной казарме... за окном чернеют горы... со штыком у пояса медленно бродит лневальный... матово поблёскивают винтовки в пирамиде... А Алёша сидит, охватив голову руками, один у своей койки, заправленной серым одеялом, и... зависть острая, горькая зависть к нему вдруг овладела мной.

Мы были детьми войны. Наше детство прошло под гром оружейных выстрелов. Фронт лежал за рекой, в которой мы купались. Мы ночевали в окопах чаще, чем дома, нас гнали — мы не плакали, но огрызались. Иногда нам удавалось оказаться полезными — поднести патронов, воды, снести донесение; мы не хвастались этим, молча гордились. Мы росли, опалённые дымом, бесстрашными, не по-детски взрослыми и предприимчивыми. Мы знали: человек не может пропасть зря.

Когда наши отцы воевали, мы играли в войну. Стреляные гильзы, ещё тёплые и закопчённые, служили нам игрушками. Мы подбирали их на поле боя и коллекционировали — русские, японские, берданочные, револьверные, нагана, браунинга, — как гимназисты в старину коллекционировали папиросные коробки. Мы знали толк в оружии и по звуку выстрела определяли орудие, — так наши ребята сейчас разбираются в автомобильных марках. Мы носили одежду, перешитую из шинели и гимнастёрок взрослых, мать тщательно заштопывала круглые дырочки от пуль и неслышно плакала. Мы донашивали огромные отцовские сапоги, порыжевшие и сморщившиеся.

По каким болотам войны шагали они, в каких лужах порыжели?

Мы мечтали о собственных сапогах, о настоящих гимнастёрках, настоящих, то есть с петличками и номером своего полка.

Но вот мы выросли, стали слесарями, инженерами, агрономами, натуралистами, мы строили дома, машины, мосты; из холостяцких казарм мы перебрались в собственные квартиры, у нас появились вещи — коврик над письменным столом, стоптанные мягкие туфли, певучий пружинный диван; на стене, под охотничьим ружьём, на огромном гвозде красовалась посеревшая будёновка, а в шкафу ждала своего срока рыжая шинелишка с выцветшим номером на петлицах.

Иногда мы вытаскивали эти драгоценные реликвии — это случалось в дни сборов запаса, — чистили их, штопали места, испорченные молью. Нам было неловко являться в часть в штатском виде. Мы приходили в старой шинельке, хоть и стала она уж тесноватой — мы раздобрели, но были годны в строй.

Мы прибывали в лагерь не в гости, не на временные квартиры — мы возвращались домой из долгосрочного отпуска. Здесь, в серой походной палатке, был наш дом, и мы, почистив пыльные сапоги, занимали своё место в строю, торопливо отвечали на перекличке:

— Я!

Но войны не было; через месяц, подучив, протерев и смазав, как хорошую старую винтовку, нас возвращали обратно строить мосты и писать.

Чувство войны не покидало нас, что бы мы ни делали: любили ли девушек, качали ли ребят или щёлкали на счётах в конторе.

Империалистической войны мы не знали — она доходила до нас лишь в рассказах отцов, вернувшихся домой на побывку, но это так тесно сплеталось со сказками бабушки, что царица Алиса представлялась нам злой бабой-ягой, царь Николка — людоедом, ревушим «покатаюся, поваляюся, человечьею мяса покушаю», а лихой казак Кузьма Крючков оказывался храбрым Иванушкой-дурачком. Потом к этим детским представлениям прибавились первоавгустовские демонстрации, книги Ленина, злые карикатуры Гросса и страшный холм человечьих черепов у Верещагина.

Мы были детьми войны гражданской. Эту войну мы понимали, чувствовали. Эта полна была для нас реального смысла. В ней видели мы, ребята городской окраины, борьбу «наших» с врагами. В этой войне мы не были ни зрителями, ни нейтральными. Мы воевали у огромной карты на площади, у окна Роста; на захламленном пустыре мы воспроизводили сражения, мы тоже брали Ростов лихим кавалерийским налётом, мы тоже падали сражёнными у Перекопа.

Оттого слово «борьба» было для нас священным. Оно означало бой за справедливость, за счастье всех, за мир и порядок на земле. Из таких и выходят поколения, закопчённые пороховым дымом, готовые к новой борьбе.

Мы росли в сознании того, что и нам доведётся защищать свою родину с оружием в руках; мудро ли, что питали мы уважение к винтовке, а осоавиахимовский противогаз — чудовище со стеклянными глазами — вешали на стену, на коврик, рядом с охотничьим ружьём, будёновкой и портретом любимой девушки.

Мы росли, говоря себе: «В грядущих схватках придёт и наш черёд для доблести, для подвигов, для славы».

5

Командир улыбнулся.

— Ого! Я предсказываю вам, Гайдаш: вы будете отличным гранатомётчиком. Ставлю вам тройку с плюсом. Только «эх!» кричать не надо.

Насмешка почудилась Алёше в голосе командира, он насупился и отошёл в сторону.

А командир отметил в блокноте: «10. Гайдаш Алексей — спортивная подготовка слабая, но данные хорошие. С характером. Упрямый, самолюбивый, волевой». Командир роты Зубакин был психологом.

Алёша решил взять реванш в беге на три тысячи метров. Он никогда не был на спортивной дорожке, но всегда считал себя хоть неладно скроенным, зато крепко сшитым парнем. Среди дохлых комитетчиков, измученных заседаниями, куревом взасос, долголетней учёбой в партшколах и комвузах, он выделялся своим буйным здоровьем, простонародной краснощёкостью и силой. Иногда он, подвыпив, затевал кутерьму: расшвыривал ребят по комнате, боролся один против целой группы, пыхтел, возился. Он гордился своим здоровьем. Ему чудилась в себе скрытая сила; она, притаившись, дремлет, не было случая разбудить её, — вот он сейчас мобилизует её всю, всю без остатка. Вспомнил усмешку командира — скривил рот: «Что ж, посмотрим!» Взглянул на шоссе — оно искрилось. Бежать по обочине? Задохнёшься в пыли. Так! Бежать ближе к орешнику мягкой тропкой. Скинул гимнастёрку — пахло прохладным ветром. Хорошая кожа! Отличный день. Прижал руки к груди. Замер. Искося взгля-

нул на ребят — они приготовились к бегу. Сташевский, Рунич, Ляшенко... Да, Ляшенко, пожалуй, конкурент. Надо вложить всю силу, всю волю в первый рывок. Так. Спокойствие! Хорошо стучит сердце... Двадцать два года — заря жизни... Выдержка. Внимание...

...Три!

Его швырнуло вперёд, словно пулю из карабина. Это произошло вне его сознания, его словно толкнули сзади, в спину, спустили, как тугую тетиву.

Бежит. Ветер в лицо. Хорошо. Отлично. Оглянулся — ребята остались сзади. Усмехнулся — стало весело и легко. Он чувствовал себя сильным, ловким, ладным парнем. Как искрится шоссе — синие, голубые, зелёные искры. Надо дышать носом — вспомнил вдруг он и поспешно закрыл радостно разинутый рот. Как замечательно пахнет землёй и лесом! В конце концов ему только двадцать два года. Всё впереди. У него крепкие ноги. Они безраздельно повинуются ему. Захочет — будет плотно стоять ими на земле, захочет — будет бежать, мчаться, как ветер, как вихрь. Куда? Куда вздумается. Куда захочется. К счастью, к славе, к любви! Как здорово пахнет мир спелыми яблоками. Снова оглянулся; ребята были далеко сзади. «Что, товарищ комроты, улыбаетесь? Ну-ну! Им не нагнать меня. Раз я ушёл вперёд, теперь не нагонят. Надо только сохранить эту дистанцию. Чуть сбавлю темп и в этом темпе — к финишу». К финишу! К финишу! «Сколько я пробежал?» Как замечательно стучит сердце. «Это пепел Клааса стучит в моём сердце», — вспомнил он Уленшпигеля. «Это кровь класса стучит в моём сердце», — перефразировал на бегу.

Он прислушивается. Ему вдруг начинает казаться, что слишком много шума вокруг. Шумит орешник, шумят сады, ручей, ветер. Отчего так много шума? Он задыхается. Сбавляет темп. Снова прислушивается. Тяжело булькает сердце. Неровно, учащённо. Шум вокруг усиливается — теперь это буря. Он с испугом догадывается, что это шумит в ушах. Он пыхтит, сопит, сморкается. Больше нечем дышать. Нечем. Он судорожно раскрывает рот, жадно глотает воздух — пахнет яблоками, откуда яблоки? Ноябрь? Сейчас оборвётся сердце, с шумом лопнут лёгкие, как надутый бычий пузырь, разорванный ударом палки.

Он совсем сбавляет бег и испуганно прислушивается к себе. В нём что-то хрипит и стонет. Вспомнил разбитую гармонь меньшого брата. Брат плакал над ней. Она хрипела.

Теперь он уже механически передвигал ноги, по инерции. Он увидел, как мимо промчался кто-то, он даже не успел заметить кто, но решил, что это Ляшенко. Тогда он судорожным движением рванул вперёд. Стал понукать себя. «Ну ты, кляча!» Но ноги не слушались. Рот беспомощно открылся. Нечем дышать. Нечем. Он чуть не заплакал от злости и обиды.

Внезапно пришло облегчение — стало легче дышать. Что это? Подуло свежим ветром? Откуда эта лёгкость, радость освобождения, словно сняли тяжесть с груди? Вспомнил, что спортсмены когда-то толковали ему о «втором дыхании», которое приходит уже на бегу, когда спортсмен «втягивается» в бег. Это оно? Что ж, отлично! Как смешно, что он испугался. Нет, теперь он добежит. Нажать немного! Ещё нажать! Догнать ушедшего вперёд Ляшенко. Прийти первым! Или вторым... Во всяком случае в первой пятёрке.

Но ноги не слушаются. Невероятно тяжелы ноги. Ломит под коленками. «Кляча, кляча! — ругает себя Гайдаш. — Ну! Нажать! Ну!»

Кто-то нагоняет сзади. Алёша слышит чьё-то мощное, ровное дыхание. Оглядывается. Это Ляшенко. Кто же был первым?

Ляшенко бежит тяжело. Но ровно. Вот он обходит Алёшу. Алёша видит его широкую спину, она мерно колышется. Потом он замечает, что Ляшенко косолапит.

Ещё кто-то обходит Алёшу. Теперь это Левашов, областной чемпион по конькам. Этот бежит на носках, лёгким, спортивным шагом, словно он отмеривает их рулеткой. Он обходит и Ляшенку. И вот уж где-то далеко впереди очень красиво и мерно колышется его стройное, тугое тело.

Целая гурьба ребят перегоняет запыхавшегося Алёшу. Ему начинает казаться, что он стоит на месте, а мимо плывёт дорога, как вокзальный перрон с оставшимися на нём людьми. Тогда он закусывает до крови губу и упрямо ускоряет бег. Он бежит уже нервами, ноги не слушаются. Нервы ещё покорны ему. Он безжалостно эксплуатирует их. «Ну, ещё, ещё! — хрипит он. — Не сдамся. Не сдамся. Ну!»

Навстречу попадают Левашов и Шашевский. Они бегут обратно. Между ними уже завязывается борьба. Алёша видит, как всё быстрее и быстрее мелькают их ноги. Они набирают скорость. Они повышают её мерно и ровно. Они скупко расходуют свои ресурсы. Они берегут их расчётливо и точно, как хозяйка бережёт керосин. Вот в чём, оказывается, дело, догадывается наконец Алёша. Он не рассчитал своих сил. Слишком стремительно рванул вперёд и — выдохся. Обычная его ошибка. Как часто он выдыхался из-за слишком горячего рывка!

«Ничему не научился, — думает он, — кляча, кляча, да с норовом ещё!»

Всё-таки он продолжает бежать. Странно, как не треснет сердце. «Хорошее тебе отпущено сердце, Гайдаш, и как же глупо ты его расходуешь».

«Дышите носом!» — вспоминает он совет командира. Он закрывает рот и задыхается. Нет, к чёрту теперь правила. Поздно. Он дышит и носом, и ртом, и даже, кажется, ушами, и всеми порами потного горячего тела, и всё-таки нечем дышать. С хрипом вырывается дыхание, шумное, тревожное, отчаянное.

Но вот и подороги — красноармеец с флажком. Обегает его. Поворачивает обратно. Гайдаш старается не смотреть по сторонам. Обходят его или он других обходит — всё равно. Лишь бы только добежать. Кончить эту пытку.

Или свалиться на дороге, в пыль, в прохладу орешника, припасть горячим лбом к влажной земле, чують её здоровье и силу, ласкать её чёрную влажную грудь, отдышаться, отдохнуть, уснуть под лёгким дыханием ветерка, набегающего с гор и садов?

Он шатается. Вот упадёт сейчас. Как подбитая собака, отползёт в сторону, чтобы не задавили бегущие люди. Нет, нет, бежать, бежать! Вперёд! К финишу! Ещё! Ещё немного!

Он выжимает из себя остатки сил — и вот уж где-то далеко впереди видит финиш и группу красноармейцев.

Счастливые! Они уж прибежали!

Вокруг него, рядом с ним бегут, тяжело дыша, товарищи. Он оглядывается — ого, и сзади ещё немало! Это наполняет его тело новой силой. Радостно улыбается. Добегу! Вокруг тишина, молчание, и только прерывистое сопение ребят да топот тяжёлых армейских сапог.

Рядом бежит Горленко. Алёша видит его красное, разгорячённое лицо. Оно то вырывается вперёд, то, словно дожидаясь его, снова появляется рядом.

Алёша убыстряет бег.

Перегнать! Перегнать Горленко! Этот маленький триумф нужен ему как воздух. Ах, зачем он сразу не начал дышать только носом, бежать на носках, лёгким, размеренным шагом. Как пригодились бы теперь ему эти глупо, слишком щедро истраченные силы!

Но он выжимает из себя всё, всё, что может, он делает нечеловеческие усилия, и вот удивлённый Горленко остаётся позади.

Впереди чья-то спина. Кто это? Алёша напрасно старается угадать. Стриженная голова, белая сорочка, армейские брюки, сапоги — все одеты так. Так одет и сам Алёша.

Догнать! Увидеть, кто это. Перегнать его, торжествующе обернуться назад и подмигнуть глазом! Ну, ну, ещё...

Но спина впереди начинает мелькать быстрее. Алёша тоже прибавляет шаг. Вот он уж догоняет, достаёт, вот...

Финиш. Командир с часами в руке. Разгорячённый, но сухой, без капельки пота на лице Левашов. Красный, сердитый Сташевский. Ляшенко. Рунич — это его, оказывается, тщетно пытался догнать Алёша. Он оглядывается — на траве лежит, отдыхают ещё несколько ребят.

— Удовлетворительно, Гайдаш! — говорит, ласково улыбаясь, комроты Зубакин и что-то отмечает в блокноте. — Тройка с плюсом.

Проклятая тройка с плюсом!

Алексей отходит к дереву и, упираясь лбом во влажную, ободранную кору, тяжело дышит и сплёвывает наземь густую, липкую слюну.

Один за другим подходят остальные участники бега. Их рубахи дымятся потом. Молча отходят в сторону, валяются на траву, вытирают платком, фукавом, рубахой мокрые спины.

Командир в общем доволен результатом бега.

— Ничего подобралось пополнение, — говорит он весело. — С таким пополнением мы лучшим полком в дивизии станем, — говорит он, и ребята весело и довольно смеются в ответ.

Комроты кладёт часы в карман. Время, положенное на бег, истекло. Но ещё нескольких бойцов нет. Нет Моргуна, нет Стрепетова. (Стрепетов в это время подходит, его лицо без очков очень смешное и незнакомое. Он улыбается, смущённо пожимает плечами, шепчет командиру: — Ничего, ничего, потренируюсь — стану отличным бегуном, уверяю вас, — и валится на траву.) Все наконец в сборе — нет Дымшица.

Ребята уже надели рубахи, затянули ремни, курят. Командиру наскучило ждать, но он вежливо молчит и смотрит на дорогу.

Наконец на шоссе из пыли возникает маленькая, кругленькая, одинокая фигурка. Приближается. Видно, как усердно работает локтями. Это Дымшиц. Тяжёлые сапоги стесняют его. Они кажутся больше, чем весь он. Швейк подпрыгивает и косолапо переступает с ноги на ногу. Он давно уж не бежит, хотя ему кажется, что он несётся изо всех сил. Он больше топчется на месте и медленно, очень медленно подвигается вперёд. Он устал, изнемог, его лицо багрово, пот застилает ему глаза — он ничего не видит, не думает, не плачет. Он только старается усерднее работать руками — ноги совсем свинцовые, — трудно дышит и боится за сердце.

Ребята смеются. Действительно, это очень смешно — одинокая фигурка косолапо подпрыгивает на шоссе. Но комроты хмурится. Вероятно, он думает про себя: «Что мне делать с этим бравым бойцом?»

— Швейк, веселей, веселей! — поощрительно кричит Рунич. — Ножками, ножками...

Но, когда Швейк подходит к финишу, смех смущённо обрывается. Лицо Дымшица страшно. Он вытирает глаза — на них дрожат слезинки — и, зашатавшись, падает навзничь, на траву. Все расступаются. Он остаётся один. К нему никто не подходит. Всем тяжело и стыдно. Он лежит, закрыв глаза и хрипло стонет.

Ночью, когда в казарме погас свет и уснули ребята, Алёша вдруг услышал, как кто-то тихим шёпотом позвал его:

— Гайдаш... Товарищ...

Он узнал голос Швейка — соседа по койке слева.

— Швейк, ты что? — недоуменно спросил он.

— Гайдаш... Товарищ... Пойми...— прошептал Швейк, задыхаясь.— Пойми, пожалуйста... Я не симулянт. Не сволочь... Я советский человек... Я умею хорошо работать... Меня премировали... Ценили... Пойми...

— Тебе верят все, Юрий. С чего ты?

— Не верят... я не могу бегать... Понимаешь? Не умею. Всю жизнь у прилавка... Я никогда не бегал... Прыгать, стрелять я не умею... Никогда... Кругом горы. Надо лазать, карабкаться...

— Научишься, товарищ. Я тоже не умею.

— Ты сильный. А я... И понимаешь, я подумал сейчас: целый год. Понимаешь? Целый год, каждый день, утром, днём, вечером... Маршировать. Лазать в горы. Стрелять. Я пропаду, Гайдаш. Понимаешь?

Алексею представилось — так предстоит ему каждый день. Если не бег, так горы, если не горы, так походы. Целый год! Изо дня в день — в строю, в снаряжении, в походе, в карауле, в узде дисциплины... Ему стало страшно, но он рассердился на себя, сердито цыкнул на Швейка:

— Брось хныкать. Спи ты! — и накрылся с головой одеялом.

6

Ещё в теплушке Алексей провёл среди команды сбор денег на Воздушный Флот. Команда не успела и до полка доехать, а уж в тифлисской газете была тиснута заметка: «Молодые красноармейцы — Воздушному Флоту». В заметке был повинен Стрелетов. Это было его первое литературное произведение. Но денег Алексей так и не сдал ещё. Оглушённый новыми впечатлениями армейской жизни, он забыл обо всём. А когда вспомнил, стало стыдно. Что с ними делать, куда их девать?

— Сдайте в штаб, — посоветовал ему политрук. Алексей пошёл в штаб полка. Дневальный у ворот указал ему штыком дорогу. Штаб находился тут же, за полковым городком. Кривая и очень узкая улочка круто падала вниз. По обе стороны тянулась низенькая ограда из неотёсанных серых камней, кое-как сложенных вместе и оплетённых сухими колючими прутьями хвороста. За оградой начинались огороды и сады. В ближнем из них дымил костёр, пахло гарью.

У штаба стоял коновод, держа в поводу оседланных коней. Вороной жеребец с белой звездой на лбу нетерпеливо бил копытом.

— Вам кого? — остановил Алёшу дежурный писарь с наганом на боку. — Начальника штаба нет, есть его помощник, товарищ Ковалёв.

— Ну, пускай помощник, — нетерпеливо согласился Гайдаш.

— А по какому делу? А! Сейчас позвоню. — Дежурный повертел ручку телефона, вытянулся, зачем-то отдёргнул наган и доложил: — К вам красноармеец из пополнения. Принёс сдать деньги на авиацию. Хорошо. Есть! Идите, товарищ.

Алексей взбежал по лестнице. У двери, на которой было написано «Начальник штаба», остановился. Оправил гимнастёрку, озабоченно взглянул на сапоги. Всё это делал бессознательно. Почувствовал вдруг, что робеет. Разозлился на себя.

«В Цека входил — не робел, а тут дрейфлю!» — выругал он себя и громко постучал в дверь.

— Войдите! — приказал ему резкий голос, привычный к команде.

Он вошёл. За столом, склонив над бумагами голову, сидел человек в военной форме. Блестели ремни портупеи, блестел ровный тонкий пробор, блестела, словно полированная, чернильница.

Алексей кашлянул. Помначштаба поднял голову и посмотрел на Алёшу. Вдруг его лицо перекошилось.

— Гайдаш? — прошептал он и побледнел. Алёша попятился к двери. Что это? Он невольно протёр глаза. В приподнявшемся со стула подтянутом помощнике начальника штаба с удивлением и ужасом узнал он Никиту Ковалёва.

Оба молчали. Гулко стучали часы. Внизу за окном нетерпеливо заржал жеребец.

Первым пришёл в себя Ковалёв. Он улыбнулся уголками губ, глаза его были холодны и жёстки.

— Вот мы и встретились с тобой, Алексей Гайдаш. Любопытно, не правда ли?

Он засмеялся непринуждённо, легко.

В алёшинных глазах мелькнули искорки злобной радости. «Не ждал? — подумал он. — Ага! Не ждал!.. Забрался на границу, к чёрту на кулички, думал — не фазыщут, не пронюхают?»

И он тоже засмеялся.

— Вот мы и встретились, Никита Ковалёв, — ответил он в унисон и продолжал смеяться. «Четыре кубика на петличках? Ишь ты!» — Давненько мы не виделись с тобой. Сколько же? Восемь лет! Неужто восемь?

Ковалёв нахмурился, свёл густые брови. Восемь лет? Вспомнилось, как вышел тогда из школы, раздавленный, выгнанный, — шумно захлопнулась за ним дверь. Улица, сумерки, огни — что впереди? Готов был застонать от злости. Обернулся к школе, яростно сжал кулаки. «Бомбами их, бомбами!» — закричал он и побежал по улице. Этого не забывал никогда.

Застарелая, отлежавшаяся ненависть снова зашумела в нём. Вот он, Алексей Гайдаш, вождь «школьных большевиков», самый заклятый враг, первый, кто нанёс ему удар в грудь. Сколько таких ударов было потом! Он ничего не забыл.

Вот он стоит перед ним, беспомощный, жалкий красноармеец. Даже дух у Ковалёва захватило от радости. А-а-а! Торжествующе вытянулся, сухой, бравый, пахнувший кожей, позвякивающий шпорами. Намётанным глазом строевика окинул расхлябанную фигуру, прислонившуюся к двери. Презрительно усмехнулся: «Вояка. Только горло умеете драть на митингах». И снова нахлынула ярость. «Распечь! Накричать! Выгнать!» Судорожно стиснул зубы. Захлебнулся. О! «Осторожнее, осторожнее! — успокаивал он себя. — Уничтожить, уничтожить его, но потихоньку. Только осторожнее, ради бога, осторожнее, Никита. Пожалуйста!» — умолял он себя.

Сжал кулаки. Улыбнулся.

— Да, восемь лет, — произнёс он приветливо, — даже немного больше.

— Немного больше. Я теперь вспомнил.

— И я.

Постучал острыми пальцами по столу.

— В какой роте, Гайдаш?

— Ещё в карантине.

— А-а! Но, вероятно, в полковую школу?

— Говорят.

— Да-а... («Осторожнее, осторожнее, пожалуйста», — упрашивал он себя.) У нас хорошо. Много яблок, — потянул носом, — сады...

— Да.

— Горы... Очень красиво...

— Да.

Они произносили безразличные слова, даже не вдумываясь в них. Зато каждый напряжённо вслушивался в слова противника. Насторожённо следил за всеми его движениями. Примечал тени на лице, дрожание скул, выражение глаз.

Исподлобья окидывали друг друга затаёнными, враждебными взглядами.

— Ты, оказывается, многое успел в жизни, Никита Ковалёв, — наконец сделал первый выпад Алёша. — Впрочем, прости. Может быть, тебя здесь зовут иначе?

— Нет, — усмехнулся Ковалёв. — Так и зовут: Никитой Ковалёвым. Тебе не нравится это имя? Я, ничего, доволен им.

И посмотрел торжествующе.

— По отцовской дорожке, значит, пошёл? По военной? — не смутился Гайдаш. — Только вот беда: разный цвет петлиц у вас. У тебя красные, а у него... Какие, бишь, носили петлицы казачьи офицеры?

— Припоминаю: петлиц не носили. Были погоны. Золотые по преимуществу. — Ковалёв опять усмехнулся. Удары Алёши не задевали его, он бил впустую. «Ничего. Пускай бьёт. Выдохнется. И тогда я ударю!»

— Да и я припоминаю, — сказал с внезапной злобой Алёша. — Точно: золотые погоны. Мы били их в морду, твоих отцов. Рубали их шашками.

— Ты не рубал. Сопляк, — побагровев, прошептал Ковалёв.

— Жалею, — закричал Гайдаш, — ой, как жалею, что был сопляком. Да на мою долю их детки выпали. Буду бить, бить в кровь, насмерть, до последнего. Он покачнулся и схватился за спинку стула. Ковалёв пригнулся, испуганно косил глазом на дверь. Потом оправил наган. «Осторожнее, осторожнее, — убеждал он себя. — Твоё время придёт!»

— Да, так мы говорили... — начал он равнодушным тоном.

— ...О золотых погонах, — оборвал Алёша, — о золотых погонах. Отличная тема! Я припоминаю: ты как-то плакался мне, что по вине революции не сможешь получить трёх звёздочек на погон. А смотри, на! — целых четыре кубика! Или это не то?

— Нет, даже лучше.

— Вот как, — насмешливо протянул Алёша, — значит, действительно время меняет людей. Помиримся на четырёх кубиках? О, нет! Не помиримся. Ой ли? А отец твой как же? Неужто смирился, что сынок стал красным командиром? Где он, кстати, папаша? Всё в эмиграции? Крестовый поход готовит или служит вышибалой в публичном доме?

Ковалёв сжал кулаки. Это уж слишком! Он ненавидел своего отца, в звериной панике бросившего его одного с больной матерью в пылающей деревне и подло убежавшего за границу. Он ненавидел их всех — «проматавшихся отцов», бездарных, тупых и трусливых, проигравших Россию, власть, сытую жизнь, опозоривших русское оружие. Но они всё же были ему ближе, роднее, чем этот наглый хам в красноармейской гимнастёрке. Может быть, и в самом деле отец — вышибала в публичном доме! «Мой отец! Ковалёв!» Он почувствовал вдруг, как выиграла в нём кровь — ковалёвская кровь, казачья, дедовская. «Но осторожнее, осторожнее, — шептал в нём кто-то другой, не Ковалёв, не казак. — Ради бога, осторожнее». Нечеловеческим усилием сдержал себя. На лбу выступил пот. Только брови вздрагивали и чуть дрожали острые скулы.

— Я вижу, — хрипло сказал он, — я вижу, Гайдаш, тебя очень занимает моя биография. Мне это лестно. Такое внимание старого товарища. Спасибо. Но мне сейчас некогда. Я на службе. Если ты хочешь подробностей — обратись к комиссару полка, он недавно взял мою биографию для газетки. Хотели меня отметить. — Он наносил удары точной, уверенной рукой. Он снова был спокоен. Глаза блестели зло и жёстко. — Но я не люблю этого. Я, видишь ли, строевик. Политиков всегда недолюбливал, не взыщи, пожалуйста. Но биографию всё же дал. Прочти, ознакомься.

Теперь он даже улыбался, любуясь растерянностью Алёши. «А-а! Дочит? Подожди-ка!»

— У меня, видишь ли, дядя есть, — продолжал он всё тем же безразличным, небрежным тоном. — Царский полковник. Тебя интересует как историка, — он усмехнулся, — какие погоны носили? Вот у него, это я точно знаю, был золотой погон с двумя просветами. Сейчас он на большой военной работе. А восемь лет назад был военруком большой пехотной школы. Он принял меня в курсанты. Я учился. Окончил с отличием. Стал командиром взвода. Служил во многих гарнизонах. Теперь служу здесь. Вот кратко — всё о себе.

Он услышал, как нетерпеливо ржал жеребец у штаба. Узнал его по высоким пронзительным нотам, по игривым раскатам, призывным, страстным, нетерпеливым. «Нутрец!» — ласково подумал он о Коршуне. Он любил коней. Кого ещё любил он? Пожал плечами.

— Я тороплюсь, — небрежно сказал он Гайдашу и начал собирать бумаги. — Меня уж давно ждёт лошадь. Еду на рекогносцировку. Завтра командирское учение. Надо выбрать местность. — Он взглянул на часы, потом взял сумку, пристегнул к ремню. Его движения были точны, резки, отчётливы. Он был деловой, с отличной выправкой командир. Сапоги блестящие, как лакированные. Тихо звякали шпоры, заглушённые ковром. Гайдаш невольно взглянул на свои сапоги. Он был растерян, подавлен, разбит, бессильная злость душила его. Лицо покрылось пятнами.

Всё это увидел Ковалёв и усмехнулся. «Ага!» — захотелось нанести последний удар, самый сильный, самый безжалостный. Он подошёл к Алёше и положил руку на плечо, чуть благодушно, чуть покровительственно сказал:

— Я хочу тебе по-дружески дать совет, Алексей. Мы старые приятели, хоть я и командир, а ты красноармеец.

Алёша дёрнул плечом, рука Ковалёва слетела, командир спрятал её в карман, но тона не изменил, только глаза его стали ещё враждебнее.

— Тебе нелёгкой покажется служба в армии, — продолжал он, выбирая слова побольнее, — было нелегко и мне, хоть кость у меня строевая. Надеюсь, ты тоже привыкнешь. Но... это я говорю по дружбе, другой на моём месте распёк бы тебя, распеку и я в дальнейшем, если случится. Дружба дружбой, а служба службой... Но вид у тебя, как у нас говорят, больно гражданский. Раньше таких звали обидней — шпак. Посмотри сам. Ремень сбился набок, — он тронул его осторожными, брезгливыми пальцами, — сапоги пыльные. На каблуках — засохшая грязь. Выправки никакой. Стоишь, как мешок с отрубями. Что это такое? Торчит рукав нижней сорочки. Позорный вид. Я это тебе дружески говорю. В следующий раз взыщу, — он ещё раз окинул побледневшего Гайдаша небрежным взглядом всего, с ног до головы, и приложил два пальца к шлему. — Тороплюсь. Заходи вообще. Буду рад. Какие-то деньги? Сдай писарю. Пока!

Он, легко покачиваясь, пошёл по коридору. Раздавленный, безмолвный Алёша затопал след за ним.

С ненавистью слышал Алёша, как мелодично тренькают шпоры помначштаба и как гулко ухают подкованные «морозками» его собственные сапоги. Увидел, как вытянулся и козырнул дежурный писарь, как услужливо подал коня и придержал стремя вихрастый коневод с чёрной в медных кольцах шашкой на боку, как легко вскочил в седло Ковалёв, привычно разобрал поводья; жеребец заржал радостно и довольно, почуяв хозяина в седле, — и вот уж пыль задымилась за ними.

Скоро всадники скрылись вдаль, и пыль улеглась на дороге, а Алёша всё стоял, оглушённый и подавленный, у плетня и глядел, ничего не видя.

Потом медленно побрёл в казарму мимо равнодушного часового у ворот, мимо клуба, по крутой дороге к школе; его кто-то окликнул — он не отозвался.

7

Как-то утром, выбежав умыться (умывальники стояли на дворе у казармы, чудесно было после сна почувствовать свежесть утреннего морозца и студёной воды), Алёша с удивлением заметил, что горы исчезли. Их не было. Мутная, туманная пелена затянула их. Начинался дождь.

Алексей привык по утрам первый взгляд бросать на горы. Каждое утро они были иными, никогда нельзя было предугадать, какими они будут через час. Они меняли и окраску, и форму, и даже плотность. Казалось, они в вечном движении. Тó подступают ближе, к самой казарме, то уходят далеко назад, становятся лёгкими, прозрачными, тёмной тенью на горизонте. Такими он любил их больше всего. Они успокаивали, утешали его. Казалось, они говорили ему: «Ты молод, дали прекрасны, всё впереди».

Его огорчило исчезновение гор; это было похоже на предательство. Спрятались в тумане, за дождём, покинули его одного с его неудачами.

Началась полоса дождей, мокрая, нудная канитель. Дороги расклеились; густая, липкая, тягучая грязь захлёстывала сапоги. Тяжело было вытаскивать ноги.

Ещё тяжелее было мыть сапоги. Казарма стояла у обрыва; внизу, в овраге, шумел горный ручей. Ночью он покрывался тонкой плёнкой льда. Сюда бойцы бегали вечером мыть сапоги, чтобы к утренней поверке сапоги были, как стёклышко. Бегал сюда и Алёша. В темноте трудно было карабкаться по скользкой, расплзающейся глине — казалось, земля убежала из-под ног. Пока добирался до казармы, на сапоги снова налипали комья вязкой глины. Потом Алексей приспособил для мытья сапог лужу у колодца.

Он стал шепетильно аккуратен в отношении одежды. Его сапоги всегда были чисты, пуговицы пришиты и застёгнуты; гимнастёрка заправлена. Совет Ковалёва пригодился. Алексей с ненавистью вспоминал о нём. Злобно усмеялся: «Я не дам тебе торжествовать надо мной, сволочь. Гляди-ка, я собран, подтянут, бодр». Ненависть к Ковалёву двигала его, она затаилась где-то далеко в глубине: никому ни слова не сказал он о своей встрече с помначштаба. Ждал. Терпеливо, выносливо.

Он знал: сейчас он ещё не может победить Ковалёва. Враг притаился хитро, стал скользким, ухватиться было не за что. Надо ждать, стиснув зубы.

Но ненависть сжигала его. Он похудел, стал молчаливым, неразговорчивым. Теплушка растворилась в полку, в одном отделении с Алёшей оказались только Ляшенко, Рунич да Дымшиц, остальные парни были незнакомы. Желание Алёши сбылось — койка Ляшенко оказалась рядом, но теперь это не радовало его. С Ляшенко разговаривал редко, да и сам кочегар был молчалив. Покровительственное отношение к Дымшицу осталось, но Дымшиц теперь мало нуждался в нём — его опекал отделённый командир, Гушин, чудесный парень с застенчивыми голубыми глазами. У Алёши с ним установились сухие, официальные отношения. Отделком смущённо отдавал приказания (он знал, что Алёша был «из грамотных», а к таким Гушин питал почтительную слабость), Алёша молча подчинялся. Большею близости избегал. Ненависть заслоняла всё; даже воздух, которым он дышал, казался ему отравленным — этим же воздухом дышал и Ковалёв! По этим дорожкам он скакал на своём жеребце, обдавая всех грязью! В эту казарму он входил, как хозяин, небрежно ждал, похлопывая плёткой по голенищам, пока отрапортует дежурный.

Пришлось и Алёше рапортовать ему. Побагровев и весь сжавшись, он чётко отдал рапорт, глядя прямо в немигающие глаза помначштаба. Ковалёв, усмехнувшись, кивнул: «Вольно!», и подошёл к пирамиде, начал читать наклейки над гнёздами. Играючи, взял винтовку, поглядел на свет, потом вторую; третью... Быстро ставил на место. Но одну винтовку он долго и внимательно осматривал. Алексей злобно усмехнулся: он знал — это его винтовку выбрал Ковалёв. Нарочно. «Что ж, погляди! Погляди!».

К винтовке Алексей относился нежно и преданно. Это чувство родилось в нём внезапно. В день вручения оружия рота выстроилась на плацу у полковой школы. Составленные в козла, новенькие винтовки, ещё густо смазанные ружейным маслом, лоснились и казались жирными. Алёша нервничал — ему поручили принять первую винтовку и произнести при этом речь.

Командир роты Зубакин взял винтовку из пирамиды и высоко поднял над головой.

— Молодые бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии! — торжественно произнёс он. — Вам вручается священное революционное оружие. Великая честь оказывается вам.

«Через левое плечо, через левое плечо, — твердил про себя Алёша, — подойти, взять винтовку, повернуться через левое плечо, начать говорить...» — Его выкликнули, он пошёл, повторяя про себя: «Через левое плечо... через левое плечо...»

Но, когда он подошёл к комроты и тот протянул ему новенькую золотистую винтовку, он всё забыл — и речь, и ритуал, и товарищей, застывших в строю за его спиной. Вот в его руках оружие, с которым дрались, умирали и побеждали отцы. Дрожащими руками он прижал винтовку к себе и тихо, взволнованно произнёс:

— Я клянусь, товарищи, что это оружие выпущу из рук только вместе с жизнью. — Он вдруг вспомнил Ковалёва и прибавил: — Клянусь быть беспощадным к врагам нашей Родины и верным сыном и бойцом Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Один за другим подходили бойцы, получали оружие Ляшенко, Рунич, Сташевский...

Командир роты подошёл к Гайдашу.

— Хорошо сказали, товарищ Гайдаш. А ну-ка, похвастайтесь ружьишком. — Он взял у Алёши винтовку, привычным жестом снайпера вскинул к плечу, защёлкнул затвором, заглянул в канал ствола. Отличный стрелок и любитель оружия, он не мог себе отказать в этом удовольствии.

— Хорошее оружие получили, товарищ Гайдаш, — сказал он, с сожалением отдавая Алёше винтовку. — Канал ствола — что стёклышко.

— Я не испорчу его, — глухо пробормотал Алексей и понял, что дал новую клятву. Теперь комроты будет частенько наведываться к пирамиде, глядеть его винтовку и не простит ни грязцы на затворе, ни плохой стрельбы. «Ну что ж, — думал Алёша, нежно сжимая винтовку, — я не подведу».

(Захотелось, чтобы увидели его ребята из Цекамола, земляки. Рябинин. Вот он стоит в рядах с винтовкой у ноги. А кругом горы. Граница.)

В казарме ребята показывали друг другу оружие.

— Мне блондинка досталась, как моя Верочка, — сказал, лаская рукой золотистое ложе, Рунич. — Ах ты, Верка моя!

— А мне рыжая. Изменница, знать, будет, — мрачно блеснул глазами Сташевский. — Каткой назову её, что ли... — Он зло оскалился.

«А мою Любашей назвать?» — подумал Алёша. Да что Любаша! Он не любил её, да и она скоро о нём забудет. Один. Один в целом свете

без любви и дружбы. И ещё большая нежность вспыхнула в нём к винтовке. Ласково погладил полированное дерево, мягкос, как кожа. Эта не обманет!

Каждую свободную минутку он стал теперь уделять винтовке. Когда она стояла в пирамиде, он был неспокоен за неё. То и дело подходил, стирал тряпочкой пыль со ствола, заглядывал во все щёлки. Он обзавёлся целым набором специально обструганных палочек: особая палочка для патронника, особая — для магазинной коробки, особая — для боевой личинки.

Он дольше всех оставался в комнате для чистки оружия. Без гимнастёрки, засучив рукава сорочки, он возился у разложенных на чистых тряпочках деталей, со вкусом разбирал и собирал затвор, покушаясь на полную разборку винтовки.

Комната, отведённая под чистку оружия, скоро стала своеобразным клубом. Здесь всегда было весело и шумно. Уперев винтовку о стену и загоняя в ствол тугую протирку, ребята пели, рассказывали анекдоты, болтали.

Одни и те же остроты произносились при этом — они, очевидно, носились в самом воздухе этой комнаты, пропитанной ружейным маслом, и десятки поколений стрелков острили так же.

Приступая к чистке, каждый произносил, озорно улыбаясь, фразу из наставления:

— Берём паклю в левую руку, освобождаем её от кострики.

Незнакомое многим слово «кострика» звучало особенно вкусно.

О неудачливом стрелке говорили, что он выбил «кучный ноль», и ядовито поздравляли его. Пуля, не попавшая даже в щит, по общему мнению, «отправлялась за молоком». О стрелке тогда говорили, что он «стрелял в белый свет, как в копеечку». Искали, где на винтовке знаменитый «мулек», а на вопрос: «Сколько весит мулек?», всегда отвечали: «Два наряда». О бойце, который сдал на марше, сообщалось, что он нынче «сыграл в ящик». Так и говорилось меж собой: «Сегодня сыграли в ящик трое».

Рассказывались старинные анекдоты — об отделкоме, сердито крикнувшим недотёпе-студенту: «Здесь вам не университет, здесь головой работать надо!»; о старшине, поучающем бойца: «Прячь голову за блиндаж. Убьёт! Тебе-то ничего, а мне от начальства замечание!»

Как переходили из пополнения в пополнение эти старые армейские словечки? Иногда их, как полковую традицию, бережно передавали долгосрочники вместе с рассказами о лихих командирах, отважных красноармейцах, толстых, сонных полковых поварах, писарях, выдававших себя в городе за боевых командиров. Но в большинстве случаев эти словечки возрождались произвольно, из самого воздуха казармы. Казалось, они так и жили здесь всегда, вечно, питаемые запахами сырых стен зданий 44-го Тенгинского полка, уживаясь рядом с новенькими, чистенькими койками, тумбочками, цветами на подоконниках, портретами революционных вождей в ленинском уголке и боевыми традициями Красной Армии.

С нетерпением ожидал Алёша дня первой стрельбы. Ему случалось и раньше, дома, стрелять из винтовки, хотя больше любил палить из маузера — по тонким стволам берёзок, по зайцам, вспугнутым автомобилем, по вороньей стае.

В тире он не стрелял никогда, даже не заходил туда. Причина смешная, он отдавал себе отчёт в ней: не был уверен в себе как стрелке и боялся осрамиться перед товарищами. Как много вреда принесло ему

это трусливое чувство ложного стыда! Из-за него он многому не научился в жизни.

Но, как всегда, он был уверен, что, если рискнуть, окажется, что он отличный стрелок. Он всё уже отчётливо видел, всё, как это произойдёт: ляжет, прицелится, и вот — все пять выстрелов в яблочке. Он даже ясно видел мишень, чёрное яблочко и круглые пустые дырочки в ней. Это было так реально и так просто, что иначе и быть не могло. Он окажется лучшим стрелком роты и тогда будет забыто всё — и его неудачное выступление с гранатами, и плохо заправленная койка, и вся его нескладная жизнь до армии.

Пока молодых красноармейцев обучали умению обращаться с винтовкой, заряжать её, изготавливаться к стрельбе, подтягивать ремень, прицеливаться. И Алексей вместе со всеми топтался на малом стрельбище. Закладывал холостые патроны в магазинные коробки, прицеливался со станка, падал на расстеленную на земле рогожку, а то и прямо в грязь и, падая, больше всего боялся уронить в грязь винтовку, бережно прижимал её к себе. Он терпеливо слушал всё, что говорили ему командиры, сотни раз вхолостую щёлкал затвором, целился в горы, в небо, в кипарисы, в мишени, приколоченные к блиндажам. «Зачем это? Зачем это?» — тоскливо думал он про себя. Но молчал. И ждал...

На зарядку винтовки и изготовку к стрельбе лёжа полагалось сначала семь, потом шесть секунд. Ляшенко первый показал пять секунд — ловкость, неожиданная для такого неповоротливого парня. Этот рекорд держался целый день. К концу дня ещё несколько бойцов показали пять секунд, но дальше не двинулись. На следующий день Алёша неожиданно для самого себя показал четыре с половиной секунды. Это сделало его героем. Сам комроты пришёл смотреть его. Алёша был горд. Зубакин подал ему команду: «По мишени лёжа заряжай!» — последнее слово произносилось быстро, получалось «заржай». Алёша сделал полуоборот, рванул подсумок, но в спешке рассыпал патроны и растерялся. Ему приказали начать сначала. Он был смущён и чувствовал себя неловким. Комроты разочарованно отвернулся. Алёша снова показал четыре с половиной секунды. На следующий день Рунич догнал его, теперь соревновались они двое. Речь шла о полсекунде.

Но эта проклятая половинка секунды никак не давалась Алёше. Она ускользала где-то в неосторожном движении, просачивалась сквозь неловкие пальцы, как вода. Алёша испытывал иногда потребность крикнуть в досаде: «Остановись, мгновение! Я не успел ещё дослать патрона в патронник!»

А мгновение действительно было прекрасно. В хрупкой тишине ноябрьского утра торопливо звякали затворы. И, падая на расстеленную в окопе рогожку, Алексей бессознательно отмечал красоту застывшего неба, прозрачную стеклянность воздуха, ранний бледный снег на вершине горы, силуэт минарета в далёком горном селении. Но об этом некогда было думать — надо действовать, надо физически уплотнить, наполнить секунду движениями, всю до дна. Надо материализовать её, заставить работать.

С почтением стал он относиться к минуте — минута, да ведь это же целая вечность! В минуту можно сделать семь точных убийственных выстрелов, за минуту можно одеться и вооружиться по боевой тревоге. Большие дела можно сделать в минуту! С грустью вспоминал он о бездельно потраченных часах в своей прошлой нескладной жизни. Как много он мог бы сделать тогда! Мог по крайней мере научиться обращаться с винтовкой. Теперь бы это пригодилось.

За его борьбой с полсекундой следила вся рота. Он обдумывал, как лучше повесить на ремень подсумок, чтобы был под рукой, как эконо-

мить движения, может быть можно сочетать уставной полуоборот с открыванием затвора, а падение — с вытаскиванием патронов? Его уж догоняли Шашевский, Горленко, ни на шаг не отставал Рунич (как и во время бега он слышал их дыхание за спиной). Даже Дымшиц, исправно выполняющий всё, что требовала от него служба, стал показывать пять с половиной секунд. Ляшенко дал пять — и застыл в них, равнодушный и молчаливый. Пять секунд — отличное время, а жажда славы была чужда и непонятна ему.

Эта жажда сжигала Алёшу и Рунича. Они и были главными соперниками. Но проклятая половинка секунды не давалась. И Алёша, отчаявшись, охладевал к борьбе. Теперь были дни, когда он и в шесть секунд не укладывался. Удивлённо и почему-то обиженно глядел на него отделком Гушин, словно спрашивал: «Зачем ты подводишь меня?» Алёша пожимал плечами и, досадуя на себя, начинал войну с секундами.

Вся его жизнь теперь была точно размерена и отсчитана — в ней не было пустот. Она стучала в лад с часами — большими, старинными, хриплого гулкового боя. Они висели над столиком дневального, а под ним на гвозде болтался сигнальный горн.

Ровно в шесть часов утра, когда за окном ещё поёживались продрогшие тёмные тени осенней ночи, дежурный по роте неторопливо, осторожным шаркающим шагом подходил к выключателю. Он медлил. Спокойным, ясным сном спали на своих койках бойцы. Им снились сладкие, предутренние сны: дежурный видел, как блуждали на полуоткрытых губах счастливые улыбки. Они плыли сейчас в далёких океанах сна, отрешённые от земли. Чудесные миры грезилась им. Тихое сопение, храп, сонное бормотание, причмокивание, лёгкий свист стояли над койками. От постелей исходило застоявшееся тепло, жаркое дыхание разморённого сна.

Но вот дежурный положит руку на выключатель, вспыхнут лампы — и все вскочат, задвигаются, побегут. Взлетят над койками одеяла, как серые ночные птицы, и упадут на смятые простыни. Застучат сапоги по дощатому полу. Загремят умывальники, засвистят щётки, где-то лязгнет оружие; сонный мир казармы преобразится — в нём молодо и задорно зазвенят голоса, шутки, смех. А через пять минут длинная ровная шеренга бойцов застынет в коридоре, готовая к утренней поверке, к боевому дню. И только запоздавшие, которых презрительно называют «тюхами», будут, к великому огорчению своих отделённых командиров, смущённо пробираться между койками под суровым, непроницаемым взглядом старшины роты.

Алёша привык вставать рано. Иногда он просыпался даже раньше пробудки. Он лежал тогда под одеялом и нетерпеливо прислушивался к сонному дыханию казармы. Вставать раньше не разрешалось. Даже если за пять минут до пробудки пойдёшь за нуждой в уборную, всё равно нужно потом раздеться, лечь в постель и ждать сигнала.

— Зачем это? Зачем это нужно? — не понимал Алёша. Ему казалось это простым солдафонством. Он спрашивал своего отделкома Гушина, но тот на это, как и на многое другое, непонятное Алёше, отвечал ещё непонятнее и беспомощнее:

— Так положено по уставу.

Это объяснение злило Алёшу. Само слово «устав» было всегда недружелюбно ему, чем-то церковным, монастырским пахло от него. Алексей предвидел, что ему ещё предстоит повоевать с уставами.

Но он покорно лежал до сигнала в постели и ждал. Сейчас подойдёт дежурный по роте к выключателю, зажжёт свет и, упершись руками в бока, изо всей силы, надувшись и покраснев, заорёт:

— Подымайсь!

Этот крик всегда вызывал в Алёше бешенство. Хотелось вскочить и запустить сапогом в широко открытую глотку. Дежурный находил особое удовольствие в том, чтобы заорать внезапно, оглушительно и изо всей силы.

Потом самому Алёше довелось быть дежурным, всю ночь он мучительно боролся с охватывавшим его сном, выходил на улицу, промывал смыкавшиеся глаза водой, тоскливо смотрел, как медленно-медленно ползёт, царапается по циферблату часовая стрелка. И когда наконец подошли желанные шесть часов, он, сам не осознавая и не желая, оглушительно заорал:

— Подымайсь!

Хотелось, чтобы скорее встрепенулся этот сонный мир и начисто кончилась томительная, пустынная ночь.

К этому крику привыкли. Днём бойцы обсуждали, хорошо ли, звонко ли кричал сегодня дежурный, словно то был сольный номер тенора. Рассказывали анекдот о Руниче. Он был рабочим на кухне и уснул. Его толкали, трясли за плечи — он всё не просыпался. Тогда кто-то тихо произнёс над его ухом: «Подымайсь!» — и он вскочил как встрёпанный. Его первым жестом было — руки влево, туда, где обычно лежала одежда. Потом он отдёрнул руки, увидел, что одет, и, услышав хохот ребят, сам бледно усмехнулся.

Сигналом утренней побудки сразу начинался горячий день, словно поворачивая выключатель, дежурный включал ток в сонные тела бойцов, и их подбрасывало, двигало этим током. В мире сна не было ни времени, ни пространства. Сейчас после побудки секунды сразу вступали в свои права.

За пять минут надо было одеться, умыться, вычистить сапоги и запроважить койку.

Затем начиналась утренняя зарядка.

Она носила ярко выраженный горный характер. Из степных парней, из людей плоского равнинного мышления делали горных орлов. Их учили ходить в горах, драться в горах, бегать по горам и думать по-горному. Командир роты был изобретателем: то придумывал он «спуски и подъёмы», и бойцы сбегали с крутых скатов по хрусткому, тонкому льду, переправлялись через горную речку, карабкались, хватаясь за колючие кустарники, на высокий берег, чтобы, отдышавшись там, снова сбегать вниз к речушке и снова карабкаться вверх; то затевал бег по пересечённой местности, и сам весело встречал прибежавших к казарме первым. Каждому бойцу выдавали номерок, который показывал, каким пришёл он к финишу. И бойцы, получившие первые номерки, гордо хранили их, а остальные выкладывали все силы, чтобы свой двадцать шестой номерок сменить хотя бы на пятнадцатый. Иногда для отдыха — обычно в выходной день — вместо горной зарядки затевалась игра в чехарду, это было легко и весело, и только Дымшиц застревал на спине первого же бойца и предпочитал лучше подставлять свою спину, чем карабкаться на крутые, высокие спины товарищей.

Но чаще всего бойцов по утреннему холодку вели к Сахарной Головке, что нависала почти над самой казармой. Эта высотка действительно похожа была на круглую, удлинённую сверху голову сахара, синие тучи плотно облегли её, как обёрточная бумага, и только на самой вершине искристым рафинадом блестел снег. Такой она была днём, но ранним утром тонула она в сырой, дрожащей мгле. Вершины не было видно, и оттого казалось, что, сколько бы ни карабкаться вверх, не будет конца подъёму. Поёживаясь от холода, бойцы подступали к высоте. Они сбивались вместе у подошвы, чтобы потом по команде рассыпаться по всей горе, преодолевая её упругие, крутые скаты.

Не сладкой была эта Сахарная Головка. Она показалась Алёше при первом подъёме бесконечной. Он сначала шёл, потом упал и к вершине добрался уже ползком, цепляясь отчаянными движениями за кустарник и в кровь исцарапав пальцы. Тяжело дыша, он стоял на вершине и не чувствовал себя ни победителем, ни горным орлом. Хотелось повалиться прямо на снег, растянуться и лежать, лежать, ни о чём не думая.

«Кавказ предо мною, один в вышине...» — эти стихи пришли в голову уже в следующие подъёмы, которые неожиданно для Алёши стали всё более и более лёгкими. «Втягиваюсь,— радостно подумал он и впервые почувствовал благодарность к армии.— По крайней мере у меня будут крепкие ноги и тренированное дыхание. Это всегда пригодится».

Внизу тусклыми огнями мигал город, на реке с шумом лопался ранний лёд, в голых садах гулял ветер. Мир тонул в серой предрассветной мгле.

С новым, незнакомым ещё волнением взглядывался Алексей в туманный мир, раскинувшийся под его ногами. Как ни тяжелы были подъёмы, он готов был снова и снова карабкаться вверх, чтобы, взобравшись, стоять вот так, опершись рукой о корявую сосну, и гордо глядеть вниз, чувствуя себя сильным, смелым, властным парнем, который всего достигнет, всего, чего хочет.

«По крайней мере, — насмешливо думал он, — это лучше, чем щёлкать вхолостую затвором и долбить устав внутренней службы».

С горы бежать было легко и весело. Внизу призывно мигали далёкие огни казармы. Скользили лыжи по снегу. Расшалившиеся ребята бежали, падали и смеялись рядом. Даже Дымшиц, весело отдуваясь и испуганно хватаясь за кустарник, чтобы затормозиться, легко нёс своё рыхлое тело вниз, к теплу казармы.

Бедный Дымшиц, ему не сладко приходилось в горах! Когда в первый раз брала рота Сахарную Головку, он в изнеможении упал в самом начале подъёма. Алексей споткнулся об него и выругался. Дымшиц застонал.

— Ползи назад! — закричал ему с досадой Алёша. — Не путайся под ногами, и без тебя тошно... — и полез вверх.

К Дымшицу подбежал отделком Гушин. Он молча постоял возле своего незадачливого бойца, покачал головой, затем решительно нагнулся и поднял его.

— Берись за шею! — прохрипел он. Ничего не понявший, Дымшиц поспешно ухватился за крепкую, жилистую шею отделкома, и тот, согнувшись под тяжестью ноши, медленно побежал в гору. Отделение должно было в полном составе взять вершину! Только там отделком бережно свалил с себя красноармейца.

В следующий раз Дымшиц карабкался уже сам. Он добрался до вершины позже всех, но всё-таки добрался. И долго потом лежал под сосной, думая невесёлые думы.

Он быстро терял в весе на глазах всего отделения. Из него получался довольно стройный курсантик, как насмешливо говорил Алёша. Он определённо делал успехи, научился даже ходить в ногу, чем осчастливил отделкома. Гушин не сдержал восторга и сказал при всех:

— Вы, Дымшиц, молодец-парень.

Дымшиц расцвёл, смущённо улыбнулся.

— Я стараюсь, — пробормотал он и нежно взглянул на отделкома.

Отделком нянчился с ним, как с ребёнком. Дымшиц стыдливо принимал эту помощь и только сконфуженно бормотал:

— Я сам, я сам...

Но сам он ничего не умел делать. В отчаянии он горбился у печки, тоскливо смотрел в огонь и думал: «Из меня ничего не выйдет! Я ни на

что не годен. Это стыдно». Он знал, что в роте сочувственно говорят об отделке:

— Досталось же Гушину сокровище.

Но отделком и виду не подавал, что устал от своих обязанностей Федыки-няньки. Никого он не обругал, никогда не повысил голоса.

Однажды Алексей застал Швейка в ленуголке у нового расписания.

— Изучаете? — спросил он. Потуги Дымшица стать бравым солдатом смешили и даже, он сам не знал почему, злили его.

— Да, — тихо ответил Дымшиц, — трудная пятидневка будет. Первый выход в горы.

Алексей любил, когда на дню было много «словесных» часов: политграмота, изучение уставов. В казарме, у койки, он чувствовал себя отлично. Он показал себя даже замечательным толкователем уставов, и отделком одобрительно слушал его. Но тактические выходы, занятия в физгородке, утренняя зарядка приводили его в уныние. Опять он будет тянуться в хвосте роты, отставать, задыхаясь и чуть не падая, волочить ноги.

А комроты всё круче и круче составлял расписания. Повышались требования. Усложнялись задачи. Ожидались первые стрельбы из боевых винтовок. Уже был назначен первый тактический выход — «марш в горах», и в роту вдруг явился санитарный инструктор, молодой, франтоватый, собрал всех бойцов, разулся и приказал разуться всем.

— Смотрите. Портянку надо навёртывать так. — Он показывал лихо, щегольски. Бойцы с любопытством смотрели, как вертится портянка. Некоторые смеялись. Инструктор обижался.

— Смеяться нечего. Вы в горном полку служите, обязаны горными орлами стать. Но у орлов — крылья, а у вас — ноги. То-то!

Дымшиц потом долго сидел у своей койки, тренировался в искусстве навёртывать портянку. Она, как железная, не гнулась, не поддавалась ему. Он вспотел. Лицо его было красно и сосредоточенно. Алексей посмеивался.

Эта усмешка теперь не покидала его. Он всё стал делать посмеиваясь, презрительно щуря глаза. Тонкая усмешечка стала его бронёй, об неё разбивался и строгий взгляд старшины и нетерпеливый окрик комроты. Отделком Гушин не выдержал как-то и сказал ему в сердцах:

— Вы что всё смеётесь, Гайдаш? Смешного тут мало.

— А что ж мне, плакать? — пожал он плечами.

Свои строевые неудачи он стал прикрывать этой усмешкой. «Вот, — казалось, говорила она, — меня нисколько не трогает эта смешная игра в сфидатики».

Он подсмеивался над усердным Дымшицем, над товарищами, над отделком. Гушина он стал донимать бесконечными «почему?».

На всё это отделком отвечал:

— Так положено по уставу, — и это доставляло Алёше огромное удовольствие. Он снова и снова приставал к Гушину, и тот стал бояться разговоров и встреч с ним и озирался, как затравленный олень.

Однажды Алёша пристал к нему:

— Почему при разборе затворов положено держать именно большой палец левой руки на пуговке. Почему не правой руки, почему не указательный палец?

Гушин вдруг прищурился и ответил:

— А вы попробуйте-ка правой...

— Ну? И что же? — растерялся Алексей.

— Нет, вы попробуйте!

Они взяли винтовку и пошли в комнату для чистки оружия. Алёша — немного смущённый и раздосадованный, Гушин — хитро улыбающийся.

Алёша начал разбирать затвор наперекор уставу. Вдруг он убедился, что у него ничего не выходит. Рассыпаются части, неудобно работать руками. Он делал всё снова, и снова ничего не получалось. Гуцин тихо посмеивался. Теперь пришёл его черёд торжествовать. «Вот почему положение по уставу так, а не иначе».

Он ушёл, а Алексей долго ещё возился с затвором. Он готов был смущённо признаться, что в мёртвой букве устава собран огромный опыт военных людей, практиков, знающих всё до тонкостей. Но признаться в этом он не хотел. Тогда к чему же его усмешечка? Всякий раз, как он был не прав, это только злило его, но никогда ещё не заставляло смириться.

Гуцин ходил с победоносным видом. Он достал себе целую кипу военной литературы, он начал думать над вещами, которые принимал раньше как должное.

А почему, в самом деле, положена дистанция между взводами на марше?

В этом должен быть какой-то смысл. Он старался сам доискаться его. Упрямый, медленно думающий крестьянский парень, он до всего захотел идти сам. Он рассуждал:

«Если взводы растянутся больше положенной дистанции, значит растянется рота, задержит весь полк. Полк задержит дивизию. Всё растянется на много километров, как гармошка. Движение станет медленным. А промедление в бою — смерть».

Теперь он сам искал споров с Алёшей. Он крыл его простой житейской мудростью, мужицкой смекалкой. Уставы, всегда авторитетные для него, теперь, когда он доискался до их мудрого смысла, стали священными.

— Ну-ка, товарищ Гайдаш! — говорил отделком, хитро подмаргивая бойцам. — Нет ли у вас вопросика? Всё допонимаете?

Алексей принимал бой, но реже, чем раньше, выходил из него непомятым.

Его отношения с товарищами безнадёжно испортились. Он сам не знал, как это произошло, но это произошло — он отдавал себе ясный отчёт в этом, только презрительно пожимал плечами. Несомненно, он был выше их, выше их всех, по крайней мере сам он в этом не сомневался. Что из того, что Ляшенко физически сильнее его, что Стрепетов знал и читал больше, чем он, что Рунич был любим всеми? Он посмеивался над ними.

Он был рождён для великих дел — для каких, он сам ещё не знал. Он чуял в себе, в своих руках, в крутолобой башке, в горячем сердце силы необыкновенные, способные перевернуть мир, свершить подвиги, чудеса, но эта сила только сжигала его самого и ничего не свершала. Он даже гранату не мог бросить дальше тридцати метров.

Тогда наступили сомнения. Да верно ли так силён он? Точно ли умён, талантлив, смел? Всё, что он сделал до сего дня, было сделано плохо. В сущности он вообще ещё ничего не свершил. И даже не знает, что сделает, кем станет, как прославится.

Он прикрывал усмешечкой свой душевный разлад, сумятицу, происшедшую в нём и бросавшую его то в холод, то в жар; то взлетал он высоко, то падал на землю, лицом в грязь. Всё это скрывалось за усмешечкой, деланной, непостоянной, несвойственной чистосердечному Алёше, но за нею было удобно влачить свою смятенную жизнь.

Удивлённо следил за ним командир роты. Ещё в первые дни службы Алёши Зубакин заметил его. Честолюбивое стремление Алёши победить в беге понравилось старшему командиру. Он захотел узнать, что за парень Гайдаш.

Как-то он остановил его, это было ещё в карантине.

— Вы что делали до армии, товарищ Гайдаш? — любопытствовал он.

— Я? Я был секретарём губкома и затем окружкома комсомола и членом Цекамола.— Гайдаш выпалил всё это, не подумав, и сам сморщился: «К чему это смешное титулование, словно хвастаюсь. Разумеется, хвастаюсь».

Комроты просиял.

— А! Очень приятно, — сказал он, как показалось Алёше, почтительно.— Нам очень лестно, всему гарнизону, что у нас будет служить такой товарищ (Алёше было неловко и стыдно слушать его). Мы на вас большие надежды возлагаем.

Он окинул его ласковым взглядом и вдруг нахмурился:

— А сапоги надо помыть. Помыть немедленно, товарищ Гайдаш!

— Есть помыть сапоги! — смущённо пробормотал Алёша и вдруг расхохотался.

Его всё время окружали люди — в строю, в столовой, в клубе; целый день он ощущал плечо товарища рядом со своим плечом, его ноги шагали в один лад с ногами товарища, он по привычке заботливо следил за этим; ночью вокруг него вкусно храпели товарищи, — и всё-таки он был одинок, страшно одинок, один, без любви и дружбы.

Он сам был виноват в этом и никого не винил. Он стал сварлив, неговорчив, насмешлив. Его побаивались. В роте говорили о нём — он сам слышал:

— Гордый гусак. Да ну его к чёрту! Лучше не связываться с ним.

Родившееся было в теплушке чувство дружбы Алёши с ребятами пропало. По старой привычке он всё хотел командовать ими — они недоуменно смотрели на него. Что это он вздумал? Потом стали сторониться.

Его никто теперь не спрашивал, как раньше:

— Товарищ Гайдаш, объясни ты мне, вот я эту статью в газете не понял... — Снисходительная усмешка отпугивала их; они стали обращаться к Стрепетову, к Горленко, к Руничу. К Гайдашу относились вежливо, предупредительно, но холодно.

Между собой они шутили, дружески хлопали друг друга по плечам, принимались бороться, валяться на траве, баловаться, над ним никто не шутил, его сторонились. Он лежал во время перекурок между занятиями один, в стороне, мрачно дымил, смотрел в небо. Одинокие, как он, облака плыли над стрельбищем.

Однажды он услышал, как Ляшенко, долго шаривший в карманах, произнёс:

— А табак-то я в роте забыл. Что, нет ни у кого табачку, ребята?

Алёша молча протянул ему папиросы. Ляшенко смутился.

— Да нет, ничего, не надо... Да вот уж и перекурке конец.

Он так и не взял папиросы. Этот пустяшный эпизод Алёша переживал долго и горько, один.

Ребята сторонились его, при его появлении смущённо стихали шутки, все настораживались. Алёша замечал, как невольно все сбивались вместе, словно для обороны, чтобы коллективно дать отпор ему, его язвительной усмешке, его пренебрежительным, сквозь зубы, замечаниям.

Как хотелось ему тогда броситься к ребятам, сказать:

— Я последний осёл, товарищи. Бейте меня сапогом по морде, но не лишайте дружбы. Я пропаду... — Но он только гордо поджимал губы, шурил презрительно глаза и уходил один в тёмный угол казармы, к своей койке или к печке.

Никогда ещё не был он так одинок. Это проклятое чувство он остро переживал впервые. Кто узнал бы в этом съёжившемся, ошетинившемся

парне бывшего Алёшу, без которого вечеринка была скучной, компания не дружной, коллектив неполным. Что произошло с ним? Иногда он думал об этом, чаще отмахивался.

На ротном комсомольском собрании, когда избирали комсорга, он надеялся, что изберут его. Его — кого же ещё? Кто лучше его знает это дело, эту механику комсомольской работы? Он пришёл на собрание, привычным взглядом окинул ряды. Вспомнились весёлые, тёплые аплодисменты, какими всегда встречалось появление его на собраниях. Они прошумели в ушах, как ласковый ветер. Сел скромно, на последнюю скамейку. Так всегда любил он садиться на собраниях низовых ячеек, пока общий хор ребят не вызывал его оттуда, и тогда он шёл медленно, словно нехотя, длинным проходом среди скамеек, а аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты аккомпанировали его шагам.

Но его не избрали комсоргом. Никто даже не назвал его кандидатуры. Он так и просидел весь вечер на задней скамье, забытый всеми.

Избрали Горленко. И это был отличный выбор. Глядя на его широкое, весёлое, смущённое лицо, было легко угадать, почему так любили его колхозники и ни за что не соглашались «уважить» его просьбу и отпустить от себя на учёбу.

Алексей горько обиделся. Он никому не сказал ни слова, но обиду затаил глубоко.

— Ничего, — шептал он, — ничего. Вот пусть подойдут стрельбы. Пусть начнётся настоящая боевая учёба. Я покажу себя. Пусть вспыхнет какая-нибудь заварушка на границе. Вот тогда мы посмотрим, кто окажется настоящим комсомольцем.

Наконец наступил день первой боевой стрельбы. До этого стреляли из мелкокалиберки, из какой-то винтовки «Гра», которая ухала, как пушка (на ней тренировали стрелков, боявшихся выстрела. После грома «Гра» выстрел из трёхлинейки казался игрушечным).

На стрельбище Алёша, к своему удивлению, почувствовал, что он необычайно спокоен. Он так долго ждал этого дня и так был уверен в его исходе, что теперь и тени волнения не было у него. Всё свершится просто и чудесно: он ляжет, прицелится, и все пять пуль — в яблочке.

Спокойно он лёг на линию огня, поправил ремень винтовки, расставил ноги, перевёл дух. Взглянул на мишень.

Всё в мире исчезло для него: теперь существовала только одна эта мишень — вражеский стрелок в каске. Его надо сразить во что бы то ни стало. Все пули — в сердце.

Между стрелком и мишенью протянулась незримая линия. По этой линии полетят пули. Как сойдутся они именно в том месте, куда хочет послать их Алёша? Это было бы чудом! Но он верил в чудо! Всё будет просто: он прицелится, и все пять пуль — в яблочке.

Лежать было неудобно. Расстегнул поясной ремень. Снова взглянул на мишень. Голова в каске дразнилась. Алёше казалось — это Ковалёв. Это его усмешка, это его каска, вражья, чужая, ненавистная.

Он припал горячей щекой к винтовке. Всю ненависть, всю злость, всю душу вложил он в выстрел. Сердце колотилось прерывисто. Затаил дыхание. Н-на! Получай! Рванул спусковой крючок. Перезарядил. Ещё рванул. Вокруг гремели выстрелы. Пела сигнальная труба. Трепетал красный флажок: «Огонь! Огонь!»

Алёше показалось, что он на фронте. Свистят пули. Наступает противник. Вражья каска. Ковалёв...

Патроны кончились. Счастливый, улыбающийся поднимался Алёша. В нём ещё полыхало радостное возбуждение стрельбы. Собрал горячие гильзы. Терпеливо ждал, когда кончит стрелять вся смена. К чему волноваться? Все пули — в сердце. Ковалёв сражён. Насмерть.

— К мишеням, шагом марш! — звонко закричал командир взвода Угарный.

Стрелки нетерпеливо рванулись с места. Побежали, спотыкаясь о кочки. На всех лицах — волнение, беспокойство, надежда. Только Алёша спокоен. Он отлично стрелял! С яростью, со злостью — давно уж ничего не делал он с таким огромным расходом чувств.

Подошёл к своей мишени. Нагнулся. Пули должны быть здесь, в центре, где цифра «10».

Но пуль не было. Алексей не поверил. Присел на корточки. Начал шарить пальцем, искать дырочки.

Их не было. Не было ни в десятке, ни в девятке, ни вообще на мишенях. Только в левом углу о самый край щита, словно издеваясь над стрелком, косо зацепилась одинокая круглая дырочка. Он ещё не верил в катастрофу. Этого не может быть! К той ли мишени он подошёл? Да что же это такое?!

— Ну, как успехи, товарищ Гайдаш?

Он вздрогнул. Над ним наклонялись командир роты и командир взвода.

Он смущённо развёл руками.

Угарный окинул его беглым взглядом.

— Да. Неважно... — пробурчал он.

— Ничего, ничего! — весело сказал Гайдашу комроты. — Ещё подучитесь. Целый год впереди.

«Что он утешает меня, как маленького?» — озлился Гайдаш. Зачем нянчиться с ним? Он не ребёнок. Что-то произошло с винтовкой. Не может быть, чтобы он не попал. Этого просто не может быть.

— Позвольте мне, — обратился он к комроты, и голос его задрожал. — Позвольте ещё раз стрелять... Я сам не пойму... Я уверен, это ошибка...

Зубякин посмотрел на него и засмеялся.

— Разобрало? Отличным стрелком будете. Хорошо, ещё три патрона.

Зубякин каждому предсказывал, что он станет отличным стрелком. Он делал это искренне: почему бы и не стать каждому отличным стрелком? Это дело казалось ему таким простым и естественным.

Он сам лёг рядом с Гайдашем и наблюдал за его стрельбой. Алексей собрал все силы, всю волю, всю злость — всё это он вкладывал в выстрел. «Я покажу ещё, — думал он лихорадочно. — Я покажу». Он долго целился, вспоминая все советы командиров, распластывался весь, затаив дыхание, и резко, мужественно, сильно (он отмечал всё это про себя) нажимал на спуск. Теперь все пули — в яблочке. Впрочем, на этот раз приходилось убеждать себя в этом. Нетерпеливо поднялся.

Зубякин покачал головой.

— Не к чему итти смотреть мишень. Вы дёргаете крючок. Слишком дёргаете. Пули уходят в небо. Всё небо, товарищ Гайдаш, продырявили. Надо нажимать на спусковой крючок плавно, так, чтобы выстрел получался сам собой. Но ничего, — добавил он, взглянув в потемневшее лицо Алёши, — ничего. Потренируетесь... Победите в себе «дергуна» — станете отличным стрелком.

Алексей тихо побрёл в тыл, туда, где около Гушина толпились отстрелявшие бойцы. Весёлый смех и шумные разговоры стояли тут.

— Подвела Верка, подлюга! — весело жаловался Рунич и бил ладонью по ложу винтовки, словно она была виновата в том, что он плохо стрелял.

Шашевский, который стрелял (и отлично!) из винтовки Рунича, поддразнивал его:

— Твоя Верка сегодня тебе со мной изменила. Девки, они такие. Им чужой мужик слаще.

Алексей молча дождался очереди, взял протирку, смазал канал ствола щелочным маслом; Гуцин вопросительно посмотрел на него: «Ну, как?» Он махнул в ответ рукой и побрёл прочь.

Он лёг на землю и винтовку положил рядом. Вокруг ещё трещали выстрелы, они казались нелепыми на мирном задумчивом фоне гор.

Сегодня горы зеленовато-серые, заметил Алёша. Он старался совсем забыть о стрельбе. И город внизу зеленовато-серый. И армянский собор, возвышающийся на холме над городом, тоже сегодня зеленовато-серый. Он сложен из неотёсанного камня, камень брали тут же, в горах. Алёше показалось, что это и не собор вовсе, а просто скала, сорвавшаяся во время обвала и застрявшая на холме. Унылая архитектура собора, узкие окна и башенки сливались с зеленовато-серыми горами, скалами и расщелинами в них. Скучный собор! Скучны сегодня и горы! Алёша перевёл глаза на кладбище, оно рядом. Оно без оград, без зелени. Мертвецы не нуждаются в роскоши, усмехнулся Алёша. Это правильно. Вразброс лежат голые, плоские камни, тоже зеленовато-серые и скучные сегодня. Когда-то Мотя боялся умереть здесь — скучно будет лежать на таком кладбище. Всё равно, подумал Алёша, всё равно, где ни лежать! Он вытягивается на земле. Покой, сонное оцепенение нисходят на него. Уснуть бы! Рядом трещат выстрелы. Кто-то стреляет, нетерпеливо щёлкает затвором, вероятно волнуется, надеется, мечтает попасть в десятку. Смешно!

Он горько смеётся. Как глупо, что он принимает всё это близко к сердцу. Даже твоё отличное сердце, Гайдаш, не выдержит. Береги себя! Беречь. Зачем? Кому ты нужен? Кто ждёт от тебя дел и подвигов, каких?

— Вам надо тренироваться в стрельбе! — сказал комроты.

Какое отвратительное слово «тренировка».

Нет, стрелком уж, видно, ему не быть! Сразу опротивело всё: и винтовка, и стрельбище, и сигнал трубы, который звучал когда-то так боево и воинственно. Кончено! Ещё с одним кончено. Нет, он не станет тренироваться. Не вышло, ну, значит, и не вышло. Ещё одно не вышло. Что остаётся? А всё равно!

Но тренироваться он действительно не будет. Уж он знает себя. Если ему сразу не удаётся дело, он возненавидит его и бросит. Почему? Он не хочет быть смешным. Вот из-за этого он и не научился бегать на коньках. Если б удалось сразу отлично побежать по льду — он бы стал целыми днями бегать. А падать, разбивать нос для смеха зрителей — нет, спасибо! Он не Дымшиц. Из всех идиотов самые смешные — старательные идиоты, те, что расшибают лбы в молитве.

(Окончание следует)



ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

ВЕКОСЛАВ КАЛЕБ

(Югославия)

★

СЛЕЗЫ

1

Солнце прислонилось к гористому тёмному берегу, и вздымался он к небу точно такой, как всегда. Таким знал его старый Преё ещё с детства, когда был этот берег границей его знаний, границей ночи и дня, границей далёкого мира, когда Преё лишь догадывался, что за этой скалистой грядой существуют другие люди, другие страны.

Утомительный день шёл к концу. Во дворе четыре курицы, усевшись под навесом, тихо отряхивались, чистили перед сном свои пёрышки. Вечерние тени окутывали ветви деревьев, лёгкой кисеёй опускались на землю. Как будто вместе с течением реки сверху, из села, доносились приглушённые звуки, а из-за уступов и скал в просветы редких деревьев пробивался багрянец двух новых крыш. Выше, среди голых каменных громад, торчали печальные одинокие кусты можжевельника. Они нависали над грозной стремниной. А пониже дома простирались тёмные полосы добротной земли, желтело жнивье, зеленел маленький виноградник, заботливо окружённый изгородью из камней и тёрна. А ещё ниже темнел окутанный вечерней мглой бор... В свете уходящего дня и поля, и деревья, и горы прихотливо менялись; они оставались неизменными только в одном — были непонятны и трудны для человека, не считались с ним, не хотели знать о нём, держались вызывающе и сурово. •

Придерживая правой рукой локоть левой, в которой была трубка, Преё мерно попыхивал ею, выпуская одно за другим колечки дыма. Он проводил взглядом стайку ворон, пролетающую вдоль реки к лесу, на ночёвку. С высоты, набегая друг на друга, неслись скрипучие голоса чёрных птиц.

Сверху, из села, доносились то дробные, то протяжные звуки гармоники.

Преё глянул на скамейку у ворот, на корытце, наполненное жёлтой кукурузной мукой, на кринку с молоком, озадаченно поморгал — надо было что-то делать, но он снова неподвижно устремил свой взгляд вдаль и стал прислушиваться. В хлеву протяжно мычал Гаронья, а Дорна отвечал ему коротко и резко.

Преё усмехнулся. Перед ним вдруг встало недавнее...

Как сейчас видит он вот здесь, на верхней дороге, извивающуюся тёмную гусеницу — к селу приближался военный отряд. Он испугался вначале: не итальянцы ли? А потом заметил пастушонка, продиравшегося сквозь заросли можжевельника, — тот бегом пустился к дороге, увидел, как по откосам отряд стал стекаться к селу, а навстречу ему и за ним шли крестьяне. Значит, свои. Доносились победные возгласы, и быстроногая ватага ребятишек из верхнего села, возбуждённая неожиданным приходом

партизан, перескакивала через заборы, перебегала через засеянные поля, чтобы поскорее догнать голову колонны. Самые отчаянные мальчишки из нижнего селения, не сводя глаз, замирая от восторга, смущения и страха, всё время пятились назад, перескакивали через низкие ограды, чтобы ни на миг не потерять из виду приближающихся бойцов. Им казалось временами, что вся эта лавина людей обрушится на них, и они стискивали в волнении кулачки. Вспугнутая стая галок взлетела над узкой полоской поля, негодуя и в то же время радуясь, что нарушено однообразие их жизни.

На лужайке, чуть пониже домика Прейо, отряд построился; пятьдесят два бойца стали в шеренгу, а рядом с ними — командир и комиссар, оба из соседнего селения Мраова. Бойцы — в большинстве молодые парни. Но было среди них несколько совсем молоденьких мальчишек, пять пожилых усачей и четыре девчонки. Детишки из верхнего села, осмелев, подняли носы и зачарованно уставились на пулемётчиков.

— А-ха-ха-ха, ахаааа! — закричал вдруг Прейо, словно он гнал стадо.

Парадным шагом отряд прошёл по лужайке, между островерхими скалами. Одни бойцы отбивали шаг умело, твёрдо, другие топали послабее и смущённо прятали глаза, а девушки неуклюже взмахивали руками и вертели задами в своих узких штанах.

— А-ха! — подзадоривал их не без ехидства Прейо. — Ай да герои! Заслужили ужин, заслужили! А может, вы ещё соберёте, пока стемнеет, вон те снопы!

Но на его насмешки никто не обращал внимания. Партизаны наперёд знали всё, что может сказать старик. И ещё знали они, что из шести сыновей Прейо четверо уже погибли в боях за последние пять месяцев. А вот известно ли это Прейо или неизвестно, бойцы не знали.

И когда отряд уже выходил из села, направляясь к пустоши, туда, где высится каменистый кряж, Прейо продолжал выкрикивать:

— Стойте, стойте! Вот покажу я вам чёрта драного! Жаб идёте ловить, а моё жито пусть кот Брако молотит...

Партизаны свернули на верхнюю дорогу и направились к школе. За ними шла толпа — большей частью девушки и дети.

Прейо резко повернулся и пошёл к своему двору. Ковыряя погасшую трубку, он долго ходил из угла в угол, брался то за одно дело, то за другое — то возьмёт вилы, то ярмо, то заглянет к волам — и снова мерил из конца в конец свой дворик...

2

А ещё вспомнилось, как на рассвете того дня Прейо вышел из дому, глянул налево, глянул направо и притаился за толстым стволом миндального дерева. Напрягая зрение и слух, он насторожённо оглядывался по сторонам. Что нового принесла эта ночь и что готовит наступающий день?

Небо затянуло сплошной серой пеленой неподвижных облаков. Деревья дремали в замершем туманном воздухе. Ни одна труба в селе ещё не дымилась. Сгорбившиеся домишки пугливо, словно овечки, прижались к изгородям, к раскидистым деревьям миндаля или каштанам, к серому скалистому берегу. Взгляд Прейо скользнул по верху берега, над домами, пробежал по лужайке, раскинувшейся слева, и устремился дальше, на дорогу, круто взбирающуюся вверх, на гору, потом переметнулся на другую сторону, оглядел нижние холмы, по которым вьётся шоссе, теряющееся где-то среди голых скал... Прейо внимательно перебрал и прошупал взглядом каждое деревце по ту сторону красновато-жёлтого поля. Нет, ничто не изменилось вокруг, всё было таким же привычным, затиснутым в складки гор, безмолвно хранящим свои тайны. Тонкой паутиной висела тишина начинающегося дня.

Вот уже три года, как Прейо насторожённо относится ко всему, что его окружает. И берега реки и поля перестали казаться ему добрыми друзьями — они, как коварные соседи, готовили ему теперь каждый раз неожиданные каверзы, отнимали у него частицу за частицей вольный простор, заставляли замыкаться в тесноте своего дворика.

В то утро Прейо решил вспахать поле. Собираясь в путь, он почувствовал вдруг, как в груди у него похолодело, а на сердце легла какая-то огромная тяжесть. Но он гнал от себя дурные предчувствия и упорно направлял свои мысли к тому, что видел сейчас вот тут, перед собой, к тому, чем нужно было сейчас, сию минуту, заняться.

Убедившись, что ни на дороге, ни на берегу нет никого чужого, и приметив выглядывавшие то тут, то там из-за заборов знакомые спокойные лица соседей, Прейо перестал тревожиться. Он вытащил из кармана трубку, тщательно продул и, не зажигая, стал её посасывать.

В последнее время никто в селении не чувствовал себя уверенно. Люди приближались к своему полю так, будто шли по краю пропасти. И действительно, опасность поджидала их: каждую минуту мог появиться враг — итальянское или немецкое войско, а то и свои предатели. А среди солдат уж обязательно найдётся такой, что, завидев человека или скотину в поле, возьмёт их на прицел. Всегда среди сотни людей может обнаружиться несколько «шутников», которые не прочь использовать случай, чтобы хвастнуть своей силой и преданностью, да к тому же и позабавиться. Чужеземные войска проползали по горным дорогам, как ядовитые змеи.

Прейо положил трубку обратно в карман. Быстро, решительно зашагал он к хлеву, вывел волов, запряг их и погнал к полю. Чуть поодаль за ними крался кот Брако.

Мерно покачивались две пары длинных рогов — блестящих, чёрных, острых, а впереди — ещё две пары меньших, тусклых; белели две широкие, гладкие спины, а за ними виднелись две тёмные, кудлатые. Четыре пары крепких передних ног ступали твёрдо, чётко цокая по камням. И следом за ними напряжённо выбрасывались вперёд задние ноги.

— Гей, гей, Гаронья, потише! — ворчит Прейо. — Гей, гей, Гаронья, сокол мой!

Головы животных, схваченные ярмом, низко пригибаются к земле, словно хотят уйти от окружающего, от света, от людей. Глаза шуряются, веки подрагивают; приметив поблизости малейшее движение, волы испуганно вращают белками, моргают, словно почуяли неожиданную опасность. Их мир мал, а другого, может, и вовсе нет.

Волы медленно бредут. С Прейо их связывает долгая, спокойная дружба. Толкнёт один вол другого или почешется рогом — и переживаний уже хватает для всех на целый день. Прейо — неотъемлемая частица жизни животных, их привязанности к ней. Они всем своим существом ощущают присутствие Прейо; им доставляет наслаждение повиноваться его желаниям, и если даже они вдруг заупрямятся, то и это — тоже выражение их дружеских чувств.

Добравшись до вершины холма, Прейо натягивает вожжи и останавливает упряжки. Он подходит к Гаронье, самому большому волу, и, протянув руку, дотрагивается до его головы. Потом останавливается и делает вид, что прочищает трубку. Гаронья, увлекая за собой соседа, вытягивает шею, прислоняется к бедру Прейо и от избытка чувств перестаёт дышать.

— Эх, малыш, малыш ты мой! — гудит Прейо.

Остальные волы слегка наклоняют головы в его сторону и помахивают хвостами. Они тоже хотят проявить дружественные чувства.

А Прейо посасывает пустую трубку и старается осторожно отделаться от преследующих его горьких мыслей. Шесть его сыновей ушли в лес и не попрощались. Обидели отца...

— Э, нет, меня не сломишь! Ничего из этого не выйдет! — с горечью вырывается вдруг у Прейо, но, заметив, что этим возгласом он выдал свои мысли, старик сердито покашливает.

Гаронья мотает головой и ластится к хозяину.

— Не буду, старый друг, не буду больше... Поехали дальше...

Прейо проводит борозду у самого края поля. А кот Брако, жёлтый, как солома, осторожно перебирая лапками, шагает по жнивью и помахивает хвостом. Каждый год наслаждается кот этим слиянием желтизны своей шерсти с жёлтым раздольем жнивья. Влечёт ли его сюда цвет поля или мыши, которых в эту пору здесь превеликое множество, кто знает? Но Прейо, конечно, скажет, что Брако просто хмелеет от этого необъяснимого для него обилия желтизны, упивается этим своим родством с полем.

Вдруг Брако, задрав хвост, как бешеный помчался к дому.

— Ты что это надумал? — кричит вдогонку ему удивлённый Прейо.

Но тут же он замечает, как возле него самого будто вскипает земля, а сверху доносится зловещий рокот. Потом рычание и угрожающий вой моторов усиливаются, и Прейо видит, что к нему с высоты устремляется самолёт, за ним — другой, а он со своими волами один в поле, и нет здесь ни кустика, ни дерева, ни шалаша. Так он и стоял на виду, как мышь на улице.

Когда же совсем рядом что-то будто просыпалось и зашебуршило по земле и первый самолёт взмыл вверх, а вниз устремился второй, Прейо закричал:

— Гей, Перонья! Гей, Торио! Гей, гей, гей!

Времени распрягать волов не было. Они и сами фванулись с места, как только над их головами зарычал самолёт. А Прейо бежал за ними, придерживая плуг. Сначала он устремился к селу, чтобы укрыться за домом. Ему мучительно захотелось ощутить над головой крышу, но он понял, что туда ему не добежать, что дом его далеко, а эти птицы летают быстрее его. И начал Прейо кружить по полю. В ушах его стоял скрежет и грохот. Когда самолёты, обгоняя друг друга, приближались, ему казалось, что вот-вот превратится он в прах. Он чувствовал себя так, будто вдруг очутился в пасти страшного чудовища. Второй самолёт застрочил как раз по тому месту, где только что находился Прейо. Первый покругил над селом, над рекой и снова ринулся к полю. Прейо погнался за ним навстречу, пробежал под ним и быстро свернул налево. Он непрерывно выкрикивал:

— Гей-гей, Перо! Гей-гей, Торо!..

Он кричал что есть мочи, точно хотел голосом потягаться с той страшной силищей, которая, рыча, напала на него с воздуха. Когда самолёты пошли вторым заходом, Прейо словно осел весь, и волы его, задыхающиеся, остановились, пригнули головы к земле и замычали. Пулемётная очередь пронеслась у самых морд передней пары волов. Самолёты сбросили по небольшой бомбе, и от их взрыва чуть подальше поднялось облако пыли.

— Ну и ну! — отдувался Прейо: теперь уже в нём всё определённое вскипала злость. — Посмотри только на этих сукиных детей: нашли на кого нападать! Что я, держава вам какая? Кажется, этого про меня не скажешь...

Тут только Прейо заметил, что вол Дорна ранен в бедро. Под тяжестью большого тела у него подгибались ноги, с губ стекала слюна, Дорна тяжело дышал, и в глазах его отражалось то странное и страшное, что отделяло его теперь от всего известного ему до сих пор...

3

Наверху, в селении, снова глухо затянула свою песню гармонь. Прейо вошёл в кухню и, присев возле очага, спокойно стал поджидать, когда в медном котелке закипит вода. Был час, который обычно человек делит со своей женой. У Прейо давно уже не было жены. Поэтому он сердито гнал от себя самую мысль о жене, о женщине, — если ты уж вынужден жить один, так и думать о них не стоит.

Это был самый покойный час его дня, когда он мог тихонько притаиться, как будто его вовсе и не было на свете.

Неожиданно у калитки показался мальчишка лет шестнадцати на вид. На его худом теле болтался обшитый галунами мундир итальянского ссслдата и широкие зелёные штаны. Зато ноги его были обуты в новые жёлтые башмаки, а из-за пояса торчали две гранаты: одна — тяжёлая, полосатая, другая — лёгкая, красная. За плечами у незнакомца уныло, словно забытая, висела куцая итальянская винтовка. Парнишка засунул руки в глубокие карманы своих широченных штанов и весь утонул в этом нагромождении одежды, рассеченной надвое поясом, оттянутым гранатами.

Прижимаясь к изгороди, он стал осторожно пробираться к дому. Он обогнул середину двора, ковырнул носком шуршащий под ногами щебень, наморщился. Остановившись в шагах десяти от Прейо, он растерянно переступал с ноги на ногу и вертел головой, точно ему был тесен воротник. Повернулся и снова стал подыскивать на земле что-нибудь такое, что можно было бы ковырнуть своим новым башмаком. Но рук из карманов он не вынимал.

Прейо не шелохнулся, будто и не замечал гостя. Потом он придвинул к себе миску, котелок и, исподлобья взглянув на пришельца, сурово проговорил:

— Иди сюда!

Парнишка не двигался с места и только упрямо хмурился. Потом выпрямился и поджал губы.

Прейо перегнулся через порог и, насмешливо отвесив поклон, снова вошёл в кухню и сел к очагу, на своё хозяйское место. Он поставил на пол котелок и стал раздувать огонь в очаге.

Парнишка поплёлся к двери. Руки его всё ещё были засунуты в карманы. Он прислонился к косяку и с безразличным видом стал разглядывать двор, навес, дубки, забор.

Прейо всыпал в кипящую воду кукурузную муку, слегка примял её деревянной ложкой и стал медленно помешивать. Потом подбросил в огонь дров и вытащил из кармана трубку.

— Ты чего пришёл? — спросил Прейо.

— Да так...

Парнишка принялся выковыривать камешек у порога.

— Значит, просто так?.. И тебя никто не посылал ко мне?

Парнишка ещё больше нахмурился, снова повернулся лицом к забору, будто заметил на дороге что-то очень важное...

— Садись сюда! — строго сказал старик.

Парнишка вошёл. Вид у него был вполне независимый, он держался так, будто между ними только что закончился какой-то спор; он сдвинул гранаты на живот, снял с плеча свою винтовку и, присаживаясь на табуретку, поставил её между ног.

Куры во дворе взлетели на навес. У гостя снова появился повод устремить свой взгляд на дверь, точно он хотел хоть чем-нибудь занять первые минуты, пока не завяжется разговор.

Взгляд Прею пробежал с земляного пола по прикладу винтовки, задержался на грубо сделанном затворе, поднялся выше и остановился на руках парнишки, набрякших от усталости, — они отдыхали сейчас на отомкнутом штыке.

— Это что же у тебя за дудка, да ещё с шилом?

— А с такими дудками карабинеры ходят.

— Ишь ты!

— Своих-то у нас ещё мало. А эта граната...

— Вот так штука... А утром-то вам всыпали?

— Да нет!

— Как же нет... Ведь это вы бежали вниз, по лесу.

— Нет, не бежали.

Парнишка, не мигая, смотрел прямо в глаза старику.

Прею поднялся, положил трубку в карман и стал шумно потирать руки. Потом прошёлся в угол и откуда-то из-за закопчённого шкафа вытащил пыльную зелёную бутылку, достал с полки два гранёных стакана и снова сел на свою треногую табуретку, стараясь не встречаться с парнишкой взглядом.

— Видишь, вот осталась у меня малость вина... — заговорил он и стал разглядывать бутылку на свет, — да всё не знаю, годно ли оно, можно ли ещё продать... Мне-то никак не определить... — Он взял стакан, заглянул в него, сдул пылинку и начал медленно наливать. — Всё кажется, что от него бочонком отдаёт... А может, и нет... Ну-ка, попробуй...

Парнишка с серьёзным видом взял стакан, тоже поглядел сквозь жёлтую жидкость на свет...

Наполнив второй для себя, Прею поднял его.

— Давай, чокнемся, — сказал он, сердито морщась. — Таков старый обычай — не следует им пренебрегать.

— Ну, зачем пренебрегать! — заметил парнишка. — Не станем пренебрегать, — добавил он уже уверенно и выпрямился, выражая своё почтение тому, кто оказал ему, юнцу ещё, такое уважение.

— Выпьем, за здоровье!

— Живио!

Оба выпили.

Прею прочистил горло.

— Всё-таки оно никуда не годно, а?

— Нет, хорошее!

— Верно?

— Лучше и быть не может.

— Ещё налить?

— Да нет. Не хочу.

— Почему ж не хочешь?

— А мы не пьём.

— Не пьёте, наверно, потому, что у вас нет... — сказал Прею и осекся: у калитки его вдруг появились ещё какие-то люди.

Сначала во двор несмело вошёл, отвешивая поклон, один бледный, робкого вида молодой парень. Он направился к дому, но шёл так медленно, что, казалось, ему хотелось как можно больше оттянуть момент встречи с хозяином. До чего же он был серьёзен, до чего озабочен! Наконец он подошёл к порогу и, сдвинув набок две тяжёлые гранаты «крагуевки» и большой револьвер, откашлялся. Следом за ним во дворе появился огромного роста, по меньшей мере метра в два высотой, мужичище. Он и широк был соответственно своему росту. Винтовка болталась у него за спиной, словно игрушечная. Сжимая губы, он шёл, оглядываясь на третьего. Тот был приземистым юношей с угрюмым лицом и горькими складками у уголков рта. Всем своим видом он выражал недовольство

человека, которому всегда поручают то, чего он не хочет делать. И первый из новоприбывших гостей Прейо, видно, примечал, как тот всё больше старается отделиться, задержаться, предоставляя нести ответственность ему, старшóму. А он, старшóй, главный среди них, с какой-то неопределённой улыбкой на широком лице, над которым вздымалась копна светлых волос, остановился в трёх-четырёх шагах от Прейо и тихо, как бы небрежно, спросил:

— Как, Прейо, дашь нам что-нибудь на ужин, а может, ещё и на завтрашний обед для батальона?

— Добрó, что ты сразу всё это выложил, — сухо ответил Прейо.

Завидев новых гостей, мальчишка быстро выбрался во двор и, став за угол дома, снова сунул руки в карманы, а носком башмака опять начал выковыривать из земли округлые камешки.

Прейо уставился на высоченного гостя. Старик вроде неподдельно был удивлён его появлением и внимательно оглядывал его с ног до головы. Рассматривал каждую часть его одежды, всё примечая, — и то, что опанки, тонкие, резиновые, были надеты на голые ноги, и что штаны коротки, а в карманах, как два каравай хлеба, топорщились две огромные лапищи, и что куцые рукава не покрывали этих лапищ, а плечи стискивала кургузая куртка. Когда Прейо встретился с ним взглядом, тот смотрел тоже озадаченно и виновато, как собачонка, что впервые видит перед собой странное существо — хозяина.

— Что поделаешь, если ни у кого не нашлось для меня одежды по плечу — ни у немцев, ни у итальянцев, — смущённо сказал он.

— Да и у меня нет, — ответил Прейо. — Может быть, в Лике¹ найдётся.

— Может быть.

— Так что, за ужином пришли? Да ещё для целого батальона?

— А ты бы хотел, чтоб нас меньше было?

— А что же мне дать вам? Овец моих вы съели. Корову съели. Остались у меня четыре курицы и пятый петух, но этого вам мало, особенно, коли у вас личане завелись. Чего ж мне дать вам?

— У нас сто пятьдесят четыре человека. И они уже не ели по-настоящему пять дней. Сегодня и завтра им надо бы передохнуть и отъестся. Послезавтра их ждёт новое... — заговорил старшóй, молодой парень с бледным лицом; он говорил внятно, будто читал, и смотрел при этом прямо на Прейо.

У Прейо вдруг выкатились на лоб глаза, и он закричал вне себя:

— Не дам я вола! Не дам! Убирайся! Не дам вола! Поворачивайте сглобли, сукины дети! Вола захотелось! Вола вам! Ничего больше нет у меня, нет ничего! Уходите. Айда!

Старшóй закусил губу, нахмурил лоб, задумчиво посмотрел по сторонам.

— Значит, не дашь вола? — спросил он.

— Нет! — отрезал Прейо.

— Верно, многовато с тебя... Что ж, пошли, коли не вышло...

Бледнолицый повернулся и зашагал между высоченным и тем, что всё ещё шёл с недовольным лицом. А мальчишка прошмыгнул вдоль стены и пошёл впереди них. Прейо, вытянув шею, провожал их взглядом. Потом вдруг заорал им вслед:

— Ну и молодцы! Вот герои! Выполнили задание, а? Нечего сказать, хороши! Как же вы покажетесь на глаза людям?

¹ Лика — район в Хорватии. Жителей этого района называют личанами, они отличаются высоким ростом и силой. (Примеч. перев.)

Партизаны продолжали итти, будто не слышали его. А мальчишка торспливо шагал вперёд, заложив руки в карманы и подняв воротник, словно дождь заливал ему шею.

— Стой! — кричал Преёю. — Стой, говорю!

Старшой остановился, обернулся. Остановились и остальные.

— Чего тебе?

— Ничего.

— Как же ничего?

Преёю вынул трубку, поднёс её ко рту, но тут же снова водворил её в карман.

— В чём дело, говори, — спокойно спросил старшой.

— Чёрт бы тебя побрал. В хвост тебя и в гриву! Чтоб у тебя повылазило!..

Преёю повернулся и решительно направился к хлеву. Высоченный личанин вытащил из карманов руки, вытянул шею и, наклонившись, пошёл вслед за Преёю.

Когда-то хлев этот — старая избушка с пристройкой и подслеповатым окошком под кровлей — был жильём. Вход в него, как бородой, закрывали ветви и куча хвороста, которую каждый вечер Преёю наваливал теперь у двери, чтобы проходящие войска не приметили его. Тут, за низкими яслями, стояли его волы; они неуклюже поводили челюстями, разжёвывая кукурузные зёрна, когда им удавалось наткнуться на такую находку в сене.

— Хорошие волы у тебя! — сказал личанин.

— Хорошие.

— Вот эти — что за пара!

— Гаронья и Перонья! — не без гордости сказал Преёю.

— Как это их не отобрали у тебя?

— Прятал. Увели они кабана, два десятка овец, кур сколько, и счёта им не знаю, а волы...

— Эх, работяга ты мой, война не для таких, как ты...

— Почему не для таких?

— Тебе работать надо. И я бы поработал...

— А ты воюешь...

— Приходится.

Личанин прислонился к косяку, а Преёю подошёл к волам.

— Ну, родимые, кому из вас на войну итти? Давайте, отзываютесь добровольно! — сердито сказал он. — Кому погибать?..

Преёю подошёл к Гаронье. Потрепал по шее, и вол, отвечая на его ласку, два-три раза возбуждённо промычал.

Преёю подошёл ко второму, третьему, четвёртому, погладил их, похлопал, точно ожидая от них одобрения или, может быть, для того, чтобы самому окончательно решиться. Потом снова вернулся к Гаронье.

— Знаю я, кому воевать, — сказал он, — тебе, юначе мой!

Обрадованный близостью хозяина, Гаронья фыркал, ластился, игриво хватал из ясель сено. Когда Преёю положил ему на лоб руку, он повернул голову, наслаждаясь лаской и тем согласием, которое существовало между ними.

— Гаронья мой, не иначе как тебе воевать...

Преёю долго гладил вола по лбу, трепал его за загривок, ощупывал грудь, сжимал морду. Потом сурово прикрикнул:

— Ну, выходи, Гаро!

Вол послушно пошёл вслед за стариком к выходу. Его пара — Перонья, а за ним Дорна и маленький Торио беспокойно повернули головы, провожая взглядом друга.

— Айда, Гаро, айда! — строго покрикивал Преёю. — Пошли воевать, скотинушка моя, что поделаешь. Теперь твой черёд драться... хоть и травы

у тебя зелёной вдоволь и земля мягкая под ногами. Силы твоей хватит на целый батальон. Теперь ты будешь стрелять из винтовки, из пулемёта, ты и гранату бросишь!.. Верно ведь, личанин?

— Так, отец, так!

Оба молодые партизаны — старшóй, с бледным лицом, и коренастый, сумрачный — молча ждали у ворот, а мальчишка прошёл вперёд по дороге и прислонился к изгороди под узловатым дубком. Личанин заложил руки за спину, точно не хотел ни к чему прикасаться здесь; брови его хмурились.

— Айда, — сказал Прейо. — Вот тебе, веди его! — и протянул личанину поводок.

Тот недоуменно взглянул на него, хотя именно ради этого он и пришёл сюда. Потом осторожно, точно это было перо; которым он должен был подписать что-то, личанин взял верёвку.

Сумрачные двинулись в путь партизаны. Прейо проводил их до поворота, где стоял мальчик, остановился возле него и сердито сказал:

— Видишь, знаю я больше, чем ты думаешь!

Мальчик не понял, что думал сказать этим старик, но ему мучительно хотелось поскорее уйти, провалиться сквозь землю, так сильно было чувство виноватости перед старым Прейо.

А Прейо, опершись о ствол миндального дерева, стал глядеть на дорогу; он заметил, что Гаронья необычно неуклюже выбрасывает ноги, будто тело его отяжелело, и представлял себе, как недоумевают его любимец: куда его ведут? Вдруг Гаронья опустил голову и подозрительно повёл глазами. Убедившись, что Прейо отстал, он остановился. Личанин оглянулся на вола и тоже остановился.

— Ты чего стоишь? — спросил его старшóй.

— Кто стоит?

— Должно быть, я!

— А... — личанин посмотрел на свою руку с растопыренными толстыми пальцами.

— Пошли, Марко, — сказал бледнолицый мальчику.

Тот отделился от изгороди, к которой как будто прирос, чтобы стать незаметнее, и оглянулся на старика.

— Пошли, Гаро, пошли, — проговорил трезво личанин, как обращаются обычно к тому, кто пострадал от несправедливости, а помочь ему невозможно.

Он погладил вола по спине.

— Айда, Гаро, айда, брат. Не первый ты и не последний...

Теперь Гаронья почувствовал себя свободнее, бросил взгляд на домик и не спеша двинулся вперёд.

А личанин, всё ещё придерживая поводок двумя пальцами, шёл за ним...

4

Прейо почувствовал острую потребность куда-нибудь пойти, что-нибудь сделать — и повёл волов на водопой.

Дорога спускалась к реке вдоль узких полосок огороженных полей. Она змеилась, местами была каменистой, местами мягкой, рыхлой от дождевых наносов. Волы шли медленно, наслаждаясь простором. Когда Прейо выпускал их из тёмного хлева, они как бы с экономной расчётливостью пользовались каждым своим шагом.

День был спокойно-серым. Небо и не собиралось расщедриться ни вёдром, ни каким другим благом. Видно, решило вот так, скрягой, тянуть

лямку до самого вечера. Вороны приступили уже к своей работе на полях, но голосов их не было слышно. Чудные это существа — мудрые, коварные, а человеку непонятные, — вот сейчас они совсем спокойно, без страха, расхаживают по жнивью, по открытому простору, над которым кружит смерть.

Человеку опасно было теперь выходить в поле. Кто знает, откуда, когда и какое войско нагрянет? Опасность для жизни несли и немецкие «журавли» — самолёты-разведчики. Они налетали внезапно, медленно кружили над полями, стреляли по людям из пулемёта, сбрасывали на них бомбы. Бомбы разрывались на поверхности и на большом расстоянии подсекали осколками всё живое. А немец, перегибаясь через борт, смотрел с высоты, что натворила на земле его железная птица.

Но Преё не мог отказаться от привычной потребности в движении, и он каждое утро выходил в поле или на дорогу. И ему всё казалось: вот-вот сейчас обязательно случится что-то такое, что перевернёт его судьбу. Но уж очень опротивела ему эта боязнь, это прятание. Он выходил открыто, шумно, приметно. Он сильно похудел, и одежда на нём развевалась — ведь ел-то он всего один раз в день. Вечером. Кукурузную кашу с маленьким, в палец толщиной, кусочком прогорклого сала. Каждое утро, голодный, далёкий от людей, он погружался в раздумья. В мыслях своих смягчал он все резкости жизни, закруглял углы, смирялся со всем, что происходило вокруг, отдавал себя на волю providения.

Временами вдруг он вспоминал о своём праве человека — праве жить и свободно передвигаться — и тогда вскипал гневом и выкрикивал оскорбительные слова, просто так, не обращая ни к кому, и наслаждался силой своей брани.

— Не выйдет, гад проклятый! — в сердцах кричал он. — До конца дней твоих не выйдет! Проваливай! Катись к чёртовой матери! Пропади ты пропадом, стори в огне своём!

Труднее всего приходилось Преё по вечерам, и особенно зимой, когда часам к пяти уже темнело и когда соседи, запершись на все запоры, рано гасили свет и ложились спать. Людям казалось, что, засыпая, они становятся незаметнее для врага, неприкосновеннее. Застав их у очага, вражеское войско могло учинить что-нибудь жестокое, страшное — погнать в Германию, а то и просто прикончить на месте. А вот так, увидев немые избы, противник не всегда поднимал всех на ноги. И Преё тоже вначале запирался, долго старался заснуть. Прошли те времена, когда партизаны располагались здесь, проводили в школе собрания, держали речи. И ведь тогда впервые сумел старый Преё заглянуть в далёкие страны и узнать, что он, Преё, народ.

«Значит, это я народ! — рассуждал он сам с собой. — Занятное слово: народ. Я — народ! Ты — народ. Значит, народ — в Италии, в Германии, в Америке, во Франции. Ну, конечно, народ!»

Подгоняя сейчас своих волов, он покрикивал:

— Эй, поскорей, народы!

«А может быть, и человек на что-нибудь пригодится, а не только народ! Ладно, посмотрим, что это за народ, посмотрим!»

В последнее время Преё стал допоздна оставлять открытыми двери и даже нередко всю ночь спал так, ждал, может к нему заглянет кто. Кто бы ни был — народ или человек, солдат или целое войско. А о сынах он и думать не хотел, прогонял самую мысль о них. Спускаясь сейчас к реке, он точно так же старался не думать и о трубке своей. Он откладывал наслаждение до той минуты, когда доберётся до воды. Вчера он набил трубку ореховым листом.

— Нужно же человеку и покурить наконец, — говорит себе Преё и после паузы добавляет погромче: — Человеку и волю нужны...

И тут снова начинает работать память... И видит он, как появился недавно у его дома знакомый уже партизан-личанин, появился неизвестно откуда — никого в селе не было, и никто в точности не знал, где находятся партизаны. Личанин был один, сгорбившийся, сумрачный. Прејо приметил, что был он погружён глубоко в свои мысли, и старик решил доставить себе удовольствие и напугать человека.

— Ты чего здесь ищешь? — грозно окликнул он его.

— Вола, — спокойно ответил личанин.

— Какого вола?

— Всё равно какого.

— Так-так...

— Да, так. Именно так, мой старый друже.

Прејо сурово посмотрел в глаза личанину, чтобы поубавить у него самоуверенности. Ему нравился и этот разговор — прямой, деловой. Ему было приятно видеть, как он заставил этого огромного детину смутиться и отвернуть лицо.

— Что же, сбежал у тебя вол?

— Эх... — махнул рукой личанин.

— Значит, ты ищешь то, чего не терял?

Личанин вздохнул.

— Иди сюда, — сказал Прејо и вошёл во двор первым.

Личанин опустил руки; локти его немного согнуты, а пальцы растопырены. Брови поднялись, лоб страдальчески наморщился. Прејо медленно шагал вперёд в тяжёлых резиновых опанках; на нём старая шерстяная кацавейка и драные полотняные штаны. Он выглядел нищим, но в движениях его чувствовалась уверенность человека, который знает, что делать, куда идти.

— Видишь! Три брата, а разные! — говорит он, скинув задвижку с двери. — Вот этого возьмёшь, Дорну, — решительно сказал он. — А тебе бы того хотелось?

— Мне того, что ты дашь.

Прејо вывел из хлева вола и дал личанину поводок.

— Иди, иди, тебя ждут, — сказал он ему, и тот сразу же, не проронив ни слова, повернулся, пошёл и растворился в неизвестности.

...И теперь, вспоминая это, Прејо громко, хоть здесь под серой неподвижной шапкой небес он был один, очень громко сказал:

— Есть у меня ещё два вола.

И продолжал размышлять вслух:

— Два вола есть у меня! Два вола! Значит, я должен ещё работать. И кому же работать, как не мне? — Он даже руки протянул вперёд, будто убеждал кого-то. — Эх, кто же работать станет, если не я...

Вдруг он остановился, протёр глаза, не веря тому, что увидел: у низкой изгороди, согнувшись в три погибели, стоял худой, в лохмотьях мальчишка-партизан, тот самый мальчишка, Марко. Был на нём прежний итальянский мундир или что другое — догадаться было невозможно. Он стлкаялся ногой камешек с камешком и смотрел на Прејо, слегка приоткрыв рот. Увидев, что старик не выказывает никакой радости, не улыбается ему, Марко потупил глаза.

Но Прејо, догадавшись, в чём дело, заговорил дружелюбно:

— Ты чего пришёл?

— А мы здесь, наверху, в Бистри. Вот я и спустился немного.

— Это где же вы, в Бистри?

— Да мы не надолго там. Всего лишь до вечера.

— Земля под ногами горит, а?

— Ещё как горит! Но они с нами ничего поделать не могут. А ты, куда ты идёшь?

— К водопою.

— Лучше бы тебе теперь дома сидеть.

— Э, будь что будет.

Волю повернули головы и усталились на мальчика. Перонья даже подошёл к нему поближе, а Торио брыкнул задней ногой. Разглядев его, они снова засеменяли по крутой дороге. Прейо следовал за ними. Марко замыкал шествие. Он шёл с таким видом, словно испытывал вину оттого, что он ещё мал и слаб, хотя внутренне бунтовал против этого и старался казаться взрослым.

— Побыстрее иди! — строго сказал старику Марко.

Прейо промолчал и продолжал не спеша свой путь.

Марко весь съёжился и больше не проронил ни слова.

Наконец они подошли к широкой заводи, возле самой дороги. В мутной светложёлтой воде отражались венцом кусты ежевики, переплетавшиеся ветвями с миртом.

Перонья быстро напился и бережком, оседая в тине, перебрался через заросли ежевики, вышел на лужайку и стал пощипывать низкорослую траву, пробивавшуюся между тёрном и камнями. Торио забрался подальше в воду и наслаждался. Он вертел белками, стараясь не упустить из виду хозяина, словно хотел узнать, что думает сейчас о нём Прейо.

— Идут! — вдруг закричал Марко и стрелой понёсся через заросли ежевики и можжевельника в гору.

На нижней дороге появилось войско. Множество сытых лиц выступало из воротников зелёных мундиров. Оно возникло внезапно среди полного покоя серого дня и неумолимо приближалось к Прейо. Шло медленно, равномерным, чеканным шагом, и лица солдат смотрели вперёд.

Прейо стал гнать вола из воды, а сам укрылся в ежевике. Но Торио не сразу понял намерения хозяина — он слишком увлёкся игрой. Он набирал воду в рот, притворялся, что жуёт её, вертел глазами, следя за кругами на жёлтой поверхности, и, озоруя, шёл ещё дальше.

— Торио, Торио! Вылезай скорей, гайдук проклятый, вылезай! — угоривал его Прейо.

Но прежде чем он успел увести вола в заросли ежевики, колонна немцев подошла к ним вплотную, неотвратимая, как ветер, как дождевая туча, как мчащийся табун лошадей.

Впереди шли, растянувшись длинной лентой, пехотинцы — по одному, по двое; потом следовали несколько мотоциклистов и лошади, навьюченные миномётами и снарядами. А в конце колонны, едва переставляя ноги, брели шесть волов, окружённых доброй охраной, и ещё метрах в шестидесяти шествие замыкал отряд пехотинцев. Те, что шли в голове колонны, проходили, не замечая Прейо, словно их звал вперёд звук волшебной свирели. А Прейо почему-то вышел к обочине и стоял у всех на виду. Солдаты шли хмурые, мрачно поглядывали из-под касок, надвинутых на самые уши, словно не хотели услышать голоса Прейо; рукой они придерживали на груди ремень винтовки, автоматы висели у них сбоку или под самой шеей, а ручной пулемёт — у плеча; ноги их гулко топали, звякало оружие, постукивали сумки противогазов, коробки с пулями и минами. Перед отрядом, выпрямившись, шёл молодой офицер с двумя унтерами по бокам — один из них в очках, все с биноклями. Колонна шагала в ногу, затаптывая следы овец и коров на старой просёлочной дороге.

Прейо впервые видел немцев в родных местах. И он сразу же заметил существенную разницу между этой армией и итальянской. Он сразу понял, что это за армия, и в нём вспыхнуло небывалое беспокойство. Прейо невольно обернулся к тому месту, где только что пропал из виду Марко.

Подошёл обоз. Только теперь солдаты, что шли рядом с полевой кухней и подводами, обратили внимание на Прейо или, пожалуй, точнее — они приметили его вола и стали переговариваться. А когда небольшое стадо волов, замыкавшее обоз, поравнялось с Прейо, старший над ними подошёл к нему и сказал что-то такое, что вызвало смех у остальных.

До сих пор Прейо думал, что он после той мировой войны ещё помнит по-немецки, но сейчас он понял, что память его сдала. С тех пор, как ему самому доводилось воевать, прошло много лет. Да и язык у них, видно, не тот теперь. Но от него, от Прейо, никто, должно быть, сейчас и не ожидал ответа, будто он просто старый пень, что торчит у дороги. Обозники погнались мимо него своих волов к воде, а чуть поодаль остановилась и вся часть. Солдаты, взобравшись на изгороди, отдыхали. Беззубый — старший погонщик волов — снова прошепелявил что-то, другой, тоже немолодой, рассмеялся в ответ ему. И Прейо показалось, что говорили они о волах, что это был мирный разговор пожилых людей, прошедших вместе большой путь, которых связывает дружба, конечно, не та, что бывает в молодости.

«Будь мы поближе к дому, предложил бы я им по стопке ракии, — подумал Прейо. — Есть у меня ещё два литра. В земле зарыты. В углу за очагом... отличная ракия...»

— Ох, горе... Чего только ни навидится в своей жизни человек, — печально размышлял вслух Прейо.

Он видел в этих пожилых, серьёзных солдатах что-то знакомое, напоминавшее ту войну. И было в этом воспоминании даже что-то трогательное. Человек ведь нередко превращает жестокий опыт прошлого в добрые воспоминания, и это потому, что он ценит добро выше, чем зло. С тех пор, как Прейо помнит себя, только и было что войны. Дед и отец вспоминали о турках, о французах. Их отцы тоже не вылезали из моря крови. Но он, Прейо, не мог и представить себе, что вот это и есть та самая армия, которая двинется именно на его село, на его знакомых ребят-партизан из леса. И так как он придерживался особого мнения о своих, о партизанах, и так как его отношение к ним было сложным — он и гордился ими и злился на них: ведь к ним ушли сыновья. Прейо должен был оценить по достоинству и их противников — ведь это тоже люди. А нынешних немцев он сам пока не знал. Армия, видно, эта добротная. Однако он себе и представить не мог, что именно эта войсковая часть двинется на его земляков, и этот мальчишка Марко будет стрелять в них, и они будут блуждать по этим незнакомым горным тропам, как неприкаянные души.

— Хороша водичка, — сказал, обращаясь к немцам, Прейо.

— Водичка, водичка, — повторил беззубый и засмеялся.

Два солдата, наглухо закованные в броню своих мундиров, караулили волов с таким отсутствующим видом, словно они хотели сказать, что им вовсе не хочется быть тем, что они есть, не хочется видеть то, что можно было увидеть; словно они потеряли желание вообще видеть что-либо с тех самых пор, как влезли в эти широкогорлые сапоги и сверху прикрыли себя касками. Когда подоспели замыкающие колонну десятка полтора солдат, они, не замечая своих товарищей, тоже разместились на изгородях, дожидаясь, когда колонна двинется дальше.

Прейо снова обратился к беззубому:

— А итальянцы ушли? Вэк итальянцы! — показал он рукой.

Немец кивнул, даже не взглянув на Прейо, выражая тем самым полное нежелание вступать с ним в разговор. Медленным движением зажёл он сигарету и опять заговорил по-своему с тем, что погнал волов к воде.

— Ну что это за люди? — недоумевал Прейо. И тут же разъяснил себе: — Люди как люди. Человек остаётся человеком, даже если он солдат... Э, нет, чёрта с два — люди как люди, — вдруг заспорил он сам с

собой. — Армия — это армия. Он сам, когда был солдатом, был чем-то совсем другим. И почти каждый человек становится именно тем, чем люди его считают. А это — армия, вражеская армия.

И, рассматривая теперь одноликую массу немецких солдат, одинаково одетую, одинаково вооружённую, видя их жёсткие, решительные лица и всю эту могучую силу, исключаящую и намёк на шутку, испугался, не слишком ли несерьёзно и беспомощно то, что делают его сыны и все эти люди в лесу, одетые в лохмотья, голодные, едва держащиеся на своих ослабевших ногах... И ведь не боятся же они! Именно это всегда было непостижимо и в то же время дорого Прейо в партизанах. И всё же его упрямый нрав заставлял его вести с собой вечный спор на эту тему. Вот и сейчас он снова стал возражать себе.

— Нет, это не итальянцы, сынок! — говорил он, как будто обращаясь к какому-то из сыновей. — С этими шуток шутить нельзя, уж больно серьёзный это народ... Нет. Не серьёзный, раз полез к нам, на голытьбу напал. Теперь и нам не до шуток. Ведь не мы их сюда звали? И мы, пожалуй, на свет народились не для того, чтобы быть кому-то игрушкой. Да и не валяемся кизяком на дороге... Айда, други, убирайтесь-ка хозяйничать к себе!

Вдруг командир арьергарда сердито закричал на тех, что поили волов, и они стали торопливо гнать животных из воды на дорогу, хотя волю упирались, тяжело дышали от усталости и неутолённой жажды. А так как выбирались они медленно, солдаты погнались вперёд Торио, чтобы он повёл за собой остальных.

— Это мой вол! — закричал Прейо. — Майн окс! Майн окс! Не возьмёте вы, небось, и моего со своими! Майн окс! — и он побежал за волком.

— Вэк! — сказал беззубый немец.

— Вэк! — крикнул другой в каске и снял винтовку.

— Майн окс! — вопил Прейо.

— Вэк! Убирайся! — повторил солдат в каске.

— Да что ты, человеке... — начал было объяснять Прейо, но, приметив во взгляде солдата то самое колебание, что бывает за миг до принятия решения, и поняв, что ему до смерти — рукой подать, Прейо повернулся, опустил голову и побрёл вдоль заросли ежевики, ожидая, что вдогонку ему раздастся залп.

А солдат вскинул винтовку на плечо, и с лица его тут же сошло выражение жестокости. Он зашагал вперёд, ни на кого и ни на что не глядя. Прейо выглянул из-за кустов. Колонна подымалась в гору. Она, казалось, стала ещё длиннее и была похожа на зелёного червяка, ползущего по серому камню под бесцветным небом.

5

...Молодой партизан с бледным лицом пришёл таким же ранним утром, когда после осенней бури засияло солнце, осветив весь горный кряж и синеющее над ним небо. На дубе, возле дома Прейо, судорожно подрагивая, шелестела коричневая сухая листва, но она цепко держалась за ветви. Вот так до самой весны выдерживает она сердитый, резкий натиск холодного, северного ветра.

С полей сквозь шум ветра доносилось хриплое карканье воронья. Прейо грелся на солнышке. Укутавшись в армяк, он сидел на каменной скамейке один, совсем один в своём дворе, один до самых дальних далей. Он весь сжался, его ничто уже не ждало впереди, и никого близкого не было вокруг. Тогда он обратил свой взгляд к самому себе, к своей памяти и вспомнил тот осенний день, когда в последний раз увидел мальчишку Марко. Он неожиданно появился на краю поля и тяжело шагал по

жизнью в своих больших солдатских ботинках. Нет, он не спешил. Скорее можно было бы предположить, что ему не хочется подходить к Прейо. Тело его попрежнему словно перерезал надвое тяжёлый пояс. Как и прежде, одежда на нём болталась. Всё медленнее и медленнее приближался он. Вороны ковыляли рядом с ним — он уставился на них, будто его занимало, что найдут птицы под камнем, если его скovyрнуть ногой: зерно, насекомое или червяка — жалкая пожва среди этих скал. Его силуэт всё вырастал и вырастал на жёлтом просторе поля, но он шёл не прямо, а петляя и замедляя шаг. И всё-таки он должен был подойти к Прейо. И он подошёл, опустив голову, а Прейо уже всё знал...

Бледнолицый парень приближался тоже медленным, но спокойным шагом, только лоб его был слегка наморщен и на щеках пятнами горел лихорадочный румянец. И шёл он, борясь с ветром. А возле ограды остановился ещё один — тот, что приходил уже когда-то, коренастый. А личина не было с ними, и никого больше не было. Бледнолицый шёл, сопротивляясь ветру, твёрдым шагом. Он подошёл, а Прейо, даже не поглядев на него, знал, как отощал он, как жалко висит на нём его помятая шинелишка.

— Здорово! — сказал партизан, остановился и поглядел вверх, на гору. — Ну и буря!

Прейо не отозвался, он зябко кутался в свой армяк, уставившись на гору, лишь тонкая паутинка связывала его с действительностью.

— Я вижу, что сегодня у нас с тобой разговора не получится.

— Присаживайся...

— Ну и чёртова буря! И вчера и сегодня... На ногах устоять нельзя, так налетает...

А Прейо посмотрел на второго, что поджидал у дороги, и, убедившись, что больше никто не пришёл, встал, вынул трубку из кармана, прочистил её, продул, сунул в рот, два-три раза потянул. Потом положил в карман и вдруг закричал:

— Не дам! Ничего ты больше здесь не получишь! Не дам вола! Не дам вола, сукины вы дети, не дам, нет!..

Бледнолицый не шелохнулся, только ещё плотнее укутался в шинель и сгорбился, точно ему хотелось раствориться, стать невидимым.

Прейо резко повернулся и направился к хлеву напрямик, переступая через камни ограды, потому что дожди смыли, а ветры выдули скреплявшую их землю, потому что военные времена изгрызали создания рук человеческих. Он снял задвижку, открыл дверь и вывел вола.

— Вот тебе, бери, — сказал он, подводя вола к бледнолицему. — Вот тебе мой единственный, последний, Перонья мой... — Прейо обнял вола. — Перонья мой, старый дружок мой... Вот тебе, товарищ... последний мой, единственный...

И Прейо заплакал. И заплакал, беря поводок, молодой партизан; слёзы струились по его лицу, а ветер смахивал и сушил их. И на глазах у того, что стоял за забором, тоже блестели слёзы.

— Перонья мой, славный мой пахарь, кормилец ты мой, пора тебе в путь... Долго мы жили с тобой вместе. А теперь я останусь один. А это хорошие люди, не бойся, они не станут тебя мучить... — говорил старый Прейо, и Перонья понимающе смотрел на хозяина.

Они пошли уже со двора, а слёзы всё струились из глаз у старого Прейо, у молодого партизана, у вола...

Перевод В. Радной.

БРАНКО ЧОПИЧ

(Югославия)

★

ТЕНЬ И БЫК

В приёмную адвоката Стоячича вваливается здоровенный, весь пропотевший верзила, этакая глыба деревенской одичалости; кажется, что вместе с ним сюда ворвались запах свежей борозды и быков, шум драки у трактира. Он останавливается у стола, пригнув голову, как баран, готовый отразить удар; неловко поводит плечами, точно не привык ещё к городской одежде, и, глотнув воздуха, выпаливает:

— Помоги, Янко!

Поблѣкший, весь словно выеденный изнутри, адвокат, у которого от лица осталась лишь сухая оболочка, — полная противоположность своему посетителю. Он невозмутимо, как благопристойно одетый манекен, встречает это стихийное нашествие полнокровной жизни.

— Чего тебе? Что хорошего?

— Какого чёрта хорошее! — грохочет посетитель.

Кажется, что бесплотный адвокат не выдержит производимого этим здоровяком сотрясения и вот-вот рассыплется.

— Вызов получил я, брат, в отделение внутренних дел зовут...

— А зачем зовут? — равнодушно, без тени беспокойства, спрашивает манекен-адвокат.

— Кто его знает зачем? В бумаге не пишется. На, смотри сам.

Адвокат машинально протягивает руку, берёт повестку и держит её перед неподвижными глазами.

— Чем же я могу тебе помочь, если ты сам не знаешь, зачем тебя вызывают? Покопайся в памяти, друже Тривер, может припомнишь?

Последние слова его звучат иронически: знаю, мол, вас, «товарищи», поживиться любите!

Расставив ноги, Тривер ещё ниже пригибает голову. Теперь он уже больше смахивает на быка, готового взреветь от предвкушения битвы с соперником и запаха крови, готового рыть в ярости ногами землю, чем на человека, углублённого в какие-то мысли.

— А что припоминать... может, только из-за этих паршивых дукатов, чёрт бы их побрал! Была как-то, знаешь, покупочка... Но нет, кто о ней может знать? Никто!

Манекен начинает оживать. Что-то похожее на усмешку затрепетало вокруг губ его меловой маски: припомянай, дружок, припомянай!

— А вдруг они, мать их за ногу, пронюхали о тех машинах, что мы пустили в расход? Помнишь, я тебе когда-то говорил про это дельце?

— Ничего я не помню! — сухо отвечает адвокат. — Может быть, ты и думал вслух в моём присутствии, но это — твоё личное дело.

«Бык» медленно поднимает голову и упирается в адвоката тяжёлым, тупым взглядом.

— Как же так — не помнишь? Сколько раз я тебе рассказывал о делах, советовался, а ты...

Скользкий и неуловимый манекен будто отодвинулся в недостижимые дали, воздвигнув перед собой ледяную стену, от которой всё отскакивает.

— Ну, конечно, Тривер, по вопросам права ты приходил советоваться со мной, но я повторяю: твои дела меня не касаются, и я не вмешиваюсь в них. Я занимаюсь своим делом, а ты своим. Верно?

— Значит, ты не хочешь мне помочь?

— Нет, почему же? Я вовсе не об этом. Хоть сейчас готов служить тебе. Разузнай только, в чём дело, и тогда, уже изволь, приходи, посоветуемся.

— Хм... разужнай! — растерянно рокочет Тривер. — Один только бог может теперь узнать, в чём дело. Ну нет, думаю, всё-таки не из-за этих машин... Это — такое обычное дело... Скорей всё-таки из-за тех автомобильных частей, будь они прокляты... Знаешь ведь, в прошлом году я...

— Не знаю! Ничего я не знаю...

— Вот тебе и на! — передёргивается Тривер, снова наткнувшись на ледяную стену. — Да я и не говорю, что ты знаешь... Только не в этом дело. Коли по совести говорить, это — тоже дело простое и привычное. Сколько их каждый день делается...

Адвокат прислушивается, бормочет что-то под нос, подсчитывает, складывает свои бумаги. А потом изрекает:

— Да, за всё на круг причитается, пожалуй, годика четыре-пять, а если клубок пойдёт разматываться дальше, то и все четырнадцать...

— Так что же придумать-то можно, а? — испуганно взревел Тривер.

— Друже директор, сначала разужнай, в чём дело, а потом уже будем разговаривать и придумывать.

— Узнай, разужнай! — сердится «бык», и глаза у него выкатываются на лоб. — А что будет, если меня укут, а?

— Э, здесь уже я ничем тебе помочь не смогу, — оживает манекен. — Мой класс, как говорят в аши, свергнут. Господство его кончилось. В моей частной собственности осталась только вот эта капелька знаний, капелька опыта и ещё — умение ориентироваться в сложной юридической материи. А твой класс сейчас при силе, при власти, и он действительно может тебя арестовать. Чем же я могу помочь тебе? Сам кручусь, верчусь, пока аши не научатся, а там — отпускаеши раба своего, господи! — можно и умирать.

— Вот те на! — шумно выдыхает Тривер. — Нет, брат, мне помирать не к чему. Давай ещё поживём немного.

— А если не дадут жить! — горько усмехается адвокат.

— Не дают?! Ну, конечно, не дают! Засели всюду разные бюрократы, дыхнуть нельзя деловому человеку. Только захочешь развернуться, как тут же заделл до какой-то параграф, то предписание, и все они валяются на тебя... Попробуй, поживи теперь...

— Ну, это уже ваше дело. Ваш класс и ваш строй, — торжественно декламирует адвокат, всем своим видом показывая, что тут уж он умывает руки.

Директор Тривер делает несколько нерешительных шагов по комнате и ещё нерешительнее направляется к двери. Половицы скрипят под ним.

— Всё хорошо, брат, да я вот испугался. Ко всем чертям и это предприятие и... если выберусь живым оттуда, сразу к тебе прикачу...

— Приходи. А сейчас — что будет, то будет... Здесь я сижу до двух часов, позднее можешь застать меня дома. Вечером, после восьми, как обычно, — в кафе, у «Белой кошки».

— Ладно уж. До свидания.

Тривер скрывается за дверь, и сразу же из кабинета адвоката как будто исчезает жизнь. Комната наполняется запахом музейной пыли, заполняется холодной, рыбьей тишиной. Блёклый человек за столом погружается в свои мысли и ещё больше сереет.

Нет, подумать только, неужели погорел Тривер? Жаль, очень жаль этого шумного здоровяка, этого выскочку... Неужели его засадят, спутают все его расчёты? Адвокат давно уже знаком и встречается с ним. Ничего не скажешь — ворюга, ловкая бестия, чёрт бы его побрал! Всех расталкивает, пробивается — смотреть приятно! Наблюдает Янко за энергичной деятельностью Тривера и сам испытывает такое наслаждение, словно переживает в нём свою вторую молодость.

— Да-да, этот действительно нашей складки. Наш — с головы до пят. Растроропен, ловок, каждую щёлку в законе использует. Плачет по нём Америка! Вот где частная инициатива!

Адвокат встаёт и неслышно, как тень, начинает ходить по комнате.

Ему действительно жаль этого парня. Кто бы только мог подумать... Долго Янко не хотел себе признаваться, что ему нравится эта нетронутая глыба. Но с тех пор, как он заметил, что Тривер действует так, словно читает его, Янко, мысли, с тех пор он про себя прозвал Тривера «мой».

— А «мой»-то каков! Он себя, небось, на этой коммунистической толкучке не забывает, убей меня бог!

Когда директор Тривер начал успешно обдѣлывать свои делишки и по ту сторону границы, адвокат не прочь был окольными путями, осторожно подсобить ему и советом. Он делал это не из какой-то личной корысти, далеко ещё было до того, чтобы он принял помощь от своего «ученика». Янко просто радовался, что в нашей неразберихе нашёл крепкого, дельного человека. Пусть себе действует, пусть — сегодня он, а завтра ещё десять. И снова всё пойдёт по старой, проторѣнной дорожке.

— Уф, только бы его теперь не упекли. Испугался, мошенник, видно, не закалён ещё, опыта нет...

Не прошло и получаса, как двери приёмной широко распахнулись. Вместе с Тривером в комнату ворвалось солнце, веселье, жизнь, весь мир.

— Ура, Янко, отлично! Дай я тебя обниму!

— Да ты расскажи, как там всё прошло?

— Отлично, отлично, говорю тебе. Ну, что за ребята эти наши товарищи из министерства внутренних дел! Ты себе и представить не можешь! Принял меня один парень. Садитесь, говорит, друже, мы вас вызвали сюда... «Эх, — думаю, — конечно». У меня и ноги отнялись...

— А как же им не отняться...

— ...Слушайте, говорит, мы вас сюда вызвали, чтоб получить кое-какие сведения о вашем родственнике Николе Тривере. Он сбежал из дома для малолетних... Понимаешь, какой-то там родственник! Так всё это только из-за него? Чуть было не расцеловал этого парня. Значит, думаю, иди, Тривер, с богом, и только бы ничего другого с тобой не приключилось.

— Хорошо, очень хорошо, — усмехается адвокат.

— И я, брат, так говорю! А что, собственно, могло приключиться с честным человеком?..

— Правильно, конечно...

— Но ты сам видел, как я испугался, — вспыхивает растроганный Тривер. — Убей меня бог, испугался! А чего, собственно? Чего может бояться честный человек в нашем государстве? Ничего!

— Конечно, ничего, — подтверждает адвокат.

Теперь уж и он сам убеждён в том, что действительно с этим находчивым и буйным человеком не может случиться ничего такого, что подвело бы его, Янко, под удар закона.

В то время как адвокат отечески-нежным взором наблюдает за Тривером, тот твёрдым шагом мерит комнату и с такой силой разворачивается, что всё вокруг него начинает сдвигаться с места и как будто кружить вслед за ним. Кажется, что он заполняет всю приёмную взмахами своих огромных рук.

— И чего было пугаться мне, честному человеку? Не понимаю! А ведь ты сам видел — убоился я! Эх, всяко бывает!

Перевод В. Радиной



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

УОЛТ УИТМЕН

★

ИЗ „ЛИСТЬЕВ ТРАВЫ“

С английского

В июле этого года исполняется сто лет со дня опубликования книги Уолта Уитмена «Листья травы», вошедшей в золотой фонд демократической литературы Соединённых Штатов Америки.

По решению Всемирного Совета Мира эта знаменательная дата широко отмечается во всех странах.

Стихи Уолта Уитмена неоднократно издавались на русском языке и издавна известны советскому читателю.

Ниже мы печатаем новые переводы стихов Уитмена из книги «Листья травы».

О ФРАНЦИИ ЗВЕЗДА*

1870—1871

О Франции звезда!

Была ярка твоя надежда, мощь и слава!
Как флагманский корабль, ты долго за собой вела весь флот,
А нынче буря треплет остов твой — без парусов, без мачт,
И нет у гибнущей, растерянной команды
Ни рулевого, ни руля.

Звезда померкшая,
Не только Франции, — души моей, её надежд заветных!
Звезда борьбы, дерзаний, порыва страстного к свободе,
Стремления к высоким, дальним целям, восторженной мечты
о братстве,—

Предвестье гибели для деспота и церкви.

Звезда распятая — предатель её продал —
Едва мерцает над страной смерти, геройскую страной,
Причудливой и страстной, насмешливой и ветреной страной.

Несчастливая! Не стану упрекать тебя за промахи, тщеславие,
грехи,

Неслыханные бедствия и муки всё искупили,
Очистили тебя.

За то, что, даже ошибаясь, всегда ты шла к высокой цели,
За то, что никогда себя не продавала ты, ни за какую цену,
и каждый раз от сна тяжёлого, рыдая, просыпалась,

* Стихотворение напечатано в июне 1871 года, после того как Версальское правительство Тьера с помощью немцев подавило Парижскую Коммуну, «предало и продало» национальные интересы и достоинство страны. (Примеч. перев.)

За то, что ты одна из всех твоих сестёр, могучая,
 сразила тех, кто над тобою издевался.
 За то, что не могла, не пожелала ты носить те цепи, что другие
 носят,—
 Теперь за всё — твой крест, бескровное лицо, гвоздём пробитые
 ладони,
 Копьём пронзённый бок.

О Франции звезда! Корабль, потрёпаный жестокой бурей!
 Взойди опять в зенит! Плыви своим путём!

Подобна ты надёжному ковчегу, самой Земле,
 Возникнувшей из смерти, из пламенного хаоса и вихря,
 И претерпев жестокие, мучительные схватки,
 Явившейся в своей нетленной красоте и мощи,
 Совершающей под солнцем свой предначертанный издревле
 путь —
 Таков и твой, о Франция, корабль!

Исполнятся все сроки, тучи все размечет,
 Мучениям конец, и долгожданное свершится.
 И ты, родившись вновь, взойдя над всей Европой
 (И радостно приветствуя оттуда звезду Колумбии),
 Опять, о Франции звезда, прекрасное, искристое светило,
 В спокойных небесах, яснее, ярче, чем когда-нибудь,
 Навеки воссияешь.

НАШИМ ШТАТАМ *

(в их 16-е, 17-е и 18-е Президентства)

Почему все такие вялые, растерянные? Почему все дремлют
 и я дремлю?
 Какой удручающий сумрак! Что за пена и грязь на воде!
 Кто эти летучие мыши? Эти шакалы, засевшие в Капитолии?
 Какое гнусное Президентство! (О Юг, испепели их своим паля-
 щим солнцем!
 Север, заморозь своим ледяным дыханием!)
 И это Конгрессмены? Нелицеприятные Судьи? Это Президент?
 Ну что ж, поплю-ка и я, покуда спят наши Штаты.
 (Когда сгустится мрак, грянет гром и засверкают разряды,
 не миновать нам проснуться,
 Юг, Север, Запад и Восток, побережье и сердце страны —
 все мы, конечно, проснёмся.)

СТРАННУЮ СТРАЖУ Я НЕС В ПОЛЕ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ **

Странную стражу я нес в поле однажды ночью;
 Ведь днём рядом со мной был сражён ты, мой товарищ, мой сын,
 Только раз я взглянул в дорогие глаза, но их взгляд
 я никогда не забуду,

* Стихотворение написано в 1860 году. В нём речь идёт о трёх президентах пятидесятих годов: Фильморе, Пирсе и Бьюкенене. (Примеч. перев.)

** Стихотворение напечатано в 1865 году и навеяно впечатлениями войны Севера и Юга, в которой Уитмен участвовал на стороне северян, как санитар военных лазаретов. (Примеч. перев.)

Только одно прикосновение твоей простёртой руки,
 И мне снова в бой, нерешённый и долгий,
 Лишь поздно вечером, отпросившись, я вернулся туда и нашёл там
 Твоё холодное тело, мой товарищ, мой сын
 (оно никогда не ответит на поцелуи)!

Повернул тебя лицом к звёздам, и любопытный ветер
 овеял нас ночным холодком,
 Долго на страже стоял я в душистом безмолвии ночи,
 и терялось вдали поле сраженья,
 Странную стражу с горькой отрадой я нёс,
 Но ни слезы, ни вздоха; долго, долго на тебя я глядел,
 Потом сел рядом с тобой на холодной земле, подперев рукой
 подбородок,
 Проводя последние часы, бесконечные, несказанные часы,
 с тобой, мой товарищ,— ни слезы, ни слова,—
 Молчаливая, последняя стража любви над телом солдата и
 сына,
 И медленно склонялись к закату звёзды, а с восхода вставали
 другие,
 Последняя стража, храбрец мой (не смог тебя я спасти,
 мгновенно ты умер,
 Так крепко тебя я любил, охранял твою жизнь,
 непременно мы встретимся снова).

Потом кончилась ночь, и на заре, когда стало светать,
 Товарища бережно я завернул в его одеяло,
 Заботливо подоткнул одеяло под голову и у ног
 И, омытого лучом восходящего солнца, опустил
 в наспех открытую яму,
 Отстояв последнюю стражу, без смены, всю ночь, на поле
 сраженья,
 Стражу над телом друга (оно никогда не ответит на поцелуи),
 Стражу над телом товарища, убитого рядом со мной,
 стражу, которой я никогда не забуду,
 Не забуду, как солнце взошло, как я поднялся с холодной земли
 и плотно одеялом укрытое тело солдата
 Схоронил там, где он пал.

БЫЛ РЕБЕНОК, И ОН РОС С КАЖДЫМ ДНЕМ

Был ребёнок, и он рос с каждым днём и каждый день видел
 новое,
 И на что бы он ни взглянул — он всем становился,
 И всё становилось частью его на этот день, этот час
 Или на многие, многие годы.

Ранняя сирень стала частью его,
 И трава, и белый или розовый вьюнок, белый и красный клевер,
 и песня синицы,
 И мартовские козочки, и розовые поросята, табунок жеребят,
 и резвый телёнок,
 И шумливый птичий двор, и утята в грязи возле пруда,
 И рыбы, так непонятно повиснувшие под водой,
 и сама красивая непонятная вода,
 И водяные растения с большими плоскими листьями —
 всё стало частью его.

Апрельские и майские побеги стали частью его,
Зимние всходы и жёлтые всходы маиса, и овощи огородов,
И яблони — сначала в цвету, а потом все в плодах,
и лесная ягода, и придорожный сорняк,
И старый пьянчужка, ковыляющий домой из сарая при кабаке,
где он отсыпался после попойки,
И учительница, проходящая в школу,
Послушные мальчики и драчуны-забияки,
Румяные девочки в чистеньких платьях,
и босоногие негритята,
И всё, что менялось в городе и деревне, в которых он рос.
И родители: тот, кто зародил его, и та, что его носила и родила,
Они дали ему не только жизнь,
Они отдавали ему себя каждый день, они стали частью его.

Мать, спокойно собирающая ужин на стол,
Мать в чистом чепчике и платье, её ласковые уговоры,
и когда она проходит мимо — запах свежести от неё и от
её одежды,
Отец, сильный, поглощённый делами, раздражительный, грубый,
переменчивый, несправедливый,
Подзатыльники, быстрая громкая речь, когда он торгуется до
хрипоты
ради выгодной сделки,
Семейный уклад, привычные словечки, гости, вещи
и сладкая на сердце тоска,
Привязанность, с которой не совладать,
ощущенье всего, что окружает тебя,
и сомненье — а вдруг всё окажется сном,
Дневные сомненья и сомнения ночи,
и желанье узнать, так ли это всё и как именно,
Такое ли всё, каким оно кажется, или всё это только
проблеск и промельк?
Люди, снующие по улицам городов, что они,
как не промельк и проблеск?
А сами улицы, фасады домов, товары в витринах,
Экипажи, фургоны, тяжёлые настилы пристаней,
скопления и заторы у переправ,
Деревня на взгорье, когда издали видишь её на закате
с другого берега быстрой реки,
Тени, отсветы сквозь дымку, на колокольне, на крышах,
там, за две мили отсюда,
А тут рядом шхуна, сонно дрейфующая вместе с отливом,
с маленькой лодкой, зачаленной за кормой,
Или сумятица теснящихся волн, всплеск ломких гребней,
удары прибой,
В высоком небе пожар облаков и вдали полоса коричневой
отмели,
затерявшейся в чистом недвижимом просторе,
И горизонт, и пролетевшая чайка, и запах
солёных лагун, водорослей, ила,
Всё это стало частью ребёнка, — он рос с каждым днём
и каждый день видел новое и не перестанет расти,
будет всегда расти с каждым днём.

НА БЕРЕГАХ ШИРОКОГО ПОТОМАКА

На берегах широкого Потомака снова старые голоса,
(Всё бормочешь, всё волнуешься, неужели ты не можешь
прекратить свою болтовню?)
И старое сердце снова играет, и снова всем существом
ждёшь возвращенья весны,
Снова в воздухе свежесть и аромат, снова в летнем небе
Виргинии
ясное серебро и синева,
Снова утром багрец на дальних холмах,
Снова неистребимая зеленеет трава, мягка и бесшумна,
Снова цветут кроваво-красные розы.

Напой мою книгу своим ароматом, о роза!
Осторожно промой каждый её стих своей водой, Потомак!
Дай мне сохранить тебя, о весна, меж страниц,
пока они ещё не закрылись,
И тебя, багрец на холмах, пока они ещё не закрылись!
И тебя, неистребимая зелень травы!

Перевод Ивана Кашкина.



ПУБЛИЦИСТИКА

САБИТ МУКАНОВ

★

НА ЦЕЛИНЕ

СНОВА В РОДНЫХ МЕСТАХ

Говорят: время стирает следы на камне, не только в памяти. Может быть, это и так. Но есть у человека чувства и воспоминания, перед которыми отступает и время. Никогда не забыть мне широкую, бескрайнюю степь и зажатое между двумя перелесками зимовье нашего аула, а вокруг, на расстоянии дневного конного пути, — ни одного жилья. Это моя родина — урочище Жаманшубар. Шубар — по-казахски — молодой редкий лесок в степи; жаман — плохой. И вправду, ветры и снежные вихри бушуют здесь неделями. В дни, когда в степи беснуется «жынды буран» — сумасшедший буран, — когда всадник не видит ушей своей лошади, никто не решится отлучиться из аула. Но вот утихла непогода, и после неё зимовье узнаешь только по редким дымкам. Все дворы и землянки по крышу, а то и выше занесены снежными сугробами.

Жаманшубарцы занимались исключительно животноводством. Поэтому, меньше или больше, но скот был у каждого, и нам, детям аула, казалось: нет ничего интереснее, чем пасти молодняк. Увлекательно было кататься на телятах или заставить бодаться козлят... Правда, у меня не было своего скота, но я охотно помогал пасти молодняк всем аульчанам.

Чуть подрастёт и окрепнет молодняк, научится самостоятельно пастись, аулы откочёвывали на летнее пастбище у берегов озера Дос. К этому времени и трава подрастает. Южная сторона озера холмистая. На склонах этих холмов располагались наши аулы. Ещё южнее лежит большое кочковатое болото, протянувшееся неширокой полосой на два километра. На высоких, почти в рост человека, кочках гнездятся дикие утки, гуси, бесчисленное множество чаек.

В 1925 году в наших местах началось плановое землеустройство казахских аулов. С этого времени полукочевые аулы, облюбовав себе земельные угодья, начали вести осёдлый образ жизни. Конечно, выбирали для жительства более удобные участки с лесами и озёрами. А хороших мест в нашем крае много!

Летом 1928 года мне пришлось надолго расстаться с любимым Жаманшубаром. Только спустя почти десять лет удалось снова побывать там. Со мной были сыновья — я хотел показать им родные края.

В тот год весна была дождливая и вся степь покрылась высокой, сочной травой, а овраги и балки заросли густым ковылём. В его кустах любят вить гнёзда жаворонки. С восходом солнца взвиваются они в небо, замирают там, будто взятые на прикол, и звенят, звенят... Их называют у нас соловьями степи. И будто в честь встречи со своим старым другом, жаворонки пели особенно хорошо.

А ковыльные балки! Они, казалось, насквозь пропахли земляничкой. Это единственная ягода, обильно растущая в жаманшубарской степи. Бывало, заберёшься в ковыль, раздвинешь его стебли, и перед глазами сразу засверкают крупные, не тронутые солнцем, бледножёлтые, чуть розоватые ягоды спелой земляники...

Наконец, уже к полудню мы добрались до места старого зимовья жаманшубарцев. Теперь здесь было пусто, тихо, безлюдно. Я знаю здесь всё, могу указать, где стоял чей двор, где были наши снежные мальчишечьи горки с ямами для ловли нестероженных зайцев... Мы остановились перед развалившимися глинобитными стенами.

Это была недостроенная землянка отца. Тяжело больной, он так и не смог закончить её. Эта бедная саманная землянка — последнее, над чем трудились мои родители. Они так и не вошли под её крышу. А вокруг лежали разрушенные временем, ветрами, дождями строения — остатки когда-то большого, полного жизни зимовья.

Я смотрел на развалины, на окружающую их покрытую густыми травами степь и думал: «Почему же пропадает эта плодородная земля? Почему не придут сюда люди, не расстроят эту землю, не заставят её плодоносить?..»

СВЕТ В СТЕПИ

Весной прошлого года Центральный Комитет нашей партии принял историческое решение об освоении целинных и залежных земель.

С какой радостью читал я его! Живо представлял себе, как неузнаваемо преобразятся пустынные степи Казахстана. Сердце требовало: поезжай туда, в родной Жаманшубар, посмотри, что там будет сейчас происходить...

Но только в сентябре 1954 года мне удалось осуществить это желание.

Мы выехали из Петропавловска. По обеим сторонам дороги лежали вспаханные поля. Вздрыбленная мощными плугами, земля казалась безбрежным морем, чуть тронутым мелкой зябью. Ровные борозды, как волны, катились куда-то вдаль и терялись у горизонта. Уже потом я узнал, что в Северо-Казахстанской области в этом году одни только колхозы подняли 352 тысячи гектаров целины.

Как же началось наступление на целину в этом крае?

Постановление февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС было обнародовано 6 марта. А через несколько дней в Петропавловск — областной центр Северо-Казахстанской области — стали поступать телеграммы: уже ехали на целину молодые энтузиасты. Телефонисткам междугородной станции прибавилось работы — телефоны звонили без конца. В жизнь города, и без того кипучую, влились новые дела: надо было принять тысячи новосёлов.

Первая партия целинников прибыла в Петропавловск 14 марта в 6 часов утра. Несмотря на ранний час, встречать их пришли тысячи горожан. Играл оркестр. На вознишкем тут же митинге выступали и гости и хозяева.

Этот день был знаменателен и другим важным событием — советский народ выбирал депутатов в Верховный Совет СССР. Избирательный участок разместился в привокзальном клубе. В первый же день своего пребывания в Казахстане новосёлы стали избирателями.

Местное население радушно и гостеприимно принимало приехавших на целину. Но трудностей оставалось много и все их нельзя было предусмотреть. Весна выдалась поздняя — лишь в середине апреля начал таять снег. Машины буксовали и накрепко вязли в грязи. Их можно было вытащить только тракторами. Вскоре степные дороги настолько испортились, на них появились такие глубокие колеи и рытвины, что даже тракторы выбирались из них с большим трудом. И всё же, как ни тяжело было, люди и грузы доставлялись к месту назначения во-время.

«Места назначения» — это пункты строительства новых совхозов. Но такой пункт существовал пока что лишь в одном, фактически уже работающем совхозе имени Джамбула. В остальных границы территории были обозначены только на картах. Не так просто подобрать удобное место для жительства: надо, чтобы и питьевой воды было достаточно и лесок находился поблизости. Дело требовало организатора. Но большинство руководителей будущих совхозов прибыло позже рабочих, и это на первых порах очень тормозило работу.

Раньше других сюда приехал из Ставрополя вновь назначенный директор совхоза «Украина» Илья Карпович Григорьянц. На месте центральной усадьбы совхоза, на берегу озера Киргизбай, Илья Карпович своими руками вбил первый колышек. Это было начало начал. Теперь можно разворачивать и всё строительство.

В совхоз прибыли люди из самых разных мест: из Краснодара, Донбасса, Кубани, Москвы, Ленинграда, Молдавии, Алма-Аты. У каждого — красная книжечка с надписью

«ВЛКСМ» на обложке. Комсомольская путёвка! Кого и в какие края ни водила она, залогом каких только побед ни бывала!..

Раскрыв путёвку на первой, кремовой с белой каёмкой, странице, читаю:

«...мы имеем возможность увеличить посевные площади под зерновые культуры на несколько миллионов гектаров. Значение этого дела огромно. Зерновое хозяйство является основой всего сельскохозяйственного производства: чем больше мы будем производить зерна, тем больше будет не только хлеба, но и мяса, масла и других продуктов животноводства».

— Судя по путёвкам,— говорит мне Григорьянц,— все владельцы их должны бы быть людьми комсомольского возраста. Знакомлюсь с ними, вижу, есть и пожилые, да и немало — примерно треть всех приехавших. Даже растрогался: подходит бородач, этак лет пятидесяти, а у него путёвка комсомольская. Вот что значит — советский человек!..

Распростившись с Григорьянцем, я отправился в соседний совхоз имени Докучаева, на территории которого находится милое мне урочище Жаманшубар. Что-то там сейчас?..

Ночи были тёмные. Мы ехали по краю широко раскинувшегося массива поднятой целины. Степь, казалось, дрожала от грохота, а свет фар далёких тракторов, сталкиваясь, сливаясь, сходясь и расходясь с десятками других таких же голубоватых лучей, создавал впечатление чудесного фейерверка. Это было торжество труда тысяч человеческих рук... Да, разве под силу было победить этот край человеку в одиночку!

Мне невольно вспомнился дед Алдаберген и очень захотелось повидаться с ним. В этом году ему пошёл сто второй год. Живёт он неподалёку, в колхозе Майбалык, Пресновского района. Вот и знакомый деревянный домик. Нас встретил сын старика, Суратай, примерно моих лет. Как он постарел! «Сын постарел, а каков же отец?» — подумал я и спросил про Алдабергена.

— Ничего, живёт спокойно, коротает дни... Вот только недавно одно происшествие его сильно напугало.

— Какое?

— Было это глубокой ночью, все спали. Меня разбудил крик: «Суратай, вставай скорее!» Я проснулся, сел, да так и застыл в постели. Весь дом дрожал, как во время землетрясения. Со двора слышался гул, треск, грохот... «Суратай, что случилось?» — спросил отец дрожащим голосом. Сам не понимая, что произошло, я накинул халат и выбежал на улицу...

— И что же?

— А вот слушайте: смотрю, со стороны Благовешенки показались светящиеся глаза — пара, вторая, третья, десятая... Шла огромная колонна тракторов. Своими прожекторами они осветили весь Майбалык. Под яркими лучами фар мы стояли, ослеплённые, ничего не видя и слыша только грохот. По шуму нам казалось, что хвост колонны находится ещё километрах в пятнадцати. И тогда мы узнали, что все эти тракторы идут в новые совхозы. Сколько же их было!.. — покачал головой Суратай.

Мы вошли в дом, и я низко поклонился старому Алдабергену. Разговор зашёл сперва о нынешних днях, а затем, конечно, не обошлось без воспоминаний...

— Когда мы были детьми, — рассказывал старик, — огонь добывали из кремня. Спички я увидел уже взрослым джигитом. Это был первый свет, который принесли русские в тёмную казахскую кибитку. А вот теперь я пользуюсь лампой, которая горит без жира, — указал Алдаберген на электрическую лампочку.

— В дни моей молодости, — продолжал старик свой рассказ, — казахи ездили только верхом. Русские научили нас применять сначала двухколёсную, а затем и четырёхколёсную телегу. Нынче мы стали ездить уже на автомобилях. А молодёжь и на самолётах летает... У русских мы узнали, как сеять хлеб. Это уже в советское время. Потом пришёл в наш аул и трактор. Но земли было много, освоить её всю колхозы не могли. Я думал: настанет ли время, когда вся наша степь будет вспахана и засеяна зерном?.. Верил — настанет. Но вряд ли мне доведётся дожить. А оказывается, дожил...

МОИ ПОБРАТИМ

Целинники — народ требовательный. Они не только посчитают, сколько гектаров целины ты поднял, но и строго проверят, как вспахана земля. И если в совхозе имени Докучаева Владимир Константинович Иванченко слывет лучшим бригадиром трактористов, так, видно, уже не к чему придаться в его работе.

Приехал Иванченко из Красноярского края. Все двадцать семь лет его жизни связаны с сельским хозяйством. Учился в школе. Окончив семилетку, стал работать в колхозе. Полюбил технику, научился водить трактор. Хоть Владимир Константинович не член КПСС и даже не комсомолец, он одним из первых откликнулся на призыв партии и поехал на целину.

Парторг совхоза, Кашшаф Мухамедшин, рассказывал об Иванченко много хорошего. Его бригада при задании в три тысячи гектаров вспахала пять тысяч гектаров.

— Когда будете в его бригаде, обратите внимание: на участке не найдёшь ореха даже в ладонь величиной. Края всей клетки отбиты чётко, будто на чертеже. Значит, трактористы точно соблюдали границы, предусмотренные землемерами. А ведь это очень существенно... В бригаде — образцовая дисциплина. Иванченко — человек взыскательный, умеет настоять на своём, говорит о недостатках прямо, в лицо, не стесняясь сделать упрёк и пожуричь. Когда он ведёт трактор в борозде, сразу видишь — образцовый тракторист; когда слушаешь, как он отдаёт распоряжения или проверяет работу других, каждому понятно: вот примерный бригадир. И человек хороший, весёлый. И семьянин отличный — живёт со своей Раисой Васильевной душа в душу.

Понятно, что я стремился поскорее познакомиться с Иванченко. Блондин, среднего роста, хорошо сложенный, он держался уверенно и независимо.

— Наконец-то довелось увидеть здесь и писателя! — сказал он, улыбаясь.

— Почему это вас удивляет? — спросил я.

— Да как же? Приезжали к нам в совхоз учёные, агрономы, инженеры, землемеры, гидротехники, электрики, конструкторы, врачи, часто бывают партийные, комсомольские и профсоюзные работники, а вот писатели и артисты, как сговорились, не едут.

Я принял упрёк. Он продолжал:

— Мы где работаем? В Казахстане. Верно?

— Безусловно!

— А если так, то нам его историю нужно знать, географию, экономику, культуру. Но с лекциями на целину не едут, книг о Казахстане не везут. Возьмём, к примеру, эти места, — и он показал рукой на черневшие вдали остатки старых строений. — Говорят, здесь были зимовья кочевых аулов. Почему ушли отсюда аулы, куда?..

— А между прочим, ответ найти легко, — вступил в разговор Мухамедшин. — Ведь ваш собеседник как раз уроженец этих аулов.

Когда я рассказал Владимиру Константиновичу о моём родном ауле, о том, почему он откочевал отсюда, бригадир воскликнул:

— Вы старожил этих мест, а я новосёл! Так что позвольте вас вторично приветствовать на этот раз как земляка, — и он крепко пожал мне руку.

Потом мы отправились осматривать участки, обработанные бригадой Иванченко. И с какой бы стороны я ни смотрел, всюду видел сливающуюся с горизонтом свежеспаханную землю. В этой однообразной равнинной степи уже не осталось памятных мне с детства примет. Всюду вокруг — поднятая целина. Действительно, есть чему радоваться старым казахам, таким, например, как древний дед Алдаберген: скоро степь даст много-много хлеба...

— Какие же трудности встречались в работе? — спросил я Иванченко.

— Да, пожалуй, главная беда была, когда из-за нехватки горючего тракторы простаивали.

Оказывается, что обеспечить горючим трудно из-за недостатка цистерн. Этот вопрос не решён вообще во всех совхозах, где я побывал. Очевидно, что выход из положения заключается в том, чтобы создать необходимые запасы горючего, установив возле центральных усадеб большие баки.

— Кстати, ещё об одной трудности, — заметил Иванченко, шагая рядом со мной по своему участку. — Столько комаров, как здесь, я ещё нигде не видел. Летом их меньше, но весной была тьма-тьмушая. Работать в тяжёлой одежде несподручно, а в лёгкой — загрызут.

Я только кивнул и живо вспомнил, как сам когда-то страдал от комаров.

— Вот тут надо учёным изобрести какое-либо настоящее средство.

На всей площади, где работает бригада Иванченко, остались нетронутыми два небольших участка — берёзовый лесочек и старое кладбище аула Жаманшубар на окраине.

Вместе мы зашли на кладбище.

— Это старое кладбище мы оставили нетронутым, — сказал Иванченко. — Не знаю, кто здесь похоронен, но ведь все погребённые тут были близки и дороги кому-то.

Я молча пожал ему руку и отошёл в сторону к двум маленьким, почти сравнявшимся с землёй холмикам. То были могилы моих родителей. Иванченко следил за мной глазами. Он всё понял. И мой взгляд и благодарное рукопожатие. Я первый день видел этого человека, но он уже стал родным мне. Он понял и это. И когда мы отошли от кладбища, сказал просто:

— Пойдём ко мне в хату... Пообедаем.

«Хата» оказалась обыкновенным вагончиком. Он состоял из трёх отделений: в двух боковых — койки ярусами, а в среднем — кухня. Обстоятельные жильцы оборудовали и душ.

В одной половине вагончика живёт Иванченко с женой и сыном, в другой — его напарник Головкин с семьёй.

Раиса Васильевна пригласила нас к столу.

— Картофель, помидоры, лук — всё это ваши, жаманшубарские, — улыбнулся Иванченко, принимая от жены тарелку с борщом. — И наши... И вот по этому случаю хочу я предложить тост.

Иванченко положил мне руку на плечо.

— Встреча с вами — для меня праздник. Вы жаманшубарец, а теперь мы тоже стали жаманшубарцами. Хотите, буду вашим побратимом. Хочешь?

Мы выпили и поцеловались.

— А теперь, — вмешалась Раиса Васильевна, — я вас, знаете, чем угощу? Специально для вас поджарила. Рыбой из вашего родного озера Дос... Дос, кажется, означает «друг»? Хорошее слово, правда?..

НОВЫЕ ГНЕЗДА

В Северо-Казахстанском облздравотделе произошёл забавный случай. Однажды утром в кабинет к заведующему отделом Акжанову вошла молодая женщина. Глаза её припухли от слёз.

— Чем могу вам помочь? — спросил Акжанов, с недоумением глядя на её заплаканное лицо.

Вместо ответа женщина разрыдалась.

— Что с вами? — забеспокоился Акжанов. — Возьмите себя в руки, успокойтесь!

— Нет, я всё равно не поеду! — выкрикнула посетительница. — Можете отобрать мой диплом, но я ни за что, ни за что не поеду!..

— Позвольте!.. Давайте сначала спокойно выясним всё. Кто вы? Откуда?..

— Вы меня не уговаривайте, товарищ Акжанов, — всхлипывая, заговорила женщина. — Сказала не поеду, значит не поеду. Вот мой диплом, можете оставить его у себя.

Акжанов взял диплом и стал внимательно его просматривать. Клара Рейнгольдовна Янко. Окончила Алма-Атинский медицинский институт. Врач.

— Очень хорошо! — сказал Акжанов, положив диплом перед собой. — В области в этом году двенадцать новых совхозов, всех работников подыскали, а вот врачей не хватает. Мы ждём тринадцать выпускников-медиков. Повидимому, вы одна из них?

— Да... Но всё равно, вы и не думайте, что я соглашусь поехать на целину.

— Почему?

— Мне только двадцать три года, мне хочется жить!.. Там меня растерзают.

— Где? Кто растерзает?

— На целине!

— Кто это вам наговорил? — засмеялся Акжанов.

— Наслышалась.

— Но от кого же?

— Не всё ли равно? О хулиганах, которые на целину поехали, даже в газете писали. Посылайте куда угодно... В любое захолустье. Готова прожить всю жизнь в самой глухой деревне. А ваш отдел кадров ни с чем не желает считаться.

— Право, вы упорствуете по какому-то недоразумению. В новых совхозах, как и везде, могут случайно оказаться несколько хулиганов, но ведь абсолютное большинство приехавших — честные, культурные, передовые люди.

И Акжанов, недавно побывавший во многих новых совхозах, начал рассказывать о том, что видел сам. И было в его словах столько искренности, такая большая правда, что Янко вдруг почувствовала всю нелепость своих сомнений.

— А впрочем, — вдруг сердито перебил себя Акжанов, — зачем, собственно говоря, я вас уговариваю. Вы комсомолка, человек, надо полагать, сознательный. Вам почётное дело предлагают, а вы... Да, что там... После сами будете смеяться...

Эту историю рассказала мне сама Клара Рейнгольдовна Янко — врач совхоза «Украина». Я встретил её у входа в небольшую больницу совхоза. Она шла домой, только что приняв новорождённого — нового здешнего жителя.

— Ну, и как настроение? — спросил я.

— Замечательные люди! — восторженно ответила Янко.

— А хулиганы?

— Да я их и не видела. Говорят, в первые дни было несколько случаев, но комсомольцы живо с ними разобрались. Кого можно было исправить — исправили, а злостным предложили убираться из совхоза туда, откуда приехали.

— А бытовые условия вас удовлетворяют?

— Ничего, жить можно. Может быть, и совсем здесь останусь. С квартирами, правда, пока ещё трудно. Нам на пятерых дали одну двухкомнатную квартиру. Мы её сами побелили, покрасили полы, потолки, окна, двери. Как говорится, своими руками сделали себе гнездо. Приходите, посмотрите, как у нас уютно стало...

Об этих самых «гнездах» хочется поговорить особо. Приехавшие временно жили неподалёку, в соседних колхозах, а с наступлением весны переселились в палаточные городки. Однако в этих местах холодная погода частично держится даже после того, как стаял снег. Нет-нет да и задуют с севера пронизывающие, студёные ветры. Тут уж в палатке не спасёшься.

— Самое трудное, — рассказывали мне рабочие, — ложиться спать и вставать. Вернёшься с работы усталый, хочется поскорее раздеться, лечь в постель. А она холодная как лёд. И долго не можешь уснуть. Утром — то же самое. Одеваешься, а сам дрожишь как осенний лист.

Правда, в палатках установили печки. Но не будешь же их топить круглые сутки. «Времянки» так же быстро остывают, как и нагреваются. Много топить — в палатке становится душно, как в бане, мало топить — никакой пользы.

— Обедать плохо, — жаловались другие. — Начальство не позаботилось оборудовать настоящую кухню и тёплую столовую. Пока из полевой кухни принесут обед, он совсем остывает. Потом застывший жир на губах размазывается.

Разумеется, палатки были временным выходом из положения. А приехавшие на постоянную работу остро нуждались в хороших и удобных жилищах. В большинстве случаев возможности для этого были. Но, как часто бывает, помешали непредвиденные обстоятельства.

Для двенадцати вновь созданных совхозов в Северо-Казахстанской области было отпущено несколько сот сборных домов. Они прибывали издалека, и при установке их на месте встречалось немало трудностей. Дома направлялись некомплектно. Некоторые

детали вообще не попадали по адресу и блуждали где-то по другим станциям. Дома подолгу лежали несобранными.

Понятно, что такого количества домов было недостаточно для того, чтобы разместить всех. Надо было строить жилища на месте. Для этого государство ассигновало крупные средства. Кроме того, для индивидуальных застройщиков был открыт кредит. Строительство началось во всех совхозах с весны, но не везде сумели сразу навести должный порядок.

Сооружение совхозных домов было целиком возложено на областное строительномонтажное управление, сокращённо — СМУ. Но работало оно часто из рук вон плохо.

Уполномоченным СМУ в совхозе «Украина» был тогда Ксенофонт Пантелеймонович Попов. Как бы мимоходом, он любил упомянуть о том, что участвовал в строительстве Волго-Донского и Туркменского каналов, а здесь, мол, размах не тот. Одним словом, работник больших масштабов. Он о себе так и говорил: «Привык, знаете, к крупному строительству».

— Вы, наверное, сами просились на целину? — спрашиваю я.

— Конечно.

— А для какой цели?

— Я думал, здесь будут воздвигаться трёх-четырёхэтажные дома с красивым архитектурным оформлением. Оказывается, приходится строить шалаши. Посмотрите сами, — усмехнулся Попов, подойдя к окну и показывая на небольшие новые домики.

— Но скажите, пожалуйста, — иронически заметил присутствующий при разговоре директор совхоза Григорьянц, — почему же вы, такой мастер, всё-таки затянули строительство? Ведь не выполнена и одна десятая плана.

— Мне не создали условий для работы. Даже машины для разъездов нет, — оправдывается Попов.

— Конечно, это важное условие, — серьёзно говорит Григорьянц, — хотя я никогда и не отказывал вам в машине. Дело тут в другом. Плохо работаете, товарищ Попов. Ведь до зимы осталось не более месяца.

— Не понимаю, чего вы от меня хотите. Вижу, нужно мне поскорее уезжать из этой дыры...

Во многих совхозах жилищное строительство велось недопустимо медленно. Хозяйства вступали в зиму, не имея возможности обеспечить людей тёплым жильём.

Более благополучно обстояли дела в совхозе имени Хрущёва. Из областного центра прибыло достаточно строителей, а для перевозки строительных материалов выделили необходимый транспорт.

Домов в совхозе построили немало, но странно только; что расположены они не улицами, а разбросаны как попало, вкривь и вкось, тупиками и переулками. Этот хаос портил всю картину постройки.

Главный инженер Пётр Семёнович Голованов дал мне по этому поводу такое «разъяснение»:

— Некоторые наши улицы будут закрытыми. Здесь мы разобьём газоны. А на сквозных улицах, по которым движется транспорт, этого сделать нельзя.

Не знаю, может быть, главный инженер и был прав, но общий вид посёлка не радовал в то время красотой.

Прогуливаясь по посёлку, я невольно посматривал на озеро Алыпкаш, раскинувшееся рядом. Весной оно разливается до 20 километров в окружности, в летние месяцы высыхает у берегов. Образовавшиеся топи зарастают высокими и густыми камышами.

Да ведь только этих камышовых зарослей на Алыпкаше хватило бы на многие постройки ближайших четырёх совхозов! А сколько вокруг других, поросших камышом озёр! Вот где бы надо построить камышитовый завод.

Я сказал об этом Голованову. Он согласился со мной, но заметил, что это проблема будущего, а сейчас надо заботиться о строительстве обычных домов.

Как уже говорилось, в новых совхозах большинство домов — стандартные, сборные. Стены у них — дощатые, заполненные бумагой, войлоком, опилками. При перевозке часть этих материалов высыпалась и растерялась, а при сборке на пустоты не всегда обра-

шали должное внимание. Невольно возникало сомнение: будут ли эти дома тёплыми? Хорошо хоть, что в некоторых совхозах решили их штукатурить изнутри и снаружи.

В ряде мест сами новосёлы начали делать дома из самана. Это очень ценная инициатива. Неоштукатуренные и непобелённые, они выглядят не столь уж красиво, но можно смело утверждать — любые морозы выдержат.

Так строили в совхозах «первые гнёзда», как любовно называли целинники собственноручно сделанные домики. Вывод напрашивался сам собой: было бы лишь желание, а сделать можно многое и местными средствами, не дожидаясь, когда всё необходимое придёт извне.

Первая зима на целине была трудной. Возьмём, к примеру, проблему топлива. На территории некоторых совхозов нет леса, растёт только плохонький мелкий раkitник, есть немного кустарников, вот и всё. Что же делать? Ждать, пока откуда-либо завезут дрова? А зима не за горами. Между тем выход можно было легко найти. На помощь должен был прийти тот же самый камыш. Бывало, во время зимовок казахские аулы всегда им пользовались для отопления. Надо бы организаторам новых совхозов получше изучить местные условия жизни, посоветоваться с коренными здешними жителями.

И ещё такое упущение: не подумали о лошадях и санях. Все надеялись на автомашины и тракторы. Но в условиях нашей по-сибирски морозной, метельной, буранной зимы они мало пригодны. Гораздо надёжнее упитанные, сильные кони. Они и по снежной целине проложат путь и в непогоду пробегут быстрее трактора.

Несколько слов о торговле. В магазинах много мануфактуры, одежды и других промышленных товаров, продуктов питания. Покупателей тоже хватает. Рабочие совхозов хорошо зарабатывают. Вот любопытные цифры: за последние шесть месяцев рабочие и служащие совхоза имени Докучаева перевели своим родным около 400 тысяч рублей, тимирязевцы — почти 500 тысяч.

Люди хотят жить культурно, приобрести ценные вещи, это должна учитывать торговая сеть.

На одном совещании в совхозе «Украина» я слышал такие нарекания.

— Вот получил квартиру, хочу прилично её обставить. Но где же купить мебель? — спрашивает Пётр Крыса.

— В наших квартирах нет электрического света, — говорит Фёдор Мацан. — Занимаемся при керосиновых лампах. Но ламповых стёкол нигде нет. Неужели они стали дефицитным товаром?

Василий Типа любит нарядно одеться. Его претензии вполне основательны:

— У нас ширпотреба хоть завались, а красивых костюмов не достанешь.

— Что там мебель, костюмы, — добавляет Лукьяненко. — Мне нужны самые обыкновенные кадки для засолки овощей. А откуда я их возьму, если нет в продаже!..

Много разных вещей требуется для хозяйственного обзаведения на новых местах.

...Я сидел на тракторе рядом с Владимиром Коноваловым, работавшим на дискотеке. Наступило время обеденного перерыва. Был полдень. Сухой, прохладный, осенний воздух Жаманшубара полон живительной свежести. Дышалось легко, полной грудью.

По чёрной пахоте к нам приближался человек.

— Коля Сечников! — сказал Коновалов, приглядевшись.

— Кто он?

— Тракторист. А вот зачем сюда идёт, не знаю.

Подошёл Сечников, поздоровался и заговорил с Коноваловым. Оказалось, Коля и Дуся Зуева решили пожениться. Но как лучше справить свадьбу? Володя Коновалов — секретарь комитета комсомола, значит с ним и надо посоветоваться.

Жених и невеста хотели поставить всё на широкую ногу. Сначала устроить вечер для всей совхозной молодёжи, потом, конечно, угощение. Но в совхозе ещё не было клуба, а на открытом воздухе — погода не позволяла. Друзей тоже пригласить некуда: Коля пока жил в общежитии.

Коновалов подумал немного и предложил: соберём гостей в помещении, которое строится для пекарни. Оно почти готово. Если окна не успеют застеклить,— не беда, а электропроводку обеспечим сами. Для праздничного угощения годится большая палатка. Меблировку можно позаимствовать у соседей. Всё будет в порядке...

Тихие сумерки. Высоко повис серп молодого месяца, и звёзды весело мигают, будто радуются тому, что происходит сейчас на этом кусочке необъятных казахских степей.

В окнах домов зажглись огоньки, но подъезды и улицы ещё не освещались. Только крыльцо одного большого саманного здания ярко иллюминировано. Это была пекарня. Со всех концов посёлка сюда толпами шла молодёжь. Звуки громкой песни, переборы гармоний уносились далеко-далеко и откликались издали приглушённым эхом.

Над входом в пекарню висел плакат, на котором красной краской выведено: «Добро пожаловать, дорогие гости!», и чуть пониже — «Нашим молодожёнам желаем вечного счастья!». Внутри помещения — просторно, торжественно. От недавно поставленного, ещё не крашеного пола пахло сосновой стружкой. На месте будущей пекарной печи расположился оркестр. Им руководил опытный дирижёр Горосов. Ему уже шестьдесят лет. В молодости Горосов окончил Ленинградскую консерваторию и всю свою жизнь посвятил рабочей самодеятельности. Организованный им в совхозе имени Докучаева музыкальный кружок пользуется заслуженной популярностью во всей округе.

Гостей марш встретил. Действительно, как говорил Володя Коновалов, всё было в порядке. Разве что недоставало цветов. Но зато у молодых людей в петлицах пиджаков, а у девушек на платьях виднелись колосья пшеницы. На головах жениха и невесты тоже красовались пшеничные венки. Красиво и символично!

Коновалов горячо поздравил молодых, зазвенел смех, песни. Вот и ещё одна новая семья на нашей земле!

В АННОВКЕ

В степи, на берегу большого чистого озера Жарколь растёт новый городок — Анновка. Это — место расположения совхоза имени Богдана Хмельницкого. До него не так просто добраться: ближайшая к Анновке железнодорожная станция — Кустанай, а до неё полтора километра. Шоссейных путей пока ещё нет, проложены только просёлочные, грунтовые.

Сюда я попал в октябре прошлого года. Местность была хорошо мне знакома с детства. Но как же всё здесь изменилось! Старые, еле заметные тропинки прежних кочевых караванов теперь перепаханы и исчезли без следа. Пролегли новые широкие полосы дорог, оставленные между квадратами пашни. Они устремились прямо, как стрелы...

Совхоз имени Хмельницкого создавался одновременно с остальными. Однако обстроился он куда лучше. Не кривя душой, из всех виденных мной на целине совхозных посёлков Анновку можно смело поставить в пример и по темпам строительства, и по разумности планировки, и по нарядности построек, и во многом другом.

Отрадно отметить, в частности, что здесь очень серьёзно отнеслись к культурно-просветительной работе. Построили отличный клуб со сценой и зрительным залом на 250 человек. Уже занимаются физкультурный, хоровой и драматический кружки. Закуплены инструменты для духового оркестра, театральные реквизиты.

Совхоз радиофицирован. Во всех полевых бригадах есть радиоприёмники, патефоны с хорошим набором пластинок, шахматы, шашки, домино.

Несомненно, что всё это имеет большое воспитательное значение и оказало своё влияние на быт молодых рабочих.

В совхозе имени Богдана Хмельницкого, как, впрочем, и повсюду на целине, основное ядро коллектива составили комсомольцы. Они инициаторы социалистического соревнования, они активно борются за высокую производительность труда, за дисциплину. К проявлению пошлости, к аморальным или хулиганским поступкам относятся здесь с особенной нетерпимостью и строгостью.

Был такой случай с шофёром Горбуновым. Любитель выпить, он в нетрезвом виде чуть не разбил машину с пассажирами Комсомольская организация совхоза исключила Горбунова из своих рядов, добились, чтобы его сняли с работы и отправили восвояси.

Спустя некоторое время Горбунов прислал письмо. Он писал: «Дорогие друзья! Приезд в родной Ужгород не радует меня. Я глубоко понял, какую большую ошибку допустил. Не только знакомые, друзья, но и родные — все осуждают меня. Хотел возвратиться к вам, но комитет комсомола вторично выдать мне путёвку отказался. Убедительно прошу вас, напишите сюда письмо и походатайствуйте, чтобы мне выдали новую путёвку. Со всей искренностью даю вам слово, что, если удастся мне снова попасть в ваш совхоз, буду работать честно... А пить я бросил окончательно».

Комсомольцы совхоза решили вызвать Горбунова.

Одним из первых культурных очагов совхоза стала неполная средняя школа. Примечательно, что школьное здание построено самими учителями и учащимися. Кроме прораба, никто из них в жизни не держал топора. Ничего, быстро научились. И вовремя справились — первого сентября в школе начались занятия. В них учится семьдесят ребят. Учебными пособиями они обеспечены.

Школа небольшая, но очень уютная. Особенно украшают её цветы. Это забота Валентины Георгиевны Оводовой, жены директора совхоза.

— Мой отец — агроном, муж — агроном, сама я тоже агроном, сын, Серёжа, учится в сельскохозяйственном институте, — говорит Оводова. — Приехала сюда — нигде ни одного деревца. В домах нет цветов. Пришлось съездить в Курган. Все цветы, что вы видели в школе, я оттуда привезла. Скоро в центре посёлка разобьём парк. Да, кстати, этот вопрос сейчас обсуждается на заседании педагогического совета. Пойдёмте туда.

О парке педагоги говорили как о деле решённом, в успехе никто не сомневался. Директор школы, Полина Георгиевна Турова, так и заявила: если мы своими силами сумели построить школу, то и сад сможем заложить. Сейчас речь шла уже о практических делах — о саженцах, теплицах, планировке.

С заведующей совхозным детским садом, Полиной Кузьминичной Бакаевой, мы встретились около кладовой, когда она выгружала из машины овощи. Дело в том, что совхоз в этом году не успел обзавестись своим огородом, поэтому заготавливать овощи пришлось в соседних колхозах. Бакаева сказала мне:

— Пройдите сами в помещение, сейчас там дети заняты трудом.

«Заняты трудом!» Интересно, какой может быть труд у малышей? У казахов есть поговорка: «Что увидит в гнезде, то схватит и в полёте». Правильно сказано. Дети целинников видят вокруг себя строящиеся дома, ежедневно слышат разговоры старших о строительстве. В детском саду ребятки, усевшись за большим столом, тоже строили дом.

БЫВШАЯ ЦЕЛИНА

Перед отъездом в Алма-Ату я посетил озеро Дос. Его южный берег довольно высок. Среди открытой, раскинувшейся, как скатерть, равнины прибрежная возвышенность кажется горой. Если взобраться на неё, взору предстают широкие просторы.

И вот я стою на высоте у Доса. Вокруг — необозримая степь, и вся она вспахана. Это уже бывшая целина! Весной всё здесь станет сплошным светлозелёным морем нежных всходов. В разгар лета — белёсым, колеблющимся: стебли хлебов поднимутся выше, и колосья начнут созревать. Но если я приеду сюда позже, в августе или сентябре, то увижу степные корабли — комбайны, плывущие в золотых волнах пшеницы, сотни автомашин, отвозящих на сыпные пункты щедрые дары этой земли — тяжёлое, налитое силой, теплом и светом солнца зерно...

Одна только мысль уже давно не давала мне покоя.

Северные области Казахстана очень бедны благоустроенными путями сообщения. В некоторых районах есть грейдерные, насыпные дороги, но они без всякого покрытия, и беспрестанно курсирующие машины так их разбили, что шофёры предпочитают этим дорогам обыкновенные, просёлочные.

От многих новых совхозов ближайшие железнодорожные станции находятся на расстоянии до двухсот километров. Как же вывозить из глубины степей зерно? Конечно, со

временем всё устроится. Ну, а вот теперь, в первые годы поднятия целины?.. Хорошо, если осень не будет дождливой. Но как редки погожие осенние недели в этих краях!..

Вблизи послышался автомобильный гудок. Я обернулся. Со стороны озера поднялись четыре вездехода «ГАЗ-69». Среди прибывших был мой знакомый — Андрей Андреевич Калинин, заместитель председателя исполкома Северо-Казахстанского областного Совета.

— Вот кого не ожидал здесь встретить! Очень рад вас видеть! — воскликнул он. — Знакомьтесь: представитель Гущосдора СССР Иван Иосифович Левитан.

Разговор сразу зашёл о дорогах. Мы уселись на траве, и Левитан развернул большую карту. Это был план дорожного строительства на ближайшие три года. Я увидел стрелки будущих направлений: от Кустаная — до Петропавловска и дальше до Караганды, от Акмолинска — до Кустаная, от Кокчетава — до Павлодара...

— А теперь посмотрите сюда,— торжествующе заявил Калинин, вынимая из полевой сумки рулончик кальки.— Видите, какая паутина линий? Это железные дороги, намеченные к постройке уже в 1955—1956 годах.

По плану, утверждённому правительством, в северных областях Казахстана будет проложено свыше двух тысяч километров новых стальных магистралей. Они свяжут все хлебные районы. Одна из дорог пройдёт мимо Жаманшубара и озера Дос. Станция расположится на самом берегу.

И мне виделись эти дороги. Широкие и прямые, они уходили в щедро озарённую солнцем даль, звали вперёд и вперёд.

*Перевод с казахского
Ф. Моргуна.*



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЮРИЙ ЖУКОВ

★

ПАРИЖ, МАРТ 1955

*Странички из дневника журналиста **

Люди Чёрной долины.

15 марта. Мы приближаемся к Чёрной долине — так называют здесь угольный бассейн, находящийся в самом центре страны, в департаменте Луары. Хочется вновь посетить шахтёрский городок Фирмини, в котором прежде мне приходилось бывать не раз, хочется вновь встретиться со старыми знакомыми — горняками, потолковать с ними.

Впервые меня привлекли сюда грозные события, развернувшиеся в дни героической забастовки французских шахтёров, осенью 1948 года. Там, в Чёрной долине, шли жестокие схватки между бастующими горняками и брошенными против них частями охранных войск. Рабочие с беззаветной доблестью защищали свои шахты, отбиваясь палками и камнями от вооружённых охранников, но те снова и снова шли на штурм: власти хотели во что бы то ни стало захватить шахты, чтобы затем пустить их с помощью штрейкбрехеров.

В районе Фирмини борьба принимала особенно ожесточённый характер: это был старый рабочий центр с боевыми традициями. Мне рассказывали, что в период империалистической войны 1914—1918 годов здесь происходили волнующие антивоенные демонстрации: жёны шахтёров ложились на рельсы, чтобы остановить эшелоны, увозившие их мужей и сыновей на фронт, где они должны были умирать ради интересов капиталистов. Пример этих мужественных женщин вдохновил три десятилетия спустя на подвиг славную Раймонду Дьен, которая своим телом преградила путь эшелону с танками, предназначенными для войны в Индокитае.

Недавно, разбирая свои старые записи, я нашёл среди них пожелтевший от времени номер издаваемой в городе Сент-Этьен газеты «Патриот», окаймлённый траурной рамкой. Он был датирован 23 октября 1948 года. Огромные заголовки гласили: «Охранные войска убивают рабочих шахты Камбефор. Винтовки, автоматы и гранаты против рабочих, которые только что отбили свою шахту». И далее шли взволнованные строки, наспех набросанные в последнюю минуту корреспондентом газеты, очевидцем этой расправы:

«Один шахтёр убит, один в предсмертной агонии, пятнадцать раненых, в том числе многие в тяжёлом состоянии; таков трагический итог деяний убийц в военной форме. Они стреляли, трусы, в безоружных рабочих, без предупреждения, внезапно... Этого преступления шахтёры не простят никогда!»

Газета сообщала далее:

«Раненые были немедленно доставлены их товарищами в госпиталь Фирмини.

Один из них — Барбье Антонин, отец семьи, проживавший в квартале Файоль города Фирмини, раненный пулей в живот, — скончался по пути в госпиталь.

Гойо Марсель, шахтёр, в прошлом активный участник движения Сопrotивления гитлеровским оккупантам, находится в очень тяжёлом состоянии — пять ранений в области живота. Он был немедленно подвергнут хирургической операции.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

У Рубена Жана перебита пулей артерия бедра.

Бастид получил пулю в шею, а у Сульера Матье пробито пулей бедро.

Был ранен и семнадцатилетний юноша Фор Антуан, находившийся за двести метров от места схватки...

В Фирмини клокочет гнев.

Огромная толпа заполнила улицы.

Женщины с негодованием клеймят убийц и оплакивают убитого Барбье и раненых.

На подступах к госпиталю стоят сотни людей в ожидании новостей об исходе операций.

Как только новость о расстреле забастовщиков разнеслась по городу, все заводы забастовали».

25 октября 1948 года город Фирмини хоронил Антонина Барбье. Газеты писали, что это был честный, мужественный человек, отстаивавший в борьбе рабочее дело. Он прожил сорок четыре года, и в том числе тридцать один год отдал работе на шахтах. Безутешная вдова Барбье и его девятилетняя дочурка — Маринетт — горько оплакивали тяжкую утрату.

За гробом Барбье шли сорок тысяч рабочих, — никогда ещё за всю свою историю Фирмини не видел на своих улицах такого скопления людей. Растерявшаяся полиция даже не пыталась препятствовать этой могучей демонстрации. На главной площади города состоялся большой митинг протеста против зверств полиции. По всей Франции были прекращены работы в знак солидарности с бастующими шахтёрами.

Тем временем на шахтах продолжались упорные схватки с охранными войсками; войска упорно пытались выбить забастовщиков из занимаемых ими помещений. Кое-где на штурм возведённых рабочими баррикад были брошены даже танки. Шахтёры яростно сопротивлялись. Они переходили в контратаки, обращая войска в бегство.

Запомнился такой факт: рабочие шахты Алуэтт, перейдя в контрнаступление, взяли в плен и разоружили сто двадцать солдат и офицеров охранных войск, в том числе одного полковника и капитана. На следующий день рабочие великодушно освободили своих пленников и даже вернули им их оружие.

В крохотном посёлке Рош ля Мольер четыре тысячи вооружённых до зубов охранников в течение пяти часов вели борьбу с местными жителями, штурмуя улицу за улицей.

Для захвата шахты Курьо власти сосредоточили семь тысяч солдат. Перед штурмом шахты они выключили подачу тока, чтобы забастовочные пикеты не могли запустить сирену и призвать жителей Сент-Этьена на помощь.

На шахте Вилье борьба длилась четыре дня.

В конце концов «отряды республиканской безопасности», располагавшие современным вооружением, одерживали верх над рабочими, которые могли отбиваться лишь камнями. Но каждая из этих схваток лишь роняла престиж тех, кто послал войска против рабочих, и укрепляла сплочённость и солидарность среди шахтёров.

Только на пятьдесят восьмой день борьбы забастовка шахтёров была подавлена. Тысяча двести шахтёров были осуждены в общей сложности на двести лет тюрьмы. Тысячи рабочих остались без работы. Голод, холод, нужда свили прочные гнёзда под убогими кровлями шахтёрских жилищ. И всё-таки силам реакции не удалось сломить горячков, не удалось поставить их на колени. Рабочие были полны решимости возобновить борьбу, как только будут накоплены новые силы.

Несколько месяцев спустя, в феврале 1949 года, мне довелось впервые побывать в Фирмини. Я посетил места памятных октябрьских событий, встретился с их участниками и свидетелями, посетил вдову Антонина Барбье, побывал в госпитале у тяжело раненного Марселя Гойо. Потом я приезжал сюда в 1950 году с представителями советского посольства, которые передали дочери Барбье — Маринетт — письма и подарки советских детей. Побывал у знакомых шахтёров, навестил Марселя Гойо, здоровье которого, как тогда казалось, начало улучшаться... Все эти встречи оставили неизгладимое впечатление. Люди Чёрной долины были живым олицетворением лучших черт французского народа, воплощённых в его рабочем классе, — смелости, отваги, нравственного благородства.

И вот я снова в Фирмини...

Близится вечер. Длинные тени от ржавых шахтных подъёмников и пепельно-серых пирамид отработанной горной породы ложатся на печальные узкие улочки шахтёрского городка. В воздухе плавает горьковатый запах прелого дерева, смешанный с вызывающим лёгкое головокружение предательским ароматом метана: вентиляционные установки гонят прямо в жилые кварталы тяжкий дух подземелья. На фасадах домов, на тротуарах, на чахлах ветвях немногих выживших здесь деревьев толстым слоем лежит въедливая угольная пыль, и малейшее дуновение ветерка поднимает с земли черновато-жёлтые облака.

В чёрной лужице у водоразборной колонки двое черноногих мальчишек пускают бумажный кораблик. У витрины продовольственной лавки с нелепым названием «Казино» озабоченная женщина с пустой сумкой подмышкой подсчитывает монетки в своём потёртом портмоне, прежде чем коснуться дверной ручки.

Осматриваясь по сторонам, я ищу перемены и не нахожу их. Кажется, будто время остановился и замер. Вокруг всё выглядит точно так же, как в 1949 и в 1950 годах. Та же мэрия и тот же госпиталь, в котором пять лет назад лежал смертельно раненный шахтёр Гойо. То же мрачное здание Биржи труда. Те же тесные переулочки, ведущие к дому, где жил убитый охранниками Антонин Барбье.

Найду ли я здесь своих старых знакомых? Как встретят они меня? Поворот, ещё поворот... Где-то здесь! Ну, конечно же здесь... Вот он, крохотный двухэтажный домик, по два окна на этаж, и мраморная табличка у входа цела: «Здесь жил Антонин Барбье, павший в борьбе за рабочее дело».

Стук в дверь...

— Да-да, кто там?

Я нажимаю на ручку... Всё та же комнатка, куда входят сразу же с улицы, без всякой прихожей, обветшавшие обои на фанерной переборке, длинный стол под ветхой клетчатой клеёнкой, чугунная печь, старомодный буфетик, семейные фотографии на стенах, и, конечно же, фотокарточка покойного хозяина этой комнаты на самом видном месте. Со стула поднимается пожилая худощавая женщина с горящими чёрными глазами. Она присматривается. Узнает... Не узнает... Узнала!

— Это... вы? Какими судьбами?..

На её бледных, словно бумажных, щеках вдруг загорается румянец.

— Маринетт!.. Маринетт! — зовёт она слабым голосом. — К нам опять гости из Москвы!

Из-за перегородки выходит стройная белокурая девушка с голубыми глазами. Маринетт?.. Боже мой, но ведь со времени нашей последней встречи прошло уже пять лет... Маринетт улыбается и догадливо говорит, не дожидаясь вопроса:

— Да, мне скоро исполнится шестнадцать...

После первых — не очень связанных, как это всегда бывает в таких случаях — восклицаний, рукопожатий, аханий, приветствий, мы усаживаемся наконец у стола и вглядываемся в лица друг другу. Да, пять лет — немалый срок, и они оставляют свой след в жизни людей. Но как приятно бывает узнать после долгой разлуки, что люди остались теми же, какими они были раньше, что рутина суровой обыденной жизни не погасила живого огонька в их душах...

Жизнь, конечно, не сладка в доме вдовы Барбье. Если бы отец Маринетт был жив, многое сложилось бы иначе: ведь он был высококвалифицированным рабочим, и его заработок позволял бы сводить концы с концами. Пуля охранника, которой была сражён отец семьи, убила надежду на сколько-нибудь благополучное детство и отрочество Маринетт. Но свет не без добрых людей, и как ни сурова жизнь шахтёров, они охотно делятся последним куском с семьёй друга, павшего в бою за рабочее дело.

Как они прожили эти пять лет?

Вдове Барбье пришлось оставить свою работу на металлургическом заводе — ей уже не под силу ворочать тяжёлые, стальные прутья и очищать их от окалины. Она стала работать уборщицей, получая более чем скромную заработную плату — двенадцать тысяч франков в месяц. К этому прибавлялась пенсия покойного мужа за выслугу лет — двадцать пять тысяч франков в квартал. Попреемные помогли

друзья Антонина. Маринетт поступила в коммерческое училище — хотелось дать ей какую-то специальность...

Но вот полгода назад новая беда нагрянула на семью Барбье: здоровье матери ухудшилось настолько, что она была уже не в силах работать и уборщицей. Маринетт пришлось отложить свои учебники и заняться поисками работы. Она устроилась ученицей на ткацкой фабрике. Работает восемь часов в день и получает семь тысяч франков в месяц. Так будет продолжаться ещё два года, только после этого Маринетт станет полноправной работницей и будет получать настоящую зарплату.

Фабрика находится в семи километрах от Фирмини. Ездить туда надо на автобусе. Это дополнительная тягота. И, тем не менее, Маринетт довольна: друзья покойного папы всё-таки сумели устроить её на фабрику, а многие сверстники могут лишь мечтать об этом. В Фирмини теперь очень трудно раздобыть работу, особенно для девушек...

Маринетт и её мать спешат перевести беседу на другие темы: им хочется так много сказать, так много передать советским людям, которые в трудные годы помогли им и сохранили память о покойном Антонине. Они показывают бережно хранимые ими подарки московских школьников, полученные в 1950 году, — альбомы, вышивки, домик, слепленный из ракушек. Вот и пионерский костюм, подаренный ей советскими ребятами. Маринетт весело хохочет: она давно из него выросла, но костюм этот ей дорог, как память о далёких друзьях, с которыми ей пока не удалось повидаться, но которые ей дороги и близки.

— Вы знаете, — говорит она, — я тогда же принялась писать ответные письма всем ребятам, которые прислали мне письма и подарки. Мама свела меня к фотографу, и я снялась в московском пионерском костюме с галстуком. Мы долго искали переводчика, который перевёл бы мои письма на русский язык, и наконец нашли. Послали письма. Но ведь СССР — это так далеко... Не знаю, дошли ли эти письма. Если вам придётся случайно повидать Анатолия Леонтьева из Свердловска или Серго Бигуро из Грузии, или девочку из школ № 8 и № 70 Москвы, передайте им наш привет... Они теперь, наверное, тоже выросли и уже работают где-нибудь!

Пока мы беседуем, непрерывно звякает колокольчик у входной двери: в тесную комнатку вдовы Барбье входят всё новые и новые люди. Через приоткрытое окно я слышу с улицы чей-то жаркий шёпот: «У Барбье — русские!» — «Да ну?» — «Я тебе говорю!» К столу, у которого мы сидим, протискивается высокий худощавый мужчина лет сорока пяти в синем берете, лихо сдвинутом на ухо, и просторной рабочей куртке. В его живых молодых глазах — лукавая искорка: узнаю я его или не узнаю? Мы где-то виделись... Но где?

— Помните, — говорит он, — когда вы приезжали прошлый раз, здесь рядом, в деревянном домике, был вечер... Тогда только что выпустили из тюрьмы группу шахтёров, арестованных за активное участие в забастовке сорок восьмого года. А зовут меня Шарль Дюпон...

Ещё бы не помнить! Передо мной явственно предстал небольшой деревянный барак, заставленный длинными некрашенными столами и скамьями. Это был самодельный клуб содружества горняков, оборудованный заботами покойного Антонина Барбье. На пустых столах стояло несколько бутылок с дешёвым красным вином. Было накурено, душно. Но вокруг царило живое, неподдельное веселье: рабочие праздновали победу, встречая освобождённых из тюрьмы друзей. Дюпон сидел в центре, в такой же самой куртке и в том же синем лихо заломленном берете. К нему прижимались жена и дочь-подросток, а на коленях у него сидела вторая дочурка.

— Как видите, живём и воюем, не сдаёмся! — весело говорит Шарль. — Вот только бедняга Гойо нас покинул, — и по лицу шахтёра пробегает тень. — Он скончался в позапрошлом году — доконали-таки его пули охранников. Несметная толпа шла за гробом, и все плакали. Вы ведь помните, какой это был изумительный человек...

В комнатке на мгновение воцарилась тягостная тишина. Бледная вдова Барбье всхлинула. Она снова вспомнила, наверное, тот трагический день, когда с шахты примчался растерянный парень и отчаянным голосом закричал: «Полиция убила Антонина!.. И Гойо при смерти...» Шарль обнял её за плечи и тихо сказал:

— Прости, что напомнил...

Потом он заговорил о чём-то другом.

Шарлю, как и многим участникам славной забастовки шахтёров 1948 года, пришлось хлебнуть немало горя: тюрьма, безработица, скитания в поисках случайного заработка... Только в июне 1953 года его приняли вновь на шахту: все знали, что это мастер своего дела, опытный проходчик с 26-летним стажем, и техники давно советовали начальству вернуть его на производство. Теперь Шарль снова прокладывает штреки под землёй. И снова он активно участвует в борьбе за интересы рабочих.

— Загляните ко мне, — говорит он, — посмотрите, как я живу. Жена и дочери будут рады случаю передать привет советским людям...

Распрошавшись с Маринетт и её матерью и пожелав им от всей души здоровья и удач в жизни, мы переходим через узенькую пыльную улицу и поднимаемся по крутым цементным ступенькам на высокое крыльцо, находящееся на уровне второго этажа крохотного каменного домика в два окна, похожего на поставленную вертикально спичечную коробку. Дверь с улицы ведёт прямо в миниатюрную кухоньку — размером в четыре-пять квадратных метров. За ней — вторая дверь, ведущая в спальню, где спят все четверо: Шарль, его жена и две дочери. Это — обычное жильё французского шахтёра. Справа — чугунная печка, слева — небольшой буфетик, точно такие же, как в комнатке у вдовы Барбье. Посредине — стол, накрытый клеёнкой. Вокруг него семья проводит часы между работой и сном.

Мы здороваемся с женой Шарля — Мари, и дочерьми — старшей Розетт и младшей Жаннет. Я их совершенно не узнаю: как и Маринетт, они выросли и изменились. Розетт уже девятнадцать лет. Это статная краснощёкая девушка с весёлыми, немного озорными глазами, которые, наверное, лишают сна ввалившихся вместе с нами в эту тесную комнатку молодых забойщиков — Пьера и Жана, работающих с Шарлем.

— Розетт! Жаннет! — командует отец. — А ну, мигом на чердак, за стульями!..

Девушки опрометью бросаются на улицу. Пьер и Жан спешат за ними. Заметив моё недоумение, Шарль разводит руками:

— Видите, какая у нас теснота. Поэтому приходится держать стулья на чердаке. Когда приходят гости, мы оттуда спускаем их, чтобы было на чём сидеть...

Стулья доставлены, все кое-как расселись. На столе появилась бутылка белого вина, и беседа, начатая ещё на квартире у Барбье, возобновилась. Мы толкуем о жизни шахтёров, об условиях их труда, об их борьбе за лучшую жизнь. Для советского человека, который привык к тому, что в нашей стране для горняков, чей труд особенно тяжёл, созданы наиболее благоприятные условия, многое из того, что рассказывают Шарль, Пьер и Жан, кажется просто невероятным: во Франции шахтёры поставлены в особенно трудные обстоятельства, и труд их оплачивается неизмеримо хуже, нежели, к примеру, труд металлистов, не говоря уже о служащих.

— Что там говорить! — воскликнул Пьер. — Лучше быть подметальщиком улиц, чем шахтёром. Подметальщику улиц у нас в Фирмини платят 114,2 франка в час, а минимальная зарплата горнорабочего на поверхности — 112,3, а под землёй — 128,65 франка в час. Вот тут и считайте, что получается!

Статут шахтёров, выработанный и утверждённый после освобождения Франции от бошей, когда в правительстве входили коммунисты, предусматривал заботу о трудовом человеке. Статья двенадцатая прямо говорила: шахтёр во всяком случае должен получать не меньше, чем чернорабочий, занятый в металлообрабатывающей промышленности парижского района.

— Казалось бы, скромное и вполне обоснованное требование, не правда ли? — говорит Пьер. — А вот, извольте: в декабре прошлого года соглашательские профсоюзы в обход Всеобщей конфедерации труда договорились с правительством Мендес-Франса об отмене этой статьи статута! Как вам это понравится?

— Во всяком случае мне это никак не нравится, и я намерен драться до последнего за восстановление статьи двенадцатой, — вставляет Шарль. — Конечно, нам труднее бороться, чем, скажем, металлистам: у них частные хозяева, а у нас хозяин — государство. Ведь наши шахты, как вы знаете, национализированы. А капиталистиче-

ское государство — это самый жестокий хозяин. Мы в 1948 году это очень хорошо почувствовали. Но мы ещё повоюем и, я верю, поставим на своём!..

Шарль порхался в карманах и протянул мне длинную полоску бумаги — это был его расчётный лист за февраль. За первую половину месяца он получил авансом 14 500 франков. В конце месяца вместе со всеми премиями за перевыполнение норм и за выслугу лет — ещё 18 978 франков. Всего — 33 478 франков.

— Это очень хороший заработок по нашим условиям, — сказал Пьер. — Учтите, что Шарль — опытный проходчик, у него самый высокий разряд. А вот я забойщик, работаю всего лишь третий год. И знаете, сколько я заработал в прошлом месяце? 23 000 франков! Вы не поверите, но это так...

Мы начали прикидывать: как же можно прожить на такую зарплату? Ведь цифры, исчисленные во франках, сами по себе советскому читателю ничего не скажут. Тут в разговор вступила жена Шарля — Мари, которая, как это обычно бывает в рабочих семьях, «держит в руках кошелёк», то есть ведёт все расходы

— Мужское дело — известное, — смеётся Шарль, — получил получку, принёс домой и сдал жене, на том дело и кончается...

— Ну, что вы хотите? — развела руками Мари, ещё нестарая, но уже согбенная заботами женщина. — Пойду я с утра на рынок... Меньше тысячи на еду истратить никак невозможно — ведь нас четверо, а мужу, к тому же, не откажешь в куске мяса на ужин. Ведь он на такой тяжёлой работе!.. Вот и получается, что весь его заработок уходит на питание. А если хочешь что-нибудь купить из одежды, надо как-то подрабатывать. Вот я и хожу по людям стирать... Хорошо ещё, что на дочерей получаем семейное пособие: одиннадцать тысяч франков в месяц. Но это через год кончится — Розетт исполнится двадцать лет...

— В былое время, — резко сказал Шарль, — Розетт давно пошла бы на работу и помогала бы нам. А сейчас разве найдёшь ремесло для девушки? Она уже четвёртый год учится портновскому делу в профшколе. Давно бы могла уже работать, да кто из портных её возьмёт в подмастерья? Вы же понимаете, что при таких заработках, как наши, в Фирмини немного охотников заказывать себе костюмы у портных. Вот и приходится ей ходить четвёртый год в профшколу, хотя это совершенно бессмысленно. Вы спросите: зачем это нужно? Я вам отвечу. Есть такое правило: пока ваша дочь или ваш сын, достигшие восемнадцати лет, продолжают учиться, семейное пособие на них выплачивают. Но если бы Розетт ушла из профшколы, нам сразу же отказали бы в семейном пособии. Теперь же, пока ей не исполнилось двадцати лет, платят, хоть и гроши... Разве прокормишь на одиннадцать тысяч двух взрослых девок? А как их одеть, обути?..

Розетт стояла у притолоки, откинув голову и нервно сжав дрожащие губы. На её щеках горели лихорадочные пятна. Пьер и Жан сочувственно глядели на неё, и я понял, что такой разговор, видимо, происходит частенько. Розетт должна была себя чувствовать очень стеснённо, постоянно думая о том, что она обуза в семье. Мари снова заговорила, явно стараясь отвлечь внимание от этой щекоотливой проблемы и выручить старшую дочь, которая не в состоянии найти работу. Ровным, монотонным голосом она говорила:

— Встаю я рано утром, варю ему кофе и укладываю в сумку завтрак, который он съест под землёй. Дома он только кофе выпьет, а завтракает уже там внизу, в полдень. Кладу я ему граммов триста хлеба, кусок сыра, литр вина — это и есть его дневная еда. А когда он приходит домой, тут уже вечером его главная еда: суп, картофель и кусок мяса — сто граммов... Ну уж а мы, женщины, обходимся как-нибудь попроще...

Я спрашиваю Шарля, когда он купил своё пальто. Он горько усмеяется, припоминает, потом говорит: двенадцать лет назад. Когда он купил свой выходной костюм? В 1946 году. Когда жена сшила себе костюм? В 1953 году. Что они купили в 1954 году? По одному платью и по одному пальто для дочерей. И это всё? Это всё. А что дальше? Шарль пожимает плечами: пока есть силы — будет работать. А потом... Потом вся надежда на дочерей — может быть, найдут работу, а может быть, выйдут замуж, и в их семьях найдётся угол для стариков...

Пьер многозначительно подмигивает Розетт, но та сердито отворачивается: вот уж, нашёл время для своих намёков! Шарль задумчиво барабанит пальцами по столу, потом вдруг начинает серьёзный разговор:

— Вы не в первый раз в Фирмини и знаете, чем мы живём и дышим. Знаете, что мы не раз уже поднимались на борьбу за наши права. Это нам многого стоило. Я говорил уже, что государство у нас — это самый жестокий хозяин. У него в распоряжении и полиция и войска. В 1948 году мы померились силами с этим хозяином. Многим из нас, в том числе и мне, эта схватка, как вы знаете, дорого обошлась. Но когда я вернулся на шахту и когда штейгер, усмехаясь, спросил меня: «Угомонился?» — я ответил ему: «Нет, не угомонился!» У нас, у пролетариата, один выход — борьба. И как ни трудна она, её надо продолжать...

Шарль помолчал, погрузившись в раздумье, потом встряхнул головой и продолжал:

— Иначе задуют. Задуют, мерзавцы! Вы знаете, на днях у нас закончился конгресс федерации горняцкого профсоюза нашего бассейна... Я там был и внимательно слушал доклады и речи насчёт последствий плана Шумана. Это же страшная картина! Всего, конечно, я не запомнил, но вот вам только две цифры, которые глубоко тревожат каждого из нас. Ещё в 1948 году в нашем бассейне работало двадцать пять тысяч шахтёров. Сейчас же нас осталось всего четырнадцать тысяч. Уже два года администрация не нанимает ни одного молодого парня. Подумайте только: впервые в шахтёрских посёлках вы встречаете девятнадцатилетних юношей, которые ни разу в жизни не держали в руках отбойного молотка и лопаты. Они не могут найти работы... Раньше было как? — продолжал Шарль. — Исполнилось сыну тринадцать лет — отец берёт его за руку и ведёт на шахту. Парень начинает с малого, работает подручным, но к восемнадцати годам это уже квалифицированный шахтёр. Так и я сам начинал... Теперь же подростки брошены на произвол судьбы и стареющим отцам приходится кормить сыновей, пока их не возьмут в армию. Да, шахтёры стареют. Вы знаете, у нас уже сейчас на четырнадцать тысяч работающих приходится свыше десяти тысяч пенсионеров! Если ты отработал тридцать лет, тебя увольняют, и ты получаешь гроши за счёт органов социального страхования, из фондов, которые, кстати сказать, наполовину складываются из наших же взносов. В феврале, например, из моей зарплаты удержали на социальное страхование 3382 франка... Простите, я отвлёкся, — спохватился Шарль. — Я хотел сказать, что администрация искусственно создаёт процесс вымирания шахтёров. По мере того, как более дешёвый западногерманский уголь, ввозимый из Рура, вытесняет с французского рынка наш собственный уголь, наша администрация вынуждена сокращать добычу, и рабочих ей требуется всё меньше. Учтите, что уже сейчас нам, помимо всего прочего, приходится прогуливать два-три дня в месяц: администрация вешает замок на ворота и объявляет: «Сегодня работы нет», и мы расходимся по домам...

— Не подумайте только, что они облегчают нашу работу в обычные дни! — вмешался Пьер. — О-ля-ля! Когда ты держишь отбойный молоток в руках, с тебя десять потов сойдёт, пока надсмотрщик позволит тебе перевести дух. В 1947 году на одного подземного рабочего в нашем бассейне, в среднем, приходилось около тонны добычи в день, а сейчас — почти полторы тонны. И это — без всякого усиления механизации...

Шахтёры заговорили об условиях труда в шахте, об отвратительной вентиляции, о слабости крепления, о плохом состоянии путей для откатки вагонеток. Не случайно здесь так участились несчастные случаи. Обвалы, взрывы гремучего газа, тяжёлые ранения...

— У нас в посёлке женщины до сих пор льют слёзы по своим мужьям и сыновьям, погибшим восемнадцатого января, — вздыхая, сказала Мари. — Это было в шахте Монтеррад... Восемь шахтёров погибли при взрыве газа... Осталось семнадцать сирот... Вы понимаете, какое это горе!..

— Газеты написали: «Это фатально... Погибшие навсегда унесли с собой тайну катастрофы», — откликнулся из своего угла Жан. — А какая тут, к дьяволу, может быть тайна? Рабочие предупреждали сто раз: шахта — газовая, надо усилить вентиляцию. Регламент, что он говорит? Есть два процента газа — немедленно прекрати

работу. А там было три процента, а может и больше. Все знали об этом, а начальство требовало: давай добычу! Совсем недавно наш уполномоченный по технике безопасности требовал улучшить вентиляцию. Его не послушали. И вот вам «фатальность»... Пьер Ляшерм оставил четырёх сирот, Альфонс Рона — трёх... Да что там говорить!

— Администрация не хочет вкладывать капиталы, — пояснил Шарль. — Она думает только об одном: как бы протянуть ещё немного, не закрывая шахт. Конкуренция! Рур нас буквально душит. Сколько шахт уже позакрывалось с тех пор, как создали этот проклятый «угольно-стальной пул». Будь он проклят, этот Шуман со своей выдумкой!..

И Дюпон начал считать по пальцам предприятия, ставшие жертвой плана Шумана:

— Шахты группы Гро — раз... Шахты Вильер — два... Разрез Сен-Жан Боннефон — три... Мастерские Солей — четыре... Коксовые печи Монмартр — пять... Коксовые печи Рош ля Мольер — шесть... Сортировки...

Шарль махнул рукой — всего не сосчитать. А ведь всё это только начало. Впереди ещё более грозная расправа с угольным бассейном Луары.

— Вот полюбуйте, — он протянул мне потрёпанную вырезку из газеты, которую хранил в своём стареньком бумажнике.

В газете были напечатаны выдержки из доклада Управления угольного бассейна, в котором говорилось: «С целью улучшения наших позиций необходимо продолжить процесс централизации производства, имея в виду в будущем сосредоточить добычу угля в пяти пунктах: шахта Курьо, шахты Верпийо и Пижо, шахта Шарль и разрез Шазотт».

— Вы знаете, что это значит? Это значит — смерть большинства шахт! Обе шахты Беродьер, где я сейчас работаю, будут закрыты. Шахты Флотар и Марсей, обе шахты Фирмини — Камбефор и Монтеррад, все три шахты Рош ля Мольер, шахты Сен-Жозеф в Талодьер, шахты Рамбо, шахты Луары в городе Сент-Этьен, все разрезы района Вилляр — всё, всё это должно умереть. Целые посёлки утратят всякий смысл своего существования — ведь именно шахты дают им жизнь. Нет, вы только представьте себе эту картину: мёртвые шахты, мёртвые заводы и мастерские, которые жили их обслуживанием, мёртвые посёлки, словно по их улицам прошла чума. А имя этой чумы — план Шумана...

Шарль разволновался. Его щёки, испещрённые чёрными точками проникшего под кожу синеватыми кусочками угля, горели болезненным румянцем. Он широко жестикулировал, призывал все громы и молнии на головы тех, кто выдал французскую угольную промышленность на расправу промышленникам Рура, обладающим неизмеримо более высокой техникой и ещё более жестоко эксплуатирующим своих рабочих, что позволяет им продавать свой уголь за бесценок. Сняв таможенные барьеры, Франция оказалась беззащитной перед западногерманской конкуренцией, и вот наступает тот момент, который предвидел и о котором с тревогой говорил мне покойный Гойо ещё в 1950 году: Рур душит угольную промышленность Французской республики. И Шарль горячо говорил о том, что только рабочий класс способен отстоять её национальные интересы, только самоотверженной борьбой можно спасти Францию.

Слушая страстные высказывания этого шахтёра, проявившего столь незаурядное знание обстановки, я невольно проникался глубоким уважением к таким, как Шарль Дюпон, передовым деятелям французского рабочего класса. Их тысячи — таких неутомимых, стойких борцов. Их не сломили ни тюрьмы, ни безработица. Всем чертям назло они упорно продолжают свою борьбу, не страшась ни репрессий, ни увольнений, ни возвращения в тюрьму. И, словно угадывая мои мысли, Шарль говорит, улыбаясь:

— Я, кажется, немного увлёкся... Скажете: развоевался! Но, право же, душа болит, когда обо всём этом думаешь! Вы знаете, конечно, у нас ещё много таких, которым нет дела до таких вещей. Заговоришь с ним о плане Шумана, а он тебе и отрежет: «Я политикой не занимаюсь. Мне бы в пору своих детишек прокормить. А ты что, хочешь, чтобы и меня в чёрный список записали?» Сидит, словно лягушка в болоте, и дрожит за свою шкуру... Не понимает того, что ему же хуже будет, если он не будет сопротивляться...

— А ты-то забыл, как мы сами голодали, когда ты в тюрьме сидел? — вдруг спросила тонким, звенящим, словно натянутая струна, голосом побледневшая Мари. — Как зубоскалили тогда кумушки на рынке: «Допрыгался твой Шарль!»

Шарль метнул в сторону Мари недобрый взгляд, и его тяжёлая рука, лежавшая на столе, нервно дрогнула. Я понял, что этот разговор вспыхивает не впервые, и причину этого нетрудно было понять. Хрипловато откашлявшись, Шарль сказал:

— Ладно, не будем об этом сейчас говорить. Всем кумушкам не угодишь, а того сии понять не хотят, что если бы Барбье и Гойо не отдали свою жизнь и если бы такие, как я, не сидели в тюрьме, им самим жилось бы сейчас ещё хуже. А ты бы, Мари, лучше о другом подумала: как бы этих кумушек переубедить, чтобы они своих мужей заставили вылезти из болота и примкнуть к нам...

Шарль обхватил своими узловатыми руками голову и со вздохом сказал:

— Трудно... ох, как трудно! Но выхода другого у нас нет. Либо борись, либо гони в болоте. Нет, чёрт побери, я предпочитаю борьбу...

Мари отвернулась к чугунной печке. Её худые, острые плечи вздрагивали под стягивавшим их стареньким платьем. Дочери растерянно поглядывали то на отца, то на мать. Пьер и Жан сидели молча — серьёзные и немного торжественные. Видно было по всему, что их симпатии целиком на стороне Шарля. А Шарль после короткой паузы продолжал:

— Да, другого выхода нет. Только тогда, когда шахтёр скрестит руки на груди и скажет: «Не возьмусь за работу, пока не будет по-моему», только тогда хозяин уступит. Многие помнят о сорок восьмом годе, побаиваются снова подняться на борьбу. Но жизнь — неплохой учитель. Она научит их уму-разуму — поймут, что без борьбы нельзя... Вот недавно на шахте Монтрабер все рабочие бастовали всё-таки два дня — на сто процентов: протесовали против штрафов и несправедливых увольнений. В Верпине тоже забастовали, когда инженер отказался разговаривать с делегацией рабочих, которые пришли изложить свои требования. Так бывает всё чаще... О чём это говорит? О том, что люди начинают мало-помалу понимать: надо протестовать, надо бороться, иначе тебя задушат совсем. Конечно, пока это только первые искорки. Но важны и они. Ведь что это значит? Это значит, что люди уже начинают побеждать свой страх и поднимают головы. А это многого стоит!..

Мы распрошались поздним вечером. Шарль, Мари, их дочери, Пьер и Жан вышли из душевой кухоньки на узенькое крыльцо, чтобы проводить нас. Затянутое тучами аспидно-чёрное ночное небо, словно чугунная тяжёлая плита, накрывало долину, в которой лежит Фирмини. Притихший шахтёрский посёлок был безлюден, и лишь из редких окон струился жидкий жёлтый свет: здесь люди рано ложатся спать. Но вдалеке, подобно зарницам, мерцали розовые отсветы коксовых печей и мартепов, где-то равномерно ухала паровая машина, поскрипывая, вращались шкивы стареньких шахтных подъёмников. Под землёй, в забоях и штреках, напряжённо билось не знающее покоя ни днём, ни ночью сердце Чёрной долины — Фирмини.

У Мориса Тореза.

17 марта. Дальше, дальше на юг! Широкая асфальтовая лента так называемой Голубой дороги, протянувшейся от Парижа до самого Лазурного берега, окаймлена двумя шеренгами вековых платанов, соединивших свои ветви в вышине, и машины, идущие со скоростью сто километров в час, мчатся как бы в бесконечном зелёном туннеле. Слева и справа за массивными колоннами платанов мелькают поля благодатного Прованса, снабжающего Францию оливковым маслом, прекрасными фруктами и вином. Бросается в глаза, что поля и сады перегорожены через каждые пятьдесят — сто метров живыми изгородями, преимущественно из кипарисов. Их назначение: ослабить удары беспощадного мистрала — ураганного ветра, который то и дело обрушивается на Прованс.

Остался позади живописнейший древний горд Оранж, вошедший в историю ещё во втором веке до нашей эры, когда под его стенами римляне сразились с тевтонами. О былой бурной жизни Оранжа напоминают великолепнейшая триумфальная арка,

возведённая во времена Тиберия, и руины построенного Адрианом крупнейшего античного театра, стены которого и сейчас ещё достигают тридцати шести метров высоты.

Остался позади и полный романтики Авиньон, бережно сохраняемый французами как драгоценнейший памятник средневековой архитектуры. Недаром на щите его герба изображены три ключа — в былые времена владетели Авиньона не раз держали в своих руках ключи судеб Франции и Италии, и многие книги посвящены его бурной истории. На высокой скале, откуда открывается широкая перспектива долины бурной Роны, неизбежно стоит сложенный из белого камня огромный дворец пап. В XIV веке всесильный по тем временам король Франции Филипп Красивый посадил на папский престол французского архиепископа и повелел ему находиться не в Риме, а в Авиньоне. Около семидесяти лет продолжалось знаменитое «авиньонское пленение пап», пока наконец римско-католическая церковь не набралась сил и пока Ватикан не стал вновь её столицей.

С высоких башен папского дворца хорошо видны обширные виноградники и четыре арки полуразрушенного моста, построенного, по преданию, ещё в XII веке молодым пастухом по имени Беназет. Именно этому мосту посвящена столь популярная во Франции весёлая народная песня: «На мосту в Авиньоне все танцуют, без конца танцуют...»

Хотелось бы задержаться здесь подольше, хотелось бы свернуть с большой дороги, заглянуть в находящийся неподалёку отсюда благодатный Тараскон, имя которого благодаря роману Альфонса Додэ прочно связано с приключениями его героя Тартарена. Хотелось бы заехать и в древнейшие города Арль и Ним, где сохранились выдающиеся памятники архитектуры римской эпохи. В садах уже цветут персики, птицы с весёлым щебетом вьют свои гнёзда в ветвях, над головой синее яркое южное небо — обстановка настраивает на благодушный мечтательный лад.

Но в эти бурные дни, когда в Париже развёртывается острая политическая битва, имеющая огромное значение для будущего Франции, нет никакой возможности для подобных туристских экскурсий. Мы едем в приморский город Канн, где находится сейчас генеральный секретарь Французской коммунистической партии Морис Торез: он дал согласие принять корреспондентов «Правды».

По настоянию врачей, бдительно следящих за состоянием его здоровья, товарищ Торез вынужден пока ещё проводить зимние месяцы на юге. После перенесённой им долгой тяжёлой болезни, от которой его лечили советские специалисты, он должен подчиняться строжайшему лечебному режиму: его рабочее время строго регламентировано; выработан и строго соблюдается порядок лечебных процедур. Привыкшему к активной напряжённой политической деятельности Торезу не легко подчиняться этим предписаниям, но он, как говорят, проявляет изумительную выдержку и терпение, и именно поэтому в ходе лечения были достигнуты замечательные успехи.

В настоящее время Торез работает уже по восемь часов в день, и благодаря исключительной организованности он успевает за эти часы сделать столько, как если бы работал вдвое больше. Его выступление на недавнем пленуме Центрального комитета партии, его статьи и письма, публикуемые в печати, наконец, его повседневная оперативная работа на своём ответственнейшем посту вселяют радость в сердца коммунистов и всех честных французов, которые на протяжении долгих месяцев с такой тревогой следили за бюллетенями о состоянии его здоровья: Торез вернулся в строй!

И вот уже мы поднимаемся по крутой, усыпанной крупным жёлтым гравием дорожке на высокую гору, доминирующую над голубым заливом, вдоль берега которого выстроились богатые отели. Там, внизу, — обычная сутолока модного курорта. Но здесь, высоко над городом, господствует полная тишина. В глубине большого сада, среди серебристо-зелёных олив стоит небольшая, скромная вилла. К воротам подбегает светловолосый, круглоголовый мальчишка со светлосерыми смеющимися глазами и ямочками на щеках. Достаточно на него взглянуть, чтобы догадаться, что мы у цели: конечно же, это младший сынишка Тореза — все четверо его сыновей изумительно похожи на него.

— Вы к нам? Пойдёмте, пойдёмте! Папа сейчас придёт, — зовёт он.

Из дома выходит секретарша. И вот уже мы в рабочем кабинете Тореза. Письменный стол, на котором нет ничего лишнего. Вся стена уставлена книжными шкафами — я вижу за стёклами собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина на французском и русском языках. Всеобщую историю, Всеобщую историю искусств, энциклопедические словари, советский учебник политэкономии, тома Рабле и Вольтера, Руссо и Дидро, Шекспира и Гюго, Арагона и Элюара...

У камина — простые, удобные кресла. Тут же — кушетка с подушкой; на ней, видимо, отдыхает время от времени Торез, подчиняясь расписанию врачей. На стенах — портреты Ленина и Сталина, картина Пиньона, изображающая французского рабочего, рисунок Таслицкого — старый шахтёр ведёт за руку подростка на шахту: это его первый рабочий день. Я вспоминаю, что так же начал свой жизненный путь Шарль Дюпон, с которым мы виделись позавчера; так же начинал свой путь и сам Торез.

Распахнутая стеклянная дверь ведёт на широкую открытую террасу, откуда открывается прекрасный вид на встающее вдалеке синей-синей стеной Средиземное море. Залюбовавшись им, мы вглядываемся вдаль, и вдруг слышим позади мягко произнесённое по-русски приветствие:

— Ну, здравствуйте, дорогие товарищи!..

Мы быстро оборачиваемся. В дверях стоит, весело улыбаясь, Морис Торез. На его щеках играет румянец. Весёлые светлые глаза, от которых расходятся лучиками мелкие морщины, сохраняют чуть заметную искорку лукавого озорства, которая так молодит его. На плечи наброшена простая коричневая куртка. В правую руку, которая недавно ещё совсем отказывалась повиноваться, вложена трость.

— Она пока ещё не хочет писать, — шутит Торез, — но мы для этой цели приспособили пока что левую. Дело, в общем, идёт к лучшему. Кое-кто этого не ждал и сейчас по сему поводу переживает траур. Мне рассказывали, что в то время, когда я лечился в СССР, прохвост Жан-Поль Давид расклеил по всей Франции плакат: «Освободите Тореза». Теперь я здесь, но он не спешит изъявить радость по этому поводу. Плакали американские денежки!..

Торез звонко, очень молодо смеётся, откидывая голову. Он спрашивает нас о Москве, просит передать привет врачам, которые его лечили. Потом мы усаживаемся возле стола, и начинается большой, серьёзный разговор о Франции, о её судьбах, о борьбе народа против войны, о рабочем классе и крестьянстве Франции, о тех путях, которые прокладывает Французская коммунистическая партия, поднимающая весь народ на защиту коренных национальных интересов.

С глубоким волнением, с душевной болью говорит Торез о том, что отказ правящих кругов Франции от независимой национальной политики низвёл её на положение второстепенного государства.

— Они пожинаяют теперь то, что посеяли, — говорит он, — когда слышат, как Эттли заявляет, что Франция больше не идёт в счёт, как совершеннолетний партнёр. А Черчилль? Он уже переводит нас в ранг «средних», если не «малых» государств и приветствует под аплодисменты консерваторов «могучую германскую расу». И он говорит уже о том, чтобы предоставить другим «пустующее кресло Франции!» Утверждают, будто ратификация парижских соглашений укрепит пошатнувшиеся международные позиции Франции. Но ведь в действительности дело обстоит как раз наоборот: пока вермахт не восстановлен, у нас есть ещё возможность заставить США и Англию учитывать мнение Франции. Но как только они вырвут у нашего парламента согласие на вооружение Западной Германии и президент подпишет парижские соглашения, — всякая необходимость считаться с Парижем исчезнет в глазах Лондона и Вашингтона! Кстати, — вы читали? — Франко на днях уже предложил, как он выразился, «затормозить» французскую демократию, взяв её в клещи между Испанией и Западной Германией. Вот плоды «атлантической солидарности», ради сохранения которой кое-кто в Париже готов гнуть спину и подписываться под самыми тяжкими для Франции обязательствами! Нет, поистине «атлантическая солидарность» — это синоним уничтожения и бессилия Франции...

Торез на мгновение умолкает. Его светлые глаза темнеют от гнева, и он снова взрывается:

— Солидарность! Они смеют говорить о солидарности! Солидарность с кем? С германскими империалистами, которые трижды на протяжении одного столетия врываются в наш дом? С капиталистами Англии и Соединённых Штатов, которые в 1940 году, когда Гитлер вторгся во Францию, заботились только о том, как разделить её колониальное наследство? А как сейчас выглядит на практике эта солидарность? Франция поставлена в прямую зависимость от США — она не является больше хозяином своей собственной политики. Интриги Соединённых Штатов, имеющие целью поставить Марокко под свой контроль, слишком хорошо известны, чтобы на эту тему надо было распространяться. Столь же хорошо известно и то, что США цинично накладывают свою руку на Южный Индокитай... Нет, им лучше было бы помолчать насчёт солидарности: в доме повешенного не говорят о верёвке!..

Я напоминаю, что сторонники парижских соглашений утверждают, будто бы ратификация этих соглашений содействовала бы франко-германскому «примирению», и спрашиваю Тореза, что он думает на этот счёт. Он резко говорит:

— Непозволительно смешивать военный заговор торговцев пушками с примирением французского и немецкого народов. Парижские соглашения устраивают, конечно, империалистические силы Западной Германии. Но они направлены против народных сил, борющихся за мир и демократическое развитие германской нации. А подлинное примирение Франции и Германии может быть осуществлено лишь путём сближения народов. И если уж говорить о солидарности, то настоящая, подлинная солидарность — вот она где: в совместной борьбе французов и немцев против возрождения гитлеровского вермахта, против подготовки к атомной войне, против создания агрессивных блоков. В этом отношении уже многое сделано, но ещё больше остаётся сделать. Вот тут-то, в совместной борьбе и осуществится примирение и единение французов с немцами!..

Мориса Тореза глубоко волнует будущее франко-советских отношений. Ему претит тошнотворное лицемерие тех политиков, которые пытаются утверждать, будто бы ратификация парижских соглашений совместима с франко-советским договором. Перечитывая лежащую перед ним брошюру с текстом этого договора, Торез обращается к неоднократно подчёркнутым и обведённым карандашом статьям, над которыми он, видимо, задумывался уже не раз.

— Французская коммунистическая партия, — говорит он, — на протяжении всего послевоенного десятилетия упорно боролась за соблюдение франко-советского договора, который мы рассматривали и рассматриваем, как одну из гарантий безопасности в Европе. Мы и впредь будем продолжать борьбу за сохранение и укрепление дружбы и прочного единства народов Франции и СССР перед лицом возрождающейся военной угрозы. Но мы отдаём себе отчёт в том, что франко-советский договор, подписанный в 1944 году в Москве, полностью утратит своё значение в тот момент, когда правительство оформит свой военный союз с Западной Германией. И как это нам ни тяжело, придётся взглянуть правде в глаза: назавтра, после ратификации парижских соглашений, франко-советский договор будет аннулирован.

Торез медленно, взвешивая каждое слово, говорит, заглядывая время от времени в брошюру с текстом договора, чтобы соблюсти точность цитируемых им формулировок:

— Когда советский народ заявляет, что договор о союзе и взаимной помощи между нашими странами несовместим с участием Франции в планах восстановления германского милитаризма, то он выражает мнение, понятное всякому честному и информированному французу. Невозможно восстановить агрессивный вермахт, не входя в противоречие с самим текстом договора, который обязывает принять сообща «все необходимые меры для устранения любой новой угрозы, исходящей от Германии». Невозможно включить Западную Германию в атлантическую систему, не нарушая принятого державами, подписавшими договор, обязательства «не заключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из Высоких Договаривающихся Сторон»...

В глазах Тореза вдруг зажигаются искорки холодной усмешки: он вспоминает разительный факт, показывающий, как организаторы нового агрессивного союза, сами не желая того, выдали существо своего замысла: чтобы юридически оформить присоеди-

нение Западной Германии к брюссельскому договору от 17 марта 1948 года, который был избран в качестве базы для создания военного союза после провала плана «европейской армии», им пришлось внести в его текст поразительное изменение. Был и зъят пункт, требующий от участников брюссельского договора... сообща предпринимать меры «в случае повторения политики агрессии со стороны Германии»!

— Было бы невозможным яснее подтвердить несовместимость и коренные противоречия между франко-советским договором и парижскими соглашениями,— говорит Торез.— Франко-советский договор — это борьба против возможного возрождения германской опасности, парижские соглашения — возрождение этой опасности.

Что же будет дальше, после ратификации парижских соглашений, когда франко-советский договор утратит силу? Торез подчёркивает, что в этом случае международные позиции Франции резко ухудшатся. Он напоминает исторический прецедент, когда такая же точно политика французской буржуазии похоронила в Мюнхене франко-советский договор и привела Францию к поражению 1940 года и к оккупации. В период между двумя войнами правящие круги французской буржуазии, охваченные ненавистью и страхом перед рабочим классом и демократическим движением, скрывали тот факт, что агрессивные планы германского милитаризма были в первую очередь направлены против Франции. А некоторые говорили открыто: «Лучше Гитлер, чем Народный фронт». Известно, чем это кончилось. Теперь же кое-кто хочет начать всё сначала. Ограниченные политики, ставящие ставку на агрессивный союз с США и Западной Германией, втайне мечтают о том, что на этот раз им всё-таки удастся направить вермахт на восток. Они были бы не прочь даже активно помочь ему в войне против СССР...

— Но французский народ никогда не позволит втянуть себя в войну против Советского Союза, — решительно говорит Торез. — Ведь Советский Союз не имеет никаких интересов, противоречащих интересам нашей страны, он никогда не совершал против нас акта агрессии и, наоборот, так много сделал для спасения нас от гитлеровского варварства... Добавьте к этому, что соотношение сил внутри нашей страны теперь далеко не такое, каким оно было во времена Мюнхена. И если французскому правительству удастся провести ратификацию парижских соглашений и превратить франко-советский договор в клочок бумаги, то рабочий класс — да и не только он один, но и другие слои населения — удвоит свои усилия, чтобы поддержать и развить традиционное сотрудничество между нашими народами. По старинному выражению 1848 года, это сотрудничество является «завом природы»...

И Торез убедительно заключает, подчёркивая резким движением руки каждое слово так, будто он заколачивает гвоздь:

— Те, кто склонны разорвать франко-советский договор, убедятся, что нельзя разбить то, что является действительным союзом между двумя народами...

Разволновавшись, он встаёт, подходит к окну и вглядывается в беспредельную даль яркосинего моря. Звенящая тишина наполняет лежащий за распахнутой дверью сад, залитый солнцем. Необычайно крупные ромашки, широко раскрывшие свои лепестки, усеивают согретый теплом склон, на котором стоит этот домик. Устало склонила свои ветви пальма. Сквозь щели между каменными плитами на террасе густо лезет яркая, какая-то изумрудная трава. Откуда-то издалека доносится чуть слышный ленивый скрип колёс. Эта мирная обстановка в силу резкого контраста с тем, о чём мы так долго и страстно говорили, лишь подчёркивает значимость того, что волнует сейчас руководителя Французской коммунистической партии, бдительно наблюдающего за развитием событий.

— Скоро уеду в Париж,— вдруг говорит он, оборачиваясь к нам.— Воюю с врачами, чтобы сократить срок пребывания здесь. Ведь как ни совершенны средства связи в двадцатом веке, ничто не заменит личного общения. Надо быть там, в самой гуще борьбы...

Но пока что надо строго подчиняться установленному врачами режиму дня. Взглянув на часы, Торез вспоминает, что сейчас — время получасовой прогулки: надо тренироваться в ходьбе. Накинув на плечи плащ и надев кепку, он берёт трость, и мы выходим в сад. Бредём по аллеям, продолжая беседу.

Разговор идёт о борьбе за сокращение вооружения, о начинающейся во Франции кампании по сбору подписей под обращением Всемирного Совета Мира против подготовки атомной войны, о текущих задачах рабочего движения, о крестьянском вопросе. Как ни сложна сейчас обстановка, как ни велико иностранное вмешательство во внутренние дела Франции, как ни сказывается усталость людей, подвергающихся на протяжении ряда лет безудержной и разнузданной пропаганде организаторов «холодной войны», — Торез смотрит оптимистически на перспективы борьбы. Он глядит выше и дальше, нежели те политики, которые уткнулись носами в заголовки газет, твердящих о суетолоке текущих событий, и ничего не видят.

Да, пока что существуют известные трудности. В известных слоях населения, и в том числе среди рабочих — и особенно среди молодёжи — некоторых районов, усилилась аполитичность, временно ослабло сознание необходимости активно участвовать в борьбе. Об этом говорит, например, значительное усиление процента отказывающихся участвовать в выборах, падение тиражей «серьёзных» газет, уделяющих больше внимания освещению политической жизни, и возрастающий успех бульварных изданий, пичкающих читателей статьями об убийствах, грабежах и адюльтере. Всё ещё считается модным говорить где-нибудь в кафе или в кругу друзей: «Меня политика не интересует... Но политика сама интересуется людьми, которые так говорят, и рано или поздно — скорее раньше, чем позже! — логика событий заставит и их заняться ею. Неумолимые законы общественного развития действуют, они делают своё дело, и это сказывается на жизни каждого француза.

Торез саркастически высмеивает буржуазных экономистов, которые лезут из кожи вон, пытаясь доказать, будто бы на Францию снизошло чудо процветания. Жонглируя специально подобранными цифрами, они утверждают, что дела идут прекрасно, производство расширяется, доходы растут и народ благоденствует. Но любая домашняя хозяйка, которая к концу каждой недели, в ожидании скудной полочки мужа, вынуждена считать и пересчитывать каждый франк в своём портмоне, лучше знает, как она живёт...

Недавно Торез закончил и опубликовал обстоятельное исследование об экономическом положении Франции. Ему удалось разоблачить мистификацию буржуазной статистики и показать положение таким, каким оно является на самом деле¹. Он показал, в частности, что Франция продолжает резко отставать в своём экономическом развитии от других капиталистических стран: уровень производства здесь возрос всего на 13 процентов по сравнению с 1929 годом, тогда как в Соединённых Штатах, к примеру, за тот же период производство увеличилось более чем вдвое. Доля Франции в мировом производстве с 1913 по 1953 годы упала по производству стали с 6 до 4 процентов, алюминия — с 20 до 4,6 процента, автомобилей — с 7,5 до 4,7 процента, искусственного шёлка — с 23 до 4,9 процента. По производству стали Франция оттеснена за эти сорок лет на пятое место в мире, по производству алюминия и автомобилей — со второго на четвёртое место, по производству искусственного шёлка — с третьего на седьмое место. А ведь население во Франции за это время выросло более чем на 3,5 миллиона человек!

В 1929 году Франция выплавляла столько же стали, сколько Англия. С тех пор англичане увеличили выплавку стали на 82 процента, а во Франции она осталась на прежнем уровне. В 1929 году Франция шла по производству автомобилей впереди Англии и Германии, а теперь обе эти страны опередили её: они увеличили выпуск автомобилей примерно вчетверо, а Франция едва лишь удвоила его. Все эти данные Торез помнит наизусть — он придаёт им очень большое значение.

— Я уж не сравниваю наши цифры с советскими, — говорит, улыбаясь, Торез. — Тут уж была бы совершенно головокружительная разница. Социалистический мир по темпам развития далеко оставил позади себя капиталистический лагерь. Но и внутри капиталистического лагеря Франция в экономическом отношении отстаёт всё больше и боль-

¹ Статья Тореза «Экономическое положение Франции. Мистификация и действительность» была опубликована в теоретическом и политическом журнале ЦК КПФ «Кайе дю коммунизм» и перепечатана в переводе на русский язык в журнале «Коммунист», № 5 за 1955 год.

ше. Именно в этом, между прочим, ключ к разгадке того, что наша внешняя политика утратила всякое подобие самостоятельности и американский посол ведёт себя в Париже лишь немногим вежливее гитлеровского гаулейтера. Но сейчас я хочу говорить не об этом. Я хочу сказать о том, каковы последствия этих процессов для трудящихся Франции и, следовательно, как они должны отразиться на нашем внутривнутриполитическом положении...

В своей работе Торез убедительно показал, что за последнюю четверть века обнищание французского рабочего класса усилилось. Нынешняя покупательная способность почасовой заработной платы, в общем, примерно вдвое меньше, чем до войны. И если покупательная способность французского пролетариата в целом сократилась в меньшей степени, то это происходит лишь потому, что рабочие сейчас работают дольше и гораздо интенсивнее, чем раньше.

Доля заработной платы в национальном доходе до войны составляла 45 процентов. В 1952 году она упала до 30 процентов. Если взять её в абсолютных цифрах, то человеку, который не знает, что французский франк катастрофически обесценился за эти годы, покажется, что она возросла в колоссальных размерах: заработок квалифицированного парижского металлиста, к примеру, сейчас увеличился по сравнению с 1938 годом в 20 с половиной раз. Но... цены за этот же период возросли в 32 с половиной раза! Выходит, что общая покупательная способность парижского металлиста упала на 38 процентов, и это несмотря на удлинение его рабочего дня на 15 процентов...

— Когда-то французский рабочий надевал, отправляясь на завод, рабочую блузу, прочные брюки из вельвета и кепку,— вспоминает Торез.— По этой одежде сразу можно было его узнать. Теперь и кепка стала роскошью — её заменяет более дешёвый берет, а вельветовые брюки в наше время и вовсе не по карману рабочему, и он надевает плохонький комбинезон из самой дрянной материи. Это, может быть, мелочь, но она показательна...

Торез хмурится, он охвачен глубоким волнением. Сын рабочего класса, бывший шахтёр, он прекрасно знает жизнь трудового люда, и трагедия жестоко эксплуатируемого пролетариата близка и понятна ему.

— Маркс говорил: капитал безжалостен к жизни и здоровью рабочего,— напоминает Торез.— Эти слова звучат особенно злободневно в наше время, когда капиталисты не могут жить без максимальных прибылей. Они готовы физически убить рабочего, лишь бы выжать из его мускулов лишнюю тысячу франков. Рабочий во Франции производит сейчас гораздо больше материальных ценностей, чем двадцать — тридцать лет назад, он работает, как заводная машина, а заработок его снижается и снижается. Для того, чтобы прокормить семью, теперь мало заработка одного рабочего — надо, чтобы и жена работала. А заботы о детях рабочих нет, они брошены на произвол судьбы. Результат — ужасающая детская смертность...

Торез приводит по памяти разительные цифры, почерпнутые им из официальной статистики: в возрасте до года детская смертность в семьях «промышленных предпринимателей» и «высших кадров» составляет около двадцати четырёх на тысячу, а у рабочих — около пятидесяти-шестидесяти. В семьях землекопов умирают в возрасте до года свыше семидесяти младенцев на тысячу, а в семьях шахтёров — более восьмидесяти...

— Говорят, что социальное страхование улучшилось,— продолжает Торез.— Это верно. После освобождения Франции, когда коммунисты входили в правительство, нам удалось кое-чего добиться, и покойный товарищ Амбруаз Круаза, который был занят в составе правительства этими вопросами, провёл ряд законов, отвечающих интересам рабочего класса. Но, во-первых, действующая система социального страхования далеко не совершенна, и, к тому же, государство всячески ограничивает применение завоеванных нами законов, а во-вторых, надо учесть, что за эти годы значительно выросло число несчастных случаев, болезней, увеличилась безработица — одним словом, увеличилось число всех тех зол, против которых социальное страхование в условиях капиталистического государства является лишь временной полумерой...

Торез с силой подчёркивает, насколько вредны распространяемые врагами рабочего класса лживые «теории» насчёт примирения и сотрудничества классов в буржуазном

обществе. С чувством удовлетворения он говорит о том, что Французская коммунистическая партия за последние годы разоблачила и преодолела проявления оппортунизма, который привёл бы к разброду в её рядах.

— У рабочего класса один путь — путь борьбы,— говорит он,— и мы не свернём с этого пути...

Много думает Торез и о крестьянском вопросе. Он с интересом расспрашивает нас о впечатлениях от бесед с крестьянами долины Бресс, делится собственными мыслями о положении французской деревни и о том, как должны работать среди крестьян коммунисты. С чувством глубокой признательности вспоминает он о той непосредственной и важной помощи, которую оказал в своё время Французской коммунистической партии Ленин, ознакомившись в декабре 1921 года с подготовленными французскими коммунистами «Тезисами по аграрному вопросу». Одобрив основные положения этих тезисов, Ленин сделал ряд замечаний, которые имеют большое значение и в наши дни.

— Ленин указал,— говорит Торез,— какое значение имеет развернувшийся уже в ту пору и продолжающийся сейчас процесс концентрации в сельском хозяйстве Франции. Одновременно он подчеркнул, что социалистическая революция не должна ждать того часа, когда капитализм экспроприрует всех крестьян, мелких собственников,— значителен большинство крестьян, отстаивая свои текущие требования, может и должно в то же время одобрить идею социализма. В своих собственных интересах большинство крестьян становится союзником рабочего класса под лозунгом: «Земля тем, кто её обрабатывает!..» Эти указания нам надо помнить, ими надо руководствоваться...

Мы возвращаемся с прогулки, которая для Тореза, в сущности говоря, была продолжением работы: охваченный заботами о дальнейшем развитии рабочего движения во Франции, он излагал свои мысли вслух, размышляя о перспективах борьбы. У двери дома ждёт почтальон с туго набитой сумкой: почта Тореза обильна и разнообразна. Письма, газеты, журналы, книги...

Торез подходит к письменному столу и отбирает для работы на вечер стопку самых различных изданий: только что полученную брошюру профессора Бургиньона о знаменитом французском физиологе Клоде Бернаре, избранные произведения Монтэня, берёт с полки «Диалектику природы» Энгельса с многочисленными закладками меж страниц, ежегодник промышленной статистики, статистический сборник о состоянии угольной промышленности в Европе, книгу художника Андре Люрса «Формы композиции и законы гармонии».

— Пока я нахожусь здесь, надо пользоваться случаем и создавать запасы знания,— улыбаясь, говорит он.— Врачи ограничивают моё рабочее время, но что касается чтения, я им говорю, что это ведь не работа...

Перед тем как расстаться, мы ставим Торезу последний вопрос: как в нынешних условиях он расценивает перспективы борьбы французского народа за сохранение и укрепление мира и безопасности, за обеспечение национальной независимости Франции и её роли великой державы в международных делах?

Подумав, Торез отвечает, что перспективы этой борьбы ему кажутся положительными. Он напоминает, что после 1947 года защитники дела мира, безопасности и национальной независимости Франции добились больших успехов. Их борьба содействовала установлению мира в Индокитае; были отброшены планы создания «европейской армии». Было обеспечено сохранение и укрепление единства весьма различных социальных слоёв, которые во главе с рабочим классом противостоят проводимой ныне внешней политике, противоречащей интересам страны...

— Главной опасностью для нашего народа,— уверенно говорит Торез,— сегодня явилась бы недооценка значения тех сил, которые участвуют в этой борьбе... Чтобы добиться новых успехов, нам нужно неустанно бороться за обеспечение единства рабочего класса, за единство всех демократов, патриотов, сторонников мира. Вы можете передать читателям «Правды», что французские коммунисты отдадут все свои силы делу объединения поднимающихся из глубин нашего народа могучих сил на борьбу против торговцев родиной.

Ночь... Тесное купе железнодорожного вагона. Средиземноморский экспресс мчит нас на север. Французские железнодорожники осваивают ныне большие скорости, и бо-

лее чем тысячекilометровое расстояние от Канн до Парижа мы покроем к утру — временами поезд развивает скорость свыше ста двадцати километров в час. Только вчера на приёмных испытаниях два электровоза новой конструкции достигли рекордной скорости — 320 километров в час..

Приводя в порядок при свете электрической лампочки свои заметки за минувшие дни, я уже мысленно представляю себе кипучий Париж, где наступают горячие дни очередной битвы патриотических сил против тех, кого Торез с такой убийственной меткостью назвал торговцами родиной. И каков бы ни был исход этой битвы, будущее Франции принадлежит не этим торгашам, а французскому народу — тому замечательному народу, мужественных сыновей которого я видел в эти дни в труде и в борьбе.

Час выбора близится.

18 марта. Запылённый, местами лоснящийся от жирной копоти, задыхающийся от стремительного бега экспресс влетает в Париж ранним утром. Промелькнули за окном унылые пейзажи задымлённых заводским чадом пригородов, в одну линию слились огромные щиты реклам, встречающих путешественника на подступах к столице, и вот уже мчащийся с сумасшедшей скоростью поезд затрясся, словно одержимый, прыгая по стрелкам расходящихся веером во все стороны путей, влетел под навес вокзала и замер как вкопанный в отведённом ему асфальтированном стойле. Внезапная тишина на мгновение резнула слух, но тут же со всех сторон послышались неистовые звонки электрокаров, зазывные возгласы носильщиков, продавцов прохладительных и горячительных напитков и разносчиков сладостей, приветствия встречающих, и мы затерялись в обычной для всех вокзалов мира сутолоке. Круг нашего путешествия замкнулся, и нам предстоит вновь погрузиться в душную, насыщенную тяжёлым предгрозовым напряжением политическую атмосферу Парижа.

У первого же киоска я купил газету и сразу же нашёл то, что искал. Из лаконичного сообщения агентства Франс Пресс явствовало, что Совет Республики вчера утвердил расписание предстоящих дебатов относительно парижских соглашений: их обсуждение начнётся в 15 часов 23 марта — на сутки позднее, чем предполагалось, — и должно будет закончиться в ночь на 26 марта, причём имеется в виду проводить по три заседания в сутки.

Эта неприличная спешка, вошедшая с некоторых пор в практику французского парламента, имеет своё объяснение: с одной стороны, организаторы дебатов хотят как можно больше сжать, ограничить обсуждение столь непопулярных в стране соглашений и тем самым помешать представителям патриотических сил разоблачить их должным образом с парламентской трибуны, а с другой стороны, они стремятся взять колеблющихся парламентариев измором, заставляя их в исходе очередного парламентского «марафонского бега» и в обстановке всеобщей усталости и замешательства голосовать за негодные им решения.

Добравшись до корреспондентского пункта «Правды», мы решили просмотреть ворох накопившихся за эти дни газет — хотелось вникнуть в аргументацию сторонников и противников парижских соглашений, чтобы составить известное представление о ходе подготовки к предстоящим решающим дебатам. И вот что сразу же бросилось в глаза: в то время как противники вооружения Западной Германии — в первую очередь коммунисты — посвящают этим дебатам центральные страницы своих газет, политики, выступающие с американских позиций, предпочитают замалчивать их.

Чем ближе день 23 марта, тем меньше и туманнее пишут буржуазные газеты о парижских соглашениях, обсуждение которых начнётся в этот день. «Фигаро», например, опубликовала сегодня сообщение о предстоящих дебатах на... пятнадцатой странице, а «Комба» удовлетворилась беглым упоминанием о них в хронике.

Чем же заняты эти газеты сейчас? О, у них уйма работы! В ход пущена вся хитрейшая механика буржуазной прессы, с помощью которой осуществляется обольванивание читателя. Перед издателями и редакторами этих газет поставлена одна конкретная задача: во что бы то ни стало отвлечь внимание рядового француза от злободневных политических событий, и они лезут из кожи вон, чтобы выполнить эту задачу.

Пожалуй, никогда ещё страницы французских газет не были до такой степени завалены мусором самых диких и самых нелепых сообщений, как сейчас. Репортёры сбиваются с ног, мотаясь по полицейским участкам в поисках сенсационных известий об убийствах и грабежах. Рекламные конторы изобретают самые невероятные конкурсы, способные поразить воображение обывателя. Телеграфные агентства, внезапно утратив интерес к важнейшим политическим событиям, охотятся за самыми нелепыми, но зато удивительными новостями.

В Доме химии организован «марафон машинописи». Сорок одна женщина и трое мужчин стучали по клавишам пишущих машинок семь часов двадцать минут без передышки — кто делает больше ударов. Почти одновременно происходил чемпионат вязальщиц и вязальщиков. Все газеты напечатали фото: участник чемпионата, 64-летний английский священник Реджинальд Парри, ухитрился в молниеносном темпе связать свитер, но он был побит француженкой Пьеретт Поли, которая сумела за то же время связать платье. Другой снимок: «Академия лысых поэтов» (условие приёма — «иметь не более десяти волосков на голове») присудила свою ежегодную премию в сумме 5 000 франков. Третий снимок: некая предприимчивая фирма выпустила в продажу купальный костюм для миллионерш. Вытканый из золотой нити и усеянный луидорами, костюм весит шесть килограммов и стоит безделицу — два миллиона триста тысяч франков, ровно столько, сколько тысяча рабочих зарабатывает в месяц. Из Берна сообщают: во время похорон, в момент, когда носильщики поднялись за гробом в дом покойного, был похищен катафалк. Из Майами передают: некая мисс Гудбай предприняла «личный опыт по высиживанию гусиных яиц»; гусята, которые появятся на свет в результате этого «опыта», будут распроданы с аукциона в благотворительных целях, ожидается огромный спрос на них. Из Сиднея получена не менее сенсационная депеша: там открылся роскошный отель для кошек, которых их владелицы желают развлечь, отправляясь на курорт; пансион немного дороговат — цены втрое больше, нежели в отеле средней руки, предназначенном для людей, но зато есть гарантия наилучшего ухода за вашим любимым котом: замечательное питание, игры, персональная ванная комната...

Все новости хороши для буржуазной прессы, только бы они сбивали с толку читателей и мешали им думать о тех трагических последствиях, которые повлечёт для Франции ратификация парижских соглашений!

Пока буржуазная пресса занята этим малопочтенным делом, за толстыми стенами Люксембургского дворца, где заседает Совет Республики, кипит лихорадочная деятельность, содержание и характер которой можно себе представить лишь в малой степени по отрывочным сведениям, просачивающимся в прессу, и в большей мере — по тем «утечкам информации», которые случаются в частных беседах. И не случайно газета «Монд» заметила как бы вскользь 16 марта, что путь к ратификации парижских соглашений был «странным образом расчищен на протяжении нескольких последних дней».

«Расчистка», на которую намекает «Монд», заключается в том, что ряд видных представителей буржуазных партий, выступавших до сих пор против вооружения Западной Германии в любой форме, либо требовавших существенных гарантий безопасности Франции против возможной агрессии со стороны возрождаемого вермахта, сейчас меняют свои позиции и на деле блокируются с защитниками парижских соглашений. Особенно бросается в глаза изменение позиции ряда сторонников де Голля и в первую очередь вошедших в состав нынешнего правительства Гастона Палевского и генерала Кеннига, а также ряда других депутатов-деголлерцев. Если до недавнего времени эти деятели активно выступали против вооружения Западной Германии, то сейчас они уговаривают членов Совета Республики одобрить парижские соглашения.

В политических кругах Парижа связывают это изменение позиции ряда сторонников де Голля с теми манёврами, которые были предприняты Мендес-Франсом, а затем Фором для того, чтобы расколоть деголлерцев: назначение Сустеля на пост генерал-губернатора Алжира, предоставление Палевскому поста вице-премьер-министра, а Кенигу — министра по делам национальной обороны и другие меры такого же порядка сыграли совершенно определённую роль. Другие сторонники де Голля, в частности быв-

ший министр по делам национальной обороны Мишле, продолжают борьбу против парижских соглашений, но происшедшее среди парламентариев, представляющих буржуазные партии, изменение позиции бесспорно на руку сторонникам вооружения Западной Германии.

При всём том, однако, происходящее сейчас публичное размежевание политических сил имеет определённое значение, поскольку оно даёт возможность широким общественным кругам лучше разглядеть обстановку и избавиться от некоторых иллюзий, сохранявшихся достаточно долго. Решающие дебаты в Совете Республики, которые во многом предопределят судьбы Франции на предстоящие годы, дадут возможность узнать точно и определённо, кто из политических деятелей выступает за национальные интересы Франции и кто предпочитает открыто служить врагам Франции. Тем, кто до последней минуты тщится скрыть свою подлинную позицию и пытается уйти от ответственности, придётся наконец раскрыть свои карты.

Говорит Жолио-Кюри.

19 марта. Не без волнения подходил я сегодня к почерневшему от вековых наслоений пыли и копоти приземистому зданию Коллеж де Франс, находящемуся в самом сердце Латинского квартала. В памяти невольно вставали трогательные сцены, свидетелем которых мне довелось быть несколько лет назад, когда в стенах этого древнего здания учёные и студенты Парижа так горячо встретили своего любимого профессора Фредерика Жолио-Кюри, грубо отстранённого французским правительством от руководства Комиссариатом по атомной энергии на том единственном основании, что он является коммунистом.

Но у Жолио-Кюри оставалось пристанище, где ему всегда был обеспечен самый радушный приём: Коллеж де Франс. Здесь он много лет читал лекции по проблемам физики и химии атомного ядра. Правительство не посмело отнять у него лабораторию, где были сделаны им крупнейшие открытия и где в августе 1944 года он вместе со своими учениками тайно изготовлял противотанковые мины, гранаты и зажигательные смеси для бутылок, снабжая всем этим добром бойцов Сопротивления, участников восстания в Париже, громивших гитлеровцев.

Я был на первой лекции Жолио-Кюри, прочитанной им после увольнения из Комиссариата по атомной энергии весной 1951 года. Его аудитория выглядела необычно: на скамьях попеременно со студентами сидели поблёднелые сединами профессора и виднейшие общественные деятели, а стол был завален принесёнными ими цветами. Мне хорошо запомнилось лицо Жолио-Кюри, стоявшего у чёрной доски с мелком в руке. Его тонкие черты носили след бессонной ночи. Видно, он много передумал и пережил за эту ночь. Но его ясные, лучистые темнокарие глаза, всегда таящие в себе силу величайшей убеждённости, ярко горели, и всем, кто видел его в эту минуту, было понятно: этот человек не сдастся, не капитулирует, он будет до конца продолжать свою борьбу. И в том, что Жолио-Кюри назавтра после своего отстранения с поста верховного комиссара по атомной энергии спокойным и ровным голосом читал очередную лекцию своим слушателям, было что-то необыкновенно сильное и значительное..

И вот четыре года спустя я снова поднимаюсь по отлогим каменным ступеням Коллеж де Франс. Знакомый коридор, знакомая дверь, знакомый скромный кабинет учёного, в котором всё приспособлено только для работы: письменный стол, чёрная доска перед ним, книги, бумаги с вычислениями. Навстречу идёт сам учёный — немного постаревший, с сединой в висках, но попрежнему стройный, эlegantный, с хорошей спортивной выправкой; Жолио-Кюри — превосходный охотник, искусный теннисист, в молодости он с увлечением занимался японской борьбой джиу-джитсу и слыл первоклассным футболистом.

Я замечаю на столе у профессора груды только что распечатанных синеньких телеграфных бланков и вспоминаю, что сегодня день его рождения: ему исполняется пятьдесят пять лет. Спешу его поздравить.

— Да, время идёт быстро, — говорит он, — а впереди ещё так много работы! В этом году, впервые за восемнадцать лет, мне пришлось отказаться от чтения курса лекций — запретили врачи. Пришлось поехать в Альпы... Сейчас чувствую себя лучше и спешу наверстать потерянное, хотя бы в лабораторной работе.

Он разводит руками.

— Конечно, условия работы здесь не сравнить с теми, какими я и мои сотрудники располагали раньше. Но мы работаем, и, кажется, наука на нас не в обиде...

За эти годы Жолио-Кюри ухитрился даже в тех труднейших условиях, в какие он поставлен, создать в лаборатории Коллеж де Франс замечательный коллектив исследователей, который решает важнейшие теоретические проблемы, имеющие большое значение для мирного использования атомной энергии. Одновременно он руководит и второй лабораторией, находящейся в Иври, рабочем пригороде Парижа. Там под его руководством группа учёных разрабатывает проблемы атомного синтеза.

Конечно, технические и материальные возможности этих двух лабораторий весьма ограничены. С горькой усмешкой Жолио-Кюри замечает, что ему приходится больше времени тратить на разрешение разного рода административно-хозяйственных вопросов и на поиск средств, нежели на научную работу.

Правда, ему обещано строительство нового цикло-синхротрона, но пока что он и его сотрудники остаются при старом, маломощном оборудовании, работают в невероятной тесноте, лишены возможности развернуть свои исследования в соответствии с тем уровнем знаний, которыми располагают.

— Всё это, конечно, мешает нам, — говорит Жолио-Кюри, — но мы не падаем духом. Каждый из нас выполняет свой долг перед наукой, и наши работники делают многое для её продвижения вперёд.

Жолио-Кюри грустно улыбается.

— Вы знаете, наша лаборатория похожа на роту, сформированную сплошь из генералов. Я знаю, что такого в армии не бывает, никому не пришло бы в голову комплектовать таким образом воинские соединения. Но у нас дело обстоит именно так. Под моим руководством здесь работают пятьдесят человек, из них — тридцать докторов наук. Любой из этих специалистов мог бы возглавить целый творческий коллектив, и хочется верить, что когда Франция станет независимой страной, то так и будет. Но пока что дело обстоит именно так, как я сказал: мне приходится командовать ротой генералов...

Учёный по скромности своей умолчал о главном: виднейшие специалисты по атомной энергии, соглашаясь занять любой пост, лишь бы работать под его руководством, тем самым выражают огромное доверие, уважение и любовь к этому человеку, которого они считают крупнейшим во Франции знатоком атомной физики и химии. Любой учёный вам скажет: когда правительство, следуя «совету» из Вашингтона, отстранило Жолио-Кюри от руководства Комиссариатом по атомной энергии, оно нанесло тем самым самый серьёзнейший удар по интересам отечественной науки.

Мне вспомнилось в эту минуту, с какой тревогой восприняли в США в декабре 1948 года известие о том, что Жолио-Кюри удалось создать и пустить в ход атомный котёл: «Вчера в двенадцать часов двенадцать минут дня англо-американская монополия на атомную энергию кончилась», — написала тогда газета «Нью-Йорк геральд трибюн». Два с половиной года спустя Жолио-Кюри был отставлен с занимаемого им поста, и с тех пор деятельность французского Комиссариата по атомной энергии уже не давала повода для тревоги в США...

Чем глубже проникает этот человек в тайны атома, тем ярче представляет он себе те безграничные возможности, которые даёт мирное использование заложенной в атоме чудодейственной энергии. Впервые он понял это ещё до второй мировой войны, когда ему вместе со своими сотрудниками удалось открыть важнейшее явление цепной реакции.

Он установил тогда в высшей степени важный факт: когда в целях расщепления атома урана этот атом бомбардировали медленными нейтронами, происходило выделение дополнительных нейтронов. Обдумывая это явление, учёный и пришёл к гипотезе, значение которой ныне общезвестно: «А что если эти дополнительные нейтроны

в свою очередь способны вызвать расщепление других атомов, а те тоже будут выделять дополнительные нейтроны, вызывающие расщепление? Нельзя ли вызвать в определённом количестве урана цепную реакцию, своего рода атомный пожар, при котором выделится колоссальная энергия?»

Видя призвание науки в созидании, а не в разрушении, Жолио-Кюри тогда же занялся решением задачи «торможения» этой реакции: как отрегулировать её таким образом, чтобы человек мог использовать атомную энергию для мирных целей?

Но Жолио-Кюри отдавал себе отчёт в том, что огромная разрушительная сила, тающаяся в цепной реакции, может найти и военное применение. Мысль об этом глубоко тревожила его, как и других честных учёных, посвятивших себя разработке проблем атомной энергии. Уже тогда, в предвоенные годы, Жолио-Кюри начал принимать активное участие в борьбе за мир. Вместе со своим учителем Полем Ланжевенном он участвовал в Комитете бдительности антифашистской ассоциации интеллигенции, ездил в Лондон на собрание Международного союза в защиту мира...

Когда же война разразилась, и гитлеровцы вторглись во Францию, первой мыслью учёного было: как спасти от них запас «тяжёлой воды», незадолго перед тем полученной им из Норвегии и применявшейся для искусственного расщепления атомных ядер? Он понимал, что, если гитлеровцы захватят «тяжёлую воду», их исследования быстро продвинутся вперёд, и тогда... Нет, этого ни в коем случае допустить нельзя! И Жолио-Кюри в труднейших условиях того времени организовал эвакуацию «тяжёлой воды» из Франции в Англию.

Английское правительство предлагало Жолио-Кюри выехать в Лондон и обещало создать все условия для его работы. Корабль ждал его в порту. Вспоминая об этом моменте, учёный задумчиво говорит:

— Я долго шагал по улицам, обдумывая сделанное мне предложение. Честно говоря, оно было заманчиво. Но когда я вспомнил, что мои друзья остаются, чтобы своими руками продолжать борьбу, хотя и в очень тяжёлых условиях, я почувствовал, что не в силах уехать...

И он остался. На следующий день после того как Петэн подписал условия перемирия, продиктованные ему Гитлером, учёный собрал своих сотрудников и сказал им: «Война продолжается, только в новой форме, и она будет посерьёзнее, чем обычная война».

В мае 1941 года Жолио-Кюри вместе с коммунистом Пьером Виллоном основал в подполье Национальный фронт освобождения Франции. Здесь, в Коллеж де Франс, в то время работали немецкие специалисты. Их помещения находились рядом с лабораторией Жолио-Кюри. Опасное соседство для человека, который посвящает себя борьбе против гитлеровцев? И да и нет: Жолио-Кюри приходит в голову парадоксальная идея — никто не догадается, что именно здесь, в окружении гитлеровских специалистов, находится один из центров антифашистского подполья.

И вот он организует в своей лаборатории производство боеприпасов для партизан. Рискуя головой, один из его сотрудников выкрадывает в лаборатории префектуры детонаторы и тащит их в Коллеж де Франс. На верёвочках, протянутых в рабочем кабинете Жолио-Кюри, сушатся изготовленные им и его помощниками пироксилиновые шашки, с помощью которых будут взорваны эшелоны гитлеровцев.

Весной 1942 года Жолио-Кюри обратился к Пьеру Виллону: «Я хочу вступить в коммунистическую партию... Если нас схватят обоих, ваша судьба будет более тяжёлой, чем моя, поскольку я беспартийный. Это было бы несправедливо... И потом если уж мне придётся встать под пули, то я по крайней мере хочу умереть коммунистом». Жолио-Кюри принимают в партию, и в его жизни начинается новый этап...

С тех пор прошло тринадцать лет. Далеко позади остался тот памятный час, когда в Париже раздался последний выстрел и участники восстания с песнями прошли по улицам, заваленным обломками ставших уже ненужными баррикад. Усталый, но радостный, Жолио-Кюри приказал тогда убрать из лаборатории приспособление для изготовления гранат и бомб и начал думать над большими планами научных работ. Назавтра его чествовали, вручили офицерский орден Почётного легиона и военный крест. Его избрали членом Консультативной Ассамблеи, заменявшей на первых порах

парламент. Но он думал не о политической карьере, — о науке. И когда был создан Комиссариат по атомной энергии, он с радостью согласился его возглавить.

В 1946 году Жолио-Кюри довелось побывать в Нью-Йорке. Его встретил там известный банкир Барух, представлявший в то время США в Комиссии ООН по атомной энергии. «Послушайте, — фамильярно сказал банкир, — вы сумасшедший! Неужели вы думаете, что вам удастся построить атомный котёл во Франции? Ваша промышленность отсталая, она неспособна предоставить вам всё, что вам необходимо. Оставьте лучше у нас! Мы создадим вам такие условия, о которых вы не можете и мечтать...»

Жолио-Кюри, улыбаясь, вежливо отказался.

Вскоре он вернулся во Францию. Барух был прав в том отношении, что французское правительство не имело возможности предоставить учёному надлежащих возможностей для работы. Но он недооценивал творческих сил деятелей французской науки. За каких-нибудь два года Жолио-Кюри и его сотрудники сумели сконструировать и пустить в ход в старом, сумрачном помещении полуразрушенного форта Шатийон первый в Европе атомный котёл. Жолио-Кюри любовно назвал его «Зоэ», что значит «Жизнь».

Учёного чествовали, правительство приветствовало и поздравляло его. Но он чувствовал, что над ним уже собираются тучи: в Вашингтоне не могли простить ему отказа сотрудничать с американскими учёными, тем более, что он подтвердил свою верность идеалам борьбы за мир и оставался активным членом коммунистической партии.

Некоторые коллеги шептали ему: «Послушайте нас, бросьте коммунистов! Ведь вы большой учёный — стоит ли вам заниматься политикой? И потом ведь это небезопасно...» Жолио-Кюри прекрасно знал, что «это небезопасно». Больше того, он отлично понимал, что рано или поздно — скорее раньше, чем позже! — власти поставят его перед выбором: либо разрыв с партией, либо уход из Комиссариата по атомной энергии. Внутренне он уже подготовил себя к этому выбору. Он знал: чудес на свете не бывает и было бы наивно думать, что нынешние правящие круги Франции пожелают сохранить то направление, которое он придал работе Комиссариата — мирное и только мирное использование атомной энергии. И на подсказки трусливых коллег он отвечал тем, что ещё активнее участвовал в борьбе за мир, которую он рассматривал как свой долг.

Уже 16 декабря 1948 года, когда в форту Шатийон состоялось торжественное открытие атомного котла, один нагловатый американский журналист спросил Жолио-Кюри:

— Сколько времени вам понадобится, чтобы сделать атомную бомбу?

Учёный усмехнулся.

— Мы и не думаем заниматься этим делом.

Четыре месяца спустя, открывая первый Всемирный конгресс сторонников мира, Жолио-Кюри ещё определённо выразил свою мысль.

— Наше миролюбие, — сказал он, — это не пассивный пацифизм. Недостаточно говорить: «Я за мир». Это легко! Нет, нужно действовать. Каждый может действовать. И если, например, нас попытаются завтра заставить работать на войну, делать атомную бомбу, мы ответим: «Нет». Это — обязательство, и мы его выполним...

Какие визгливые вопли послышались из-за океана, когда туда дошли эти слова! Как злобно начали травить Жолио-Кюри французские буржуазные газеты! Но учёный шёл своим путём. 15 марта 1950 года с трибуны третьей сессии Всемирного Совета Мира в Стокгольме он предложил принять знаменитое Воззвание о запрещении атомной бомбы, под которым вскоре подписались многие сотни миллионов людей и которое помешало американскому командованию использовать атомное оружие в Корее.

— Мы хотим, — сказал учёный, — чтобы все народы мира могли пользоваться теми мощными средствами, которые дают им силы природы. И поскольку кое-кто хвастает своей силой и хочет командовать миром, считая, что в его распоряжении находятся самые эффективные способы уничтожения жизни, то пусть эти люди знают и убеждаются, что растущая армия сторонников мира разрушит их преступные замыслы и сметёт их навсегда...

Вернувшись во Францию, несколько недель спустя Жолио-Кюри принял участие в работе партийного съезда. «Нью-Йорк таймс» по этому поводу возопила: «Чего ждёт французское правительство, чтобы прогнать Жолио-Кюри?»

С чёрного хода к учёному снова и снова забежали непрошенные советчики: «Пока не поздно, одумайтесь!» Учёный на это ответил 8 апреля 1950 года, выступая на районной партийной конференции пятого округа Парижа.

— Партия и контакт с партией, — твёрдо и решительно сказал он, — постоянно вооружают каждого из нас правильной перспективой, позволяющей лучше судить о наших делах в связи с этой перспективой. Партия стоит в самом центре борьбы. Она вооружена теорией марксизма. Поэтому партия лучше знает всё, нежели любой из нас в отдельности.

И говоря о деятелях науки, Жолио-Кюри подчеркнул, что эти люди, привыкшие работать на основе научных методов, не могут не быть увлечены коммунистической партией, которая одна лишь строит свою деятельность на подлинно научном методе — методе науки марксизма.

Три недели спустя правительство Жоржа Бидо отстранило Жолио-Кюри от руководства Комиссариатом по делам атомной энергии.

...Всё это невольно вспомнилось мне сейчас, когда я вновь встретился с учёным в его скромном рабочем кабинете, где за минувшие годы произошло столько больших и важных событий. И я осторожно спросил Жолио-Кюри, как удаётся ему теперь, в тех трудных условиях, в какие он поставлен, совмещать выполнение научных и общественных задач.

Он откинулся на спинку жёсткого стула, задумчиво поглядел на чёрную доску, хранящую неясный след бесчисленных торопливых записей, сделанных мелом и стёртых затем, и сказал:

— Вы знаете, мне как учёному, конечно, очень тяжело чувствовать и знать, что там, в Комиссариате, сейчас дела идут не так, как можно было бы их вести. За эти пять лет Франция отстала в атомной науке. Я не хочу винить своих коллег, которые сейчас там работают, — в тех условиях, в какие поставлена наша наука, было бы трудно добиться большего. Сейчас много говорят и пишут о том, что Франция должна наверстать упущенное и стать великой атомной державой. Но я больше чем уверен, что всё это делается отнюдь не ради того, чтобы пустить вперёд полным ходом те исследования, которые мы начинали в 1947—1948 годах в форту Шатийон. Мы думали об использовании атомной энергии в мирных целях, а сейчас, по-моему, хотят другого...

Жолио-Кюри умолк на мгновение и продолжал:

— Конечно, здесь и в Иври у нас небольшие технические возможности, я уже говорил об этом. Но здесь мы работаем так, как нам того хочется, и над тем, что мы сами хотим делать. А это уже очень много значит. А что касается общественных дел, то на этот счёт я придерживаюсь своей старой точки зрения: учёный, который пытается уйти от жизни общества, — плохой учёный. Что же касается нас, специалистов атомной науки, то мы несём особую ответственность перед человечеством. Это мы выпустили на свободу неукротимую атомную энергию, и если бы мы не смогли помешать её использованию в целях уничтожения, то люди нас прокляли бы...

И Жолио-Кюри рассказал, что сейчас, в свободные от работы часы, он ведёт обширную переписку с учёными всех стран, убеждая их объединить свои усилия в борьбе против военного применения атомной энергии, независимо от существующих между ними идейных разногласий.

— Наше обращение с призывом уничтожить запасы атомного оружия и больше никогда не производить его, принятое Всемирным Советом Мира в Вене, уже сейчас встречает повсюду большую поддержку, — говорит он. — Я уверен, что оно сыграет не меньшую роль, нежели Стокгольмское Воззвание 1950 года. И вот что важно: на этот раз многие учёные-атомники, которые стоят далеко от нас и подчас являются даже нашими идеологическими противниками, теперь соглашаются с нами...

Жолио-Кюри приводит такой любопытный случай. На днях он получил письмо от одного видного английского учёного, который откровенно заявил ему примерно следующее: «Ещё два года назад я говорил: если меня поставят перед выбором — коммунизм

или смерть от атомной бомбы, я избираю бомбу. Теперь я понял, что эта дилемма ложная и неправильная. И я говорю: можно и нужно вместе с коммунистами добиться запрещения атомного оружия».

Приходят и иные письма — злобные, раздражённые, оскорбительные: среди учёных, особенно в США, есть ещё немало людей, которые охотно поддаются влиянию реакционной пропаганды и повторяют распространяемые ею лживые измышления насчёт движения сторонников мира. Им боязно примкнуть к нему и в то же время хочется найти какое-то подобие аргументации, которая позволила бы им как-то оправдать своё трусливое поведение.

Такие письма, содержащие порой резкие выпады и против него лично, причиняют, естественно, боль Жолио-Кюри, ранят самолюбие большого учёного. Но он, преодолевая эту боль, стремится вновь и вновь связаться с тем, кто ему написал, убедить его в необходимости сотрудничества, привлечь к участию в борьбе за запрещение атомного оружия.

— Поймите меня правильно, — говорит он. — Я вовсе не являюсь поклонником теории непротивления злу. Нет, я рассуждаю реалистически: раз такой научный работник решился мне написать, значит моё обращение как-то задело его, заставило его думать, искать решение. Если бы высказанная мной идея его не заинтересовала, он просто бросил бы моё письмо в корзину и забыл бы о нём через пять минут. Но он так не поступил. Нет, он вынужден был задуматься над тем, что прочёл, и родившаяся в его мозгу мысль, повидимому, не давала ему покоя, отвлекала его от работы, преследовала его повсюду. Он не знал, куда от неё деваться. И в конце концов он отложил в сторону все дела, а учёные — люди очень занятые, и сел писать мне ответ. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы оправдаться перед собственной совестью. Удалось ли ему это? Чувствует ли он себя реабилитированным перед собой после того, как опустил свой ответ в почтовый ящик? Разрешите в этом усомниться. Так какое же я имею право отказаться от мысли переубедить его, получив отрицательный ответ, хотя бы он и был выдержан в оскорбительных тонах? Нет, напротив, я обязан продолжить спор, развить завязавшийся диалог... К сожалению, среди деятелей движения сторонников мира есть ещё немало таких людей, которые предпочитают вести диалог только с теми, кто уже убеждён в правоте нашего дела. Действовать таким образом легче и приятнее. Но мы никогда не добьёмся столь необходимого теперь расширения нашего движения, если не будем вести диалог с теми, кто с нами не согласен, и даже с теми, кто сейчас относится к нам враждебно...

Несколько дней назад Жолио-Кюри получил письмо от одного видного американского учёного, специалиста по атомной энергии. Это письмо, грубое по тону и оскорбительное, не могло не задеть его. И тем не менее он рассматривает самый факт установления этой переписки как знаменательное явление: дело в том, что этот учёный, выпалив заученную тираду распространяемых американской пропагандой фальшивых обвинений против движения сторонников мира, заявил в конце, что лично он считает использование атомного оружия преступным и считает, что оно должно быть запрещено.

— В этом вся суть! — говорит Жолио-Кюри. — Неважно, что он ещё находится в плену у предрассудков и считает меня страшным коммунистическим чудовищем, — эти заблуждения со временем рассеются, если мы сумеем найти общий язык. Важно то, что он считает атомную бомбу преступной. С такими людьми мы можем и обязаны вести диалог!

...Разговор незаметно перемещается к волнующей сейчас всех теме — предстоящей ратификации парижских соглашений. Перспектива ремилитаризации Западной Германии глубоко тревожит Жолио-Кюри: он лучше, чем кто бы то ни было, сознаёт опасность, которую таят в себе те статьи парижских соглашений, которые открывают путь к вооружению Западной Германии атомными бомбами.

Как и подобает учёному, он подверг тщательному и объективному анализу эти статьи парижских соглашений. На его столе лежат аккуратно составленные им таблицы — он разбирает раздел за разделом, статью за статьёй, относящиеся к вопросу об атомном оружии.

Известно, что сторонники парижских соглашений всячески изворачиваются, пытаются изобразить дело так, как будто эти соглашения дают достаточные «гарантии», позволяющие якобы думать, что воскрешаемый ныне вермахт не сможет пользоваться атомными бомбами и другими видами массового уничтожения.

— Это ложь, — резко говорит Жолио-Кюри. — Если по-настоящему вникнуть в соответствующие статьи парижских соглашений, то окажется, что в действительности воскрешённый ныне вермахт получит полнейшую возможность располагать атомными бомбами и пустить их в ход. Это — главное. А всё остальное вписано исключительно для отвода глаз...

Перелистывая составленные им сравнительные таблицы, Жолио-Кюри разбирает статью за статью.

— Протокол третий носит громкое название: «О контроле над вооружениями», — говорит он. — Именно на него ссылаются обычно те, кто утверждает, будто бы парижские соглашения лишают Западную Германию возможности производить оружие массового уничтожения и пользоваться им. Но о чём в действительности здесь идёт речь? Обратите внимание прежде всего на статью первую этого протокола. В ней говорится, что «Высокие Договаривающиеся Стороны» соглашаются (!) с декларацией Аденауэра от 3 октября 1954 года, согласно которой Западная Германия обязуется не производить «на своей (!) территории» атомного, биологического и химического оружия. Здесь нет ни слова о запрещении производить такое оружие. Просто Аденауэр обещал, а его союзники приняли это обещание к сведению. Это раз. Второе: Аденауэр сграницил своё обещание территорией Западной Германии. Но это значит, что он вправе производить оружие массового уничтожения для вермахта в другом месте, например, в Испании или в Португалии, где имеются запасы урановой руды. Третье: здесь нет ни слова о запрещении импорта атомного оружия в Западную Германию. Это значит, что Западная Германия может беспрепятственно ввозить атомное, биологическое и химическое вооружение из других стран, например, из США, и вооружать им свою армию. Четвёртое: текст этой статьи отнюдь не исключает возможности того, что в один прекрасный момент союзники Западной Германии пересмотрят своё «согласие» с декларацией Аденауэра и скажут ему: «Обстановка изменилась, мы считаем, что пришло время начать производство атомного оружия и в самой Западной Германии». В этом случае Франция не сможет сказать своё «нет», с ней попросту не будут считаться.

В статье второй того же протокола говорится, что «Высокие Договаривающиеся Стороны» соглашаются также с заявлением Аденауэра в том, что в Западной Германии до поры до времени не будут производить ракетные снаряды дальнего действия, летающие бомбы и другие новейшие виды вооружения, используемые для «доставки» атомной бомбы к месту взрыва. Но эта статья с ещё более откровенным цинизмом говорит о том, что это «обязательство» воздерживаться от производства оружия массового уничтожения носит чисто формальный характер.

Начать с того, что в приложении третьем к протоколу, содержащем список видов оружия, от производства которых пока что отказывается правительство Западной Германии, сказано, что из этого перечня исключается «всякий механизм или его составная часть, аппарат, средство производства, продукт и орган, используемые для гражданских нужд, либо служащие для научных, медицинских и промышленных изысканий в области теоретических и прикладных наук». Невозможно, конечно, всерьёз говорить об использовании ракетных бомб в области «научных, медицинских и промышленных изысканий». Но тот самый факт, что такая оговорка включена в документ в применении к этим видам вооружения, говорит о многом. И она фактически позволяет западногерманскому правительству уже сейчас начать соответствующие изыскания и производство ракетного оружия под предлогом, будто бы это необходимо в интересах изысканий «в области теоретических и прикладных наук».

Дальше в том же приложении говорится — уже без всяких обиняков, — что из данного списка вообще исключаются ракетные снаряды и летающие бомбы «длинной в два метра, диаметром в 30 сантиметров, обладающие скоростями в 660 метров в секунду и дальностью действия в 32 километра». Авторы документа оговариваются,

что такие виды оружия вермахт будет использовать в целях «противовоздушной обороны». Но каждому ясно, во-первых, что летающие бомбы могут быть направлены не только вверх, но и по горизонтали, а во-вторых, что тому, кто делает летающие бомбы, рассчитанные на «короткие» дистанции, не составит никакого труда попутно организовать производство оружия массового уничтожения дальнего действия.

— Лондонцы ещё не забыли, как над их домами рвались гитлеровские летающие бомбы «фау», — говорит Жолио-Кюри. — Теперь перед ними, а также и перед нами, парижанами, открывается возможность в один прекрасный момент получить себе на голову из «союзной» Западной Германии во много раз усовершенствованные летающие бомбы...

Но и это ещё не всё. В той же статье второй чёрным по белому написано, что и эти формальные ограничения в производстве ракетных видов оружия массового уничтожения могут быть полностью отменены «в целях удовлетворения нужд вооружённых сил». Если правительство Западной Германии внесёт такое требование, соответствующее решение будет принято постановлением совета западноевропейского союза — большинством в две трети голосов. Таким образом, Франция будет бессильна помешать принятию этого решения.

Жолио-Кюри говорит не спеша, тщательно взвешивая свои слова, вновь и вновь обращаясь к документам. Он разбирает парижские соглашения статью за статьёй, показывая всю опасность их для жизненных интересов Франции.

— Я стараюсь в данном случае руководствоваться буквой этих соглашений, то есть исхожу из той предпосылки, что они будут соблюдаться, — говорит он. — Как видите, даже в этом случае соглашения предоставляют Бонну возможность вооружиться всеми видами оружия массового уничтожения, включая атомное. Но к этому надо добавить, что парижские соглашения открывают перед правительством Западной Германии безграничные возможности действовать обходными путями. Они, например, предоставляют Западной Германии право производить ядерное горючее под предлогом использования его для промышленных целей. Нетрудно понять, что для такой мощной в промышленном отношении страны, как Западная Германия, не составит особого труда, после того как она получит в своё распоряжение ядерное горючее, изготовить для него оболочку и создать средства для доставки атомной бомбы в любом направлении.

И Жолио-Кюри заключает:

— Какие же выводы должны сделать в этих условиях люди, заинтересованные в сохранении мира? По крайней мере два вывода. Во-первых, парижские соглашения должны быть отклонены, так как они несут в себе серьёзную угрозу для Франции и для мира в Европе. Во-вторых, должна быть осуществлена программа, изложенная нами в Обращении Всемирного Совета Мира и поддержанная уже сотнями миллионов людей: надо уничтожить запасы атомного оружия и никогда больше его не производить. И мы, учёные, обязаны сделать всё, что в наших силах, чтобы добиться решения этой задачи...

Я гляжу на строгое, сосредоточенное лицо Жолио-Кюри, который в это мгновение напоминает мне бойца в решающий момент атаки, и вдруг вспоминаю малоизвестную деталь биографии этого человека: его отец был коммунар. В памятные дни Парижской Коммуны Анри Жолио сражался против версальцев. Его сын унаследовал драгоценные черты решимости и воли к борьбе, которыми были так сильны коммунары. И они были бы вправе гордиться таким наследником...

В театре Сарры Бернар.

20 марта. Сегодня — воскресенье. Обстоятельства сложились так, что можно позволить себе сходить в театр. Возможности на сей счёт в Париже огромны: около сотни больших и малых театров, без малого триста кинематографов, многочисленные концертные залы — к услугам зрителя. Куда же пойти? Я перелистываю объёмистый сборник театральных программ и, как это часто бывает в таких случаях, испытываю чувство досады: какая бездна творческих усилий авторов, режиссёров, актёров растрочена на

пустые, мелочные, а то и полные болезненного бреда пьесы, которые идут на большинстве парижских сцен!

Если не считать Большой Оперы, Французской комедии, национального Народного театра да, пожалуй, ещё театра Мариньи, возглавляемого Жаном-Луи Барро и Мадлен Рено,— подавляющее большинство театров Парижа ставит одни лишь «развлекательные» спектакли в угоду пресыщенному зрителю. В них нет ни проблеска мысли, ни следа творческих поисков. Голое ремесло, однообразная механика без конца повторяющихся схем: адюльтер, детектив, глуповатая клоунада.

Театральные программы, в одной-двух фразах информирующие зрителя о том, что ему предлагается на выбор, оказывают парижскому театру поистине медвежьё услугу: перед вами проходят бесконечной унылой чередой надуманные, вымученные сюжеты — обесцвеченные, задыхающиеся от недостатка воздуха жизни. Вот так они и идут, по алфавиту (название театра, название пьесы, её краткое содержание):

А м б а с с а д о р. «Муж, жена и смерть». Комедия в трёх действиях: жена решила убить своего мужа; её попытки не увенчаются успехом, но она откроет счастье любви.

А м б и г ю. «Великая Фелия». Комедия в трёх действиях: две банды сводят счёты, главная героиня — бывшая проститутка, которая содержит бар.

А н т у а н. «Сошло с рук». Комедия в четырёх действиях: благодаря фонографу муж открывает, что жена ему неверна; он берёт реванш.

А т е н э. «В тисках». Комедия в двух актах: чудесная молодая женщина пытается ускользнуть от мужчины, которого она любит и который её пытается; один соучастник приходит ей на помощь...

И так — от А до Z — вся азбука современного французского театра. Я уже не говорю о разного рода театрах оперетты, варьете, о мелких кабаре, которыми кишит Париж и которые вообще уходят за грань искусства. Нет, я имею в виду в данном случае настоящие театры, известные не только во Франции, но и за рубежом. Тем острее воспринимается их нынешний упадок. Подавляющему большинству владельцев театральных залов нег дела до искусства: они делают деньги, — всё остальное их не интересует.

Отбросив в сторону объёмистый театральный справочник, я решаю осуществить давнее, задуманное ещё в Москве, желание: пойти в театр Сарры Бернар, где пятый месяц подряд каждый вечер играют пьесу американского драматурга Артура Миллера «Салемские колдуньи».

Об этой пьесе уже немало говорилось в нашей печати. Напомню лишь, что в основу пьесы положен реальный исторический факт: в 1692 году в маленьком американском городке Салеме и в ряде других селений штата Массачусетс американские церковные власти затеяли жестокую «охоту за ведьмами», истребляя десятки и сотни ни в чём не повинных людей по обвинению в колдовстве. Но вот что потрясает: хотя на сцене речь идёт о событиях давно минувшего времени, зритель воспринимает их как злобу дня сегодняшней Америки.

Прекрасная постановка Раймона Руло — достойного ученика прославленного Жака Копо, замечательная реалистическая игра знакомого советскому зрителю по кинофильмам и по граммофонной записи разностороннего артиста Ива Монтана, его жены — талантливой Симоны Синьорэ и молодой, способной актрисы Николь Курсель. Дружные усилия всего коллектива, занятого в пьесе, выделили этот спектакль и сделали его событием в жизни французского театра.

Надо было сделать много, очень много, чтобы пробудить у отвыкшей от серьёзных пьес парижской публики интерес к такому спектаклю: трагедия, да ещё историческая, да ещё с острым политическим звучанием. Многие опасливо покачивали головами: Руло прогорит! Но вот «Салемские колдуньи» уже пятый месяц держатся на сцене театра Сарры Бернар, и билет на этот спектакль можно достать лишь с превеликим трудом, да и то за несколько недель вперёд.

Чтобы попасть в этот вечер в театр Сарры Бернар, пришлось побеспокоить самих участников спектакля — Монтана и Синьорэ, они раздобыли мне место на дневное представление. Попутно мы условились встретиться в перерыве до вечернего спектакля: по воскресеньям «Салемские колдуньи» идут в театре дважды.

И вот я в знаменитом старинном зале, куда когда-то парижане собирались, словно на большой праздник, чтобы насладиться игрой прославленной актрисы Сарры Бернар. Театр изрядно обветшал — истрепалась обивка кресел, поблёлка позолота, под ногами поскрипывают зыбкие половицы. Но публика свыклась с этим — подавляющее большинство театральных залов Парижа находится в таком же состоянии. Усевшись в кресла, одетые в пальто люди рассеянно глядят на занавес, размалёванный рекламами какой-то карамели, ботинок, мотоциклов и зубной пасты, и нетерпеливо ждут встречи с любимыми артистами, которые своим творчеством заставят их забыть об этой жалкой обстановке и перенесут в большой мир настоящего искусства.

За кулисами раздаются три традиционных удара тяжёлого деревянного посоха об пол, и вот уже мы в провинциальном американском городке XVII века.

...Занавес падает. Но в зале всё ещё царит мёртвая тишина: люди охвачены глубокими переживаниями, они ещё там — в Салеме, среди героев этой пьесы. Потом вдруг вспыхивают бурные аплодисменты, раздаются приветственные крики, вызовы любимых актёров. Занавес взвивается вновь и вновь, и взволнованная толпа парижан без конца приветствует талантливых деятелей театра, которые не только приобщили их к большому искусству, но и заставили задуматься над острейшими проблемами современности, обогатили их души силой благородного примера людей, которые предпочли смерть бесчестью, как это сделали в наши дни граждане США — муж и жена Розенберги.

...Четверть часа спустя мы поднимаемся по узким и крутым цементным ступеням служебного входа в артистическую ложу Монтана и Синьорэ. С трудом протискиваемся сквозь толпу взбудораженных только что пережитым спектаклем юношей и девушек: они пришли в надежде получить автографы своих любимых артистов. Нас просят подождать в крохотной прихожей с низким потолком, сплошь заставленной корзинами с цветами. На стене — большой портрет Сарры Бернар: когда-то эта комната принадлежала ей.

Из комнаты выскальзывает Симона Синьорэ — невысокого роста, хрупкая, светло-волосая, с энергичным и в то же время миловидным женственным лицом, в скромном синем платье, которое делает её похожей на школьную учительницу. В её зеленовато-серых глазах ещё горит огонь Элизабет Проктор — она ещё не «отошла» от переживаний своей героини. Такие спектакли дорого обходятся настоящим артистам. И сейчас, ища разрядки, она спешит окунуться в житейские дела, смешаться с толпой — ведь через три часа начнётся вечерний спектакль, и ей предстоит вновь пройти весь тяжкий крестный путь своей героини...

— Мы встретимся в ресторане напротив, — говорит она. — Зайдите пока к Иву, сейчас он будет готов...

Синьорэ выходит на лестничную площадку, и там сразу же усиливается гул голосов: её уже атаквали охотники за автографами.

Я отворяю дверь и вижу перед собой знакомую атлетическую фигуру Монтана. Он только что освободился от крестьянской одежды Джона Проктора и, в одних трусиках, жадно пьёт воду из-под крана.

Традиционный французский обмен приветствиями:

— Дела идут?

Я жду, что Ив ответит таким же традиционным утвердительным: «Дела идут...»

Но он с серьёзным видом говорит:

— Дела плохи!

— Почему?

— Говорят, что Совет Республики проголосует за эти проклятые парижские соглашения!..

В первое мгновение меня несколько поражает этот внезапный переход от Америки XVII века к событиям наших дней. Но тут же я соображаю, что мир далёкого Салема, в котором он только что находился, был для него в творческом плане миром сегодняшнего «запада» и что борьбу Джона он воспринимал и воспроизводил как сегодняшнюю борьбу, неотступно думая при этом о таких явлениях, как «охота за ведьмами» в совре-

менной Америке, как наступление реакционных сил в Западной Европе, как борьба против вооружения Западной Германии, которую ведут тысячи французских прокторов и Ив Монтан, исполнитель роли Проктора, в том числе. Потому и образ, созданный им на сцене, приобрёл такую огромную силу выразительности.

Монтан натягивает малиновую бархатную рубашку с широким отложным воротником без галстука, облачается в серый костюм и приглаживает непокорные волосы перед ярко освещённым зеркалом, половина которого заклеена приветственными телеграммами и записками друзей и поклонников. Мы разговариваем о текущих событиях, как если бы я попал не к артисту, а к депутату парламента или к журналисту. Монтана интересует буквально всё — и события на Дальнем Востоке, и рабочий вопрос, и возможные перспективы переговоров четырёх держав...

Наконец мы выбираемся из театра, спускаемся и пересекаем затянутую пунктиром вьедливого мартовского дождя улицу. В скромном ресторанчике, наискосок от театра, нас уже ждёт Симона Сильорэ, заказавшая себе какой-то салат и пару тощих сосисок — по канонам французской моды актриса должна быть... хрупкой. На актёров это правило не распространяется, и Ив Монтан может позволить себе роскошь пообедать по-настоящему — его тяжёлая работа требует не меньшей затраты энергии, чем ремесло молодобойца, которым когда-то он занимался, и рабочему человеку полагается плотно поесть.

Начинается большой, как всегда в таких случаях, немного беспорядочный, но зато непринуждённый и откровенный разговор о театре, об искусстве, обо всём, чем живут эти люди. У них своё, твёрдо сложившееся и устоявшееся представление о миссии творческого деятеля: их долг — приобщать зрителя к большому искусству, будить у него гражданские чувства. Ив и Симона внимательно следят за новостями советского искусства. Им хорошо известно, что наш театр и кинематограф служат именно тем целям, которые ставят перед собой и они. Но во Франции... Во Франции так трудно найти возможность выступить в умной, содержательной пьесе, в интересном кинофильме, сыграть роль положительного героя.

— Мне до смерти надоело играть роли публичных девок, — резко говорит Симона Сильорэ, употребляя при этом самое грубое слово, какое существует во французском языке для определения этого понятия. — Так хочется сыграть роль честной женщины. Вы себе не можете представить! Но киностановщики только смеются, когда им говоришь об этом: такие роли не в моде. Сейчас на экранах идёт фильм Клузо «Одержимые дьяволом» — я в нём просто отвратительна... Мне пришлось играть роль любовницы, которая топит в ванне своего любовника при участии его жены. Потом выясняется, что это убийство было лишь симуляцией: воскресший любовник разыгрывает роль привидения и запугивает насмерть свою жену, чтобы вместе с любовницей воспользоваться её наследством. Как вам это понравится?

Я признаюсь, что это мне никак не нравится и что фильм «Одержимые дьяволом», который пресса безудержно превозносит, кажется мне отвратительным.

— Вот видишь! — воскликнула Симона, обращаясь к Монтану. — А ваши злосчастные эстеты ищут оправданий для Клузо. Говорят, что он сказал какое-то новое слово, что с чисто кинематографической точки зрения он сделал какие-то открытия. Бред! И подумать только, что даже прогрессивные газеты не нашли в себе мужества сказать всю правду об этом фильме...

И Симона взволнованно говорит, что она рассорилась с Клузо и перестала с ним разговаривать после того, как увидела, до какой степени болезненного любования садизмом дошёл он свой фильм; соглашаясь в нём играть, она полагала вначале, что это будет обычный детектив, каких во Франции выпускают на экраны десятки, а получилось... Получилось... Она не находит слов, чтобы выразить своё негодование.

Мы говорим о том, что некоторым кинорежиссёрам, напротив, удаётся даже в этих труднейших условиях создавать светлые, озарённые лучом надежды на лучшее будущее, фильмы. Это зависит не только от таланта режиссёра (Клузо, бесспорно, талантлив, и он доказал это, например, своим фильмом «Плата за страх»), но и от его мировоззрения, от его убеждённости в конечной победе добра над злом. Вспоминаем фильмы Луи Дакэна, Ле Шануа, Беккера. Речь зашла о фильме «Золотая каска», поставленном не-

сколько лет тому назад Беккером с участием Синьорэ и талантливого актёра Сержа Режиани Симона расцветает.

— Это мой любимый фильм... Правда, там мне тоже досталась роль публичной девки по кличке Золотая каска. Но Беккер относится к своим героям с любовью, с чувством. Он не ищет гноя, не выворачивает наизнанку всю гниль того дна, на котором копошатся люди, живущие на наших экранах. Наоборот, он ищет в них что-то человеческое, то хорошее, доброе, что у них ещё есть. И потом там есть тема труда, показана его облагораживающая роль. Там есть любовь, хорошая, чистая любовь, обновляющая людей. Хотя фильм и кончается трагически, но зритель уходит из кино с просветлённым сердцем. Он говорит себе: а всё-таки из этих людей мог бы выйти толк, если бы их направили на правильный путь... Нет, Беккер молодец.

Я рассказываю о том, что мы купили фильм Беккера «Антуан и Антуанетта» и что он скоро выйдет на советские экраны. Монтан и Синьорэ рады за Беккера.

Потом мы заговорили о театре. Ив и Симона жадно расспрашивали о том, на каких основах строится жизнь театра в Советском Союзе. Им даже не верилось, что все театры у нас репертуарные, то есть дают не один и тот же спектакль ежедневно, а чередуют свою программу.

— Об этом можно только мечтать, — сказал со вздохом Монтан. — Если бы вы знали, как это трудно — сохранить свежесть и непосредственность игры, когда ты из вечера в вечер, из месяца в месяц, а иногда из года в год играешь одну и ту же роль, произносишь одни и те же слова, делаешь одни и те же жесты. Актёр превращается в машину, в автомат... Вы знаете, в театре «Нувотэ» комедия «Когда появляется ребёнок» идёт уже.. четыре года. Вы представляете, какво приходится актёрам, занятым в этом спектакле?..

Чувствуется, что Монтан глубоко задет тем унижительным по существу положением, в которое поставлено большинство французских актёров из-за того, что лишь немногие театры обладают постоянными труппами. Обычно дело обстоит так: хозяин театрального зала подбирает пьесу, которая, по его мнению, может заинтересовать публику. Нанимает режиссёра и артистов; они ставят эту пьесу, и потом один и тот же спектакль идёт из вечера в вечер до тех пор, пока он не надоест публике. Затем хозяин распускает труппу, и всё начинается сначала. Где уж тут думать о выработке особого стиля труппы, о новаторстве, о творческих поисках? И не случайно столь многие сцены Парижа находятся в плену у штампа, роли заграничные, постановки банальны.

«Салемские колдуньи» — одно из редких, счастливых исключений. Раймон Руло сумел сформировать сильный коллектив. Он проявил беспощадную требовательность к каждому актёру, добиваясь безукоризненной слаженности спектакля, устраняя каждый неверный жест, любую неточную интонацию, требуя простоты, жизненности, естественности. Кое кто удивлялся: что за причуда — пригласить на главную роль Монтана? Конечно, он прекрасный эстрадный певец, с успехом снимался в кино. Но как можно поручить ему роль в театре, да ещё трагедийную? Однако Руло стоял на своём: надо рискнуть — у Монтана есть что-то такое, что выделяет его из ряда других. Это «что-то» — его близость к жизни, его интерес к человеку, его искренность и творческая честность. И Руло позвал Монтана, а с ним и Синьорэ.

Теперь все видят: он не обманулся в своих расчётах.

— Вы знаете, — говорит, улыбаясь, Ив. — Я работал, как негр. Я прекрасно понимал, что это для меня значит: дебют в реалистической и к тому же трагедийной роли. Я чувствовал себя как мальчишка, впервые поднимающийся на сцену... Мне надо начать с азбуки театрального искусства: дикция, жест, умение донести до зрителя текст... Я обратился за помощью к моим друзьям — Сержу Режиани и Франсуа Перье. Четыре месяца мы учились, учились на Расине и Мольере. Это была настоящая школа...

Монтан и Синьорэ с уважением отзываются о своём режиссёре — Руло. Это опытный мастер сцены, о нём заговорили в Париже как о талантливом постановщике ещё в 1932 году, когда он поставил в театре «Эвр» нашумевшую в то время пьесу Брюкнера «Беды молодости», подобрав молодых исполнителей в точности по возрасту исполнявшихся ими ролей. Этих актёров никто тогда не знал, но сыграли они блестяще, вложив в исполнение весь пыл своей юности. Потом все они выросли в прославленных мастеров

театра: Люсьенн Лемаршан, Соланж Морэ, Ив Гладин, Жан Сервэ, Тая Балашова, Мадлен Озерэй.

С тех пор Руло поставил десятки спектаклей, и в том числе: «Сирано де Бержерак», «Гамлет», «Британик», «За закрытой дверью» Сартра, «Жижи» Коллетт и многие другие. И вот теперь — «Салемские колдуньи»...

Монтан рассказывает о том, как тщательно оберегает Руло свой спектакль от губительного воздействия штампа: нелегко в самом деле сохранять свежесть и непосредственность игры, если играть одну и ту же роль ежедневно, а иногда и дважды в день, на протяжении многих месяцев. И Руло, как ревностный опекун своего детища, каждый вечер проводит в своём кресле в зрительном зале, воспринимая спектакль, словно очередную репетицию. Он зорко следит за каждым жестом, за каждой интонацией актёров и чутко прислушивается при этом к реакции зала. В своём блокноте он записывает замечания в адрес каждого участника спектакля. Когда занавес падает, Руло поднимается на сцену, раздаёт эти листки провинившимся и говорит им: «Подумайте...»

— Вы знаете,— говорит, улыбаясь, Симона,— завтра утром у нас репетиция...

— Репетиция?

— Да-да... Руло регулярно устраивает контрольные репетиции, чтобы освежить спектакль...

Так вот в чём секрет необычайной яркости и остроты этого спектакля, который продолжает оставаться свежим, хотя и повторяется изо дня в день на протяжении вот уже пяти месяцев!

«Салемские колдуньи» будут итти в театре Сарры Бернар до 18 мая, потом актёры разбредутся кто куда — искать новые ангажементы. Что касается Монтана и Синьорэ, у них нет оснований беспокоиться за своё будущее — они оба достаточно популярны, и им не нужно искать работу: приглашений хоть отбавляй. Но для многих, менее известных актёров, это большая проблема.

Кстати, каковы их планы на будущее, если это не секрет? Что касается театра, у них пока что нет никаких сколько-нибудь определённых планов. Не так легко в наше время найти пьесу по душе и ещё труднее отыскать в Париже театр, который согласился бы поставить серьёзный спектакль вроде «Салемских колдуний».

Вероятнее всего, придётся вернуться в кино. Собственно говоря, Монтан и Синьорэ и не порывали с ним. И сейчас по утрам Монтан ездит за город, в Жуанвиль, на кинофабрику, где режиссёр Ив Сьянпи снимает фильм, который называется «Герои устали». Монтан играет роль бывшего героя гражданской войны в Испании, которого судьба занесла в далёкую Либернию и столкнула с пёстрой компанией опустившихся, живущих далёким прошлым людей, в том числе с одним гитлеровцем.

— Как же вы ухитряетесь совмещать кино с театром?..

— Мне давно хотелось сыграть роль героя гражданской войны в Испании,— отвечает, застенчиво улыбаясь, Монтан.— Но вот чего я боюсь: что получится из этого фильма? Симона вам рассказывала историю своего фильма «Одержимые дьяволом». Это случается нередко: прочтёшь сценарий — одно, а посмотришь фильм, в котором ты снимался,— совсем другое. Мне хотелось бы так показать своего героя: да, он устал, жизнь потрепала его, но он верит в завтрашний день, и как ни тяжело ему приходится в той тёмной компании, в которую он попал, он не потерянный человек для борьбы. Нет, он ещё будет бороться...

Сумеет ли Сьянпи дать такое звучание фильму? Осмелится ли он? Или же он, опасаясь неприятностей, предпочтёт утопить своего героя в болоте отчаяния и безнадежности? Вот что волнует сейчас Монтана...

— Постойте, он ещё не всё вам сказал! — смеётся Симона.— Это страшно жадный до работы человек: ему театра и кино мало, он занимается одновременно ещё одним делом...

— Ну что ж, это правда,— признаётся Монтан.— Я работаю сейчас над новой программой песен для долгоиграющей пластинки. Вы знаете, мне пришла в голову такая мысль: мы слишком долго пренебрегали французской народной песней. Да-да, мы все — и композиторы и исполнители — слишком долго увлекались собственным сочинительством. Что же получается в результате? С одной стороны, на слушателя обрушивается

поток салонной пошлости, с другой стороны — в значительно меньшей пропорции, — мы даём ему новую, разумную, идущую от жизни песню, написанную нашими лучшими композиторами на слова наших лучших поэтов. Но подлинно народная песня, где она, спрашиваю я вас? Бьюсь об заклад, девяносто девять процентов нашей молодёжи не имеет ни малейшего представления о том величайшем богатстве, какое мы получили от народа. И вот мне хочется восстановить в правах нашу народную песню, подобрать и спеть самые лучшие произведения народного творчества. Хочется спеть их так, чтобы потом тысячи людей запомнили эти мелодии... Это мой старый долг, и должен же я в конце концов его выполнить, — заключает Ив.

Мы долго ещё беседуем, перескакивая с одной темы на другую, спеша поговорить о многом. Монтан и Синьорэ жадно интересуются новинками нашего театра и кино. У них вызывает восторг сообщение о том, как дешёвы у нас долгоиграющие пластинки (в Париже долгоиграющая пластинка идёт в одну цену с парой туфель). Симона начинает перебирать запомнившиеся ей советские песни и напевает их. Потом возникает страстный спор о живописи: как надо понимать социалистический реализм и где грань между ним и натурализмом. Монтан вдруг цитирует ленинские слова о том, что искусство принадлежит народу и что оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Симона беспощадно ругает одного прогрессивного художника, который, отказавшись от формализма и не поняв сути реализма, занялся натуралистической пачкотнёй и загубил свой талант. Потом разговор снова и снова возвращается к театру, к кино, к дальнейшим творческим планам.

Симона Синьорэ намерена летом поехать в Берлин: она будет сниматься на кинофабрике ДЕФА в фильме «Матушка Кураж» по пьесе Бертольда Брехта.

— Заодно я посмотрю, — говорит она, — Германскую Демократическую Республику. Это будет интересная поездка.

Ив Монтан уедет на съёмки в Италию: его пригласила одна итальянская фирма выступить в фильме, действие которого происходит в Сицилии. В более далёкой перспективе возможна поездка в Москву...

Я рассказываю им, как популярны сейчас в Москве песни Монтана.

— Да, нам говорили, — Ив несколько застенчиво кивает головой. — Это сделал Образцов своими комментариями. Мы очень благодарны ему. Все народы любят песню, и роль певца очень благодарна: он ведь только запевала. И надо ещё очень много поработать, чтобы стать хорошим запевалой...

Ив смотрит на часы: время пролетело, незаметно, и уже приближается час вечернего спектакля. Мы выходим из ресторанчика, снова пересекаем улицу, словно завешенную кисеёй вьедливого холодного дождя, и прощаемся у служебного входа театра. Лица Монтана и Синьорэ сосредоточены: они уже начинают выключаться из окружающего их мира и мысленно уходят в далёкий, суровый и угрюмый Салем. Через несколько минут там возобновится битва за правду, совесть и честь, которую ведут не на жизнь, а на смерть Джон и Элизабет Проктор.

Маленький человек, что же дальше?..

21 м а р т а. «Маленький человек, что же дальше?» — так назывался роман покойного немецкого писателя Ганса Фаллада, пользовавшийся большим успехом на рубеже двадцатых и тридцатых годов. Люди старшего поколения хорошо запомнили этот роман: он как бы приоткрыл дверь в смятенный, полный тоски и тревоги мир маленького человека Германии в ту глухую пору, когда ядовитые семена фашизма уже дали побеги и быстро пошли в рост. Его питательной средой и был этот душный, затхлый мир маленького человека — обывателей, придавленных всё сокрушающей конкуренцией универсальных магазинов, мелких лавочников, не находящих себе места в послевоенной жизни бывших офицеров, безработных, которые не могут никак получить работу...

Мне внезапно вспомнилось всё это сегодня, когда я увидел в газетах панические заголовки о внезапно возросшей силе «движения Пужада», вскочившего вдруг, словно пузырь на воде в дождливый час. Фотографии Пужада — молоджавого, со спортивной

выправкой молодчика — заполнили первые страницы многих газет. «Пужад наступает», «Пужад предъявляет ультиматум правительству», «Кто сильнее — Фор или Пужад?» — эти заголовки мелькают всюду, отодвигая ещё дальше, чем это было вчера и позавчера, сообщения о подготовке к дебатам в Совете Республики насчёт парижских соглашений.

Что же случилось? Кое-кто пожимает плечами: «Очередной пропагандистский трюк! Попытка отвлечь внимание от парижских соглашений». Может быть, и это. Но, бесспорно, не только это. Сторонники Пужада — это маленькие люди Франции, которые спрашивают сейчас себя: что же будет дальше и — кто знает? — не привлечёт ли их тот же путь, каким пошли пятнадцать лет назад маленькие люди Германии, нашедшие вдруг своего «фюрера»?

Во всяком случае эта история заслуживает того, чтобы приглядеться к ней повнимательнее и рассказать о ней.

...Парламент обсуждает сейчас законопроект о бюджете. В этой связи встал волнующий уже давно мелких лавочников и содержателей кафе вопрос о фискальном контроле, за отмену которого вот уже два года борются Пужад и его сторонники. При этом обстановка в парламенте обострилась до такой степени, что вчера газеты с тревогой заговорили о возможности правительственного кризиса: Фор настаивал на сохранении фискального контроля, а многие депутаты, вынужденные считаться с мнением своих избирателей, заявили о своём намерении голосовать за его отмену, тем более, что Пужад сам явился в парламент и сидел на галерее во время дебатов. Он заявил, что пришёл для того, чтобы «зарегистрировать всех тех, кто не захочет поддерживать интересы маленького человека».

В конце концов правительству удалось спастись с помощью ловкого компромиссного решения: Фор дал туманное обещание ускорить изучение проектов, направленных на смягчение налогового бремени; в ответ на это его противники обещали соблюдать «перемирие», пока Совет Республики не одобрит парижских соглашений. Но внутренний конфликт остаётся в силе, и острота его не только не ослабела, но усилилась...

Но кто же он такой, этот Пужад, и почему его начали побаиваться даже депутаты?

Довольно далеко от Парижа, в департаменте Ло, есть небольшой городок Сен-Сере, насчитывающий три тысячи жителей. Был он почти безвестен до тех пор, пока местный книготорговец Пьер Пужад не приобрёл вдруг сенсационную популярность в качестве предводителя «бунта лавочников» против налоговых инспекторов.

Надо сказать, что во Франции мелкие лавочники истари составляют значительную социальную прослойку. На 44 миллиона жителей здесь имеется девятьсот тысяч торговых предприятий. Мяслики, бакалейщики, содержатели мелких кафе, расположенных на каждом углу, парикмахеры, хозяева бесчисленных крохотных отелей, насчитывающих по пять-шесть номеров, хозяева табачных лавок, зеленщики — они имеют постоянную клиентуру. Их лавочки и кафе, особенно в деревнях и мелких городках, представляют собой своеобразные клубы. Там с утра до вечера толпятся люди, толкующие и спорящие обо всём на свете, начиная с планов воскресной рыбной ловли и кончая положением дел в районе острова Тайвань. Хозяин лавки или кафе имеет обычно немалое влияние на своих покупателей, и это обстоятельство приобретает особое значение в период выборов: от того, какого кандидата он будет поддерживать, в немалой степени зависит и позиция его клиентов.

Мелкий лавочник во Франции всегда был консервативен. Он боялся новшеств и поддерживал то, что ему казалось устойчивым и солидным. Его симпатии по большей части принадлежали радикалам. В период движения Сопротивления и после освобождения Франции некоторые из них повели, кое-кто голосовал даже за коммунистов, которые завоевали в стране широкие симпатии своей отвагой в борьбе против оккупантов. Но в массе своей лавочники, для которых превыше всего — забота о сохранении частной собственности, сохраняли свою приверженность к старым порядкам и косо глядели на всё новое.

С некоторых пор, однако, мелкий лавочник начал тревожиться и испытывать острое недовольство действиями властей: за последние годы правительство, всячески покровительствуя крупным предпринимателям, оптовым фирмам и торговым трестам, начало всё сильнее притеснять мелких собственников. Налоговое обложение лавочников усили-

валось, а фискальный контроль становился всё более жёстким, и утаить от налогового инспектора часть своих доходов, как это лавочник обычно делал, становилось всё труднее. А торговые тресты и универсальные магазины со своими бесчисленными филиалами усиливали конкуренцию, которую мелкому лавочнику выдерживать становилось нелегко.

Летом прошлого года правительство Мендес-Франса ещё больше усилило фискальный контроль. Были созданы специальные бригады налоговых инспекторов, задачей которых было тщательно проверять счетоводство каждого лавочника — не скрыл ли он какую-либо часть прибылей от обложения. 8 июня 1954 года правительство с помощью своего парламентского большинства провело закон, согласно которому налогоплательщики, протестующие против осуществления фискального контроля, привлекаются к судебной ответственности и могут получить до двух лет тюремного заключения.

Эти новые порядки оказались роковыми для многих мелких коммерсантов. Число банкротств увеличилось с 2 904 в 1952 году до 3 894 в 1954 году. Кроме того, в 1954 году 47 445 торговцев закрыли свои лавочки, не дожидаясь банкротства. Повсюду мелкие коммерсанты зашумели, заволновались: что делать дальше, как быть? Всё чаще раздавались голоса: «Нельзя терпеть такое положение. Надо бороться... Надо объединиться и действовать, пока мы не подохли»...

Лавочник готов всем сердцем поддерживать режим, который построен на господстве богатых людей и свято охраняет частную собственность: он сам мечтает стать миллионером. Но он не может мириться с тем, что государство берёт с монополий втрое, вчетверо меньше налогов, чем с него. Вот фирма Пейшинэ... В прошлом году она получила десять миллиардов франков прибыли. Если бы её обложили налогом так же, как мелкого бакалейщика, она должна была бы уплатить государству миллиард двести семьдесят миллионов. А сколько с неё взяли? Всего триста семьдесят миллионов!

От одной лавочки к другой шли мрачные новости: налоговые инспекторы зверствуют! Послушайте-ка, что было в Сермэзе: контролёры своими частыми визитами на дом к торговцу Николя Дамже довели его до сердечного приступа. Он лежал в кровати, когда опять явился контролёр. Жена умоляла: оставьте его в покое! Контролёр настаивал: дела не ждуг. И что же? Увидев контролёра, бедняга Дамже испустил дух — разрыв сердца. А сколько торговцев, оказавшись из-за непомерных налогов на грани банкротства, кончают самоубийством? В Э-ле-Роз покончила с собой шестидесятилетняя госпожа Берли, в Люзи — господин Эпина, в том же Сермэзе — господин Вэсло, в Компьене — господин Кола, в Оши — госпожа Бру, в Эндейе — господин Гарэ... Что же будет дальше? Нет, хватит терпеть!

И вот нашёлся среди мелких торговцев ловкий, энергичный человек, который сообразил, что такие настроения можно умело использовать с тем, чтобы в короткий срок создать нечто вроде «движения» (а может быть, и партии) «маленьких людей» Франции. Это и был Пьер Пужад, тридцатидвухлетний книготорговец из Сен-Сере, отец которого был поклонником фашиста Маррасса. Что касается политических убеждений самого Пужада, то он предпочитает о них не говорить, но друзья Пужада дают понять, что его всегда привлекал пример... ренегата Дорио.

Началось с малого. Лавочники Сен-Сере, прослышав о том, что в некоторых районах крестьяне с успехом противятся попыткам властей конфисковать их имущество за неуплату налогов, решили: «А чем мы хуже крестьян?» 23 июля 1953 года финансовые инспекторы должны были проводить проверку доходов в магазине Невьер. Однако им не удалось это сделать: у входа в магазин стояла толпа. Инспекторов встречали криками, свистом, улюлюканьем, и они вынуждены были отправиться восвояси. Лавочники праздновали победу.

Пьер Пужад участвовал в этом «бунте налогоплательщиков». Он и его друзья решили: раз дело начато, надо его продолжать. И несколько месяцев спустя они создали Союз защиты коммерсантов и ремесленников и выработали его программу, предусматривавшую целый ряд фискальных реформ, которые облегчили бы положение мелких лавочников перед лицом опасных конкурентов — универмагов и торговых трестов.

В июле союз Пужада насчитывал всего лишь каких-нибудь триста членов, но вскоре он начал расти, словно снежный ком: число его членов исчислялось уже тысячами,

десятками тысяч и, наконец, сотнями тысяч. Штаб-квартирой союза попрежнему оставался городок Сен-Сере, но его представители путешествовали по всей Франции, создавая всё новые и новые отделения, пока наконец не была сформирована организация общенационального масштаба со своим аппаратом, с двумя газетами, которые называются «Союз» и «Братство», с огромными денежными фондами, с большим техническим аппаратом.

Биограф новоявленного «вождя маленьких людей» Кристиан Ги в своей книге «Кто такой Пужад», вышедшей в свет на этих днях, сообщает, что этот деятель за последние восемнадцать месяцев исколесил по стране семьдесят тысяч километров. Всюду проводил митинги, собиравшие от двух до десяти тысяч человек. По имеющимся данным, организация Пужада сейчас насчитывает триста тысяч членов, платящих членские взносы из расчёта тысячи франков в год. Вместе с «сочувствующими» эта организация насчитывает уже восемьсот тысяч человек.

Во главе Национального союза защиты коммерсантов Пьер Пужад поставил... «генеральный штаб». Его члены — владелец буфета Робер Финьер из города Капденак, виноторговец Алекс Розьер из того же города, владелец оптического магазина Марсиль Давид из Сент-Аффрик, бакалейщик Ролан Видайак из Шательёйон, фотограф Морис Николаи из Пуатъе, агент по продаже недвижимого имущества Анри Бонно из Нима. Все это относительно молодые, энергичные люди, в большинстве своём моложе тридцати пяти лет.

Подбирая свой «штаб», Пужад заботился прежде всего о том, чтобы его помощники умели разговаривать с «маленьким человеком», убеждать его. И, надо признать, он преуспел в этом. То, что во главе «движения Пужада» нет профессионалов от политики, вызывает доверие и предрасположенность у мелких лавочников, содержателей отелей и рестораничков, которых жизнь научила относиться с подозрением к политикам из буржуазных партий. Когда же к такому «маленькому человеку» приходит его двойник и с полным знанием дела заводит разговор о том, что у него болит, он сразу же проникается симпатией и доверием к своему собеседнику.

Рассказывают, что Розьер, например, сделал свою карьеру в «движении Пужада» таким образом. В Эльзасе дела Пужада шли плохо: местные коммерсанты смотрели на него косо, опасаясь, как бы он не вовлёк их в какую-нибудь авантюру. Тогда Пужад вызвал из Капденака Розьера, вручил ему чемодан, набитый листовками, и послал его в Страсбург: «Поступай как знаешь, но в Эльзасе должна быть создана крупная организация».

Тридцатидвухлетний виноторговец вначале был встречен эльзасцами холодно: на первое созданное им собрание пришло всего двадцать коммерсантов. Но он так сумел расположить к себе эту публику рассказами о том, как его притесняют фискальные инспекторы, так красочно живописал беды виноторговцев, вынужденных платить столь большие налоги, что эти двадцать человек тут же поклялись помочь ему создать массовую организацию. Две недели спустя Розьер покинул Эльзас, увозя в кармане список шестисот новых членов Национального союза защиты коммерсантов, а ещё две недели спустя сам Пужад уже выступал в Страсбурге перед аудиторией в три тысячи человек.

Сейчас Розьер руководит ежемесячным журналом организации, который издаётся огромным для Франции тиражом — в четыреста тысяч экземпляров. Свою лавку он, как и большинство членов «генерального штаба» Пужада, оставил на попечение жены.

Характерно, что Пужад особое внимание уделяет созданию отрядов военизированной организации, которые он сам назвал английским термином «коммандос» (так именовались во время войны отряды отборных войск, совершавшие вылазки на побережье Франции, занятое гитлеровцами). Он явно спешил создать такую организацию, которая могла бы в удобный момент сыграть определённую политическую роль, далеко выходящую из рамок защиты интересов коммерсантов. Вот что было сказано в недавно обнародованном газетой «Пари пресс энтрансжан» конфиденциальном инструктивном письме, адресованном «союзом Пужада» (так начал в последнее время именовать себя Национальный союз защиты коммерсантов) руководителю марсельского отделения этой организации:

«Вы должны окружить себя верными деятелями, в особенности следить за тем, чтобы они не были замешаны в политической деятельности левых..

Вы должны иметь рядом с собой по возможности одного-двух помощников, которых следует полностью информировать о делах вашей организации, но они должны действовать незаметно. Их имена не афишируются..

Сектор:

Если он велик, вы можете его разделить по своему усмотрению и направить в каждый подсектор руководителя.

Город:

Город должен быть организован поквартально. Если это большой город, должны быть назначены квартальные руководители или председатели. Если это город меньшего значения, будет достаточно командос. Они будут получать приказы непосредственно от председателя, который стоит во главе города (подразумевается — во главе общегородской организации сторонников Пужада.—Ю. Ж.).

Вот схема иерархии:

Национальный председатель и его генеральный штаб;

Председатель района или департамента;

Председатель сектора или кантона;

Председатель города;

Руководитель квартала;

Коммандос.

Коммандос:

В каждом квартале, на каждой улице вы должны вербовать преданных делу людей из числа наиболее динамичных. Они пойдут первыми, поднимая по тревоге всех своих соседей; они смогут также поддерживать порядок и безопасность; их численность не ограничивается: она устанавливается в зависимости от важности обстановки и от возможностей вербовки.

Ваше поведение:

Вы должны быть подлинным вождём и в любых обстоятельствах сохранять полное спокойствие. Вам необходимо быть абсолютно хладнокровным.

Вы должны обладать умением брать на себя ответственность: не поддаваться запугиванию со стороны каких бы то ни было властей.

Вы должны чувствовать себя очень сильным и полностью уверенным в национальной солидарности.

Вы должны вести действия с честью и достоинством, оставаясь спокойным, с твёрдостью, которая ясно показывает вашу уверенность в своих силах и вашу веру в силы движения и его вождей.

Вы будете придавать своим выступлениям желаемую энергичность, без того чтобы они могли рассматриваться как угрозы».

Я привёл здесь этот характерный документ полностью, ибо он достаточно убедительно показывает подлинный характер этой организации. Пока что «коммандос» Пужада воюют с фискальными инспекторами. Но, кто знает, может, завтра им будет поручено решение политических задач, тем более, что командование этими отрядами централизуется в национальном масштабе?

«Историческим днём» в развитии своего движения Пужад и его сторонники считают день 29 ноября 1953 года, когда в Каоре была создана первая «Генеральная ассамблея» департаментских комитетов. На неё собрались две тысячи активистов движения, и Пужад развивал перед ними перспективы борьбы.

— Мы можем, конечно,— сказал он,— предусмотреть взятие штурмом Бурбонского дворца (в Бурбонском дворце заседает французский парламент.—Ю. Ж.), но мы ещё недостаточно сильны, и мы не должны изображать революционеров. Нет! Наша политика — давление на парламентариев. Когда они явятся в свои избирательные округа, будьте безжалостны к ним..

В то же время Пужад призвал своих сторонников немедленно начать жестокую борьбу против существующей налоговой системы, он требовал оказывать решительное

сопротивление попыткам фискальных инспекторов проверять приходо-расходные книги торговцев, отказываться платить налоги и силой срывать распродажу с торгов имущества за недоимки. Эта борьба привлекала к Пужаду и его сторонникам симпатии населения, испытывающего недовольство деятельностью правительства и его государственного аппарата.

Несколько месяцев спустя в департаментах Коррез и Авейрон разыгрались серьёзные столкновения между «служителями порядка» и сторонниками Пужада, потребовавшие вмешательства охранных воинских частей, до сих пор использовавшихся главным образом для подавления политических демонстраций, забастовок рабочих и крестьян. То, что теперь правительство было вынуждено бросить войска против мелкой и средней буржуазии, являющейся оплотом существующего режима, проливало новый свет на политическую обстановку в стране.

Наиболее острый характер приобрели эти столкновения в городе Родез, где собралось около четырёх тысяч сторонников Пужада с целью помешать проведению фискального контроля в магазине фаянсовой посуды, принадлежавшем некоему Сальвэну.

Дело было так. Власти заявили, что ровно в час дня контролёры явятся к Сальвэну и что они посылают для их охраны несколько «отрядов республиканской безопасности». Действительно, уже с утра вдоль улиц, ведущих к центральной площади города, где находился магазин Сальвэна, вытянулись шеренги военных грузовиков, набитые всоружёнными солдатами. Спротивляющиеся фискальному контролю коммерсанты в свою очередь столпились у древнего кафедрального собора, стоящего в центре площади.

Ровно в три часа дня к магазину направились бледные, дрожащие от волнения фискальные контролёры, сопровождаемые отрядом полицейских. Четырёхтысячная толпа встретила их улюлюканьем и злобными выкриками. Контролёры обратились в бегство, и префект, наблюдавший за развитием событий, тут же дал приказ командующему охранными войсками «освободить площадь, рассеять демонстрантов».

Солдаты бросились в атаку. Но хорошо подготовленные к уличному бою «командос» Пужада оказали им столь энергичное сопротивление, что охранники были вынуждены отступить. Командование охранных войск вызвало подкрепления, и на площади разыгралась новая, ещё более острая схватка. То там, то здесь на мостовую, обливаясь кровью, падали раненые.

Несколько струхнувшие помощники Пужада — Розьер и Давид — попытались было прекратить борьбу, уговаривая разбушевавшихся коммерсантов отойти, но те отказались отступить. В конце концов борьба окончилась вничью — «командос» и охранные войска остались на своих позициях. Но моральная победа была на стороне «командос»: контролёры не рискнули вернуться, и ревизия в магазине Сальвэна была сорвана.

Такие эпизоды разыгрывались повсюду, и всё чаще. Популярность Национального союза защиты коммерсантов быстро возрастала. Пужад и его сторонники шли на риск, бросая вызов властям. Их лозунги становились всё более агрессивными в отношении правительства, особенно с тех пор, как во главе его встал Мендес-Франс, добившийся усиления фискального контроля. Один из деятелей движения Пужада заявил 11 января этого года на массовом митинге в департаменте Эр: «Если правительство не удовлетворит наших требований, пусть охранные войска и полиция начистят свои сапоги и приготовятся к драке. Ношение охотничьих ружей разрешается всем, и члены нашего союза возьмут их с собой, выходя на улицы!»

Две недели спустя Пужад устроил смотр своих сил уже в Париже. Он хотел провести демонстрацию в столице, рассчитывая вывести на улицы до полумиллиона человек. Власти запретили ему сделать это. Пужаду пришлось пойти на компромисс: было решено организовать массовый митинг на территории огромного Парка выставок, что у Версальских ворот, где устраивается ежегодно парижская ярмарка.

Два крупнейших выставочных здания были набиты битком. В них собрались сто тридцать тысяч человек, съехавшихся со всей Франции. Развешанные повсюду плакаты гласили: «За фискальную реформу!», «На штурм, за свободу!» «Все с Пужадом! Надо продемонстрировать силу, чтобы потом не пришлось к ней прибегать!»

Около шести тысяч полицейских окружили Парк выставок, чтобы не допустить уличной манифестации участников митинга. Кроме того, власти держали наготове крупные резервы охранных войск...

В одном из залов выступал Пужад. Он говорил час, его речь транслировалась по радио во второй. Потом он перешёл во второй зал и там говорил ещё час; теперь его речь передавалась туда, где он выступал раньше. Бакалейщики, колбасники, владельцы рестораничек, кафе, маленьких отелей, виноторговцы, булочники — вся эта публика встречала коренастого, мускулистого, похожего на боксёра вожака неистовыми овациями. Лица почитателей Пужада горели возбуждением, каждая его фраза покрывалась бурей аплодисментов.

Этот провинциальный делец знает своих единомышленников, и он умеет им потрафить, умеет понравиться и завоевать их расположение.

— Говорят, что я диктатор! — восклицает он, скорчив смешную мину. — Нет, какой же я диктатор? Я просто баш представитель. Я принимаю на себя мою ответственность так же, как мои товарищи по моему требованию берут на себя свою ответственность... Мне нечего скрывать. Говорят, что я бывший член легиона Дорио. А мне было в то время всего семнадцать лет. Вот, видите, как обстоит дело. Если я здесь разговариваю о себе, так это не за тем, чтобы хвастаться. Просто, я сейчас превратился в общественного деятеля, и вы должны знать, с кем имеете дело...

Потом он резко атакует правительство Мендес-Франса, обвиняя его в том, что оно берёт с «маленького человека» слишком много налогов и служит интересам крупных монополий и торговых фирм. В это время раздаётся шум: над Парком выставок кружит вертолёт — полиция сверху определяет численность участников митинга. Пужад восклицает:

— Я же им сказал, что мы не пойдём сегодня брать штурмом Бурбонский дворец! К чему же эти полицейские, которые нас окружают, и этот самолёт, который летает над нами? А всё это делается на деньги налогоплательщиков!..

В зале раздаётся гром оваций, все вскакивают с места, вопят, скандируя: «Пу-жад! Пу-жад!» Оратор пользуется передышкой, чтобы выпить глоток воды. Тут же он делает гримасу и восклицает: «Боже мой, как это противно! Лучше бы мне дали стакан красного вина!..» Новый взрыв оваций: Пужад хорошо рассчитал свой намёк. Ведь Мендес-Франс сейчас выступает за сокращение виноторговли и во время речей демонстративно пьёт молоко, уверяя всех, что оно полезнее вина.

Наступает кульминационный пункт собрания — Пужад читает проект резолюции, провозглашающей налоговую забастовку: пока правительство не осуществит финансовую реформу, не платить ему ни копейки! И чтобы поставить его в ещё более трудное положение, немедленно изъять из банков и сберкасс все сбережения!

— Да! — гремят сто тридцать тысяч голосов.

Резолюция принята единогласно. И резолюция эта — не простая угроза, не пропагандистский трюк. Нет, коммерсант умеет держать своё слово, когда речь идёт о его денежных интересах, и результаты митинга в Парке выставок сказываются быстро.

Уже пятого марта близкий к Мендес-Франсу еженедельник «Экспресс» забил тревогу: мелкие и средние коммерсанты действительно не платят налогов! К 15 февраля они, согласно закону, были обязаны уплатить одну треть годовой суммы налогов. Но по пяти департаментам — Авейрон, Дордонь, Гар, Эро, Тарн-э-Гаронн — семьдесят процентов налогоплательщиков не уплатили ни одного су. По восьми другим департаментам отказалась платить налоги половина коммерсантов, ещё по пяти департаментам налоги не платят от тридцати до пятидесяти процентов коммерсантов.

Этот факт вызывает глубокую тревогу в правящих кругах, и не случайно мощная машина официальной пропаганды сейчас двинута в ход против Пужада. Лавочник во Франции наряду с жандармом с давних пор считается живым символом стабильности режима. Его верность закону служила прописной добродетелью. И вдруг лавочник — даже лавочник! — начинает бунтовать и драться с жандармом, когда тот требует от него повиновения закону. С этой стороны успех Национального союза защиты коммерсантов представляет собой определённый интерес как знамение времени.

Но есть в этом деле ещё одна сторона, которую не следует терять из виду: это потенциальные возможности полигического использования «бунта лавочников»; глухое, но всё более дающее о себе знать недовольство «маленьких людей» Франции является благодатной почвой, на которой ловкому политическому дельцу совсем не трудно вырастить ядовитые плоды фашизма.

Пужад всячески подчёркивает, что возглавляемая им организация носит чисто экономический характер и далека от политики. Но так ли это? Приведённая выше инструкция низовым активистам Национального союза защиты коммерсантов не оставляет никакого сомнения в том, что его «коммандос» представляют собой инструмент, готовый к полигическим действиям.

Пока Пужад и его единомышленники заняты борьбой против несправедливой фискальной системы, которая душит «маленького человека» Франции и в то же время позволяет крупным капиталистам спасать от обложения свои огромные доходы, их практическая деятельность в известной мере носит прогрессивный характер. Но ограничится ли этим дело?

14 февраля, выступая перед двадцатью пятью тысячами своих единомышленников на Зимнем велодроме в Париже, Пужад приоткрыл завесу над далеко идущими планами. Обращаясь к парижским лавочникам, он без стеснения припугнул их, укоряя в том, что они отстают от своих собратьев из провинции и пока ещё действуют недостаточно энергично. «Я привык ставить точки над «и», — сказал Пужад. — Время действий наступило... И те, кто будет не с нами, будут против нас. Мы не согласимся на то, чтобы они оставались нейтральными».

Но о каких действиях он ведёт речь? О борьбе за ревизию несправедливого фискального закона? Да. Но не только это! «Мы должны, — воскликнул Пужад, — вооружиться хорошей дубиной, чтобы расчистить навозную кучу и навести порядок в государстве!» И в этой же речи Пужад открыто заговорил о том, что он и его сторонники не намерены ограничиваться рамками Национального союза защиты коммерсантов. Он сказал, что имеется в виду привлечь к участию в «совместной борьбе» крестьян, промышленников, фабрикантов и даже... рабочих.

Биограф Пужада, Кристиан Ги, в своей книге подчёркивает, что одной из основ, на которых покоится деятельность Национального союза защиты коммерсантов, является ненависть к политикам и парламентариям-профессионалам. Но это не мешает Пужаду вести свою игру в стенах Бурбонского дворца, где у него немало друзей, и наиболее активный из них — небызвестный Фредерик Дюпон, деятель фашистского толка.

Вот почему в эти дни «движение Пужада» вдруг превратилось в весомый фактор парламентской борьбы, причём дело чуть не дошло до политического кризиса: в Бурбонском дворце разыгралась одна из самых острых политических схваток. Пужад через своих друзей — парламентариев — добыл добрую сотню пропусков на галерею для публики, и его «коммандос» разместились там, демонстративно наблюдая за поведением депутатов и отпуская ядовитые реплики в адрес тех, кто отказывался поддерживать требование об отмене фискального контроля.

Понадобилось всё адвокатское мастерство Эдгара Форэ и вся ловкость его помощников, действовавших за кулисами, чтобы убедить своё большинство в необходимости по крайней мере отсрочить решение этого щепетильного вопроса, пока Совет Республики не закончит дебатов по парижским соглашениям.

Было около трёх часов утра, когда такое решение было принято. Сторонники Пужада реагировали на него колоритными и типичными для них обращениями к депутатам: «Отправляйтесь спать, собаки!» Сам Пужад встал со своего места, демонстративно снял пиджак, засучил рукава и погрозил кулаком парламентариям. Завыли предупредительные сирены, и стражи порядка начали очищать трибуны от публики, опасаясь драки...

Наутро разгневанный Пужад собрал свой «генеральный штаб» и выступил с таким заявлением: «Мы будем бойкотировать всех депутатов, которые нам столько наобещали. На этот раз всё кончено. Из этой навозной кучи ни черта не выгатишь. Они предали нас! И это после того, как они часами дожидались, пока я соизволю их принять, и

после того, как они ползали передо мной на коленях, заверяя в преданности! Хватит! Надо их пропесочить, изменников...»

Немного погодя руководство Национального союза защиты коммерсантов опубликовало следующий приказ: «1. Объявить забастовку коммерсантов и членов союза в понедельник, 28 марта; 2. Прекратить переговоры со всеми без исключения парламентариями; 3. Усилить пропаганду движения по всей территории страны; 4. Препятствовать публичным выступлениям любого депутата парламента из числа тех, которые минувшей ночью голосовали против требований движения».

Газеты пишут, что Пужад грозит помериться силами с Эдгаром Фором и его сторонниками на предстоящих кантональных выборах¹. Если он действительно поступит так, то это будет новым свидетельством политического, а отнюдь не только экономического характера его организации.

«Маленький человек», что же дальше? Этот вопрос с тоской и тревогой ставят сегодня перед собой сотни тысяч мелких лавочников, коммивояжéров, аптекарей, ремесленников — людей, обычно именуемых «средними французами». Пойдут ли они за Пужадом, либо будут искать иные пути борьбы за улучшение своего всё ухудшающегося положения, например, в союзе с рабочими и крестьянами, либо замкнутся в своей скорлупе и будут безропотно ждать приговора судьбы?

Ответ на эти вопросы даст будущее. Некоторые знатоки политических нравов Франции, помнящие о том, как вспыхивали и гасли в прошлом на политическом горизонте Франции «Огненные кресты», «Королевские молодчики» и прочие организации «бунтовщиков справа», предсказывают «движению» Пужада недолгое существование. Другие с сомнением покачивают головами: история не всегда повторяется, и к тому же мелкий буржуа, если его разозлить, может поистине взбеситься — об этом говорил ещё Маркс.

Так или иначе это новое явление в политической жизни Франции заслуживает того, чтобы им заинтересоваться.

В Люксембургском дворце.

23 марта. Итак, сегодня Совет Республики начинает дебаты о парижских соглашениях. Тихими, тесными переулочками, минуя старомодную площадь двухбашенного собора Святого Сульпиция, на паперти которого воркует стая сизых голубей, я поднимаюсь к бесконечно длинной, извилистой улице Вожирар и шагаю к Люксембургскому дворцу, в котором заседают советники республики.

Приземистые, покрытые вековой копотью здания древнего дворца, построенного флорентийскими мастерами для Марии Медичи в одну из бурных эпох французской истории, многое видели на своём веку. В нём жили Людовики — Пятнадцатый, Семнадцатый и Восемнадцатый. Наполеон Первый, а за ним и Наполеон Третий использовали дворец для заседаний сената империи. Потом в этих же раззолоченных залах заседал сенат Третьей республики. В годы первой мировой войны стены дворца пострадали от разрывов снарядов «большой Берты» — немецкая дальнобойная артиллерия вела огонь по Парижу. В годы второй мировой войны, когда немецкие войска вступили в Париж, дворец облюбовал для своего штаба Геринг: здесь работали специалисты подчинённых ему военно-воздушных сил, занятые организацией налётов на Лондон.

В августе 1944 года, когда рабочие Парижа подняли восстание, чтобы изгнать интервентов из столицы, на подступах к дворцу разгорелись ожесточённые бои. Укрывшись за толстыми стенами, гитлеровцы сражались с отчаянием смертников. Но в конце концов повстанцы под командованием легендарного «полковника Фабиена» — парижского металлиста, прославившегося своей исключительной воинской доблестью, — взяли дворец штурмом.

¹ Сейчас, когда публикуются эти записи, выборы уже прошли. Пужад и его сторонники действительно приняли участие в политической борьбе против Эдгара Фора, выставившего свою кандидатуру в генеральные советники по своему департаменту. Они активно поддерживали другого кандидата от буржуазных партий, соперничавшего с Фором. Однако их ставленник потерпел поражение. Был избран Фор.

Два года спустя здесь собралась мирная конференция, в ходе которой были разработаны проекты мирных договоров со странами, находившимися в союзе с гитлеровской Германией. Многие думали тогда, что вскоре наступит время и для заключения мира с самой Германией. Но вот наступил 1955 год, а мирного договора с Германией всё ещё нет. И больше того, в том же самом дворце решается вопрос о... восстановлении гитлеровского вермахта на основе парижских соглашений.

Сегодня с утра на подступах к дворцу стали усиленно патрулировать полицейские. Позднее сюда были подтянуты «салатные корзинки» — так прозвали острые на язык парижане синие полицейские автобусы с металлическими решётками на окнах. Здесь готовились к встрече многочисленных делегаций, направлявшихся со всех концов страны в Париж, чтобы потребовать от членов Совета Республики голосовать против восстановления гитлеровского вермахта. После полудня начали съезжаться советники, министры, дипломаты, избранные гости, получившие пропуска на тесные галереи, вмещающие всего лишь несколько сот человек. Квадратный двор дворца, вымощенный крупной брусчаткой, был забит автомашинами. Через узкие ворота группками по пяти человек — больше не разрешалось — шли и шли делегаты народа, требовавшие свидания с членами Совета Республики, чтобы сказать им: «Голосуйте против!»

К трём часам дня почти все триста двадцать малиновых бархатных кресел советников республики в щедро украшенном позолотой и скульптурой полукруглом зале заседаний были заняты. Некоторые из этих кресел имеют свою историю, и подчас это весьма интересные истории. Вот там, на левом крыле, — кресло № 14. В нём сидит сейчас коммунист Леон Давид, а когда-то его занимал Виктор Гюго, потом Клемансо. В годы оккупации Парижа в этот опустевший в то время, запылённый и захламленный зал заходили гитлеровцы. Заходили с единственной целью: злобно плюнуть на кресло Виктора Гюго...

С высоты на советников взирают недвижными очами каменные статуи семи великих государственных деятелей Франции, прославивших свою родину стойкостью, мудростью и героизмом, — здесь Тюрго, д'Агессо, Мишель де л'Опиталь, Кольбер, Моле, Мальзерб, Порталис. Сидящий рядом с нами на галерее прессы корреспондент шепчет, указывая своим вечным пером в сторону статуи Кольбера, доминирующей над трибуной зала: «Вряд ли он мог думать, что Франция доживёт до таких времён, когда...», и, не договорив, машет рукой.

В зале и на галереях чувствуется натянутая, нервная обстановка. Даже те, кто все эти дни твердил, что пришло время, когда «отступать уже нельзя», и что от ратификации парижских соглашений «уйти на этот раз не удастся», настроены уныло и лишь разводят руками, когда их спрашивают, почему же всё-таки они соглашаются рекомендовать президенту ратификацию парижских соглашений, хотя прекрасно сознают, что этот акт роковым, губительным образом отразится на судьбах Франции.

Один из членов Совета Республики, когда ему был задан такой вопрос, только пожал плечами и молча отчеркнул ногтем на свежем выпуске вечерней газеты, которую он держал в руках, заметку о том, что вчера премьер-министра Эдгара Фора вновь посетили английский посол и поверенный в делах США.

Тот факт, что начинающиеся сегодня трёхдневные дебаты открываются в обстановке ещё неслыханного шантажа и давления на Францию со стороны её «атлантических» союзников, никто даже не пытается опровергать. Больше того, сторонники парижских соглашений считают возможным для себя ссылаться на это обстоятельство в качестве оправдания своей капитуляции...

Ровно три часа дня. Из коридора, ведущего в зал, доносится неистовый треск барабанов: по старинной традиции барабанщики республиканской гвардии возвещают приближение председателя Совета Республики Моннервиля. Появляется бригадный генерал, возглавляющий почётный эскорт, за ним идёт сам председатель Совета Республики, слева и справа от него — два гвардейских офицера, а позади — стража дворца. Отсалютовав генералу, Моннервиль поднимается по ступенькам на возвышение, где находится его председательское место, усаживается в кресло у подножия статуи Кольбера и хрипловатым от волнения голосом объявляет заседание открытым.

Дебаты будут продолжаться сегодня до полуночи, потом возобновятся завтра утром и опять будут продолжаться до полуночи, а послезавтра Совет Республики будет работать с раннего утра и «до исчерпания списка ораторов», то есть до глубокой ночи, если не до субботнего утра. Уже сейчас записалось сорок два оратора...

Первым с докладом от имени комиссии по иностранным делам выступил член Совета Республики, сторонник де Голля, Мишель Дебре. Он был в особенно трудном положении: в недавнем прошлом его знали как активного противника вооружения Западной Германии. Теперь же он, как и некоторые другие политические деятели, резко повернул свой руль. Это вызвало немало волнений внутри деголлевской фракции Совета Республики, которую он возглавляет. Вчера вечером на бурном заседании этой фракции, посвящённом обсуждению столь разительной перемены позиции Дебре, было решено отметить, что он выступает как докладчик лишь от имени комиссии, утвердившей его доклад, и что занятая им позиция не связывает членов фракции, которые смогут голосовать так, как диктует им их совесть.

Поднявшись на трибуну, Дебре сегодня долго распространялся на тему о своих «тревогах» и «сомнениях», вызванных перспективой восстановления вермахта, и о необходимости получить у союзников Франции по Атлантическому пакту некие «гарантии» против демократической угрозы. Однако все эти рассуждения понадобились ему лишь для того, чтобы подсластить горькую пилюлю, которую он предлагает проглотить Совету Республики: ратификацию парижских соглашений он считает... фатальной и неизбежной.

«Из глубины моего сердца, — с деланным пафосом заявил он, — поднимаются сомнения и критические замечания. Никакой путь не кажется верным. Никакое решение не кажется хорошим». Более того, Дебре заявил: «Конечно, перевооружение Германии представляет собой опасность». И что же? Дебре разводит руками: «Предоставление Западной Германии суверенитета, включение её в Атлантический союз, организация союза Западной Европы — все эти меры диктуются нынешним состоянием мира, нашего континента и, я бы сказал, Франции. Ограниченное вооружение Германии представляет собой фатальное явление...»

Дебре счёл возможным почерпнуть свои аргументы в пользу ратификации из американского источника: во-первых, он позволил себе повторить набившую оскомину инсинуацию американской пропаганды о мнимой «агрессивности» советской внешней политики, а во-вторых, преподнёс своим слушателям более чем странную концепцию «смягчения международной обстановки»; он заявил, что «смягчение международной обстановки — это «согласие на раздел мира» и что это «смягчение» ...исключает возможность разоружения. Одним словом, докладчик склонился к англо-американской теории «мира с позиции силы».

На сегодняшнем вечернем и ночном заседаниях членов Совета Республики предстоит заслушать ещё восемь докладов, после чего начнутся дебаты. Имеется в виду давать слово по очереди — то сторонникам, то противникам парижских соглашений...

Тем временем за воротами дворца, на широком асфальтовом тротуаре, который полукругом огибает примыкающий к дворцу знаменитый Люксембургский сад, идут другие дебаты: там, в ожидании приёма у членов Совета Республики, тысячи французов, прибывших со всех концов страны, чтобы протестовать против вооружения Западной Германии, ведут страстные споры на злобу дня, не стесняясь в выражениях по адресу тех, кто хочет вернуть гитлеровцам оружие.

Уже вчера вечером я видел в приёмной Люксембургского дворца делегации избирателей, требовавших свидания со своими избранниками, чтобы сказать им: «Голосуйте против вооружения Западной Германии!» Квесторы Люксембургского дворца вчера же сформулировали следующее разъяснение: «У нас есть основания полагать (!), что во дворец явятся многочисленные делегации, которые будут требовать встречи с сенаторами... Необходимо обеспечить соблюдение порядка вынуждает нас подтвердить традиционное правило, согласно которому делегации допускаются во дворец только поочерёдно, причём численность каждой из них не должна превышать пяти человек...»

Вряд ли, однако, это разъяснение облегчит положение квесторов: сегодня с раннего утра у входа во дворец начали выстраиваться толпы людей, терпеливо ожидавших своей очереди. Полиция поспешила установить деревянные заградительные барьеры

вдоль тротуара и предложила делегациям строиться в затылок. В результате образовалась бесконечная очередь по пяти человек в ряд, превратившаяся как бы в колонну демонстрации против парижских соглашений, с той разницей, что демонстранты обычно движутся, а эта колонна стоит недвижимо на одном месте, причём на тротуаре без конца продолжается стихийный митинг, в котором участвуют сотни и тысячи людей.

Кто эти люди? Вот трое железнодорожников из Моншанен-ле-Мин (департамент Сона и Луары) — один коммунист и двое беспартийных. Они приехали сегодня утром, чтобы потребовать свидания с членами Совета Республики Варло и Пинсаром, которые до сих пор не заняли позиции ни «за», ни против парижских соглашений. Один из железнодорожников говорит:

— Господина Ману — третьего сенатора от нашего департамента — нам удалось застать на квартире. Он сказал нам, что будет голосовать против. Теперь надо во что бы то ни стало разыскать этих двух...

Рядом — большая группа молодых бойких парижанок. Это продавщицы из универсальных магазинов «Призюник» и «Монопри». Они ищут советников Мишке, Брюна и Броссолет. Как только в поле их зрения появляется страж дворца, старшая из делегации машет ему, словно платочком, выданным ей номерком: их очередь — триста девяносто шестая.

Слышится резкий марсельский акцент — это большая сводная делегация рабочих департамента Буш дю Рон. Здесь — прибывшие из Марселя посланцы докеро́в, газовщики, шахтёры из Гардани, шофёры компании дальних автоперевозок. Они покинули Марсель на автобусе вчера утром и добрались в Париж ночью. Им хочется поговорить со всеми членами Совета Республики, представляющими их департамент.

Рабочие парижского городского автотранспорта из депо Малахов принесли с собой огромную петицию против вооружения Западной Германии, испещрённую сотнями подписей.

Чем дальше, тем больше становится толпа людей, ожидающих приёма у членов Совета Республики. Теперь хвост колонны вытянулся до бульвара Сен-Мишель. Стражу дворца, который вызывает делегации, чей черёд уже подошёл, теперь приходится вооружиться громкоговорителем — иначе его не услышат!

В конце очереди становятся три женщины. Их узнают и почтительно пропускают вперёд, поближе к входу. Вот эта женщина в траурном платье — мадам Фабиен — жена национального героя, погибшего в боях с гитлеровцами (невольно я вновь вспоминаю, что Фабиен в 1944 году отбил у гитлеровцев этот самый Люксембургский дворец, в стенах которого сейчас решается вопрос о том, чтобы вооружить Западную Германию). Рядом с мадам Фабиен — вдовы расстрелянных фашистами двух других героев движения Сопротивления: Пьера Рибьера и Луи Шапиро. Приближается большая делегация преподавателей знаменитых парижских лицеев — Святого Людовика, Генриха Четвёртого, Людовика Великого, Монтэня, Лавуазье, Фенелона...

Неподалёку от дворца, у дома № 129 по Университетской улице, вдруг собирается небольшая толпа. На стене дома — мраморная табличка, каких в Париже появилось немало после славного августовского восстания тысяча девятьсот сорок четвёртого года: «Андре Дом пал смертью храбрых у этой стены 23 августа 1944 года». Двое мужчин бережно вешают под этой табличкой венок, свитый из свежих цветов. Один из пришедших — глубокий старик.

— Это его отец... — шепчет мне мой сосед. — Бедняга, он до сих пор так переживает! Каждое воскресенье приносит сюда цветы...

Отец погибшего участника восстания оборачивается лицом к толпе. Он напоминает об августовских днях, говорит об освобождении Парижа, о том, как граждане столицы клялись над свежими могилами борцов сделать всё, чтобы фашисты никогда больше не получили возможности снова взять оружие в свои руки. И вот теперь — эти парижские соглашения... «Боритесь! — восклицает он, подняв свою высохшую руку. — Боритесь, мой сын приказывает вам это...»

Из переулка выезжает тяжёлый грузовик. Увидев толпу, собравшуюся у памятной таблички, шофёр резко тормозит. Он глушит мотор, снимает с головы берет и прислушивается к словам оратора. Потом он одобрительно говорит: «Правильно! Как их

только земля носит, этих бесстыжих политиканов... Подумать только — решили вооружить бошей!» И он в сердцах ударяет по стальной барабанке своего руля.

Сколько таких импровизированных, стихийно возникающих митингов происходит сегодня в Париже, да и не только в Париже, а по всей стране! Вчера в городке Ле-валлуа сторонники мира вышли на улицы с плакатами, изображающими зверства гитлеровцев во Франции. Прохожие собирались группами у этих плакатов, вспоминая горькие дни гитлеровской оккупации. Только в одном квартале за полтора часа было собрано 345 подписей под Обращением против восстановления вермахта. В Клиши-су-Буа сторонники мира обошли 1533 квартиры, опрашивая жильцов, какую позицию они занимают в отношении парижских соглашений. Поголовно все высказались против вооружения Западной Германии. Сколько таких фактов можно было бы привести!..

Пять часов дня. У ворот Люксембургского дворца объявляют: запись на приём к членам Совета Республики прекращена. Этот манёвр квестуры понятен: известно, что сейчас заканчивается рабочий день на заводах и оттуда потянутся к дворцу уже не сотни, а тысячи делегатов, и тогда эта демонстрация протеста против ратификации парижских соглашений примет ещё более внушительные размеры.

— Проходите, проходите! — объявляют полицейские в синих крылатках и каскетках, с белыми резиновыми дубинками у пояса. — Приёма больше не будет. Вам понятно? Приёма больше не будет. Проходите..

— Ну что же, — басит только что подошедший хмурый широкоплечий парень в синем берете и коричневой куртке, с которой он ещё не успел смахнуть угольную пыль. — Мы придём завтра. И послезавтра. И после послезавтра. И даже если они проглотят за эту чёртову штуку, мы всё равно будем бороться. Тебе это понятно?

— Понятно, — нехотя отвечает полицейский и уже более мягким тоном добавляет: — Проходите всё-таки, ведь нам приказано..

Сейчас, когда я дописываю эти строки, над мокрыми от дождя крышами Парижа уже сгустились тёмнофиолетовые сумерки. Сыро, ветрено. Но вдоль длинной решётки обширного сада, прилегающего к Люксембургскому дворцу, всё ещё стоят люди. Они отказываются разойтись, несмотря на настойчивые требования полицейских. Они ждут, пока закончится заседание Совета Республики и начнётся разъезд советников, чтобы ещё раз обратиться к ним с требованием: «Голосуйте против!»

Единство.

24 марта. Вчера вечером в Париже произошло событие, значение которого трудно переоценить: в тот самый час, когда в Люксембургском дворце началась ожесточённая политическая битва вокруг парижских соглашений, на другом конце города, в огромном здании Зимнего велодрома, произошла совершенно необычная массовая демонстрация, от которой повеяло духом славной поры Народного фронта.

Дело не только в том, что организаторам этого митинга удалось собрать столь обширную аудиторию; Париж — огромный город, и массовые митинги, проводимые различными партиями и организациями, здесь не редкость. Дело в том, что на сей раз собрались люди, принадлежащие к самым различным партиям, и все они нашли общий язык. Ощущение грозной опасности, нависшей над Францией, заставило их сплотиться под общим, простым и кратким лозунгом: «Долой парижские соглашения!»

Люди, не знаящие, что происходит на Зимнем велодроме, останавливались в удивлении при виде толпы, направлявшейся туда: столь пёстр и разнообразен был её состав. В широко раскрытые ворота устремлялись рабочие в своих коричневых брезентовых куртках с воротниками из искусственного меха, коммерсанты в шляпах с краями, загнутыми вверх, наподобие котелков, студенты со связками книг подмышкой. Я видел и такое: на набережной Гренель пожилая дама в каракулевом манто вдруг остановила свой автомобиль и спросила прохожего: «Скажите, здесь находится Зимний велодром?» Получив утвердительный ответ, она вышла из машины и не особенно уверенной походкой направилась к входу — наверняка она впервые присутствовала на такого рода собрании.

Но основную массу собравшихся, конечно, составлял трудовой люд: здесь были металлисты с заводов Рено, строители, продавщицы из больших универсальных магазинов, железнодорожники, служащие учреждений. Среди них было немало таких, кто входил в зал, как к себе домой, заранее зная, какие места надо занять, чтобы получше видеть и слышать. Другие пришли в первый раз: они в течение долгого времени шеголяли своим пренебрежением к политике и отказывались от посещения митингов, но теперь поняли, что настал час, когда молчать больше нельзя.

Над трибуной высился огромный щит, задрапированный синей материей и украшенный пересекавшим его по диагонали трёхцветным полотнищем национального флага Франции. Золотыми буквами было написано на этом щите: «Мы говорим «Нет!» перевооружению Германии».

В 9 часов вечера на трибуну поднялась большая группа общественных и политических деятелей, объединившихся в борьбе против парижских соглашений. Ещё год назад было бы трудно представить себе возможность встречи этих людей за одним столом — настолько далеко расходятся их политические позиции. Теперь же их свела воедино общая забота о Франции.

Место председательствующего занял профессор Парижского университета Рене Капитан, который в прошлом был одним из самых активных организаторов «Объединения французского народа» — партии генерала де Голля; вместе с ним пришли избранные по списку деголлевцев депутаты парламента от Парижа — Липковская и Валлон. Сейчас они все трое входят в недавно образованный «Демократический трудовой союз». На трибуну поднялись и другие деятели, известные как соратники генерала де Голля. Рядом с ними заняли места радикалы, католики, прогрессисты, протестанты, коммунисты, виднейшие представители науки, литературы и искусства, руководители ряда массовых общественных организаций — объединения ветеранов войны, объединения участников движения Сопротивления, центра связи инженерно-технических работников, клуба якобинцев, движения за освобождение народов, женского комитета борьбы против вооружения Германии — и многих других. Понстине, выступавшему в роли организатора этого митинга французскому Комитету борьбы за мирное разрешение германской проблемы удалось собрать в этот вечер представителей самых широких слоёв населения Франции. Это не просто фраза, это очевидный факт.

Не пришли на Зимний велодром только социалисты. Говорят, что некоторые депутаты Национального собрания от социалистической партии порывались последовать примеру своих коллег, представляющих другие фракции парламента, но им было запрещено это сделать. Узнав о том, что социалисты не придут, заколебались было и некоторые сторонники де Голля. Один из них озабоченно сказал мне сегодня утром в раззолоченном «Зале потерянных шагов» Совета Республики:

— Честно говоря, я опасаясь, как бы нас не обвинили в сотрудничестве с коммунистами. Это смешно, но вы же знаете, на что способна наша пресса...

Однако вечером я всё же увидел своего собеседника на Зимнем велодроме. Он сумел преодолеть свои сомнения и явно не раскаивался в этом, тем более, что увидел рядом с собой представителей буквально всех партий, за исключением социалистической.

Один академик, войдя в зал, опасливо спросил в свою очередь у секретаря Комитета борьбы за мирное разрешение германской проблемы:

— Скажите, кто будет председательствовать? Не коммунист?

Получив ответ, он облегчённо вздохнул. Эти опасения быть обвинёнными в «сговоре» с коммунистами весьма характерны. С одной стороны, дают о себе знать последствия длительного периода, когда в буржуазных кругах всякое сотрудничество с коммунистами, даже в очевидных интересах нации, считалось предосудительным. С другой стороны, дух маккартизма мало-помалу проникает и сюда, и кое-кто начинает побаиваться быть обвинённым в связях с «подрывными элементами».

Первым взял слово председательствующий — профессор Капитан. Он взволнованно сказал, взглядывая в окутанную дымкой даль огромного велодрома, заполненного десятками тысяч людей:

— Господа! Граждане!.. Заполнив этот огромный зал, мы с вами не стремимся оказать давление на Совет Республики. Если он и испытывает давление, то совсем с другой стороны...

В зале заулыбались, вспоминая о письме Черчилля, который грозил предоставить Западной Германии «пустой стул» Франции за столом великих держав в случае, если парижские соглашения не будут ратифицированы; вспомнили и о визитах американского посла к премьер-министру.

— Мы собрались сюда, — продолжал Капитан, — лишь для того, чтобы напомнить членам Совета Республики о той огромной ответственности, которая лежит на них в этот час, — об ответственности перед народом Франции...

Выступают один за другим радикал Валабрег и прогрессист де Шамбрэн, снова радикал Вьенней, за ним депутат парламента от Новой Каледонии, входящей в группу независимых представителей заморских территорий, Ленорман, потом — сторонник де Голля Пьер Лебон, радикал де Гуйон, коммунист Казанова, католик Андрэ Дени, протестант Анри Розэ, представитель «демократического трудового союза» бывший деголлевец Валлон. Все это совершенно разные по своему идейному складу люди, представляющие самые различные и по большей части противостоящие друг другу политические формирования. Но в том вопросе, который стоит сегодня на повестке дня, они все единодушны и сплочены: «Долой парижские соглашения! Мы не позволим вооружить гитлеровцев!»

Большое впечатление на собравшихся производит выступление депутата парламента деголлевца Лебона. Он говорит сухо, как бы отсекая фразу за фразой. Он не хочет вдаваться в пропагандистские тонкости. Он банкир, человек дела. Он был в Варшаве на совещании, где были представлены семнадцать европейских стран, причём большинство этих посланцев являлись депутатами парламента. Он вёл переговоры с представителями советской общественности. Он участвовал в выработке известного коммюнике, в котором с предельной ясностью изложены условия мирного урегулирования германской проблемы в случае отклонения парижских соглашений, гарантирующие мир и безопасность в Европе. Он может сказать со всей определённости: если парламент откажется ратифицировать парижские соглашения, мир будет обеспечен. Если же эти соглашения будут ратифицированы, Германия останется расколотой и в центре Европы будет создан очаг новой войны.

Под бурные овации, под пение «Марсельезы» участники митинга единодушно приняли резолюцию, содержащую торжественное обязательство ещё шире развернуть борьбу против ратификации парижских соглашений, против воссуждения Западной Германии, за независимую внешнюю политику Франции.

Битва продолжается!

27 марта. Проснувшись сегодня рано утром, французы услышали по радио весть, потрясшую многих из них до глубины души: парижские соглашения только что одобрены Советом Республики. Одобрены, хотя всем ясно, что это решение ставит под угрозу жизненные интересы Франции. Одобрены вопреки тому, что девяносто процентов граждан страны выступают против вооружения Западной Германии. Одобрены, несмотря на то, что более трети всего Совета Республики до конца мужественно сопротивлялись принятию этого решения.

Произошло это сегодня, уже под утро. «Как бывает обычно в таких случаях, важное голосование, решившее судьбу парижских соглашений, завершилось на рассвете», — прочёл я в одной газете. И мне сразу же вспомнилась популярная французская песенка, которую неизменно исполняет с таким блеском и с таким успехом при встречах с рабочей аудиторией Ив Монтан: «На рассвете.. На рассвете... — поётся в этой песенке. — На рассвете умирают больные, на рассвете злые люди вершат свои чёрные дела, на рассвете палачи приканчивают свои жертвы...»

Недаром, однако, в той же песенке дальше сказано: «Но на рассвете рождаются новые надежды, рассвет — это преддверие восхода солнца, рассвет — это двери в

завтрашний день». И как ни тяжело переживают честные французы исход этих драматических дебатов в Совете Республики, как ни горевали, узнав итоги голосования, люди, выстоявшие всю ночь у ворот Люксембургского дворца в ожидании известий из зала заседаний, — они знают и верят: рассвет — это преддверие восхода солнца, и чем чернее ночь, тем ярче будет потом сияние дня.

— Борьба продолжается, месье! — сказал мне сегодня рано утром старый газетчик, протягивая газету, аршинный заголовок которой извещал читателей об итогах голосования в Совете Республики.

В голосе его слышалось желание подбодрить человека, которому он вынужден был продать газету с такой плохой новостью. Но есть в этих словах и нечто большее: уверенность в том, что здравомыслящие французы не допустят, чтобы свершилось непоправимое...

Но вернёмся к событиям минувшей ночи. Они заслуживают того, чтобы рассказать о них подробно: заключительное заседание Совета Республики, начавшееся вчера в четыре часа дня и закончившееся сегодня в шестом часу утра, войдёт в историю как важный этап борьбы патриотических сил за свободу и независимость Франции.

Уже предыдущая ночь в Люксембургском дворце изобиловала острыми стычками между патриотически настроенными парламентариями и сторонниками старых соглашений. Пустив в ход «гильотину регламента», руководители дебатов по существу скомкали общую дискуссию, помешав противникам вооружения Западной Германии в должной мере развить свою аргументацию. Но как только Совет Республики перешёл вчера к постатейному обсуждению законопроекта об одобрении парижских соглашений, борьба возобновилась с новой силой.

Приближался час решающего выбора, и в зале физически ощущалось нарастание нервной напряжённости. Многие члены Совета Республики, зная, что уже через несколько часов им придётся принять на себя бремя величайшей ответственности, пребывали буквально в состоянии смятения: они не решались голосовать так, как подсказывал им голос совести, но в то же время не могли не признать, что ратификация парижских соглашений будет означать тягчайший удар по жизненным интересам Франции. Некоторые советники, до последнего момента не заявлявшие о своей позиции, теперь, трезво обдумав и взвесив все аргументы, приходили к выводу, что подержать парижские соглашения нельзя. Когда на трибуну взошёл известный и авторитетный специалист по финансам, неизменный докладчик финансовой комиссии по бюджетным вопросам, Пелленк, он, казалось, символизировал собой этих мятущихся парламентариев. Его седые волосы были встрёпаны, его руки, которыми он нервно перебирал лежавшие перед ним бумаги, дрожали. Вглядевшись в зал, Пелленк сказал:

— Я не хочу возобновлять общую дискуссию. Как бывший начальник кабинета умерщвлённого гитлеровцами министра Манделя, как отец замученного гестаповцами сына и дочери, погибшей в годы борьбы против оккупантов, я мог бы продолжить взволнованные речи некоторых моих коллег. Но я не хочу вдаваться в аргументацию, идущую от чувств. Я хочу стоять на почве хладнокровного и разумного изучения существа стоящих перед нами проблем. Вот почему, стараясь соблюдать строжайшую объективность, я молча слушал и премьера и докладчиков, ища в их выступлениях аргументов, которые дали бы мне основание голосовать за парижские соглашения. Но они не смогли меня убедить...

И Пелленк в упор поставил вопрос, который волнует многих:

— Должна ли Франция ради сохранения своего места на международной арене встречаться от подписи, которую она поставила под международными договорами?

Члены правительства во главе с премьер-министром молча сидели на своих скамьях. Не получив ответа на свой вопрос, Пелленк продолжал:

— Я не слышал, чтобы хоть один оратор сказал здесь, что парижские соглашения удовлетворительны. Все или почти все, начиная с докладчиков, делали важные оговорки... Есть от чего быть сбитым с толку!.. В кулуарах говорят: вернуть соглашения в Национальное собрание — значит угробить их, простите меня за непарламентское выражение. Что ж, я иначе понимаю нашу парламентскую миссию, нежели те, кто выдвигает такие аргументы. Если сейчас опасаются, что Национальное собрание пересмот-

рит своё первое голосование, значит что-то изменилось с тех пор, как оно высказалось!.. — Призвав далее Совет Республики приложить все усилия к тому, чтобы добиться переговоров с СССР по спорным международным вопросам, вместо того чтобы принимать решения, направленные на обострение международной обстановки, Пелленк воскликнул: — Наша палата — палата размышлений, так её зовут. Все аргументы достойны изучения. Я заклинаю вас не предпринимать ничего, что могло бы в будущем подорвать необходимую безопасность. Подумаем хорошенько и вступим на путь разоружения и мира!

Взволнованный, разгорячённый, с лицом, покрытым красными пятнами, старый советник медленно спустился по ступенькам с высокой трибуны. Он досадливо отмахивался от аплодисментов, раздававшихся и слева, и справа, и в центре. А к трибуне уже шёл коммунист Раметт — посланец шахтёрского департамента Нор. Пелленк и Раметт — люди разных классов и разных убеждений. Но сейчас их волнует одна и та же забота — забота о национальных интересах. Разница лишь в одном: Пелленк ищет отсрочки, а Раметт — борьбы. От лица коммунистов он торжественно предупредил правительство большое большинство:

— Какое бы решение вы ни приняли, французский народ никогда не ратифицирует эти соглашения. Он будет продолжать борьбу против восстановления гитлеровского вермахта плечом к плечу с силами мира и социального прогресса, действующими в Германии.

Сторонники парижских соглашений не в состоянии противопоставить сколь угодно убедительную аргументацию доводам патриотов. Они отмалчиваются, с нетерпением ожидая, когда будет пушена в ход парламентская «машина голосования». Все расчёты заранее сделаны за кулисами. «Машина голосования» сработает так, как это нужно правительству. Так зачем же выступать с речами? Только скомпрометируешь себя перед избирателями, которые никак не желают примириться с вооружением бошей. Грязное это дело, говоря по чести. Но американцы требуют голосовать «за» Ничего не поделаешь...

Молчат, молчат члены Совета Республики, входящие в правительство большое большинство. Вот только католик Пезе попытался что-то сказать. Но что это за доводы? Он ссылается на то, что парижские соглашения одобрены... Европейским советом, заседающим в Страсбурге. «Я не думаю, что мы могли бы вступить в разногласия с Европейским советом», — растерянно бормочет Пезе, вызывая усмешки своих коллег.

Нет, уж лучше молчать! Других охотников публично защищать парижские соглашения нет. В этой обстановке премьер-министр, рассчитывавший выступить позже, перед самым голосованием, меняет своё решение и сам поднимается на трибуну.

Что можно сказать о речи Эдгара Фора? Фактом остаётся то, что премьер-министр Франции настойчиво требовал ратификации парижских соглашений, отвергая всякие поправки к ним. При этом в качестве главного аргумента в пользу ратификации Фор выдвигал... угрозы атлантических «союзников» по адресу Франции. В этой части нынешний премьер-министр недалеко ушёл от своего предшественника Мендес-Франса.

Однако бросилось в глаза, что он всё же учёл то неблагоприятное впечатление, которое произвела на общественное мнение произнесённая накануне речь министра иностранных дел Пинэ, выдержанная в стандартных тонах американской воинственной пропаганды. Фор воздержался от проповеди политики «с позиции силы». Больше того, он счёл нужным заявить: Франция никогда не поддерживала доктрину «roll back» (речь идёт о проповедуемой Даллесом доктрине «отбрасывания» СССР) и не рассматривала доктрину «containment» как самоцель (речь идёт о провозглашённой в своё время Труменом «доктрине сдерживания», согласно которой западные державы должны вооружиться до зубов якобы для того, чтобы «сдерживать» коммунизм); она, сказал Фор, всегда желала не только сосуществования, но и установления хороших отношений с Россией.

Появляемому, премьер-министр рассчитывал на то, что своим выступлением он сломит сопротивление противников вооружения Западной Германии, добьётся снятия всех поправок и немедленного одобрения парижских соглашений подавляющим большинством.

ством голосов. Однако в действительности вышло иначе. Противники вооружения Западной Германии показали себя не менее опытными и ловкими политиками и, едва Фор спустился с трибуны, перешли в контрнаступление против правительства, обращая аргументы Фор против него самого.

Это вызвало известное замешательство среди сторонников парижских соглашений. Был объявлен перерыв, и комиссии Совета Республики собрались на закрытые заседания, чтобы разобраться в сложившейся обстановке. Тем временем в кулуарах шла лихорадочная «охота за голосами» в предвидении предстоящего голосования.

В залах, отведённых для журналистов, было шумно. Неистово трещали десятки пишущих машинок. Служители в форменных мундирах приносили и раздавали корреспондентам — страничку за страничкой — подробный протокол дебатов, который ведётся по ходу заседания. Только что был роздан полный текст речи Фор. Как всегда в таких случаях, дело едва не кончилось членовредительством: каждый репортёр старался первым ухватить экземпляр речи и, опережая конкурентов, умчаться в свою телефонную кабину, связывающую его с телеграфным агентством или редакцией газеты. Тем временем седовласые, выдавшие и описавшие немало политических битв на своём веку парламентские обозреватели толкались в баре, запросто беседа с посетителями республики и министрами, охотно завязывающими приятельские отношения с этой публикой, имеющей немалый вес во французской политической жизни. Здесь же находился и премьер-министр, переходивший от одной группы журналистов к другой со стаканом виски, разбавленного газированной водой. Несколько раз он принимался с жаром объяснять, в каком трудном положении находится правительство перед лицом англосаксонских союзников, столь настойчиво требующих ратификации парижских соглашений, и доказывать, что своей важнейшей целью он считает сохранение и укрепление добрых отношений со всеми странами, в том числе и Советским Союзом.

Парламентские обозреватели буржуазных газет не спешат сесть за пишущие машинки: их очередь придёт потом, когда станут известны результаты голосования, а пока что они, словно губки, впитывают в себя рассуждения своих высокопоставленных собеседников — они послужат той основой, на которой будут вытканы комментарии завтрашних газет.

Время от времени журналисты, парламентарии и министры подходят к стоящему здесь же, рядом с баром, телетайпу, который непрерывно стучит, печатая известия, передаваемые агентством Франс Пресс. Последней сенсацией, распространившейся отсюда по всему дворцу, было сообщение о том, что председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сделал важное заявление по вопросу о созыве совещания великих держав.

Немедленно у доски, на которой вывешиваются снятые с телетайпа длинные листы с отпечатанными на них депешами, образовалась толпа. Кто-то читал вслух заявление главы Советского правительства о том, что Советский Союз, как и раньше, положительно относится к идее совещания великих держав, если имеется в виду такое совещание, которое способствовало бы уменьшению напряжённости в международных отношениях, что Советское правительство уже предложило провести в ближайшее время совещание четырёх держав, на котором можно было бы решить вопрос об австрийском государственном договоре.

В толпе тут же завязались новые споры между противниками и сторонниками парижских соглашений. Парламентарии, защищающие национальные интересы Франции, горячо доказывали, что сейчас, как никогда, благоприятны перспективы урегулирования спорных международных проблем, и в том числе германской проблемы, путём переговоров. Не ясно ли, что вооружение Западной Германии и включение её в замкнутый военный блок лишь затруднит, если не сделает вообще невозможным, мирное решение вопроса о воссоединении Германии? Сторонники парижских соглашений в ответ бормотали что-то невразумительное насчёт того, будто вооружение Западной Германии сделает Атлантический блок «более сильным» и будто бы это позволит успешнее вести переговоры с Советским Союзом. Но этот старый довод американской пропаганды уже никого не мог убедить, и сторонники парижских соглашений с явным облегчением вздохнули, когда звонки возвестили возобновление заседания.

Решающее голосование происходило уже под утро. Председатель комиссии по иностранным делам Плезан, взявший в связи с этим слово, признал, что Совет Республики получил «тысячи писем и телеграмм», требующих отклонения этих соглашений. Тем не менее он счёл возможным призвать парламентариев голосовать «за». Эдгар Фор со всей стороны потребовал, чтобы голосование дало «столь значительное большинство, насколько это возможно», в пользу парижских соглашений. Однако выступавшие в защиту национальных интересов парламентарии ответили на эти призывы решительным «нет».

— Речь идёт о судьбе страны, — воскликнул сторонник де Голля Дебю-Бридель, сравнивая предстоящее голосование с голосованием мюнхенского соглашения в довоенном парламенте. — Я буду голосовать против!

— Если, несмотря ни на что, соглашения будут одобрены, мы скажем, как в 1938 году сказал Габриэль Пери: народ сумеет исправить ошибки своих правителей, — заявил коммунист Маррэн.

— Мы переживаем решающий час французской истории, — заявил член «крестьянской» группы, представляющей интересы крупных землевладельцев, Морель. — Я антикоммунист, но и я голосую против. В момент голосования, каковы бы ни были наши политические убеждения, мы все восклицаем: «Да здравствует Франция!»

— Борьба не закончена, — сказал католик Амон. — Если парижские соглашения будут одобрены, это будет означать, что Франция потеряет важную позицию, но она ещё может выиграть битву за мир.

— Если бы Германия была на нашем месте и должна была бы решать вопрос о вооружении Франции, она голосовала бы против, — воскликнул деголлевек Жан Берто. — Вот почему я тоже голосую против!

— Можем ли мы согласиться с тем, чтобы немецкий генерал командовал армейской группой во французской зоне? — спросил беспартийный генерал Пети. — С этим мы согласиться не можем...

Председательствующий в Совете Республики Моннервиль всячески пытался помешать противникам парижских соглашений свободно высказаться. Он прерывал их, вскакивал со стула, стучал по столу. Но не было такой силы, которая помешала бы в этот решающий час французским патриотам сказать своё слово...

И вот, наконец, началось голосование. Большинство голосов парижские соглашения были одобрены. Когда результаты голосования были объявлены, в зале воцарилась мёртвая тишина. Члены Совета Республики начали медленно расходиться. Сторонники парижских соглашений выходили бледные, с потупленными взорами. Они знали, что завтра страна потребует от них отчёта и что их портреты появятся на стенах городов и селений с клеймящей подписью: «Он голосовал за восстановление гитлеровского вермахта». Те члены Совета Республики, которые, вопреки давлению и шантажу, которому они подвергались на протяжении всего этого периода, сумели до конца остаться верными интересам родины, шли с высоко поднятыми головами, уверенные в том, что они отстаивают правое дело, и полны решимости продолжать эту борьбу.

Сонные полицейские, стяхивая дождевые капли со своих разбухших пелерин и зябко потирая руки, покидали посты, расположенные вокруг Люксембургского дворца. По мокрым мостовым катили первые, ещё полупустые автобусы. От большого оптового рынка, прозванного «Чревом Парижа», розничные торговцы тянули свои ручные тележки, тяжело нагруженные всякой снедью. У выходов из станций метро, на автобусных остановках, у входа на рынки выстраивались парни в коричневых канадских куртках и синих беретах с толстыми пачками воскресного издания «Юманите», бережно прикрытыми от дождя старыми газетными матрицами.

В сыром воздухе гулко звучали их выкрики: «Покупайте, читайте «Юманите»!.. Парижские соглашения ратифицированы — борьба против парижских соглашений продолжается!.. Покупайте, читайте «Юманите»!.. Покупайте, читайте «Юманите»!..» Сквозь низкие облака, лениво ползущие над серым Парижем, брезжил рассвет.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ЛИТЕРАТУРА И АРМИЯ

Китай

«Цзефанцзюнь вэньи»
(«Литература и искусство
Освободительной армии»),
ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 1, 2, 3, 4. 1955.
Год издания 4-й. Пекин.
Редакционная коллегия.

В конце 1951 года делегация китайских писателей привезла с собой в Москву первые пять номеров нового журнала «Цзефанцзюнь вэньи». В скором времени журнал этот стал одним из самых популярных литературно-художественных и общественно-политических журналов Китая.

Его первый номер открывался обращением Чжу Дэ: «Чтобы глубже и шире развернуть литературно-художественную работу в армии, надо в самой армии воспитать много творчески одарённых и теснейшим образом связанных с бойцами Народно-освободительной армии работников литературы и искусства». Руководители и сотрудники журнала — писатели-армейцы — последовательно претворяют в жизнь эти слова одного из руководителей китайского государства и армии.

Журнал посвящён главным образом жизни армии, но он идёт в ногу с жизнью всей страны, освещает важные события, волнующие китайское общество, воспитывает своего читателя на примерах героической революционной борьбы прошлого и настоящего. Журнал взыскателен, и помещаемые им художественные произведения и публицистические статьи всегда на хорошем литературном уровне.

В журнале печатаются не только такие известные прозаики, драматурги, поэты и критики, как Лао Шэ, Ба Цзинь, Лю Бай-юй, Вэй Вэй, Ху Кэ, Чэнь Хуан-мэй, Фэн Чжи, но и солдаты Народно-освободительной армии и китайские добровольцы в Корее — люди, ещё новые в литературе, но уже принесшие в своих произведениях и горячее дыхание боя, из которого они только что вышли, и живую непосредственность очевидцев тех явлений и событий, которые заставили их взяться за перо, и тот хороший литературный вкус, который присущ китайскому народу.

Короткие боевые очерки журналистов — участников операций и самих бойцов — мы читаем почти в каждом номере журнала. Первый номер нынешнего года познакомил читателей с жизнью моряков и артиллеристов «на фронтах Восточного моря». Только отгремели выстрелы сражений за освобождение Ицзяншаня, и в мартовской книжке уже появились четыре очерка «Красное знамя водружено над Ицзяншанем».

Журнал часто рассказывает о прошлом, и всегда оказывается, что это недавнее прошлое помогает читателю понять многое в его нынешних героических буднях. Так, в самый разгар борьбы с агрессорами в Корее была помещена статья Чжу Дэ «Коллективный героизм Восьмой и Новой Четвёртой армий», написанная им в 1944 году к седьмой годовщине войны против японских захватчиков. В нескольких номерах подряд публиковались воспоминания о славном периоде Второй гражданской революционной войны (1927—1937) и о её героях, а на обложке одного из номеров журнала была воспроизведена картина, на которой китайский художник изобразил встречу войсковых частей Мао Цзэ-дуна и Чжу Дэ в апреле 1928 года в Цзинганшане. Кстати, обложка журнала всегда красочна. Неизменны иероглифы названия, но различны гравюры или репродукции картин китайских и советских художников, с которыми журнал знакомит своих читателей.

Журнал активно участвует в борьбе за литературу социалистического реализма. В настоящее время разоблачена контрреволюционная группировка Ху Фына, деятельность которой была направлена на подрыв народно-демократического строя. До этого Ху Фын был разоблачён как проповедник буржуазной идеологии в литературе и искус-

стве, ратовавший за отрыв писателей и деятелей искусства от народных масс. Он возражал против принципа руководства коммунистической партии в области литературы и искусства и противопоставлял некий «субъективный боевой дух» и «искренность» правдивому отображению революционной действительности с позиций пролетарского мировоззрения. Журнал в ряде статей резко критикует буржуазные антинародные воззрения Ху Фына. Интересно организованное журналом в этой связи обсуждение китайскими народными добровольцами рассказов Лу Лина «Сражение в низине» и «Сердце бойца» (№ 3). Народные добровольцы — участники беседы — лично знакомы с писателем Лу Лином, некоторое время жившим в их среде. Они говорили о том, как неверное восприятие событий помешало Лу Лину написать настоящую правду о добровольцах и о корейском народе. В том же номере вслед за высказываниями добровольцев помещена статья Вэй Вэй о рассказе Лу Лина «Сражение в низине». Вэй Вэй очень наглядно показывает, как надуман составляющий сюжет рассказа конфликт между любовью и дисциплиной, изображённой в виде бездушного чудовища, вставшего на пути к личному счастью человека. Вэй Вэй отмечает, что для мелкобуржуазных интеллигентов очень характерна боязнь революционной дисциплины: они видят в ней «путы», связывающие пресловутую «личную свободу». Он называет эти взгляды Лу Лина «боеприпасами, взятыми из буржуазного арсенала».

Утверждению правдивого образа героя современности в литературе и искусстве посвящена большая статья постоянного автора журнала — критика Чэнь Хуан-мэя во втором номере журнала.

Часто публикуются в журнале статьи о писателях — современных и классиках, китайских и иностранных. Среди них следует отметить статью известного литературоведа Фэн Чжи о великом китайском поэте восьмого века Ду Фу, статьи о Салтыкове-Щедрине, Илье Эренбурге, Говарде Фасте, Леоне Кручковском, Пабло Неруде, Хансе Кристиане Андерсене.

Советскому читателю будет интересно узнать и то, что произведения нашей литературы представлены в каждом номере журнала. Здесь и «Унтер Пришибеев» Чехова, и письма С. Антонова об искусстве рассказа, и статья И. Эренбурга о работе писателя, и «Рядовой Матросов» П. Журбы, и рассказы Бориса Полевого, и «Солдат-депутат» А. Твардовского, и «Залп «Авроры» Н. Асеева, и доклады на Втором Всесоюзном съезде советских писателей.

Центральное место в журнале занимают художественные произведения. За неполных четыре года своего существования журнал напечатал немало повестей, рассказов, пьес, которые народ принял и полюбил. Это можно сказать о большом романе Ду Пэн-чэна «Оборона Яньани», из которого были опубликованы в журнале вторая и шестая главы, о пьесе «Линия фронта передвигается на юг» Ху Кэ, известного советскому читателю по его интересной драме «Они выросли в боях». Пользуется большим успехом у китайских зрителей пьеса Чэнь Ци-туна о Великом походе Китайской красной армии, опубликованная в ноябрьской книжке журнала в минувшем году.

В рассказах о Корее писателей Лю Бай-юя, Ба Цзиня, Вэй Вэй и других мы находим образное подтверждение мыслей о коллективном героизме, высказанных Чжу Дэ в статье, о которой мы говорили в начале обзора.

В четырёх первых номерах нынешнего года журнал опубликовал киносценарий, одноактную пьесу, несколько рассказов и повестей Цзюнь Цина, Сюй Си-чжэна, Ли Вэнь-сяна, Ли Мина, Чжан Цин-тяня, Ай Яна, Лю Да-вэйя, Ван Цзюня, Сян Цзэна и других. Все они посвящены изображению нового героя китайской действительности, все они говорят о единении армии и народа.

Среди этих произведений привлекает внимание большая и интересная повесть Лао Шэ «Безымянная высота обрела название» — результат впечатлений писателя за время его пребывания среди народных добровольцев в Корее. Рассказы и пьесы этого выдающегося писателя старшего поколения, глубокого психолога и редкого знатока живой народной речи переводились на русский язык и нашли достойную оценку у нашего читателя. Повесть закончена в четвёртом номере журнала. Она заслуживает того, чтобы посвятить ей отдельную статью. Сейчас же нам хочется остановиться на последних по времени их напечатания главах автобиографической повести одного из самых

молодых китайских писателей, солдата, ныне студента Народного университета, Гао Юй-бао. В первом и втором номерах этого года помещены главы «Месяц в Дальнем» и «Смерть матери».

Нам уже приходилось писать о нескольких главах этой повести («Литературная газета» от 19 мая 1953 года); в них с большой силой чувства, просто и образно рассказано о некорённости трудового китайского народа, о доброй и гордой душе его. В повести мальчик Гао Юй-бао — страдающий, борющийся и побеждающий, всегда находящий опору в хороших людях, которые не дают ему погибнуть, — предстаёт как символ своего народа в его настоящем и будущем.

Две главы, опубликованные в этих номерах журнала, рисуют прошлое и посвящены приезду семьи Гао Юй-бао в Дальний, жизни в городе и бегству из него обратно в деревню. Радостными, изумлёнными глазами смотрит четырнадцатилетний мальчик на город, встретивший его грохотом поездов, шумом машин, несмолкающим криком уличной толпы. Мы всё это видим в лаконичном, чётком изображении писателя. Радости хватило лишь на несколько строк. Дальше началась страшная жизнь, едва ли не более мучительная, чем в деревне. Труд, нечеловечески тяжёлый труд, безработица и голод, жестокие притеснения японцев и китайцев-предателей, болезни и смерти в районе бедноты, где поселились родные Гао Юй-бао. И вместе с тем самые благородные движения души, нежность и деликатность, доброта и отзывчивость тех людей, среди которых мальчик живёт. Милая семья Чжоу Дэ-чуня, готовая пожертвовать многим, чтобы помочь бедняку, славные соседи, что не покинут в несчастье, — вот они, герои повести Гао Юй-бао. Эти люди любят жизнь и любят труд — мы представляем себе, как много хорошего после освобождения сделал Чжоу Дэ-чунь, если только он дотянул до этого времени, или сын его Чжоу Юн-сюе, сверстник Гао Юй-бао, поделившийся с ним последней рубашкой. Но пока им очень плохо. Вот они провожают семью своего друга Гао Сюе-тяня — отца Гао Юй-бао, — который и в Дальнем не нашёл счастья и едет обратно в деревню. «Юй-бао сквозь окно вагона смотрел на махавшего ему рукой Чжоу Юн-сюе, смотрел на залитый электрическими огнями Дальний и испытывал странное чувство, которое он не смог бы высказать словами, — он сам не знал отчего, но ему и жаль было покинуть этот город, и он ненавидел его». Так кончается глава «Смерть матери». Мы знаем, что Гао Юй-бао вернётся в этот чудесный город и полюбит его, потому что он придёт в него хозяином родной китайской земли.

Нам кажется, что в этих двух главах, при всей их яркости, есть длинноты, излишние подробности, замедляющие действие, и всё же повесть в целом создаёт впечатление зрелого, талантливого произведения. В китайскую литературу вошёл воспитанный армией самобытный писатель, которому хочется от души пожелать дальнейших успехов.

В воспитании Гао Юй-бао большую роль сыграл его редактор, китайский литератор Хуан Цао. В статье «Как я помогал товарищу Гао Юй-бао редактировать его повесть» (№ 3) он пишет о работе над этим произведением, о тех трудностях, которые преодолел молодой писатель благодаря помощи друзей, благодаря своему таланту и трудолюбию.

В четырёх номерах этого года интересен стихотворный отдел. Нам представляется, что в «Цзефанцзюнь вэньи» определилась своя, характерная поэтическая линия. Мы находим здесь прежде всего лирические стихи поэтов, много повидавших в жизни, испытавших и боевую страду и тяжёлый труд людей, знающих радость борьбы и победы. В этих стихах раздумье сочетается с гражданским пафосом. Вот стихи Ли Ина о Кремлёвской стене, о канале имени Ленина, написанные им в Москве, в Сталинграде, в Польше. Вот прелестное стихотворение Син Хо об одном дне, проведённом в Лхасе: он пишет о тишине на берегу реки, о молодом солдате, о речном ветре, развевающем платье тибетской девушки.

Поэт Гао Пин тоже говорит о Тибете. Он написал нежные и мужественные стихи о советском специалисте, приехавшем в эту страну. Тибетец встречает его вином, а солдат Освободительной армии подносит чашку горячего чая. Он впервые пьёт воду этих гор. Они сидят и смотрят в глаза советскому человеку, и кажется — слов не надо. Как далёк путь от Москвы до этих гор и лесов, но и как же глубоко чувство дружбы, приведшее его сюда! Он глядит чёрные головёнки обступивших его ребяташек — седой

человек из Москвы. Он ещё не очень стар. Может быть, испытания Сталинграда посеребрили ему волосы? В каждом порыве ветра слышится песня дружбы. Здесь, на этой горной дороге, все вместе посеяли они семена коммунизма.

Поэт Сюэ Тянь обращается к старенькой китайской маме, которая знает, что такое война и что такое мир, к старенькой маме, у которой на войне убили сына и которую он очень просит перебороть своё горе, потому что «это славная смерть: он упал, но встают за ним тысячи, миллионы братьев», и они борются за жизнь старенькой мамы, за всё человечество. Поэт Ма Хань-бин воспевает родную землю, над которой вслед за весенним ветром несугся звуки песни и где юноша впервые в жизни надел военную форму, чтобы встать на страже границ своей отчизны.

Многое ещё можно было бы добавить к сказанному нами о журнале «Цзефан-цзюнь вэнь». Журнал пользуется широким и заслуженным признанием китайских читателей. Он доставляет им художественное наслаждение и воспитывает их в духе любви к своей великой родине и её верным друзьям во всём мире.

Л. ЭЙДЛИН.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

Почти четверть века назад группа передовых литераторов Бенгалии стала издавать на бенгали — языке, на котором в Индии говорит более 60 миллионов человек, — журнал «Поричой». Его первым издателем и редактором был молодой поэт Шудхиндронатх Дотто. На страницах журнала печатались статьи и выступления классика бенгальской литературы Рабиндраната Тагора (Тхакура), а в числе его постоянных сотрудников в то время были поэты Бишну До, Омю Чокроборти, прозаики Будходиб Босу, Хирон Кумар Шаннель, критики и литературоведы — Нирендронатх Рай, Дхуржоти Прошад Мукхопадхая, Хирен Мукерджи и другие.

Бенгальские писатели активно участвовали в растущем антифашистском движении. По их почину в Индии был широко отмечен в 1936 году день Горького в связи с кончиной писателя; по их инициативе было направлено обращение к Всемирной конференции в защиту мира, состоявшейся в том же году.

В этом обращении, подписанном Рабиндранатом Тагором, Шорот Чондро, Прем Чандом, Промотхом Чоудхури и другими, говорилось: «Обезумевшие реакционеры и милитаристы сегодня ведут... наступление на культуру. Было бы преступлением молчать в такое время. Наш долг перед обществом всячески противостоять этому... Мы ненавидим войну, мы должны ей сопротивляться». Эти слова стали девизом журнала, его программой.

С годами вокруг «Поричоя» всё теснее смыкались писатели и критики самых различных творческих направлений, политических взглядов и убеждений, но единых и непоколебимых в своей решимости бороться с опасностью новой войны, отстаивать прогресс.

В военные годы значительно выросли ряды прогрессивных писателей Бенгалии. Продолжая свою политическую линию, «Поричой» энергично выступал против фашизма и империализма, отстаивал права индийского народа на государственную самостоятельность, боролся за развитие национальной культуры и литературы, был горячим сторонником сближения Индии с Советским Союзом. В 1943 году журнал стал органом Антифашистской Ассоциации писателей и артистов Бенгалии. Вскоре от имени Ассоциации Хирен Мукерджи выпустил сборник «US» («Нами»), почти целиком состоявший из произведений поэтов, прозаиков и критиков «Поричоя».

В «Поричое» стали сотрудничать такие выдающиеся писатели и общественные деятели Бенгалии, как Гопал Халдар, Маник Бондепадхая, Шубхаш Мукхопадхая. Росла популярность журнала. И это понятно — журнал твёрдо держался прогрессивной

Индия

«Поричой» («Обозрение»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Февраль. 1955. Год издания 24-й. Калькутта. Редакторы Нони Бхоумик и Гопал Халдар.

★

позиции, и связь его с передовыми кругами интеллигенции, с народными массами ставилась всё более живой и крепкой.

В наши дни «Поричой» ведёт последовательную борьбу за мир и сотрудничество между народами, за дружбу Индии с Советским Союзом и странами народной демократии.

Перед нами последний пришедший в Москву номер журнала. Он открывается большой статьёй Гопал Халдара «Общество и культура в эпоху преобразований».

Гопал Халдар — представитель старшего поколения писателей Индии. Уже в двадцатых годах он приобрёл известность как опытный критик и знаток классической бенгальской литературы. Он много и плодотворно работает и сейчас над изучением классического культурного наследия Бенгалии, пропагандирует лучшие его традиции. Халдар внимательно следит за русской и советской литературой, содействует изданию на бенгали переводов произведений русских авторов. У себя на родине Гопал Халдар известен и как писатель-романист, создавший две монументальные трилогии: «Упадок» — о судьбах бенгальской интеллигенции и «Голод» — о голоде в Бенгалии в 1942—1943 годах.

Его статья «Общество и культура в эпоху преобразований» затрагивает важнейшие проблемы культурного строительства современной Индии. Две причины, говорит Гопал Халдар, тормозили развитие культуры Индии. Это — длительное и тяжкое английское господство и феодальные пережитки, борьба с которыми неотделима от борьбы за новую Индию. Преобразование страны на новых началах, говорит Гопал Халдар, требует особого внимания к проблемам культуры. Бенгальской культуре, как и индийской в целом, угрожает американская «цивилизация», сеющая расовую ненависть, пессимизм, неверие в народные силы. Халдар призывает усилить пропаганду здоровой демократической литературы, продвигать в народ произведения прогрессивных отечественных и зарубежных писателей, всячески содействовать организации библиотек, читален на заводах и фабриках, в учреждениях и колледжах. Он считает, что борьбе за народную культуру должны служить все виды искусства — кино, театр, музыка, живопись, скульптура.

Журнал регулярно откликается на выход новых значительных книг художественной и исторической литературы. В февральском номере читатель узнаёт о важном историческом исследовании Норохари Кобираджа «Освободительная борьба в Бенгалии» и о составленном Абдуллой Рассулом сборнике «Бессмертные рассказы о восстании санталов» (санталы — одно из племён Северной Бенгалии, сто лет назад, в 1855 году, восставшие против английского господства).

Публицистика, критика и библиография занимают примерно треть журнала, основное же место отдано прозе и поэзии. В февральском номере напечатаны два рассказа — Продьют Гухо «Непринятый рассказ» и Мриналь Чоудхури «В поисках солнца»; отрывок из романа Нони Бхоумика «Пыльная земля» и шестая глава романа А. Фадеева «Разгром» в переводе Шамнатх Лахири.

Рассказ Продьют Гухо необычен по своей композиции. По существу он состоит из трёх отдельных новелл. Сначала автор ведёт пространное рассуждение о том, что его произведение придётся не по вкусу многим издателям. Они возвратят ему рукопись — ведь им нужна другая литература, литература-товар, находящий спрос у читателей из обеспеченных классов общества. Зато такие издатели охотно напечатали бы рассказ с банальным сюжетом вроде того, как индеец отправляется за океан, влюбляется там в английскую леди и, несмотря на её взаимность, не может на ней жениться, ибо он темнокожий, а в её жилах течёт «голубая кровь». Отец девушки увозит дочь в Италию, где происходит её помолвка с датским принцем. Узнав об этом, бедный индеец бросается под поезд. Вот такая история по духу любому издателю — ведь смерть героя так убедительно мотивирована!

Не откажутся издатели и от рукописи, в которой будут убийства или порнография. Например, профессор тяжело заболевает и оставляет службу. Его молодая жена решается на лёгкий заработок: она начинает торговать своим телом. Жизнь такой женщины, замечает автор, можно, конечно, расписать во всех подробностях, смакуя каждое её похождение. Но вот в один прекрасный день муж узнаёт о «падении» жены и

в припадке ревности бросается из окна (но может быть и другой вариант развязки: перерезает себе вену). И такой исход вполне убедителен.

Но его, Продьют Гухо, не привлекают ни эти темы, ни эти герои. Он хочет рассказать читателю об иной жизни — о судьбе простого юноши.

Его зовут Шуброто. Он учится в колледже. Шуброто рано лишился отца. После раздела Индии ему вместе с матерью пришлось навсегда покинуть родной дом, оказавшийся на территории Пакистана. Начались годы лишений, скитаний по трущобам. Бедная женщина, выбиваясь из сил, бралась за любую тяжёлую работу, чтобы прокормить сына и дать ему образование. Когда Шуброто поступил в колледж, он мог готовиться к занятиям только по ночам, так как весь день до позднего вечера он продавал газеты.

Напряжённая работа, вечное недоедание, нужда в конце концов подрывают здоровье юноши, и он заболевает туберкулёзом. Болезнь с каждым днём прогрессирует, и Шуброто, потеряв надежду на выздоровление, в отчаянии бросается под поезд.

Автор обращается к читателю: разве гибель героя не мотивирована? Но именно мотивировка и не устраивает издателей, поэтому они возвращают рукопись...

Рассказ Мринали Чоудхури «В поисках солнца» тоже посвящён судьбе простого человека. Крестьянин-бедняк Холодхор женится на Шубхадре — девушке-сироте, такой же бедной, как и он сам. День и ночь трудится молодая чета. Они обрабатывают каменистое поле, строят хижину, обзаводятся хозяйством. Труд их невероятно тяжёл и изнурителен, лишения огромны, но всё это преодолевается благодаря крепкой и нежной любви, связывающей молодых людей.

Бегут месяцы, и вот приходит время, когда Шубхадра сообщает Холодхору о том, что у них должен родиться ребёнок. Но радость Холодхора омрачается опасениями жены в благополучном исходе родов — она знает, что никто из соседей не придёт к ней на помощь. Они презрительно, с насмешкой относятся к Шубхадре: ведь у неё более тёмный цвет кожи, чем у них, а это, по их убеждению, говорит о её низком происхождении — ведь она дочь никому не известных родителей. Раньше Холодхор как-то не обращал внимания на злые насмешки соседей, но теперь он особенно остро переживает обиды, наносимые жене, и готов сделать всё, чтобы защитить её.

Но обстоятельства сложились так, что Холодхор был вынужден скрыться из деревни от преследований, и тогда отряд карателей всю свою жестокость обрушивает на беременную женщину и старую тётку Холодхора. Женщин жестоко избили, и под утро у Шубхадры начались тяжёлые роды. Когда взошло солнце, его уже не увидели ни Шубхадра, ни её ребёнок.

Трагически закончилась и жизнь Холодхора. Скрываясь в джунглях, он, измученный и голодный, заболел лихорадкой и умер в хижине приютивших его крестьян. Перед смертью, в бреду, Холодхор страстно зовёт свою любимую жену.

Живой и взволнованный интерес к судьбам простого трудового человека, все силы и помыслы которого направлены на преодоление тягот жизни, человека, выражающего протест против несправедливости и страстно жаждущего социального обновления, пронизывает не только эти, но и многие другие рассказы, опубликованные на страницах «Пориочя» за последние годы.

Этим же интересом отмечен и роман «Пыльная земля» Нони Бхоумика, печатающегося в журнале по частям с 1953 года. Нони Бхоумик широко воспроизводит обстановку Бенгалии тридцатых—сороковых годов и на её фоне яркими мазками рисует жизнь самых различных слоёв бенгальского общества, показывает, как в их среде пробуждается и крепнет классовое и национальное самосознание.

Отрывок из романа, опубликованный в февральском номере «Пориочя», переносит читателя в тюрьму, где томится один из героев романа — Шотебабу. Перед ним мысленно проходит вся его жизнь, полная нужды, тревог, волнений и борьбы за светлое будущее. Он вспоминает, как труден и извилист был его жизненный путь, сколько ему пришлось приложить усилий, чтобы освободиться наконец от влияния идеологии смирения и вступить на путь революционной борьбы.

Жажда обновления мира, страстное желание служить народу, выражать его чаяния и надежды, его неодолимое стремление к миру и созидательному труду, к освобожде-

нию от социального и национального порабощения — главные мотивы и поэтических произведений, появляющихся в «Поричое».

В февральском номере напечатано несколько стихотворений. Вот одно из них:

За тяжким днём приходит ночь страданья,
Струится пот, машин дыханье жжёт,
В тяжёлом забытьи ко мне приходят сны.
Часы звенят, отсчитывая время.
Но не могу в труде смыкать бессонных глаз...
Пусть сердце, отгорев, воспаляет тело.
Работаю в ночной. Идёт за часом час.
И надрываюсь я в непроходимой мгле,
Тружусь, чтоб раздобыть не сон, не корку хлеба,
А солнца луч с предутреннего неба.

Это стихи начинающего поэта из рабочих Бирендранатха Шоркара. Они не требуют пояснений — так ярко выражены в них горькие чувства рабочего человека и его вера в «утреннего солнца лучи».

В стихотворении «Рождение нового мира» молодой, талантливый поэт Бенгалии Промод Мухкопадхая сочетает высокий гражданский пафос с глубоким проникновенным лиризмом.

...Рождается новый мир, он рождается мучительно тяжело. Пылает небо, и от нестерпимого жара трескается высохшая земля; не различить, что это — раскалённая огненная вершина или бодрствующий глаз Шивы, вспыхнув, затухает в пепле жизни. Дни дробятся, как камни на дороге, под крепкой, полной ненависти рукой каменотёса. Они движутся, как демонстрация голодных и обманутых... Поэт страстно хочет высечь из «глыбы тьмы» образ-символ нового мира, беспокойную радость рождения которого будет приветствовать каждая деревня и каждый город.

Журнал «Поричой» отлично выражает настроения и чувства индийского народа, жаждущего мира и обновления жизни. Устами бенгальского поэта Шабхаша Мухкопадхая он провозглашает:

Пусть веет в лицо свежий ветер
И гром ударит из летней тучи,
Пусть повторяют и дождь, и поля,
и вся земля:

Мир,

Мир,

Мир

В. НОВИКОВА.

В САХАРНОЙ ОБЛАТКЕ...

Рядом с крикливыми обложками «Лайф», «Лук», «Кольерс» еженедельник «Сатердей ивнинг пост» кажется солидным, «семейным» журналом. Многокрасочная обложка обычно воспроизводит идиллические бытовые сценки: семья собралась за круглым столом, женщины заняты рукоделием, мужчины — игрой в бридж. Дети играют на улице маленького городка. Белокурая девушка любитесь весенним рассветом... И не только обложка, но и титульный лист придаёт журналу впечатление солидности и благочинности. «Сатердей ивнинг пост» — гласит на нём надпись — был основан в 1728 году самим Бенджаменом Франклином. Поэтому в каждом номере над оглавлением печатается портрет великого американца.

Словом, и обложка и титульный лист внушают читателю, что в руках у него чуть-чуть старомодный журнал, который входил в круг семейного чтения ещё во времена Линкольна.

США

«Сатердей ивнинг пост» («Субботняя вечерняя почта»), еженедельный иллюстрированный литературно-политический журнал. Март—май. 1955. Издательство Кертис-Паблшинг компани, Филадельфия. Бок лимитед. Нью-Йорк.

★

Правда, прежде чем он сможет углубиться в чтение статьи или рассказа с заманчивым рисунком, ему придётся перелистать немало страниц с броской, хвастливой рекламой, но к этому американский читатель привык.

В «Сатердей ивнинг пост» всегда можно увидеть несколько публицистических статей, очерк, информационные заметки, страницу юмора и довольно много рассказов. Рассказ — короткий и с продолжением — один из самых распространённых жанров американской литературы. Марк Твен, О'Генри, Джек Лондон, Брет-Гарт, положившие начало прекрасным демократическим традициям американского рассказа, создали ему мировую популярность. Но большинство рассказов, заполняющих сейчас страницы многих буржуазных журналов США, не имеют ничего общего с этой традицией. Они служат тем же целям и выполняют те же задачи, что и другие принятые на вооружение американской пропаганды средства.

Во что выродился американский короткий рассказ, можно судить хотя бы по тем из них, которые напечатаны в пришедших к нам за последние месяцы номерах «Сатердей ивнинг пост». Возьмём один из них — номер от 19 марта. Яркая обложка изображает неправдоподобно розовощёких подростков, которые с увлечением мастерят скворечник.

Но вместе с этим номером в дом рядового американца врываются отнюдь не весенние мотивы, а всё те же призраки войны, которые преследуют миллионы людей в США на каждом шагу. Центральное место занимает рассказ Артура Гордона «Террор под водой», один из тех, которые получили на американском книжном рынке название рассказов с «фактическим фоном». Этот термин должен подчеркнуть их правдивость, жизненность сюжета, основанного на подлинном факте. Однако именно эти рассказы, наивно-ремесленные, примитивные по фабуле, преподносят под видом документальности самую грубую и беззастенчивую ложь. По существу это просто беллетризованный пересказ какого-либо ударного тезиса американской пропаганды.

Фабула рассказа «Террор под водой» весьма несложна. Секретной арктической станцией Советского Союза командует некий адмирал Куцов. Здесь, в обстановке самой строгой тайны, производятся опыты над новейшими подводными лодками. Экспертами являются три иностранных инженера — немец, англичанин и американец, — похищенные по приказу злодея-адмирала». Жертвы «красного террора», инженеры, проводят самые сложные и опасные испытания и в конце концов погибают вместе с экспериментальной подводной лодкой.

Рассказ начинается так:

«Русский адмирал сказал тихим, угрожающим голосом:

— Вас считают экспертами, джентльмены. Я же только моряк. Вы привезены на этот остров, чтобы давать мне объяснения, а не выдвигать теории. Факты, а не фантазии.

Его холодные глаза испытующе смотрели на лица трёх людей, стоявших перед его письменным столом.

— Всё ли вам ясно?

За окном бледный свет солнца безучастно скользил по замаскированным зданиям, лезвиям штыков часовых, по лениво плескавшемуся стальному морю. Дисциплина здесь была железной, охрана строгой. Это была арктическая экспериментальная станция «Б», которой командовал адмирал Куцов. Опыты имели одну цель — обеспечить России обладание сильнейшим и смертоноснейшим в мире подводным флотом».

«Сильнейшим и смертоноснейшим в мире подводным флотом»... Ради этого и сострян рассказ с «фактическим фоном» и придуман эпиграф, приписанный советской газете «Правда»: «Мы выиграем следующую войну не на суше и даже не в воздухе, а под водой».

Конечно, ни в «Правде», ни в какой-либо другой газете, выходящей в Советском Союзе, не было напечатано ничего подобного. Но журнал не останавливается перед выдумкой.

Подобные жульнические приёмы как нельзя более характерны для «поэтики» американских рассказов с «фактическим фоном».

Как же рождаются такие произведения? Обратимся к комплектам американских газет, сопоставим рассказ Артура Гордона с газетной информацией, относящейся примерно к тому же времени. И окажется, что так называемый «фактический фон» не что иное, как клеветнические домыслы, распространяемые американской пропагандой в одних случаях для обмана общественного мнения внутри страны, в других — для дезинформации мирового общественного мнения.

«Фактическим фоном» рассказа «Террор под водой» послужила кампания в пользу увеличения ассигнований на строительство военно-морского флота США. Добиваясь новых ассигнований, американская реакционная печать усиленно распространяла в последние месяцы бредни об угрозе для США со стороны советского флота. А 18 марта комиссия по вооружённым силам американского конгресса приняла законопроект о новых кредитах на расширение военно-морских сил США и, в частности, на строительство подводных лодок.

Артур Гордон выполняет и другой заказ: внушить рядовым американцам недоверие к советским людям. Традиции русского флота, героизм советских моряков пользуются широкой популярностью в США. Многие американцы сражались бок о бок с советскими моряками против гитлеровцев, побывали в годы войны в Мурманске и Архангельске и принесли домой воспоминание о хороших, смелых русских людях, верных боевых товарищах. Нелегко убедить американцев, что теперь им предстоит готовиться к войне против этих самых людей, против вчерашних союзников! И «Сатердей ивнинг пост» прибегает к самым изощрённым способам беллетризированной клеветы на советских людей.

А вот другой рассказ в том же номере журнала. «Лётчик — жертва обработки». Написанный в той же манере, он принадлежит перу Сиднея Гершелла Смолла. Подзаголовок без обиняков вводит читателя в курс дела: «Он не узнал свою жену. Что сделали с ним красные?»

Напомним, что с момента окончания войны в Корее и возвращения военнопленных американцев, реакционная печать США распространяла провокационную версию о плохом обращении бойцов корейской Народной армии и китайских добровольцев с военнопленными. Не располагая никакими фактами, американская пропаганда стала на обычный путь лживых измышлений. Распространялись слухи об обработке военнопленных гипнозом, наркотиками и превращении их, таким образом, в послушных роботов. Тем самым американская пропаганда хотела отвлечь внимание общественности от действительных и подтверждённых документами и фотографиями зверств, которые творились в американских лагерях смерти Кочжедо и других.

Рассказ Гершелла Смолла описывает «судьбу» американского лётчика Джона Холмса, чей самолёт был сбит в боях над Кореей. Холмс попал в плен к «красным». После долгих розысков жена находит его в одном из госпиталей. Джон не узнаёт её, он повторяет заученные в лагере фразы. После сложных перипетий всё завершается традиционным американским счастливым концом.

«Фактический фон» этого рассказа — разнуданная кампания в американской печати за прекращение работы комиссии по наблюдению за перемирием в Корее. Нетрудно понять, что литературные упражнения Гершелла Смолла служат той же цели, что и статьи в газетах: подготовить почву для новых военных авантур в Корее.

Однако журнал не всегда действует с такой откровенностью в пропаганде модных в США тезисов политики «с позиции силы». Антисоветская истерия, пропаганда атомной войны искусно камуфлируются сентиментальными рассказчиками о счастливой или неудачной любви, о неожиданной карьере, очерками об охоте, путешествиях и спорте. Когда просматриваешь номера «Сатердей ивнинг пост», трудно отделаться от впечатления, что редакторы журнала пользуются своеобразным дозировочным аппаратом, отпускающим на каждый номер точно взвешенную порцию липкого паточного сиропа. Если в номере от 19 марта напечатаны два рассказа с «фактическим фоном» о «красных», то остальные материалы носят относительно невинный характер: любовные рассказы, детектив с продолжением, очерк о Сингапуре...

В номере журнала от 26 марта нет рассказов о «красных агрессорах», шпионах и войне. Здесь герои «short stories» (коротких рассказов) — «Любовь запрещается»

Роберта Карсона, «Экспериментальный грех» Джорджа Брэдшоу и других, заполняющих журнал, — богатые бездельники, прожигающие жизнь в Париже, девушки, ищущие клад, и т. д. Но зато основную пропагандистскую задачу выполняют политические статьи. В передовой о деле Матусоу журнал уверяет, что в США якобы существует «заговор красных», что «США стали полем боя, где ощущается искусная эффективная коммунистическая контратака». «Сатердей ивнинг пост» пытается замести следы провалов американских «охотников за ведьмами» и восхваляет провокаторов Уиттекера Чемберса, Элизабет Бентли и Бэлла Додд, чьи лживые измышления о «коммунистическом заговоре» распространяет американская реакционная печать.

«Сатердей ивнинг пост» старательно и настойчиво готовит «моральный климат» для новой войны. Из номера в номер этот журнал приучает американцев к вкусу и запаху крови, к зрелищу страданий и смерти. Рассказы «Женщина, которая не желала оставаться мёртвой» Джеральда Керш, «Контрабандное золото» Роберта Ормон Кейза, «Дневник девушки, загоравшей на солнце» Эрла Стэнли Гарднера и другие детективные рассказы полны пыток, убийств¹.

С ними перекликаются очерки Джона Бартлоу Мартина «Как человек становится убийцей», «Как бороться с преступностью» Сиднея Шале и «Тайный ангел трущоб» Хартзелла Спенса. Они напичканы натуралистическими деталями и подробностями преступлений. Вот один из образчиков этого стиля:

«Судебный врач, совершивший вскрытие тела Агостино Амедео, сообщил: «Причины смерти — многочисленные пулевые раны головы и груди (мозг и сердце). Голова — две раны, грудь — пять, живот — две, бедро — одна, рука — одна. Убит на улице полицией». Фотография крупным планом показывает убитого гангстера: труп распостёрт на мостовой, лужа крови, раздробленная голова.

При этом авторы очерков занимаются своеобразным восхвалением преступников, стараются отметить привлекательные черты, приписывают им мужество и благородство. «Смерть лучше, чем бесчестие», — приводит Бартлоу Мартин надпись, вытатуированную на груди Агостино Амедео, и приводит слова женщины, любившей гангстера: «Он был хорошим человеком, действительно хорошим. Он уважал женщин. Он верил в бога. Он был как ребёнок».

В той же манере сделан и очерк о юношеской преступности, цифры которой, кстати говоря, достигли в США чудовищных размеров. Да и не только юношеской преступности. Недавно руководитель ФБР Гувер заявил, что в прошлом году число крупных преступлений, совершённых в США, достигло новых рекордных цифр. «Каждые 5,7 минуты совершалось преступное нападение, — сообщает он, — каждые 7,3 минуты — одно ограбление, каждые 59 секунд — одна кража со взломом и каждые 2,4 минуты — кража автомобилей, каждые 23,5 секунды — одно воровство и каждые 40,9 минуты — убийство».

Таквы мартовские номера «Сатердей ивнинг пост». Но, может быть, более поздние — апрельские и майские — чем-либо отличаются от них?

Развернём наугад номера, пришедшие в свежей почте.

Вот очерк уже знакомого нам по мартовскому номеру Джона Бартлоу Мартина. «На его совести убийство». Это одна из бесчисленных вариаций на тему о гангстерах, драках, погоне.

«Красные! Тревога!» — озаглавлен рассказ Уильяма Кемберлена в номере от 21 мая. Автор запугивает читателя неизбежностью нападения «красных» на США с воздуха. Рассказ изготовлен по тем же нехитрым стандартам, что и «Террор под водой» Артура Гордона, с той лишь разницей, что здесь действие развёртывается в воздухе.

Итак, те же идиллические обложки, где на смену весенним мотивам приходят летние (не скворечник, а зелёные луга, яркие цветы в саду) и тоже далёкое от идиллии содержание — убийства, террор, война.

¹ «Сатердей ивнинг пост», разумеется, не прокладывает новых путей в этом жанре, широко распространённом в США. Он выступает лишь подражателем низкопробных журналов, где героями детективных рассказов обычно являются «советские агенты» и «красные шпионы», а убийства совершаются на каждой странице.

Но вернёмся к титульному листу журнала «Сатердей ивнинг пост», который не только без всяких на то оснований приписывает себе репутацию «семейного журнала», но и год издания и имя издателя. Солидный справочник американской периодики «Мэгэзин уорлд» свидетельствует, что не 1728 год, указанный на титульном листе, а 1821 год — дата выхода первого номера журнала. И Бенджамен Франклин, естественно, никогда не был его издателем. «Сатердей ивнинг пост» всего-навсего печатался в одной типографии с «Пенсильвания газетт», которая действительно почти за сто лет до этого издавалась Франклином.

Итак, и дата основания журнала и имя первого издателя, как и весь облик «семейного журнала», — всё фальсифицировано. Мимикрия, обман нужны лишь для того, чтобы завоевать доверие читателей. О подлинных же целях его можно судить хотя бы по тому, что издаётся он реакционным издательством Кертис-Паблшинг компани. тесно связанным с домом Моргана и Национальной ассоциацией промышленников (НАМ).

Каждую субботу «Сатердей ивнинг пост», тираж которого достигает нескольких миллионов экземпляров, забрасывается в дома рядовых американцев, чтобы сеять там атомную истерию, вражду и ненависть к миролюбивым странам, поддерживать миф об американском «благополучии и процветании».

Таков «Сатердей ивнинг пост» — трава в сахарной облатке...

А. БЕЛЬСКАЯ.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ-ДРУГА

Большого формата тетрадь в 120 страниц печатного текста в грубоватой серой обложке озаглавлена: «Контемпорери ридер» — «Современный читатель». Начинаешь бегло листать это более чем скромное, неприязнительное с виду издание и уже вскоре замечаешь, что оторваться от него нелегко. Лишь прочитав последнюю страницу, откладываешь его в сторону с чувством глубокого уважения ко всем тем, кто делает его, а делать такой журнал в условиях сегодняшней Америки нелегко.

Современный американский читатель. Мы знаем, как его представляют себе «Тайм», «Кольерс», «Ридерс дайджест» и какое представление о современном американском читателе они столь усердно и настойчиво пропагандируют в самих США и за их пределами.

Если верить этим изданиям, современный американский читатель — существо с микроскопическими умственными способностями; он не в состоянии сам ни в чём разобратся, он предельно легковверен, он не интересуется ничем серьёзным. Больше всего его занимают бракоразводные процессы кинозвёзд, сенсационные сообщения о летающих блюдцах, рассказы о фантастической карьере какого-нибудь «внезапно разбогатевшего» счастливица. Малейшее умственное напряжение этому читателю противопоказано. Всё, что может его заинтересовать, должно быть подано ему в минимальных дозах, в заранее препарированном, отжатом виде, для чего и существуют разного рода «дайджесты», умудряющиеся «с п р е с с о в а т ь» и «сконденсировать» любой классический роман до объёма новеллы.

Слов нет, длительная, можно сказать систематическая, работа американской прессы по оглуплению читателей принесла свои горькие плоды. Во многом «дайджесты» преуспели. Немалому числу читателей они сумели привить свои стандартные критерии и взгляды. Многих они отучили самостоятельно мыслить. И тем не менее представление, которое культивируется в США о «среднем американском читателе» стандартного типа, составляющем якобы подавляющее большинство, далеко не отвечает реальности; это скорее то, что американцы называют «wishful thinking» — мечты, выдаваемые за действительность.

США

«Контемпорери ридер» («Современный читатель»), трёхмесячный литературно-публицистический журнал. № 1. 1955. Год издания 3-й. Нью-Йорк. Редактор — Редакционный совет.

★

Одним из свидетельств этого является журнал «Контемпорери ридер». Первый номер этого журнала, основанного литературной секцией Национального совета работников искусства, науки и свободных профессий в Нью-Йорке, появился немногим более двух лет назад. Многочисленные трудности не только обусловили выпуск журнала всего лишь раз в три месяца, но и тормозят его своевременный выход даже в эти сроки. В своём предисловии к рецензируемому номеру редакция объясняет его запоздание финансовыми затруднениями. Вместе с тем редакция с благодарностью отмечает «поддержку со стороны читателей», не раз выручавших свой журнал. Редакционный совет и весь состав сотрудников журнала состоит из добровольцев. Каждая поступающая в редакцию рукопись прочитывается членами совета, и, независимо от того, публикуется произведение или нет, редакция посылает автору подробный критический разбор. И между редакцией и читателями установились самые тесные и дружеские отношения. Тут уже не действует старое «правило»: писатель пописывает, а читатель почитывает. На страницах журнала сплошь и рядом читатель выступает в качестве автора, которому гостеприимно раскрыты все двери, а писатель становится вдумчивым читателем произведений и своего начинающего собрата, его другом и советчиком.

Разумеется, далеко не все выступающие на страницах «Контемпорери ридер» становятся писателями, но их участие придаёт журналу особый колорит. Наряду с именами прогрессивных литераторов, уже не первый год действующих на литературном поприще, таких, как Ринг Ларднер, Миллард Лэмпелл¹, Лестер Коул, Алан Макс и другие, на страницах журнала мы встречаем немало имён совершенно неизвестных — это люди самого различного общественного положения, впервые пробующие свои силы в литературе. В их первых, пусть ещё не во всём удачных произведениях видно знание жизни, богатый жизненный опыт. Близость к жизни — драгоценная черта нового журнала. Уже в первом номере редакция чётко определила его направление.

«Если судить по произведениям, появляющимся в современных журналах, у нас не существует ни промышленного рабочего, ни мелкого фермера, нет ни недоедания, ни жилищного кризиса». К такого рода фальшивым идиллическим картинам журнал нетерпим. В рецензируемом номере журнал формулирует свои задачи следующими словами: «Мы хотим, чтобы литература была конкретной и полнокровной, чтобы проза рассказывала о событиях, чтобы стихи вдохновляли, чтобы критика обладала ясностью видения и разоблачала трусость и двоедушие», следуя лучшим традициям литературы США. «Мы осознаём необходимость в таком журнале, который продолжил бы демократические традиции нашей литературы. Мы хотим, чтобы в нашем журнале молодые писатели могли утверждать правду, а не отрицать её, а писатели старшего поколения — выражать те идеи, за которые их вносили в чёрные списки».

Это не простая декларация.

Уже за первый год своего существования журнал получил свыше 600 рукописей более чем от четырёхсот авторов. Привлекают внимание приводимые журналом краткие справки об авторах. В подавляющем своём большинстве это люди, совмещающие литературные занятия с работой на производстве, в конторе, на ферме. Рассел Дэвис называет себя «рабочим в белом ворстиничке» — писатель он только по воскресеньям. Поэт Ли Джонсон «работает чертёжником в Лос Анжелосе». Ларс Лоуренс, который издал в конце 1954 года свой первый роман «Утро, полдень и ночь», сообщает о своей работе над новой книгой, отрывки из которой публикуются в журнале: «Мне приходится отдавать почти всё время работе ради заработка, и поэтому я пишу «Семена» уже шесть лет... Герои этой книги — люди, с которыми я встречался в своих двадцатилетних странствиях, когда жил среди индейцев, среди испанских и мексиканских фермеров и рабочих и имел множество профессий — от учителя до чернорабочего. Джордж Бопен — коммерсант из Нью-Йорка, поэт Джон Старкс — «бывший пехотинец, затем студент университета в Миссури — ныне железнодорожный рабочий в Сан-Луи», Боб Бернард «был металлистом, помощником машиниста, работал в газете».

И стихи и проза, публикуемые в журнале, вводят читателя в атмосферу повседневной жизни сегодняшней Америки. Символически звучит название напечатанного

¹ Рассказ М. Лэмпелла «К этому не привыкнешь...», опубликованный в «Контемпорери ридер», был напечатан в «Новом мире», № 10 за 1953 год.

в номере отрывка из романа «Климат страха». Об удушающей, гнетущей обстановке пишут в своих стихах негритянская поэтесса Бьюла Ричардсон, и Ларс Лоуренс в главе из нового романа, и калифорнийский поэт Дон Гордон в стихотворении «Подлежащий ссылке».

Особенно запоминается цикл стихов недавно скончавшегося талантливого американского поэта Эдвина Рольфа. Он прожил недолгую, но яркую жизнь. Он сражался с врагами испанского народа в рядах «Батальона Линкольна», боевой путь которого он запечатлел в книге. «До последних дней жизни, — читаем мы в предисловии к его стихотворному циклу, — Рольф воплощал в стихах чувства людей своего поколения, тех, кто, не страшась смерти, борется за общее благо». В стихах напечатанного цикла он говорит о своей неразрывной связи «с рабочим Парижа, с сиротой в Аликанте, с бойцом, который уцелел под Сталинградом». Он отождествляет себя с ними, хочет говорить от их имени.

С гневом и болью пишет он о своей стране, где «плуты, ставшие властителями, предписывают нам, что говорить, куда смотреть, чему внимать, и заставляют нас быть рабами», о стране, где «всё окутано мраком, проникающим в души отчаявшихся, презираемых, ослеплённых», где «оживляют ландшафт лишь островки мужества».

Но поэт не теряет веры в народ. Он прославляет «простого человека, продолжающего бороться с кланом садистов».

Со стихами Рольфа перекликается человеческий документ большой силы — письмо, полученное редакцией и опубликованное ею под названием «Современный документ».

«Я ещё молод... я поэт,— пишет о себе автор письма А. Александер.— ...Я верил в миф о моей стране, как единственной стране, воплотившей социальную справедливость... Как больно, что мои иллюзии рухнули. Я оставил колледж, где бесчестные педагоги поучали, что правда — в силе, а человечность и братство высмеивались, как банальные фразы... Я увидел, что мысли о мире хотят у нас подменить чувством ненависти ко всем, а слову «война» придать блеск и привлекательность... Совсем недавно одного из моих друзей обвинили в том, что он придерживается... независимых взглядов... Его вытащили из дома, избили и надругались над ним... Это сделали жалкие людишки, старавшиеся доказать свой «американизм»... Кругом атмосфера подозрительности и прославления ненависти... Что стало с моей любимой страной?..»

Но молодой поэт не теряет веры в лучшее будущее своей страны: «И всё же я не верю, что мы бессильны создать лучший мир... В сердце живёт надежда».

А в своём стихотворении «Городской колледж в США в 1954 году» А. Александер клеймит тех, кто уродует молодёжь Америки. От имени своих сверстников он заявляет о праве

жить среди довольства и мира
и не слышать орудийного гула.

О бесспорном писательском даровании свидетельствует напечатанный в журнале отрывок из нового романа Ринга Ларднера-младшего. Хотя действие романа происходит в годы второй мировой войны, многое в нём злободневно и свежо. Сын известного в тридцатых годах, ныне покойного писателя Ринга Ларднера, автор романа вместе с другими прогрессивными голливудскими киносценаристами был приговорён к тюремному заключению. Возможно, что личные впечатления и помогли ему правдиво воспроизвести обстановку американской тюрьмы, где происходит действие опубликованного отрывка. Герой книги — молодой американец Оуэн Мюр — из «моральных соображений» отказывается отбывать воинскую повинность. Его заключают в тюрьму, где он едва не умирает от истощения из-за непосильной физической работы. В тюрьме он сталкивается с германским агентом Мьюлвэни, одним из помощников фашистского попа — «отца Кофлина» (за свою разнузданную профашистскую деятельность Мьюлвэни приговорён к году тюрьмы). Наслушавшись рассуждений фашистского молодчика, увидев, как тот бросается с ножом на заключённого-негра, чтобы оскотить его, Оуэн приходит к выводу, что к фашистской угрозе нельзя относиться безучастно; он принимает решение пойти в армию и сражаться с гитлеровцами.

По напечатанному отрывку трудно судить о романе в целом, но бесспорно одно: в разглагольствованиах гитлеровского агента Мьюльвэни звучат мотивы, хорошо знакомые американскому читателю 1955 года: тот же ход мыслей, ту же «логику» он обнаружит во многих программных выступлениях современных американских идеологов политики «с позиции силы». «Мы и немцы верим в одно и то же, — заявляет Мьюльвэни. — Разница только в том, что большевистская угроза была ближе к ним... Миллионы рабочих были заражены антигерманскими идеями. Та же проблема будет стоять перед нами, пока Россию не уничтожат в войне. Нам придётся применить те же решительные меры...»

Мьюльвэни толкует о «защите западной цивилизации от красной агрессии» и оправдывает зверства гитлеровцев, ибо в «разговорах о мире они могли видеть лишь пособничество врагу». Не в бровь, а в глаз сегодняшним Мьюльвэни; их родословная устанавливается писателем с полной ясностью.

Отгалкивающий образ американского поклонника, «третьей империи» заставит читателя задуматься и об угрозе возрождения германского вермахта и о корнях американских симпатий к битым гитлеровским войскам.

Тематика публикуемых в журнале произведений не ограничивается географическими рамками Америки. Поэтесса Уолдин, известная как переводчица произведений Пабло Неруды, посвящает одно из своих стихотворений греческим патриотам. Действие двух рассказов развёртывается во Франции и на Филиппинах. Герой рассказа Боба Бернарда «Полдень в Марселе» — американский матрос — во время своего пребывания в Париже становится свидетелем демонстрации против доставки американского оружия, он видит на стенах домов надписи «Американцы — в Америку!» Автор рассказа прожил год во Франции и, повидимому, положил в основу рассказа свои личные впечатления. В другом рассказе молодой писатель Ричард Нурко едко и зло высмеивает американских туристов, глумящихся над старым филиппинским крестьянином — продавцом птиц.

Сатирический рассказ Р. Дэвиса «Полёт на планету Плутон» представляет собой шарж — и далеко не дружеский — на некоторые образчики американской научно-фантастической литературы.

Нами исчерпано далеко не всё содержание номера, но уже по этому беглому обзору можно судить об облике нового журнала.

Есть в нём и слабые стороны. Можно указать и на абстрактность, «космичность» и художественную «неоформленность» некоторых стихотворений. Но лицо журнала определяют не его частные недостатки, а бесспорные удачи, порождённые его борьбой за мир и демократию.

Редакции и авторам «Контемпорери ридер» хочется искренне пожелать успеха.

Вл. РУБИН.

ВЕНГЕРСКАЯ НОВЬ

Венгрия

«Чиллаг» («Звезда»), ежемесячный литературно-художественный журнал. № 3. Март. 1955. Орган Союза венгерских писателей. Год издания 9-й. Будапешт. Ответственный редактор Иштван Кирай.

★

« — Как мама? Не болеет? — обращается к нему вместо приветствия председатель.

— Не-ет!

Молчание.

— Ну, а ты как, не передумал? — спрашивает Иштван.

Старик, сняв ветхую шляпу, вытирает платком лоб и коротко подстриженные седые волосы. Его морщинистое, пропечённое солнцем лицо не выдаёт затаённых мыслей. Одни лишь глаза на мгновение оживляются, будто он только и ждал этого вопроса.

— Осенью поговорим, — тихо отвечает старик и трогается дальше.

— Да-а... Трудный человек мой отец, — вздыхая, говорит Иштван Серенчи.

Так начинается короткий рассказ венгерского писателя Петера Надашди «Гордый Серенчи», опубликованный в третьем номере журнала «Чиллаг». Мы привели эту выразительную сценку, потому что в ней, как и во всей новелле, отражено характерное явление современной жизни народно-демократической Венгрии: трудный и, тем не менее, не такой уж медленный процесс изменения психологии венгерского крестьянина. Новый строй осуществил вековую мечту миллионов безземельных и малоземельных крестьян: дал им землю — их гордость, утеху, надежду. И в то же время новый строй, начав социалистическое переустройство всей жизни страны, указал и новый путь к обеспеченности, достатку, культуре венгерской деревни — путь кооперирования. Нелегко старому крестьянину-бедняку, арендовавшему у помещика клочок земли и всю жизнь мечтавшему о собственном поле, получив из рук народной власти землю, тут же отдать её и свой нехитрый инвентарь в общественное пользование, не каждый может сразу найти в себе силу понять все преимущества кооперативного хозяйства. Естественно, у молодёжи, выросшей и возмужавшей вместе с ростом и возмужанием Венгерской Народной Республики, этот процесс духовного и политического созревания происходит быстрее.

Героя новеллы «Гордый Серенчи» — молодого председателя кооператива Иштвана — односельчане часто спрашивают: «Как же ты, председатель, а не можешь вовлечь в кооператив собственного отца?» И он вынужден развести руками: да, пока он ничего не может с ним поделать.

Может ли быть такое в жизни? Типичен ли этот случай, ставший предметом изображения художника? Несомненно. Это один из правомерных конфликтов, возникающих в процессе социалистического преобразования венгерской деревни. Венгерские писатели всё с большим интересом обращаются к теме новых отношений. Глубокие перемены в сознании людей неизбежно вызывают и острые конфликты в семье.

Венгерская литература имеет богатые традиции в изображении крестьянского труда и деревенской жизни; в последнее время она всё решительнее обращается к раскрытию новой психологии венгерского крестьянства. В последние годы появилось много рассказов и несколько повестей и романов, в которых даны образы новых людей венгерской деревни. Это честный, требовательный к себе и к людям молодой председатель кооператива «Свобода» Иштван Чете-младший в рассказе Эрне Урбана «Правда Иштвана Чете», Мишка Шоваго, решивший, вопреки воле отца, стать трактористом, в рассказе Пала Сабо «Маленький человек, большая история», энтузиаст кооперативного движения комсомолец Андриша в последнем романе Пала Сабо «Новая земля» и ряд других.

Читая новеллу Петера Надашди «Гордый Серенчи», видишь огромную веру и самого писателя и его героев в полную победу нового уклада жизни в венгерской деревне. «Я знаю, — говорит Иштван Серенчи о своём болезненно самолюбивом отце, не желающем работать в кооперативе вместе с бывшими батраками, — ведь у него всегда был «свой» клочок земли — рано или поздно ему надоест одиночество». И то, что «одинокими» в венгерской деревне сегодня чувствуют себя уже не кооперативы, как это было пять-шесть лет назад, а крестьяне-единоличники, привязанные к своему клочку земли, ярче всего свидетельствует о больших успехах социалистического переустройства венгерского села.

Тема преобразования села — главная тема сегодняшней венгерской прозы. Но ещё очень мало пишут венгерские писатели о замечательном рабочем классе страны, о передовой интеллигенции. На это указывает критик Миклош Саболич в своей статье об использовании опыта советской литературы, о проблемах, обсуждавшихся на втором съезде советских писателей.

«Чиллаг» неизменно предоставляет свои страницы рассказам, рисующим жизнь венгерского крестьянства. В мартовском номере журнала этой теме посвящены два из четырёх новых рассказов.

Вообще короткий рассказ завоевал в журнале постоянное и прочное место. В трёх последних его номерах напечатано девять рассказов, принадлежащих перу и молодых

писателей и признанных мастеров новеллы, таких, как Эрне Урбан, Бела Иллеш, Арон Тамаши и другие. И это не случайно. Венгерские прозаики, стремясь идти в ногу с жизнью, в последние годы всё чаще и, нужно сказать, весьма плодотворно работают в этом жанре. Уже вышел ряд сборников рассказов, получивших в Венгрии широкое признание, — Имре Шаркади, Эрне Урбана, Лайоша Мештерхази и других. Многие из их рассказов, написанные простым и ярким народным языком, отражают важнейшие явления венгерской действительности, построены на острых жизненных конфликтах. «Чиллаг» одним из первых знакомит венгерского читателя с новыми рассказами и всячески способствует развитию и совершенствованию этого нелёгкого, требующего большого мастерства жанра отечественной литературы.

«Чиллаг» не только охотно печатает рассказы, но и в своём критическом отделе бережно и внимательно оценивает и разбирает их. В мартовском номере этой теме посвящена большая статья Иштвана Маркуша. Критик рассматривает недавно изданный сборник рассказов о крестьянской жизни «Воробьиное поле» известного венгерского прозаика Имре Шаркади. Он внимательно прослеживает творческий путь новеллиста. Критик показывает, как росло художественное мастерство писателя на протяжении последних восьми лет его работы в литературе. От идиллического изображения действительности, от боязни показать человеческие характеры в их столкновениях, от излишней психологизации, которой писатель пытался восполнить отсутствие действия и борьбы своих героев, Имре Шаркади шёл верной дорогой к правдивому, реалистическому отражению действительности в её революционном развитии.

«Отношение между производственным кооперативом и середняком-крестьянином в ранних новеллах Шаркади, написанных в 1949—1950 годах, разрешалось таким образом, — пишет Иштван Маркуш, — что молодое поколение крестьян-середняков (Яни Фекете в «Между двух жерновов», Розка Сабо в «Любви») просто, само собой, переходило на сторону кооператива, на сторону новой жизни. И самый этот переход, разрыв со «старой крестьянской жизнью», с семьёй происходил гладко, без особых столкновений... В действительности же борьба между старым и новым проходила в эти годы в венгерской деревне далеко не в такой идиллической форме».

В последние годы в художественном и идейном развитии Шаркади-писателя произошёл поворот. Новеллы Шаркади последнего периода, как отмечает критик, гораздо смелее, правдивее, реалистичнее отображают сегодняшнюю жизнь венгерского крестьянина. Таков, например, рассказ Имре Шаркади «В колодце». Героиня его, дочь середняка Мари Патаки, после ухода её семьи из кооператива снова сталкивается с костью стародавнего крестьянского быта. Её понуждают выйти замуж за нелюбимого человека единственно ради интересов их единоличного хозяйства. Перед Мари встаёт угроза прожить такую же бессмысленную, мучительную жизнь, какую прожила её мать. Нет, она не подчинится старому! Мари восстаёт против своей родни, цепляющейся за старую жизнь, порывает с ней и уходит к человеку, которого она любит всей душой. Вместе с Мате Биро они начинают новую, счастливую трудовую жизнь в крестьянском коллективе. Отмечая удачу Шаркади, критик призывает писателя ещё шире и многостороннее показывать борьбу венгерского крестьянства за своё социалистическое будущее.

Большое место в журнале занимают стихи. Короткая новелла и лирическое стихотворение — самые популярные жанры современной венгерской литературы. В поэзии главная тема сегодня — радостное ощущение огромных перемен в жизни простого человека.

Поэт Янош Кульчар рисует образ крестьянской девушки-цыганки, с звонкой песней работающей на кооперативном поле. Вспоминая о прошлой жизни цыган, поэт пишет:

Семья цыган... В морщинах лица,
Глаза увлажнены слезой,
И запелёнутый в тряпицу
Большой ребёнок, чуть живой.

.

Да что там! Жизнь теперь иная,
И ты, красавица полей,
Почти не веришь мне, внимая
Словам о горе прежних дней.

В «Чиллаге» наряду с поэтами старшего поколения большое место уделяется творчеству молодых. Журнал внимательно следит и откликается на выход в свет первых произведений ещё неизвестных, но заявивших о себе поэтов. Статья Пала Кардоша «Три поэта» знакомит венгерских читателей с творчеством «трёх Иштванов» — Иштвана Бода, Иштвана Паколица и Иштвана Петроваца, выступивших в одном сборнике со своими первыми стихами. Критик уделяет много внимания разбору мастерства молодых поэтов, делает это заинтересованно, доброжелательно и в то же время взыскательно. С особым удовлетворением отмечает он свежесть поэтического голоса у И. Паколица.

Есть в журнале «Чиллаг» раздел под названием «Заметки на полях». Это своеобразная писательская трибуна, где писатели выступают по самым разнообразным вопросам литературной и общественной жизни. В мартовском номере мы находим здесь короткую статью Петера Вереша, в которой затрагивается тема о типическом, и заметку Ене Тершански о своих встречах с читателями, и рецензию Иштвана Оркена о новом венгерском фильме, и ряд других материалов.

В других разделах журнала напечатано несколько статей, посвящённых шестидесятилетию широкоизвестного в Советском Союзе писателя Бела Иллеша, заслуживающий специального внимания литературоведческий очерк Дьердя Лукача о творчестве немецкого поэта Иоганнеса Бехера, воспоминания венгерского скульптора Кишфалуди Штробля о Бернаде Шоу, дневник недавно умершего венгерского писателя-новеллиста Лайоша Надь и др.

В третьем номере заканчивается интересная, хотя кое в чём и спорная монография Иштвана Шётёра о венгерском романисте-классике Мооре Йокаи, лучшие произведения которого вошли в сокровищницу венгерской культуры.

На этом, собственно говоря, можно и закончить рассказ о третьем номере журнала «Чиллаг». Разумеется, мы не сказали о многом. И отдел публицистики и отдел рецензий заслуживают особого разбора. Но мы видели свою задачу лишь в том, чтобы показать основное направление центрального органа венгерских писателей. А это основное направление можно коротко назвать: венгерская новь.

Ал. ГЕРШКОВИЧ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. ЮРИКОВ

★

БЕССМЕРТНЫЕ МЫСЛИ ЛЕНИНА

К выходу книги Клары Цеткин «Воспоминания о Ленине»

Недavno нам довелось побывать в квартире Ленина в Кремле. Какое-то непередаваемое обаяние строгой простоты, скромности, интеллигентности в самом лучшем смысле слова охватывает посетивших эти комнаты. Вот спальня с железной кроватью; вот кухонька с деревянным, покрытым клеёнкой столом — здесь нередко, возвратясь с работы, ужинал Ленин; вот библиотека; вот столовая — небольшая комната, квадратный стол посредине с висячей лампой над ним. ...И сразу вспомнилась знакомая книга, пришла в голову мысль: ведь здесь, в этой комнате, Ленин беседовал с Кларой Цеткин.

Цеткин рассказала в своих воспоминаниях, новое издание которых вышло недавно, как сидела здесь с женой и сестрой Ленина, — ужин состоял из чая, чёрного хлеба, масла и сыра. Владимир Ильич застал трёх женщин беседующими по вопросам искусства, просвещения и воспитания. Включившись в разговор, он принял в нём, несмотря на поздний час, горячее участие, высказал много замечательных мыслей, похваливая, как близко задевают его эти вопросы. И как благодарны мы Кларе Цеткин, что она записала эту и другие свои беседы с Лениным, сохранив для нас бессмертные мысли Владимира Ильича.

Имя Клары Цеткин — одно из тех имён, которыми гордятся международное коммунистическое движение. Цеткин начинала свой боевой путь как соратница Энгельса в борьбе против оппортунизма II Интернационала, против всяческих попыток ревизии революционного учения марксизма. Вместе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург она бесстрашно разоблачала социал-шовинистов, изменивших делу рабочего класса. В лице первой в мире республики Советов

она приветствовала подлинное отечество трудящихся всех стран. Ей выпало счастье дожить до победы социализма в Советском Союзе.

Вся жизнь её была отдана революционной борьбе. В 1932 году, когда Коммунистическая партия Германии напрягала все силы для отпора наглевшему фашизму, Клара Цеткин была избрана в германский рейхстаг. Как старейшему члену рейхстага ей принадлежало право открыть первое его заседание.

«Она жила в доме отдыха под Москвой, с трудом могла приподняться с постели, силы её ушли, она каждую минуту задыхалась, — вспоминала Н. К. Крупская. — Но когда Германская коммунистическая партия написала, что был бы желателен её приезд, она ни минуты не колебалась: собрала последние силы и поехала в Германию, запасшись камфорой и другими средствами поддержания жизни. Она знала, какая опасность ей грозит, опасность быть схваченной и даже убитой фашистами. Это её не остановило. Собрав все свои последние силы, она открыла рейхстаг блестящей речью убеждённой коммунистки. Через голову рейхстага она обращалась к трудящимся массам Германии, говорила им о России, о необходимости борьбы, о социалистической революции».

По свидетельству Н. К. Крупской. В. И. Ленин очень любил и ценил Клару Цеткин как страстную революционерку, марксистку, любил беседовать с ней.

В своей книге Клара Цеткин вспоминает о встречах с Лениным в 1920, 1921 и 1922 годах. Это были годы, когда гражданская война закончилась победой сил революции и социализма и Коммунистическая партия разработала и начала осуществлять гран-

диозный план восстановления и преобразования народного хозяйства страны. Партия смело смотрела в будущее, безгранично веря в творческие силы и способности масс.

Широкий круг полных огромного значения вопросов был затронут Владимиром Ильичём в беседах. Тут и перспективы развития Советского государства, и борьба с правым и «левым» оппортунизмом в коммунистических партиях Запада, и женское движение, и культурное строительство, и вовлечение масс в борьбу с бюрократизмом. В воспоминаниях К. Цеткин переданы та широта идейных интересов, то богатство духовного мира, которые отличали Владимира Ильича.

С огромной теплотой и сердечностью нарисован в книге облик Ленина — вождя народных масс, строящих социализм. В книге немало ярких страниц, раскрывающих силу любви Ленина к простым людям, труженикам и воинам. Революционная масса «не была для Ленина чем-то серым и безличным, не рыхлой глыбой, которую может лепить по своему желанию маленькая группа вожаков. Он оценивал массу как сплочение лучшего, борющегося, стремящегося ввысь человечества, состоящего из бесчисленных отдельных личностей».

Клара Цеткин рассказывает о встречах Ленина с русскими рабочими, крестьянами, солдатами, о его беседах с трудящимися зарубежных стран. «Ленин вёл себя, как ведёт себя равный среди равных, с которыми он связан всеми фибрами своего сердца. В нём не было и следа «человека власти», его авторитет в партии был авторитетом идеальнейшего вождя и товарища, перед превосходством которого склоняешься в силу сознания, что он всегда поймёт и в свою очередь хочет быть понятым. Не без горечи сравнивала я атмосферу, окружавшую Ленина, с напыщенной чопорностью «партийных отцов» немецкой социал-демократии», — рассказывает автор книги.

Простота, скромность, сердечность отличают обращение Ленина с товарищами по работе и борьбе. Когда Ленину заметили, что в Германии председатель собрания в каком-нибудь уездном городишке боялся бы говорить так просто и непритязательно, как он, Ленин ответил простыми, но мудрыми словами: «...когда я выступал «в качестве оратора», я всё время думал о рабочих и крестьянах как о своих слушателях. Я хотел, чтобы они меня поняли. Где бы ни го-

ворил коммунист, он должен думать о массах, он должен говорить для них».

В 1897 году молодой Ленин писал в одном из писем: «Я ничего так не желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих». Это же великое и благородное стремление обращаться к народным массам, опираться на них он выразил в последние годы своей жизни, будучи главой правительства первого в мире социалистического государства.

Великим примером служения народу была его жизнь. С высоты этих благородных целей подходит он к задачам государственной деятельности. Ленин говорил: «...политика начинается там, где миллионы; не там, где тысячи, а там, где миллионы, там только начинается серьёзная политика...» Быть политиком — значит рассматривать явления «с точки зрения миллионов людей и отношений между миллионами».

Гениальный Ленин «с точки зрения миллионов людей» освещал вопросы, волнующие нас и сегодня. Цеткин была умным и внимательным собеседником, сумевшим сохранить в своих воспоминаниях богатство и яркость ленинской мысли.

* * *

Ленин не раз в своих беседах с К. Цеткин возвращался к облику нового человека, к вопросам коммунистической морали. Гигантская битва за революцию и социализм требует от масс, от личности огромного напряжения сил, волевого сосредоточения. Идеиная и моральная закалка наших людей, их сознательность — важнейший залог успеха борьбы за дело коммунизма. Новая, коммунистическая нравственность рождается в огне и буре революции, в борьбе людей труда за своё государство. Разрушение капиталистического строя и строительство социалистического общества — это школа воспитания миллионов.

Ленин видел сложность и противоречивость процесса формирования и развития этой нравственности. В беседах он затрагивал самые насущные вопросы морали и быта, требуя высокой принципиальности в решении этих вопросов, непримиримости к влияниям гнилой, отравленной буржуазной морали.

Марксизм не признаёт отделения быта от политики: поведение в общественной и личной жизни определяется одними и теми же принципами, одними и теми же идеалами.

Буржуазная мораль растлевающе влияла и на молодое поколение советского общества. Владимир Ильич насторожён и остро реагировал на это. Он с тревогой говорил о том, что лёгкость и неразборчивость в отношениях к женщине некоторые молодые люди оправдывали как отношение «революционное» и «коммунистическое». Легкомысленное порхание от одного объекта к другому, поспание естественных норм поведения человека эти люди представляли, как «разрушение старого быта», «борьбу с устаревшими семейными формами» и т. д.

«Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая «новая половая жизнь» молодёжи — а часто и взрослых — довольно часто кажется чисто буржуазной, кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости», — говорил Владимир Ильич.

Да, грязь старой жизни нередко оскверняет ещё то прекрасное и благородное чувство, которое способно побеждать смерть! Буржуазные пошляки, иногда шеголявшие в марксистской маске, кричавшие о революционном отказе от старого быта, создали дурно пахнущую «теорию», будто любовь это только физическое влечение и удовлетворить его так же легко, как легко выпить стакан воды. Эта жеребья «теория» вызвала, как подробно рассказала Клара Цеткин, гневную отповедь Ленина. «Я считаю знаменитую теорию «стакана воды» совершенно не марксистской и сверх того противообщественной. В половой жизни проявляется не только данное природой, но и привнесённое культурой, будь оно возвышенно или низко. Энгельс в «Происхождении семьи» указал на то, как важно, чтобы половая любовь развивалась и утончилась... Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ? Но важнее всего общественная сторона. Питьё воды — дело действительно индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес, возникает долг по отношению к коллективу».

«Теорию», оправдывающую бытовую распущенность, в каком бы «передовом» виде она ни выступала, Ленин разоблачал как враждебную делу борьбы за коммунизм. Он блестяще показал на этом примере, как реакционные идеи буржуазного общества

проникают в нашу среду, часто прикрываясь «передовой» фразеологией.

Приводя в пример одного молодого товарища, который «метается и бросается из одной любовной истории в другую», Ленин указывал: «Это не годится ни для политической борьбы, ни для революции». Он говорил, что лёгкость в связях не вяжется с моральным обликом советского человека, посвятившего жизнь службе делу революции. Несдержанность в половой жизни буржуазна.

«Пролетариат — восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно ни опьянения половой несдержанностью, ни опьянения алкоголем. Он не смеет и не хочет забыть о гнусности, грязи и варварстве капитализма. Он черпает сильнеешие побуждения к борьбе в положении своего класса, в коммунистическом идеале».

В борьбе за социализм, в коммунистическом идеале — основа развития сильной, богатой духовно, яркой и цельной личности. Вопросы семьи, брака, отношения к женщине — это не узко личные вопросы, они имеют большое общественное значение. От неверного решения их страдают люди, а самое главное — «ошибки» и «просчёты» больно отражаются на молодом поколении, на детях.

Ленин выступал против расточения сил наших людей, за самообладание, самодисциплину, за подчинение всего поведения человека — и личного и общественного — великой цели строительства нового, социалистического мира.

Высказывания Ленина в беседе с К. Цеткин прямо перекликаются с его замечательными словами, обращёнными к молодёжи: в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма.

Буржуазия не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. Социалистические общественные отношения, борьба за коммунизм наполняют всю жизнь трудящихся глубочайшим содержанием, освещают ярким светом каждый шаг повседневной деятельности, делают жизнь красочной, многогранной.

В нашей стране принципы коммунистической морали стали нормами поведения миллионов людей. Но и среди нас имеются люди, ещё противопоставляющие личные инте-

ресы общественным. Есть и стяжатели, эгоисты, думающие только о своём благополучии, бездельники, лжецы, карьеристы. Есть у нас и люди, унижающие человеческое достоинство женщины, рассматривающие её как объект своих мерзких вожделений, безответственно относящихся к семье, да ещё претендующие, чтобы в их «личную жизнь» не вмешивались. Боевое и неприемлимое отношение Ленина к нарушителям принципов коммунистической морали — вот замечательный пример и для нас. Этот пример обязывает ещё решительнее, ещё последовательнее и беспощаднее пресекать все попытки колебать моральные устои советского общества.

Ленин не раз выступал против бесчеловечного подавления личности в буржуазном обществе, против попыток чиновников в мундирах и рясах вмешиваться в личную жизнь трудящихся, в их быт, в то, что является делом их совести. Это была действительно борьба за освобождение трудящихся от гнетущего давления реакционных классов. Подлинная свобода личных отношений заключается в сознательном, разумном подходе к этим отношениям, к личной жизни, к быту. Всякая другая «свобода» есть оправдание эгоистических, собственнических, часто скотских пережитков и ничего общего не имеет с коммунистической нравственностью.

Энгельс писал, что в социалистическом обществе вырастет «поколение мужчин, которым никогда в жизни не придётся покупать женщину за деньги или за другие средства социальной власти, и поколение женщин, которым никогда не придётся отдаваться мужчине из-за каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви». Это — поколение будущего, указывал великий друг и сподвижник Маркса. Мы с гордостью говорим: это — поколение настоящего, это люди нашей страны.

Но новые отношения утверждаются не в мирной идиллии, а в борьбе с отмирающим, в преодолении старых отношений, отживших форм жизни. И в нашей действительности встречаются выродки, воплощающие стравительные черты буржуазной морали. Ленин говорил, что вредные явления буржуазного общества могут «распространяться и на мир революции, как широко разветвляющиеся корни некоторых сорняков растений». Он призывал к высокой принципиальности и беспощадности в борьбе с по-

зорными пережитками прошлого — об этом высокому завету напоминает книга Клары Цеткин.

* *
*

С тех же высоких позиций интересов миллионов Ленин освещал в беседах с Цеткин вопросы искусства. Воспоминания Клары Цеткин показывают, как горячо любил Ленин искусство, как живо был заинтересован в его развитии.

Владимир Ильич предвидел широкий расцвет искусства в стране социализма, где открыт путь к безграничному прогрессу во всех областях общественной и личной жизни. Рост искусства связан с развитием самостоятельного творчества масс, их политической активности, их культуры. Ленин подчёркивал, как важна именно массовая культура, подъём культурного уровня миллионов. «Мне больше по душе создание двух-трёх начальных школ в захолустных деревнях, чем самый великолепный экспонат на выставке. Подъём общего культурного уровня масс создаст ту твёрдую, здоровую почву, из которой вырастут мощные, неисчерпаемые силы для развития искусства, науки и техники».

Беседы Ленина с Кларой Цеткин относятся к тому времени, когда советское искусство делало ещё, в сущности, первые шаги. Владимир Ильич говорил, что революция развязывает все скованные до того силы и гонит их из глубин на поверхность жизни. «Каждый художник.. имеет право творить свободно, согласно своему идеалу», — указывал Ленин, характеризуя новое положение художников в Советской стране, его свободу от гнёта эксплуататорских отношений, от давления косной реакционной критики.

И вместе с тем Ленин подчёркивал:

«Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».

Ленин резко выступал против буржуазно-эстетских влияний, против растленной порнографической литературы, против уводящей от реальных противоречий сентиментальщины, против искусства, чуждого народу и революции. И вместе с тем Ленин столь же решительно боролся против недооценки культурного наследия, против ниги-

листического отношения к сокровищам культуры под предлогом борьбы за новое содержание.

В те годы на выставках художников были обильно представлены дикие сочетания треугольников, кубов, прямоугольников, долженствующие заменить реалистическую живопись, искажённые фигуры, заменяющие скульптуры. Под флагом борьбы за «новое» сторонники формализма объявляли «устаревшими» Пушкина, Толстого, Глинку, Репина и провозглашали высшим достижением искусства всяческие формалистические выверты.

Мы чересчур большие ниспровергатели в живописи, иронически говорил Ленин, разоблачая нигилистов. «Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»?.. Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости!»

К 1920 году относится первая беседа, описанная Цеткин в её книге. 1 декабря 1920 года было опубликовано историческое письмо Центрального Комитета партии о пролеткультах, в котором резко осуждались формалистическое и другие буржуазно-декадентские течения в искусстве. Известно, что письмо это было подготовлено по инициативе В. И. Ленина. Центральный Комитет партии, решительно борющийся за чистоту марксистской теории, против всяких попыток её исказить, поставил задачей оградить культурное строительство от влияния социально чуждых элементов, декадентов, идеалистов, буржуазных публицистов и философов, теснее связать литературу и искусство с жизнью и борьбой народа.

И здесь критерием подхода Ленина, остававшегося художественные ценности прошлого и настоящего от растлевающего влияния буржуазной идеологии, было отно-

шение к народу. Вопрос о судьбах искусства решался Лениным как политический вопрос в свете интересов миллионов, в свете политических задач современности.

«Важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что даёт искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их».

Мы понимаем всё значение вдохновлявшейся партией борьбы против упадочного антиреалистического, антиобщественного декадентского искусства. В этом идейно опустошённом лжеискусстве был потерян человек с его творческой деятельностью, его внутренней жизнью. Это искусство, далёкое от жизни, ничем не могло обогащать людей, напротив, оно обедняло их, лишало воли, энергии, ясности понимания мира. Ленин замечал, что от произведений этого искусства он не испытывает радости. Подлинное искусство приносит радость, обогащает, делает взор яснее. Советское искусство, правдивое, высокоидейное, должно поднимать человека, помогать ему идти вперёд, подниматься выше.

В своё время левовцы развязно пытались поставить под сомнение точность передачи Кларой Цеткин положений Ленина.

Но мысли, переданные Цеткин, совпадают с рядом высказываний Ленина о культуре и культурном наследии, с письмом ЦК о пролеткультах. Мысли, записанные замечательной германской коммунисткой, были по всякой декадентине, по футуристическим кривляниям. Тем более наш долг — взять их на вооружение. Наши рабочие и крестьяне, говорил Ленин, «делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство». На почве широкого культурного развития «должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию».

О великих перспективах, о новаторской деятельности невиданного значения думал

Ленин, размышляя о новой социалистической культуре.

В замечательной статье «Лучше меньше, да лучше» он говорил, что «нам надо предъявлять не те требования, что предъявляет буржуазия Западной Европы, а те, которые достойно и прилично предъявлять стране, ставшей своей задачей развиться в социалистическую страну».

Это было написано более тридцати лет тому назад. Великая идея о принципиальной новизне, своеобразии и неповторимости социалистической культуры, социалистического искусства, всего строя нашей жизни сохраняет всё своё основополагающее зна-

чение. Эта мысль помогает последовательно и чётко отличать буржуазное лженоваторство, крикливое, ломаное, чуждое советскому человеку, от подлинного новаторства, от подлинного прогресса искусства.

Народ, поднявшийся на революционные бои, создающий коммунистическое общество, творит новые, великие и прекрасные идейные, нравственные и эстетические ценности. Мысли Ленина помогают глубже понимать нашу культуру, мораль, наше искусство в их неповторимом своеобразии.

Советский читатель сохранит чувство глубокой благодарности к Кларе Цеткин за её воспоминания о великом Ленине.



ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

★

ЗЕРКАЛО, КОТОРОЕ НЕ ОТРАЖАЕТ

Заметки о языке критических статей

1

«Ленинградские писатели — детям»... Сборник критических статей, посвящённых детским писателям Ленинграда. «Сборник задуман, как своеобразный творческий отчёт ленинградских писателей...» — сообщает редакция в маленьком предисловии, которым открывается книга.

Многого ждёшь от этого отчёта. Ленинградцам есть о ком, есть о чём рассказывать. В Ленинграде живут и работают первоклассные мастера детской книги — прозаики, поэты, художники. Ленинградскому отряду советских писателей для детей есть в чём отчитываться и есть чем гордиться.

Перед участниками сборника, перед его составителем (Д. Левоневским) и редактором (Гр. Гроденским) стояла задача почётная, но и многосложная: создать портреты отдельных книг, выпущенных в Ленинграде, охарактеризовать, проследить шаг за шагом путь наиболее крупных писателей и в то же время показать живую связь творческих поисков ленинградских литераторов с развитием всей советской литературы. Построен сборник в соответствии с этой задачей: тут и статьи-монографии о Б. Житкове, Е. Чарушине, А. Пантелееве, В. Бианки, Е. Шварце, А. Бармине; и статьи обобщающего характера — об исторической и историко-революционной книге для детей, «о большой поэзии для маленьких», о детском театре, об иллюстрациях; три статьи о литературе научно-художественной и научно-популярной. Не обойдены вниманием и молодые писатели, авторы первой книги; поставлена в особой статье и проблема характера.

Казалось бы, какое изобилие нерешённых задач, какое раздолье для историка лите-

ратуры, теоретика и критика! Сколько вопросов, подлежащих исследованию, стилей, подлежащих определению! Понять путь, уже совершённый писателем, и угадать предстоящий. Проникнуть в главную мысль его творчества. Уловить сходства, различия, влияния, воздействия — обнаружить те живые нити, которые связывают разные литературные судьбы. Разглядеть общие черты времени на лицах, отмеченных «необщим выраженьем». Вслушиваться в голосá, в интонации, взвешивать, сопоставлять, оценивать, давать наименование тому, что ещё не было названо; оспаривать прежние суждения, выдвигать собственные, новые. Проследить пути развития наиболее распространённых жанров. Вдуматься в причины любви или нелюбви читателей к той или другой книге...

Редко появляются у нас целые сборники критических статей, чаще мы имеем дело с одной, много — двумя статьями в очередном номере газеты или журнала. Тут не так, тут они собраны вместе, в один толстый том — статьи ленинградских критиков, писателей, историков литературы. Их читаешь одну за другой, подряд, как рассказы в сборнике рассказов. И с огорчением и недоумением убеждаешься, что богатство и разнообразие писательских голосов и стилей не породили разнообразия критической мысли, что Ленинград, создавший мастеров стиха и прозы, не создал мастеров критического анализа, что большинство статей, собранных в сборнике, бесцветно, безлично, тускло, что даже в лучших из них встречается немало трафаретов. Между тем трафареты — дурной, опасный признак. Они знаменуют собой леность мысли или даже отсутствие мысли. Они патентованные заменители; уклоняясь от самостоятельного

мышления, пишущий хватается за привычный трафарет.

«Книги А. Голубевой лежат в русле хороших горьковских традиций»,— сообщает А. Рашковская. «Повести Э. Выгодской лежат в русле основных устремлений советского исторического романа»,— сообщает тот же критик. «Такая постановка темы... шла в общем русле советской детской литературы тех лет»,— пишет тот же критик. «Самые ошибки Т. Богданович находятя в русле основных устремлений жанра»,— пишет тот же критик. «Творчество Е. И. Чарушина находится в общем русле советской детской литературы на природоведческую тему»,— утверждает С. Шиллегодский.

«Роман В. Каверина... занял прочное место в золотом фонде детской и юношеской книги»,— сообщают В. Макарова и О. Хузе. По определению Н. Житомировой, А. Бармину в литературе для детей принадлежит «особое место». Какое же? Книги «Сокровища каменного пояса» и «Охота за камнями» обеспечили А. Бармину «видное место», а роман «Руда» того же автора «с честью занял своё место». И возражать на это нечего; как говорит один из героев сказки Е. Шварца: «Розы обладают соответствующей раскраской и растут из подобающей почвы...»

«Отряд ленинградских писателей, создающих книги для детей, вносит значительный вклад в развитие советской детской литературы»,— пишет О. Хузе. «Писатели Т. Богданович и А. Бармин внесли значительный вклад в разработку исторической тематики»,— сообщает О. Хузе на следующей странице. «Учёные и специалисты... вносят значительный вклад в советскую литературу для детей»,— пишет О. Хузе через три страницы. «Велик вклад в поэзию для детей и поэтов более младшего поколения»,— пишет Д. Левоневский. «Спектакли детских театров... вносят свой ценный вклад»,— подхватывает эту свежую мысль Н. Рабинянц. «Рассказом «Пакет» Л. Пантелеев внёс свой вклад в детскую художественную литературу»,— пишет Е. Привалова, и через несколько страниц: «Рассказы Л. Пантелеева — заметный вклад в нашу литературу для детей...» И всё это совершенно справедливо: и А. Бармин внёс свой вклад, и Э. Выгодская, и Т. Богданович, и Л. Пантелеев, и

младшее и старшее поколения поэтов, и спектакли детских театров внесли свой вклад, и многие книги заняли видное, прочное или почётное место в золотом фонде, в библиотеке или среди книг такого-то жанра... Но критика и история литературы для того и существуют, чтобы по возможности точно оценить величину этого вклада и определить это место и это русло. С помощью трафаретов осуществить невозможно ни то, ни другое, ни третье...

2

Как же справляются с тонкой и сложной работой анализа авторы статей, помещённых в сборнике?

Статьи эти, разумеется, неравноценны. Тут есть, например, прекрасная статья С. Цимбала о Е. Шварце: критику удалось прочитать не только текст, но и подтекст произведений драматурга и сделать явственным философский смысл и поэтическую прелесть таких сказок Е. Шварца, как «Снежная королева», «Два клёна». Много ценных наблюдений высказано в статье Т. Хмельницкой о В. Бианки, в содержательных статьях Е. Приваловой о Л. Пантелееве, И. Груздева о Б. Житкове. Кое с чем я не согласна (например, с утверждением Е. Приваловой, будто рассказ «Честное слово» носит экспериментальный характер,— в действительности рассказ этот не более экспериментален, чем любой другой), но, спорные или нет, статьи эти богаты мыслями.

Рассматривая сказки В. Бианки, такие, например, как «Озеро-призрак» или «Ласковое озеро Сарыкуль», Т. Хмельницкая приходит к неожиданному и в то же время очень убедительно доказанному выводу, что сказки В. Бианки — это сказки-исследования, особого рода исследовательские новеллы, и этим определением сразу характеризует самую суть творческого метода В. Бианки. Точен анализ стихотворений С. Погореловского, сделанный Д. Левоневским. Вполне своевременно и справедливо звучит высказанное К. Меркульевой пожелание, чтобы в Ленинграде был создан журнал для детей. Интересны её сообщения о читательских конференциях в Сиверской средней школе и рассказ о работе журналов «Новый Робинзон», «Еж», «Чиж». Но всё это частные удачи. В большинстве же своём общие мысли, высказанные авторами, слишком уж общи — «розы издают

запах, свойственный этому цветку»; когда же дело доходит до анализа конкретного художественного произведения или творческого пути того или иного писателя, критики нередко проявляют полную беспомощность. Из статьи Н. Житомировой о А. Вармине, например, мы узнаём, где родился писатель, где он учился и о чём писал; но вот критик переходит к анализу книги, и скрупулёзность в перечислении дат и названий, в изложении содержания сразу сменяется приближительностью.

«Альманах «Уральский современник» в обширной обзорной статье... назвал «Сокровища каменного пояса» А. Бармина «первой уральской научно-художественной книгой», — сообщает Н. Житомирова. — В такой оценке нет преувеличения». Преувеличения действительно нет — вероятно, книга и в самом деле первая, — но нет ведь и ровно никакой оценки. Нет её и в дальнейших строках. «В очерках значительное место занимают сведения из исторической геологии Урала», «Особенно много разнообразных геологических сведений содержит четвёртая часть книги». Так это всё сведения о сведениях, а где же литературный разбор, характеристика? Вот она: «Беллетризация повествования выражена в небольших вставных сюжетных эпизодах и в образном рассказе. Занимательность видна в заглавиях отдельных очерков». А как же обстоит дело с самими очерками? Занимательны они или скучны? И что даёт для определения прозы А. Бармина эпитет «образный»? Какова образность, характерная для А. Бармина? И что такое «беллетризация», которая «выражена» во вставных эпизодах? Чуть только критик касается вопросов стиля и жанра, определения становятся шаткими, зыбкими. Употребляя слово «беллетризация», Н. Житомирова считает, повидимому, что хвалит текст А. Бармина; между тем это слово, как и «стилизация», не похвала, а порицание: не настоящая, значит, беллетристика, не подлинная, а искусственная, которую со специальной целью призвали на помощь... «Беллетризованы», «вставки» — ну, а каков не «беллетризованный», не «вставной», а основной текст книги А. Бармина? И почему, называя книгу «Сокровища каменного пояса» научно-художественной, автор через несколько абзацев именуется её научно-популярной? В специальной статье следовало бы эти понятия различать. Впро-

чем, ясного представления об особенностях и о специфических путях научно-художественной литературы нет не у одной Н. Житомировой. К. Меркульева, например, пишет: «Поэтично, несмотря на обилие познавательного материала, написана книга Д. Карелина «Моря нашей Родины». Да почему же «несмотря»? Странно слышать такую оговорку из уст автора «Фабрики точности». В том-то и заключается особенность научно-художественной литературы, созданной в нашей стране, что «познавательный материал», писатели наши научились постигать как поэтический; и «Рассказ о великом плане» М. Ильина и «Телеграмма» Б. Житкова поэтичны не вопреки обилию познавательного материала, а благодаря ему. Для авторов научно-художественных книг познавательный материал не ноша, которую им так тяжело нести, что они вынуждены прибегать к помощи спасительной «беллетризации», а прямой источник вдохновения. И пафос и самый сюжет их книг вытекают из понятой до конца, до конца осознанной, даже эмоционально пережитой научной проблемы.

Покончив с характеристикой одной книги А. Бармина — «Сокровища каменного пояса», Н. Житомирова переходит к «Охоте за камнями». Быть может, тут хоть на секунду из сбивчивых или пустых строк выльнет облик книги? Нет, не выльнет. Книга «сыграла положительную роль»; рассказ ведётся «живо, конкретно, убедительно». Именно конкретности и убедительности и недостаёт статье Н. Житомировой; разобраться в недостатках и достоинствах книг А. Бармина автору мешает также неясность представлений об особенностях научно-художественной литературы.

Статья В. Макаровой «Первая книга» посвящена разбору рассказов и стихов молодых писателей Ленинграда. И тут мы снова встречаемся со сбивчивостью доказательств и доводов. «Общезвестно», — пишет В. Макарова, — что искусство начинается с умения видеть, с глубокого знания того, о чём говорится. Именно это качество и дало возможность начинающему автору А. Усановой, работавшей на производстве, сделать точную поэтическую миниатюру «Солнечный зайчик».

И приводит эту «поэтическую миниатюру», рождённую «глубоким знанием»:

Гудит гудок,
Поёт гудок,
Вокруг светлым-светло,
Подпрыгнул зайчик на станок,
Уселся на сверло.
Он закружился, как волчок,
И засверкала сталь.
Доволен зайчик, что помог
Сверлу сверлить деталь.

Стихотворение в самом деле не лишено поэтичности, но именно как пример глубоких знаний оно не годится: нужны ли глубокие знания, чтобы увидеть, как солнечный зайчик прыгнул на станок? Мне кажется, для этого достаточно на минуту заглянуть в цех.

Такой же неточностью критической мысли отличается и разбор двух строф из стихотворения В. Литвинова «Сестрёнка»:

Грязный сброд, одержимый злобою,
В чужедальнем ночном краю
Замахнулся атомной бомбою
На счастливую жизнь твою.
Но повсюду на страже друзья твои
Против шайки убийц встают.
«Прочь войну!» — это стало клятвою,
Охраняющей юность твою.

Критик, указывая вполне справедливо, что строфы эти не удались поэту, приводя их как пример штампа, неточности, приблизительности, находит, что в замысле стихотворения «заключена верная мысль, согретая мужественным и нежным чувством». Причины же неудачи, по мнению критика, кроются в обилии декларативных фраз, ошибочном представлении о бомбе («бомбой не замахиваются») и плохой рифме («три раза рифмуется слово «твоя»). Этот разбор мне представляется весьма неточным. Беда приведённых стихотворных строчек вовсе не в тех или других образах и не в рифмах. Беда серьезнее. В приведённых строках нет ни грана поэзии — то есть собственной, своей, сердцем пережитой мысли. Казалось бы, мысль о подлых поджигателях войны должна была тронуть, взволновать поэта, но она оставила его холодным. Ни «мужественным и нежным», ни вообще каким-либо чувством строфы не «согреты» — вот в чём беда, а не в той или другой рифмовке... Классическая русская поэзия — поэзия Пушкина, Некрасова, Тютчева, Блока — знает стихи со скромными, непритязательными рифмами (так, например, Пушкин в стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума» рифмует моим — с ним, меня — я; Тютчев в зна-

менитом «Silentium» — тебя—себя; Блок в стихотворении «Утро в Москве» — тебя—моя—моя—твоя), и от этого стихи не только не становятся менее проникновенными, но приобретают особое очарование.

Стало быть, дело не в рифмах и не в том, что «молодой автор, — как пишет критик, — не сумел высказать» свою мысль, а в том, что поэтичность — то есть пронизанной чувством — мысли у него и не было, не было того зерна, из которого стих растёт. А раз так, если бы поэт оказался и более искусен, если бы он приставил к строчкам более редкую и звонкую рифму, стихи от этого нисколько не выиграли бы. Разумеется, мастерство — великая сила. Однако, на мой взгляд, разговор о мастерстве, об удачах или неудачах рифмовки, композиции, образа может стать плодотворным лишь в том случае, когда речь идёт о произведении искусства, пусть даже и несовершенном; когда же перед нами нечто механическое, грубо ремесленное, разговаривать об образах и рифмах не только бесполезно, а и вредно.

Сбивчивы, туманны некоторые мысли о стихах, излагаемые Д. Левоневским в статье «О большой поэзии для маленьких». «Вопрос о том, что в поэзии является самым нужным, — вопрос не простой, — пишет Д. Левоневский. — Не только образ, но только форма, а и язык, слово, которое выражает идею, мысль, чувство». Вдумаемся в это рассуждение. Что значит, «не только образ, а и язык», «не только форма, а и слово»? Какой же образ и какая форма в поэзии — в словесном искусстве — могут быть созданы вне слова, вне языка? В чём смысл вопроса, заданного Д. Левоневским, и противопоставления формы в поэзии слову, языку? Да простит мне Д. Левоневский, но эта туманная фраза сильно напоминает формулу из учебника детской литературы, составленного А. Гречишниковой: «Важным звеном (?) в книге для дошкольников является язык»!¹

Отдельные положения статьи Д. Левоневского отличаются противоречивостью и туманностью. О статье же В. Макаровой «Первая книга» следует сказать, что главное её свойство — дипломатическая уклончивость. Посвящена статья ленинградской литературной молодёжи, её росту, её воспитанию. Повидимому, опасаясь упрёка в пес-

¹ А. Д. Гречишникова. Советская детская литература. Учпедгиз, 1953, стр. 9.

символизме, критик сначала преподносит нам утешительные сведения о «плодотворных результатах» «мер», принятых для воспитания литературной молодёжи: «...одним из каналов, по которому вливались свежие силы, стал семинар начинающих детских писателей...— сообщает В. Макарова.— За 4 года работы участники семинара дали 5 альманахов, 3 сборника стихов и 6 сборников рассказов». Альманах, по утверждению критика,— удачный тип книжки. «Ценность и польза альманаха для воспитания молодых писателей несомненна».

Дальше эта несомненная польза берётся автором статьи под сомнение: В. Макарова утверждает, что «при чтении большинства поэтических произведений, помещённых в альманахе», «ощущение подлинности увиденного автором не возникает», что «молодые поэты часто прибегают к штампу», что «из правильно зарифмованных строк глядит на читателя унылый трафарет» и т. д. Ещё через несколько абзацев оказывается, что и у прозы, помещённой в №№ 1 и 2 альманаха «Дружба», который в первых строках статьи так горячо приветствовала В. Макарова, те же «недочёты», что и у поэзии; в рассказах «нет главного, что составляет сущность искусства в любом его виде,— обобщённой, одушевлённой авторской мыслью картины жизни»; герои рассказов по словам В. Макаровой, «названы различными именами, но схожи между собой, как близнецы». «...Молодые прозаики хватаются за первое попавшееся слово. В результате словесная ткань произведения становится гладкой, ровной, безличной». Неужели это можно назвать всего только «недочётами»?.. В. Макарова приветствует альманах «Звёздочка» («В целом этот альманах оказался более слаженным и равноценным по качеству материала, чем «Дружба»), указывает, что многие молодые писатели, сначала объединённые в этом альманахе, выступили затем перед читателем с самостоятельными книжками, радуется, что С. Гансовский и И. Туричин обратились к зарубежной теме. Но из дальнейших строк статьи выясняется — хотя прямо В. Макарова этого и не говорит,— что обращение к зарубежной теме было неудачным: «однообразие сюжета и композиции рассказов И. Туричина... бросается в глаза», «в построении характеров своих героев автор идёт от общеизвестных представлений», в рассказах С. Гансовского

«подчас увлечение острым сюжетом уводит автора от показа существенных явлений жизни», и, самое главное, И. Туричину и С. Гансовскому, по мнению В. Макаровой, не хватает «острого зрения художника» и «умения... дать увиденному верную оценку». Ни больше и ни меньше! Что же остаётся после таких характеристик от всех приветливых оговорок? На следующих страницах та же операция проделана В. Макаровой с рассказами М. Гладилиной: сначала всерьёз очень подробно излагается их содержание, говорят комплименты автору, а потом в качестве «недочётов» преподносится характеристика убийственная: оказывается, «портретные черты» героев «можно свободно перемешать между Гришей, Ваской и Женькой и никаких несоответствий, кроме сезонных, читатель не обнаружит». И этот порок, начисто уничтожающий рассказы, критик скромно (или дипломатично?) именует «недооценкой автором описания!» В рассказах М. Гладилиной мальчики, по определению критика, «добродетельны», взрослые «благостны», наблюдения «не увиденны», сведения «приблизительны»... Если всё это так, то... «к чему лукавить»? Если критик, говоря о воспитании молодёжи, в состоянии похвалить от души всего только троих из молодых литераторов — А. Усанову, Э. Шима и Е. Серову,— а большинство из них трактует как создателей унылых трафаретов, хватающихся за первое попавшееся слово, то зачем же у него недостаёт мужества сделать тот вывод, который напрашивается сам собой из всех цитат и характеристик? Чем откровеннее высказана мысль, тем она плодотворнее. Дипломатические умолчания нам не к лицу...

3

Но я невольно уклонилась в сторону от своей главной темы. Моя тема — язык критических статей. Если «поэзия — вся! — езда в незнаемое», если художник — создатель новых идей, образов, нового стиля, то не ясно ли, что критик должен располагать средствами, чтобы улавливать и запечатлеть эту новизну и это своеобразие. Какими же средствами «распознавания незнаемого» располагают авторы критических статей? На этот вопрос нам отвечает их собственный стиль...

Бармин, по словам критика, создаёт «яркие картины жизни»; он же раскрывает в

повести «яркую историю борьбы»; его же очерки — это «яркая, образная иллюстрация» чего-то; в Серёже Кострикове, герое книги А. Голубевой, «ярко выражены черты будущего руководителя»; новелла Ю. Германа «Портрет» ярко вскрывает (?) место «случая» в истории; Е. Чарушин в своих охотничьих рассказах создаёт «яркое изображение природы северного края». Быть может, стиль перечисленных писателей и в самом деле — у каждого по-своему — яркое, зато критики, чуть только речь заходит о стиле, пишут весьма бледно и обо всех возможных стилях одинаково. «Живо, образно и просто» — это о Е. Чарушине; «живо и увлекательно» — это о Л. Успенском; рассказ А. Бармина «написан хорошим (?) литературным языком», и в своём романе А. Бармин «большого успеха (?) достигает... в языке». «Выразительно» и, разумеется, «ярко» показан Ф. Дзержинский Ю. Германом. Наконец, Гр. Гроденский в характеристике одного из писателей сводит воедино все штампованные определения, бытующие в сборнике: «...простой, но захватывающий сюжет, конкретность образов, чистый, лаконичный, хороший язык, доступное изложение... умелый показ...» — это написано о «Ягоде вкусника» А. Бармина. Но разве нельзя ту же характеристику с тем же успехом и с тем же правом отнести не к «Ягоде вкусника», а к любой другой книге этого или другого писателя? Разве у В. Бианки или у Б. Житкова, писателей, столь не похожих друг на друга, или у Е. Данько, несколько не похожей на них обеих, не простой и не захватывающий сюжет, образы неконкретны, язык плох, изложение недоступное, а показ неумелый?.. Тот же критик пишет: «...жанровые попытки К. Меркулевой — это непрерывные попытки отыскать наиболее доступную, наиболее доходчивую форму доведения до читателя научного, подчас сложного, специального материала». Критик прав: роза издаёт запах, присущий этому цветку; беда лишь в том, что «наиболее доходчивую форму доведения искали и ищут, кроме К. Меркулевой, решительно все работники научно-художественной литературы, и потому сказать эту фразу о жанровых исканиях К. Меркулевой — значит не сказать ничего. Это не характеристика, а мнимость, привидение, фантом...

Бедность словаря в критических статьях поразительная. И это не пустяк: бед-

ность словаря свидетельствует о нежелании размышлять, думать. Своеобразные мысли непременно породили бы свой собственный стиль. И наоборот, отсутствие собственного стиля, единообразие лексики говорят об отсутствии самостоятельных мыслей... «Обличительный показ придворной среды», «занимательный показ кропотливого и героического труда», «показ прошлого Урала», «драматический показ жизни и судьбы зверя», «наглядный, живой и очень яркий показ различных способов передвижения», «показ героя», «показ движущих сил истории», «показ представителей эпохи», «показ тяжёлой жизни», «показ глубочайших классовых противоречий», «показ русской природы», «проблема показа советского человека», «проблема «показа» как ответ на «наказ» и, наконец, «ракурс показа башкир»... Вклад, русло, место, широкий показ, умелый показ, занимательный показ, в доступной и художественной форме, живо и увлекательно, просто и конкретно, не свободно от недостатков — как будто единственным автором большинства статей была Эллочка-людоедка, располагающая всего-навсего семнадцатью словами... Не слишком ли мало для исследователей литературного стиля? Не пора ли критикам заговорить на общерусском языке, отказавшись от узкого жаргона?

Дело не в том, что употребляются постоянно именно эти, а не какие-нибудь иные слова; дело в том, что их мало и повторяются они механически. Критик нередко превращает в пустышку даже самые существенные, исполненные жизнью определения.

Так, например, критик Н. Житомирская пользуется определением «своеобразный» совершенно машинально, лишая это живое понятие всякого конкретного содержания.

«Книга эта явилась своеобразным продолжением работы писателя над родноведческой тематикой», — пишет Н. Житомирская о книге А. Бармина «Урал-богатырь». «Своеобразным явлением в творчестве писателя в последние годы была и маленькая повесть «Ягода вкусника», — пишет исследовательница в том же абзаце. «Тагильские мастера» А. Бармина явились своеобразной историко-технической книгой послевоенных лет». «Своеобразен колорит языка и литература персонажей». Но в чём же

своеобразие этого языка и этих книг? Повидимому, в том, что они своеобразны. Другого ответа в статье Н. Житомировой на этот вопрос не найдёшь.

Вот статья Л. Успенского «Поэзия науки». В сложный вопрос об отличиях научно-художественной книги от научно-популярной автор вносит собственные, свои и очень меткие определения. Написана статья с убеждённой, страстностью. Ратую за создание популярных книг, посвящённых не только точным, но и гуманитарным наукам, Л. Успенский находит и новые доводы и свежие обороты речи. Но вот он пытается дать характеристику разным авторам и разным книгам. И тут его сразу постигает бессилие. Характеризуя работу П. Фрейбурга, Л. Успенский говорит, что объёмистая книга этого автора была сборником статей на «любопытно повёрнутые темы»; затем, что «Занимательная ботаника» Цингера представляла собой «любопытный опыт»; затем, что Я. Перельман — «любопытный популяризатор-компилятор»; затем, что «творческий путь Г. Гора весьма любопытен», так как среди произведений Г. Гора есть «любопытные туристские краеведческие очерки»; то ему «любопытно» отметить нечто о книге Гернет, то он называет труд Мишина и через одну страницу Белова «любопытнейшим», а в следующем абзаце «любопытнейшим»; книгу «Шпага Суворова» на той же странице характеризует как «весьма любопытную» и отзывается о гуманитарных науках как о «любопытнейших». Творчество перечисленных писателей и в самом деле любопытно; гуманитарные науки любопытны весьма; но чем же удовлетворит автор статьи разбуженное любопытство читателей, если они захотят узнать, каковы эти перечисленные им произведения?

А ответить на вопрос «каковы?» авторы статей (за редкими исключениями) и не в состоянии. «Простым и ярким языком», «просто и занимательно», «в доступной и художественной форме», «занимательность рассказа и живость языка» — вот, в сущности, все их ресурсы. Правда, критик А. Рашковская любит щеголять такими редкостными словами — красивыми, звучными, преимущественно иностранными, — как ракурс, аспект, кульминация, интимный тонус, фрагменты, такими фразами, как «погружение эпоса в атмосфе-

ру лиризма», но сквозь мглу этих претенциозных фраз, произносимых попеременно с пересказом содержания и перечислением проблем, разглядеть своеобразие прозы Т. Богданович, Э. Выгодской или А. Бармина почти невозможно... С. Шиллегодский, взявший на себя задачу характеризовать прозу Е. Чарушина, пишет о ней многодумно, многотрудно, словно не критическую статью о весёлых детских рассказах сочиняет, а ведёт протокол заседания: «...позиция автора в этом вопросе строго принципиальна и определена его стремлением каждым рассказом участвовать в решении вопроса об активном отношении человека к природе». «Позиция в вопросе... о решении вопроса!» Какого вопроса? Неужели это говорится о рассказе для малышей, а не о повестке дня?

В статье В. Макаровой и О. Хузе «В защиту характера» указывается — и тут я вполне согласна с авторами, — что «только через диалектику характера можно передать в художественном произведении процесс воспитания и перевоспитания». Декларация правильная, но от правильных деклараций до непосредственного понимания искусства — расстояние огромное. С большим совершенством владеет этой искомой «диалектикой характера», например, Л. Будогосская, и не только в своей книге о героической обороне Ленинграда, где трудный рост мужества героини представлен как результат жестокой ежедневной борьбы, но и в более ранних своих повестях — о гимназии, о пионерском лагере, о советской школе. Однако Л. Будогосской в сборнике не посвящено даже страницы... Критики не умеют к конкретному художественному произведению подойти с позиций собственных же теоретических положений. Такими инструментами, как «живо, образно и просто», тут, правда, было бы не обойтись, но тем для критика увлекательнее и оказалась бы работа. Однако немногих из участников сборника подобная работа увлекает в самом деле. В этой же статье В. Макаровой и О. Хузе справедливо указывается, что в повестях о школе «можно без труда установить круг воспитательных задач, намеченных автором, но в редкой из них найдём ярко индивидуализированный... образ ребёнка, школьника или взрослого человека». Схожий упрёк можно сделать и рецензируемому сборнику; авторы критических статей точно очерчива-

ют круг проблем, вопросов, тем, которые решает, ставит, над которыми работает тот или другой писатель, добросовестно излагают содержание повестей и рассказов, но чуть только дело доходит до характеристики индивидуального стиля, до попытки проникнуть — через анализ стиля — в основной смысл, в пафос работы писателя, начинается либо школьное, элементарное, само по себе ничего не дающее демонстрирование внешних приёмов, либо путаница; чаще же всего пускаются в ход неуклюжие трафареты. «Многостороннее отображение процесса формирования», «Расширен показ представителей эпохи первоначального накопления». Таким языком пора перестать писать не только статьи, но и протоколы!

4

Но и это ещё не всё. Язык критических статей заставляет задуматься и об иной опасности, гораздо более серьёзной.

Я имею в виду даже не его неряшливость, хотя и на ней стоит остановиться. Ну, не стыдно ли опытным литераторам писать: «Образ показан многообразно», «Отдельные авторские удачи не спасают положения недостаточного количества книг для дошкольного и младшего возраста». Что это за «положение количества». «Смена героического с (?) комическим». «В пьесе есть слабости, сказывающиеся на силе главного образа». Слабости сказываются на силе? «Популяризация геологических знаний школьникам». Популяризация кому? «Овладение человеком погоды...» Не следует ли, прежде чем «овладевать погоды», срочно овладеть падежами?.. Но не о неряшливости, как о главной опасности, речь... Меня смущает другое — ложное, наивно-рационалистическое, упрощённое представление о художественном творчестве.

Писатели М. Ильин и К. Паустовский, увлечённые размахом социалистической стройки, изображали, показывали эту стройку в своих книгах. Показывали строительство? Нет, по терминологии Гр. Гроденского (который, кстати сказать, полагает совершенно ошибочно, будто книга «Кара Бугаз» К. Паустовского вышла в Ленинграде), они не строительство показывали, а «решали проблему показа». «Весёлая пионерская песенка... удачно и пользуется шутку», — говорит Д. Левоневский

о песенке, написанной С. Погореловским «Шла колонна», не предполагая, повидимому, что поэту бывает весело и он, случается, поэтически шутит, а не «использует» свою собственную шутку. Если же поэты не создают весёлых и смешных произведений, то исследователю не приходит на ум такая естественная мысль: «Эти поэты лишены юмора»; нет, он полагает, что они «не могут понять значения юмора» в отличие от тех поэтов, которые хорошо понимают, что «было бы бесхозяйственностью... отказаться от такого сильного оружия, каким является смех». Понимают — пишут смешно; не понимают — не смешно. Если в книге А. Котовщиковой «В большой семье», по утверждению критиков В. Макаровой и О. Хузе, герои в последних главах теряют свою жизненность, то происходит это потому, что писательница «неверно поняла требования динамичности и сюжетности в детской литературе». Следовательно, поняла бы верно — и образы в её книгах сделались бы полнокровными, зримыми. «Отсутствие лиризма и ярко выраженной заинтересованности автора в изображаемых событиях, — пишут В. Макарова и О. Хузе о произведениях Н. Никитич, — является заблуждением писательницы...» Так и сказано: «отсутствие лиризма — заблуждение». Неужели Блок, или Маяковский, или Тютчев были великими лириками только потому, что не заблуждались относительно пользы лиризма, понимали, что с их стороны «было бы бесхозяйственностью» «отказаться от такого сильного оружия», как лирика, поняли эту истину и, поняв, стали писать лирически? Как было бы хорошо, если бы товарищи критики, разбирая произведения Чарушина, Бармина или Будогосской, поняли, что они говорят об искусстве; что труд художника — большого или малого — труд творческий; что художественное произведение — дитя ума и страсти, а не только «просчёта», «учёта», «хозяйственности» или «бесхозяйственности»; что не следует подменять такое высокое понятие, как идейная направленность, представлением о мелком утилитарном расчёте; что художник, отбирая и группируя факты, занят тем, чтобы заставить читателя пережить, перечувствовать, передумать пережитое и перечувствованное им самим, хочет показать жизнь и людей так, как сам видит их, а вовсе не ре-

шать какую-то «проблему показа»; что он радуется, негодует, торжествует, плачет, смеётся, и если близок народу, то выражает свои чувства и мысли естественно на языке, близком народу, а не «пользуется юмором языка», «применяет юмор положений», «умеет в детской прозе применить многие лучшие качества русской народной речи»; что рассказы Е. Чарушина, например, увлекательны прежде всего потому, что он сам увлечён своей темой, а вовсе не потому, как предполагает С. Шиллегодский, что «верным средством увлечь автор считает эмоциональность рассказа». Нет, эмоциональность, которая является средством, решительно никого не способна увлечь. Эмоциональность — одна из основ искусства, а не чехол, который по желанию можно натянуть на свою холодность. И «лиризм» и «юмор» — это свойства дарования, тот или иной склад ума и души, а не тот или иной приём, который писатель вынимает по мере надобности из ящика письменного стола, чтобы в нужный момент «применить» или «использовать». С. Шиллегодский утверждает, например, будто Е. Чарушин «ставит перед детьми вопрос о том, как важно по-хозяйски знать и любить природу своей Родины. С этой целью он с увлечением рассказывает о...» Неужели писатель и увлекается с целью? Грош цена тогда его увлечению! Нет, искусство Е. Чарушина потому и достигает цели всякого подлинного искусства — воспитания читателей, воздействия на их души, — что его увлечение родной природой безоглядно, горячо, искренне и лишено того холодного рационализма, того расчёта, какой, вольно или невольно, приписывает ему С. Шиллегодский.

«Переполненный до краёв наблюдениями детства и охотничьими впечатлениями, я стал, при горячем участии и помощи С. Я. Маршака, писать сам», — сообщает о себе Е. Чарушин. Таким образом, говоря об источниках своего творчества, он подчёркивает, что не что другое, а именно жизненные впечатления заставили его взяться за перо. Критик сам приводит эту цитату и сам, абзацем выше, в тех же выражениях говорит об источниках чарушинского творчества. Но вот в каких выраже-

ниях пишет он о творчестве Е. Чарушина в начале статьи: «...оно вызвано к жизни задачами пропаганды знаний родной природы, необходимых детям для формирования материалистических представлений и воспитания гордости богатством своей страны». Споря нет, писатель берётся за перо не без задачи, не без цели. У него есть сознательная цель. Своими произведениями Е. Чарушин действительно пропагандирует любовь к родной природе, любовь к Родине. Но ведь пропаганду он ведёт средствами искусства — зачем же критик разрешает себе говорить о произведениях искусства языком инструкции? Зачем пропагандистскую задачу художника он рассматривает отдельно, как будто она существует сама по себе, в отрыве от других художнических забот? Зачем даже образы людей в рассказах Е. Чарушина он именуется не людьми, не героями, а «позициями в вопросе»?

...С тех «позиций», с каких судит о детских книжках большинство участников сборника, судить о произведениях искусства нельзя. От них веет формализмом, да притом не литературным, а каким-то иным — канцелярским. Повидимому, сухая рационалистичность мышления неизбежно порождает канцелярские формы речи. Вместо портрета в руках у читателя оказывается справка, а справка и критическая статья — это не одно и то же...

...Что же сказать о сборнике в целом? Повторяю: в нём помещены статьи, имеющие безусловную ценность: С. Цимбала, Т. Хмельницкой, Е. Приваловой, И. Груздева. В других статьях — Л. Успенского, Д. Левоневского, В. Макаровой и О. Хузе, К. Меркульевой — тоже встречаются интересные наблюдения. Но живой огонь критической мысли так густо присыпан пеплом холодного рационализма, канцелярщины, мёртвых шаблонов; в критическом зеркале так бледно, так неопределённо отражены прекрасные черты искусства ленинградских писателей, что сборник вызывает недоумение, вызывает грусть. Нет, не на канцелярском жаргоне, не мёртвыми словами надо говорить об искусстве: ведь оно сродни самой жизни. А есть ли что-нибудь более противоположное им обоим — искусству и жизни, — чем канцелярщина и трафарет?



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

Ст. Переделкино Киевской ж. д.,
посёлок М.С.О., дом 37
Черкасову Владимиру

ПО ПОВОДУ ОДНОГО РАССКАЗА

Дорогой товарищ Черкасов!

Я прочитал в альманахе «Молодая гвардия» Ваш рассказ «Мачеха», и мне захотелось побеседовать с Вами о нём. Побеседовать откровенно, начистоту.

Я не сомневаюсь, что тема «неродной матери» и «сиротства» душевно знакома Вам, что Вы пережили, перечувствовали эту тему, если не на личном опыте, то как человек, которому близки людские горести и радости. Да иначе не следовало и браться за неё. Нельзя же рассчитывать, что читатель найдёт в рассказе то, чего автор не вложил в него; нельзя же тронуть сердце читателя, если твоё собственное сердце остаётся холодным.

Ваш рассказ даёт читателю представление о том, как трудно мачехе — молодой, доброй женщине — заслужить, завоевать доверие и любовь шестилетнего пасынка, заменить ему недавно умершую мать. И всё же, мне кажется, в своём «единоборстве со словом», которое составляет самую суть писательского труда, Вы потерпели поражение.

Ведь художественная убедительность рассказа и сила его воздействия на читателя зависят не только от глубины и полноты вживания автора в душевный мир его героев. Такова лишь предпосылка, без которой невозможно написать хороший рассказ. Эта предпосылка необходима, но недостаточна. И читатель мало что узнает о внутренней работе, проделанной автором, если автор не сумеет донести до него при помощи точного слова свои мысли и чувства, не расплескав их во всей их свежести и силе.

Да в распоряжении писателя-художника и нет иного способа общения с читателем...

Рассказ — строгая, литературная форма. В рассказе, как в технической конструкции или в живом организме, должно быть всё необходимое и ничего лишнего. Только тогда будет достигнуто единство формы и содержания, средства и цели. Только тогда мысль, идея рассказа получают наиболее чёткое, законченное выражение.

Так написаны рассказы Чехова, Горького, Бунина, Мопассана.

Вы скажете: то классики рассказа, куда мне до них!

Что же, подражать классикам, конечно, не следует, но учиться у них надо.

Рассказ обладает очень большой внутренней ёмкостью, но секрет этой ёмкости — в строжайшем отборе слов, персонажей, мотивировок, положений, пейзажей.

Между тем многие авторы полагают, что рассказ — нечто вроде большого мешка, в который можно совать всё, что придёт в голову, лишь бы это имело отношение к теме. Но, вопреки их намерению, рассказ от такой перегрузки не выигрывает в содержательности, а теряет, порой до полной утраты формы и живого смысла.

Должен сказать, что и Вы, товарищ Черкасов, сильно погрешили против этой важнейшей заповеди искусства рассказа.

Перехожу к Вашему тексту.

В душе ребёнка добро и зло лежат рядом, и нет ничего странного в том, что шестилетний Толик, поначалу враждебно относившийся к мачехе, как бы вдруг дарит её доверием и любовью.

Однако при всём том в поведении Толика должна быть внутренняя логика, пусть сложная и всеобъемлющая, но для писателя — а значит, и для читателя — вытаянная и вра-

зумительная. Ведь в данном случае дело идёт не о капризе — о капризе не стоило и писать, — а о серьёзнейшем событии в душевной жизни ребёнка...

Что же побудило Толика так резко изменить своё отношение к мачехе? Признаться, я не могу ответить на этот вопрос по той причине, что Вы, автор рассказа, не смогли ответить на него мне, читателю.

Во всяком случае мотивировки, данные в Вашем рассказе, при всём их обилии не позволяют заглянуть во внутренний мир мальчика, переживающего трагическую ломку.

Соседка-спекулянтка, которая сама хотела выйти замуж за толиного отца, наговаривает мальчику на его мачеху, задаривает его семечками. И вот отец — почему-то с nepозволительным опозданием — открывает сыну глаза на козни злой соседки. Начинается перерождение мальчика...

Как ни странно, в Вашем рассказе именно эта мотивировка получает решающее значение: освободившись от наговора соседки, Толя уже готов полюбить свою добрую, заботливую мачеху, которую до того ненавидел.

Но ведь рассказ, как и всякое художественное произведение, должен обобщать, типизировать явления действительности. А что если бы у толиной семьи не было злой соседки? Очевидно, не было бы и рассказа...

Конечно, в живой жизни ни одно явление не предстаёт в «химически чистом» виде, но проблема «мачехи» для художника сводится всё же в основном к взаимоотношениям внутри семьи. Это целый мир, сложный, глубокий, порой трагический, и литература уже тысячелетия черпает из этого неиссякаемого источника.

В Вашем рассказе имеются и другие мотивировки поведения Толи, куда более точные и существенные: например, мальчика трогает любовно-бережное отношение мачехи к памяти его родной матери.

Но согласитесь, что это лишь привесок к Вашей главной мотивировке: изоляции мальчика от злой соседки. Ведь такое же доброе, тонкое отношение к пасынку проявляла мачеха и ранее, но пасынок не делал ей навстречу ни полшага. На каждую её попытку к сближению он отвечал лишь злобой и непослушанием...

Не поймите меня ложно, товарищ Черкасов. Я вовсе не думаю, что Вам неведомы истинные причины поведения Толи; что Вы не способны проследить во всём их сложном плетении пути его сближения с мачехой; что душа ребёнка для Вас — книга за семью печатями.

Нет, товарищ Черкасов, я убеждён в противном, и убеждает меня в том Ваш рассказ, точнее, отдельные эпизоды и детали, которые имеются в нём. К сожалению, эти эпизоды и детали как бы теряются среди множества других, более грубых, громогласных, даже пазойливых. Рассказ так загромождён ненужными подробностями, ложной, бесцельной наблюдательностью, лишними персонажами, встречами, разговорами, что выудить из него истинно-поэтические, верные жизни подробности совсем не легко. Да это и не дело читателя.

«Добывайте золото просеиванием», — советовал писателям Лев Толстой.

Писателям, а не читателям, товарищ Черкасов.

Зачем, к примеру, уделили Вы так много внимания «соседке», Лизе Тимофеевой, и её матери, старой Куркулихе? К этому не обязывала Вас даже та роль, какую Вы отвели им в рассказе: «Куркулиха, сутулая, с сухим сморщенным лицом, бодро ступала по мягкой дсрожной пыли босыми нсгами, покрытыми узловатыми желваками синих и чёрных вен».

К чему понадобились Вам эти «желваки», не имеющие никакого отношения ни к характеристике Куркулихи, ни — тем менее — к решению темы рассказа? Видимо, Вам казалось, что такая деталь украсит рассказ, даст читателю представление о наблюдательности автора. Если бы Вы действительно добывали словесное золото просеиванием, эта неработающая деталь осталась бы в Вашей записной книжке...

Примеры такой ложной, бесцельной наблюдательности, случайные, не идущие к делу подробности можно черпать из Вашего рассказа пригоршней: «У Лиды (мачехи) был плохой аппетит, и она всегда старалась обедать вместе с мужем».

Для чего снабдили Вы мачеху плохим аппетитом? Неужто нельзя было найти другую, х а р а к т е р н у ю причину, по которой Лида «старалась обедать вместе с мужем»?

Не подумайте, товарищ Черкасов, что я придираюсь к «мелочам». Речь у нас с Вами идёт о способах писания рассказа — ни о чём другом.

Маленькое поле рассказа — поле высокого напряжения, тут надо строго контролировать каждый свой жест, а Вы мечетесь по этому полю с печальной смелостью неведения...

Почти три страницы ушли у Вас на скучнейшее собеседование Толи и его маленьких друзей, которые они ведут на условном «детском» языке, о вещах, вовсе не интересных читателю.

Те же косноязычные детские уста («Только, мы твою мать видели на фотографии!») неожиданно сообщают читателю, что портрет мачехи, Лидии Колосовой, как лучшей учётчицы шахт вывешен в городе на доске почёта.

Уже забыта, загнана главная тема рассказа, уже утрачено чувство остроты конфликта, а рассказ обрастает всё новыми, ненужными, неработающими подробностями, форма изгибается, изламывается, образы двоятся, троятся, расплываются.

И когда наконец дочитываешь последнюю фразу то испытываешь чувство облегчения. Ведь рассказ построен без всякого соблюдения меры и пропорции — что же мешало автору ввести ещё и ещё эпизоды!

Написать плохой рассказ может почти всякий хорошо грамотный, культурный человек. Для этого не требуется особого дара. Но чтобы написать хороший рассказ, нужно обладать художественным даром. Мне кажется — в этом, повторяю, меня убеждают отдельные детали в Вашем рассказе, — вы таким даром обладаете. Однако этого мало.

«С литературой то же, что и с другими искусствами, — писал великий немецкий поэт Гёте, — нам даётся только прирождённая способность к ней, а уж мы сами должны изучать её, упражняться в ней и развивать свой вкус».

Желаю Вам одного, товарищ Черкасов, — учиться и учиться писать.

Юрий НАГИБИН.



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Волошин. Доброе слово.— **М. Щеглов.** Приговор народа.— **Г. Койранская.** Человек при деле.— **В. Тельпугов.** Жизненное и надуманное.— **В. Сквозников.** Поэма о доверии.— **Ю. Капусто.** Органичность героя.— **Л. Михайлова.** Жанр обязывает.— **В. Афанасьев.** «...Не лишена недостатков».— **Г. Фридендер.** Книга о Чернышевском-писателе.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Батурин. Богатый богатеет, бедный беднеет...— **М. Стура.** Поучительная история.— Кандидат исторических наук **Ю. Шарапов.** История жизни замечательного революционера.— Подполковник **П. Корзинкин.** Родина воздухоплавания.— Кандидат технических наук **А. Кондратченко.** Проектировщики стальных магистралей.— **Е. Немировский.** Новые книги об изобретателе самолёта.

Литература и искусство

Доброе слово

Когда с крыш со звоном упали первые, светлые капельки снеговой воды, маленькая желтогрудая синичка запела свою бодрую, весеннюю песню. Она перепархивала с ветки на ветку, осыпала нежные пушинки утреннего инея, пока не поднялась на самую вершину высокого тополя. Она вся трепетала от переполнившей её радости и посыпала во все стороны свою песенку-призыв, потом снялась и потонула в синеве весеннего утра...

Как могучая река, разлилась весенняя песня по просторам моей родины...»

И вот уже:

«...Величественные, гордые лебеди понесли её на север на своих белоснежных крыльях».

Так начинается один из многих коротких рассказов Кондратия Урманова о весне, о радости пробуждения, о первых живых токах, разбуженных горячими лучами солнца, о шумном птичьим переключке на привольных речных плёсах, займищах, озёрах. Это Сибирь, точнее — средняя полоса Западной Сибири, неоглядная Кулундинская степь, Бараба, таёжные заросли и снежные вершины Кузнецкого Ала-Тау.

В рассказе «На родину», посвящённом всё той же весенней, песенной поре, Кондратий

Урманов так вводит читателя в область изображаемого:

«Перед вскрытием реки ночи бывают тёплые, тёмные и тихие. Если выйти в такую ночь на берег реки да постоять немного, можно услышать какие-то неясные, волнуемые шумы...

Вот из хаоса этих неясных шумов до вас доносится тонкий, мелодичный свист:

— Тю-иты!..

И в другой стороне:

— Тю-иты!.. Тю-иты!..

Вот прозвенели где-то в вышине мягким звоном серебряные колокольцы, и вы по этому, ни с чем несравнимому перезвону вспоминаете белогрудых, с янтарными глазами красавцев гоголей, — они первыми летят на север, к местам своих гнездований».

Но выдержки, даже самые пространные, не могут передать всей прелести письма К. Урманова. Для того, чтобы услышать разноголосый, призывный гомон птичьих станиц, летящих с юга на север, увидеть, словно бы воочию, разнообразие нежных тонких красок раннего утра, поднимающегося над степными просторами, — нужно прочитать его рассказы. Думается, что ни один из них не оставит читателя равно-

душным. В них присутствует мудрая в своей прозорливости, чистая любовь к родной земле, к её краскам, голосам, к её просторному небу, любовь ко всему, что творят на этой земле умелые, заботливые советские люди.

Пейзажи К. Урманова — не просто зарисовки с натуры, не беллетристические натюрморты, не «красота сама в себе», а место действия человека, безграничное, всегда новое поле для приложения творящей человеческой мечты. Не случайно рассказы Урманова одинаково успешно, без всяких усилий находят путь к сердцу и взрослого и юного читателя.

Вот маленькая, буквально с ладошку, новелла «Жизнь». Рассказ ведётся от первого лица. Охотник в поле что-то занемог. Рано утром товарищи его ушли каждый по своим делам, а он поднялся уже через много времени после солнцевосхода. Всё ещё недужилось. «Товарищи мои ещё не вернулись с зари, нет и рыбаков, живущих с нами на острове, но я не одинок, вокруг меня шумит жизнь, идёт большая, сложная работа. Вот на рыбачьей избушке собирается стайка щеглов — все самцы; они, как ворышки, подлегают тихо, незаметно и, опустившись на крышу, начинают торопливо и усердно тереть нитки старых, заброшенных вентерей — строительный материал для своих гнёзд. Вентери уже отслужили человеку и больше не нужны, но всё-таки, для порядка, я говорю щеглам:

— Вы что это делаете, охотники?

Они недоуменно поднимают свои розовые головки с полными носами натереблённого волокна и невинно так:

— Пить-пить!

Будто спрашивают:

— А что, разве нельзя?»

Потом охотник, уже усмехаясь, помог защитить маленькой трясогузке её гнездо от разбойников — поползней. И всё, как будто ничего больше не произошло. Герой отходит к избушке и видит: по широкому, спокойному плёсу озера медленно плывут две лодки. Это возвращаются с зари товарищи. Человек рад возвращению друзей, «но,—говорит он,— мне кажется, что и маленькая трясогузка была виновата в моём хорошем настроении».

Мальчик Тимка, приручивший птенца кобчика и в трогательных заботах вырастивший, вскормивший его; старый сибирский охотник Филофей, безошибочно читающий на снежном насте следы — «писанцы» лес-

ных и полевых обитателей; рыбак Степан Кириллович, всю жизнь свою проживший на берегу озера Иткуль и ни разу, ни одного часа не чувствовавший себя одиноким, — от этих и многих, многих других маленьких, незаметных героев веет такой доброй, человеческой улыбкой, так хорошо они умеют радоваться своим маленьким радостям и так искренне горюют, что не верить в них, не верить в то, что вот именно такие люди живут где-то в поймах Оби, в Барабинских займищах, в городах и сёлах, — невозможно.

Правда, нельзя не упрекнуть автора в злоупотреблении местным речевым колоритом, а в очерках о гражданской войне в Сибири — местами в сухости, информативности. Едва ли, например, до читателя сразу дойдёт смысл такого выражения: «пошугать на лывах нарядных крякшей», — а дело-то всего заключается в том, что охотник решил поугасть уток в мелких весенних озёрах. «Шабурешко», «лопоты», «шебаршит» и некоторые другие местные речения едва ли украшают язык не только автора, но и его героев.

Кондратий Никифорович Урманов не новичок в литературе. Первый его рассказ «Кто виноват?» был опубликован в якутском журнале «Ленские волны» ещё в 1914 году. Правда, рассказ этот дошёл до читателя в искажённом виде, так как царская цензура поработала над ним. С момента основания журнала «Сибирские огни» К. Урманов становится его постоянным сотрудником. Повести о гражданской войне, о героических походах сибирских партизан, документальные очерки о большевиках-подпольщиках Франце Суховерхове¹, Петре Сухокове, о партизанском вожаке Ефиме Мамонтове, потом рассказы о Великой Отечественной войне и, наконец, любовно выписанные новеллы о природе² — вот далеко не полный перечень тем, которые интересовали, больше того, захватили на всю жизнь писателя. В Сибири вышло семнадцать книг Урманова, за плечами у него почти сорок лет творческой жизни, и, но, как это ни удивительно, ни одна из его книг до сих пор не попала всесоюзному читателю. Что это — чрезмерная скромность писателя, много по-

¹ «Путь славных», Новосибирское государственное издательство, 1954.

² «Времена года», Новосибирское государственное издательство, 1951.

«Киликушка», Иркутск, 1952.

«В тайге», Алтайское книжное издательство, 1953.

работавшего в литературе, или невнимание центральных издательств к «периферийному» автору? Такой «недогляд» следует отнести и за счёт центральных издательств и за счёт Союза писателей.

Искренне хотелось бы пожелать товарищу Урманову, чтобы его доброе слово нашло благодарную аудиторию и за пределами Сибири.

А. ВОЛОШИН.

★

Приговор народа

В романе Александра Письменного «Приговор» нет развёрнутых картин исторических событий или подлинных исторических персонажей. И тем не менее этот роман может быть назван историческим: лучшие его страницы правдоподобно передают горячую атмосферу первых пятилеток, писатель знает главного «исторического деятеля» — простого человека-труженика, сильно «той единственной правдой... которую посеяла и взрастила партия большевиков».

События, развёртывающиеся в романе на Ильичёвском медном руднике, биографии, портреты людей, столкнувшихся в этих событиях, своеобразный мир уральской «глухомани» — всё это содержание романа А. Письменного раскрывает перед нами сложное и героическое время, когда усилиями народа возводилась самая основа будущего могущества нашей страны.

Главная удача А. Письменного в том, что его книга верно передаёт всё ожесточение борьбы тех лет: обречённость классового врага и растущую веру в себя, социалистический порыв трудящихся.

С первых страниц книги, описывающих прибытие на Ильичёвский рудник ещё не разоблачённого врага народа Мытникова, читателя захватывает вся эта обстановка кануна драматических событий.. И уже здесь, в первой сцене, есть яркий, образный контраст, который пройдёт через всю книгу. Молодые рабочие, усталые, громкоголосые, радостные от сознания одержанной трудовой победы, идут из шахты.. А в это время на дальних путях станции среди снежной пустоты, отцеплённый от проходившего поезда, стоит тяжёлый, немой, почти мрачный, «с двойными рядами заклёпок» темнотелённый салон-вагон Мытникова.

И затем этот контраст, вначале целиком образный, «интригующий», становится всё более осознанным, содержательным, идей-

ным (он выступает и в самом чередовании глав и эпизодов).

Среди персонажей книги есть люди, при соприкосновении с которыми особенно открывается (может быть, немного преждевременно) враждебная всему советскому, двуличная природа Мытникова. Это коммунисты «ленинской выучки»; красноармеец Пётр Шувалов, ставший партгором рудника, или секретарь горкома Мотовилин — рабочий-дружинник «пятого года». Именно в этих образах в книге видно подлинное лицо нашей партии: это её герои, которым верит народ. И потому-то с самого начала романа во время разговора с Шуваловым в душе обладающего немалой властью Мытникова шевелится жуткая растерянность. Враг чувствует, что он фатально проигрывает, что с такими людьми он ничего не может поделать; при всём его лакействе, при всей демагогии, не ему, а им — подлинным вожакам масс — отдано доверие и народа и руководства. В атмосфере особой прямоты, энтузиазма и строгой честности, окружающей Шувалова или Мотовилина, становится нелепой, «выдыхается» вся ложнопатетическая, самодовольная и низкая игра Мытникова. Всё более отталкивающим и обречённым становится облик Мытникова и его присных — Нижегородцева, кулака Лбова, бывшего владельца рудника купца Треухова.

И вот, наконец, одна из последних картин романа: панически уходящий с рудника, наглухо закрытый от мира салон-вагон, увозящий обречённых, ненавидящих весь мир и друг друга убийц и вредителей. «Вскоре снегом занесло рельсы, по которым подавали салон-вагон к составу скорого поезда, кучу мусора и кухонных отбросов замело ещё днём, и ничто больше не указывало на то, что здесь, в дальнем тупике, жили люди».

Роман А. Письменного рассказывает о том, как усилия вредительской шайки, руководимой Мытниковым (а от него нити тянутся далеко, в буржуазные столицы), — разрушить, свести на нет важнейший обо-

Александр Письменный. «Приговор». Роман. «Советский писатель», М. 1955.

ронный участок промышленности — добычу медной руды на Ильичёвском руднике — нагалькиваются на сопротивление, бдительность, социалистический энтузиазм рабочих, таких, как Иван Чеботарёв и его товарищи, коммунистов-ленинцев, таких, как секретарь горкома Мотовилин, парторг Шувалов, объединённых единой волей с такими руководителями государства и партии, как нарком Орджоникидзе, эпизодически появляющийся в романе.

Так художественно проходит в романе тема обречённости зла в нашей стране, в нашей социалистической среде, так полно звучит в книге «приговор» над врагами народа. И совсем лишними кажутся поэтому портящие впечатление от книги «объясняющие», почти газетные эбзацы, вложенные в уста персонажей, вроде: «Вся антисоветская сволота допускает грубейший политический просчёт. Неспособны они понять, как велика созидательная сила наших людей, их самоотверженность, их воля...» и т. д. Писатель недостаточно вверился самой выразительности созданных им образов, гораздо более действенных, чем нарочитая публицистика.

Художественным достижением автора нужно считать выведенную в романе фигуру Мытникова, занимающего большой пост в промышленности, но на деле являющегося врагом советского народа. Повидимому, в облике таких людей есть что-то общее; поэтому мы не удивляемся, встречая в манере Мытникова, в объяснении его развращённой психологии черты, как будто знакомые нам из других книг. Это и явная буржуазность всего уклада и облика в соединении с пышным «марксистским» суесловием и фальшивой «простецкостью» в обращении. Это и склонность к декадентшине, пошлость телесных «радостей» и глубочайшая безидейность, вырастающая в прямую продажность. У А. Письменного есть умение найти такой внешний или психологический, скрытый штрих, который придаёт его персонажу особенно непосредственно ощущаемую антипатичность, гадкость. Вот первое знакомство читателя с Мытниковым: «Мытников выходил из уборной после утреннего туалета, порозовевший от холодной воды, с блестящими, как шарики из мелкого шарикоподшипника, капельками в чёрных усах и бороде, — ходили слухи, что он их подкрашивает. Левая лямка подтяжек болталась у его бедра. Круглый и упругий

живот вздрагивал под тонкой тканью рубашки». И как бы для того, чтобы ещё более подчеркнуть, как неприятен он какой-то своей барской «простотой», даже своим особенным «здоровьем», автор замечает, что Мытников, проходя в салон мимо посетителей, «задел животом всех трёх по очереди». Сильный разоблачающий эпизод книги — это воспоминание Мытникова о встрече с Серго Орджоникидзе. После вклада Мытников «кинулся» поздравлять наркома... «Перестаньте», — недовольно сказал Серго и слегка оттолкнул его ладонью; с юности не испытывавший чувства стыда, Мытников вдруг покраснел тогда, как мальчишка.

Но если психология предательского двуличия, изобразённая автором очень убедительно в образе Мытникова, показана в романе полностью сложившейся, то, наоборот, многие образы простых людей, рабочих, коммунистов, противостоящих мытниковым, даны в большом движении и росте... Они как бы и составляют в романе движущуюся вперёд жизнь, меняющуюся историческую среду...

Главное место в романе занимает история рабочей семьи Чеботарёвых. Здесь прослежена целая жизнь человека.

Очень интересен колоритный образ старика Чеботарёва. Это человек, как бы в собственной душе переживающий ту революцию, которая в нашей стране отменила частнособственнический уклад жизни. Уральский сталевар, пролетарий, старик Чеботарёв, как человек труда, способен на настоящее благородство перед лицом правды — в 1905 году он спасает от расправы большевика Мотовилина. Но воспитанная дореволюционной действительностью тоска о «собственности», о богатстве слишком снесает его, и поэтому так легко он попадает в сети, корыстно расставленные врагами, мечтающими о возвращении времён, когда они вновь могли бы сесть на шею таким вот Чеботарёвым. Писатель правдиво изображает, как «ломается» психология этого человека под влиянием всего нового, социалистического уклада жизни.

Увлечательна судьба младшего Чеботарёва — Ивана. Писатель нарисовал очень своеобразного человека с типичной, но индивидуально-неповторимой жизненной судьбой. Его герой, воспитанный в доме отца, как при домострое, не знавший грамоты, не думавший о жизни, не ведавший иных пово-

дов для труда, кроме личного обеспечения — как будто бы навсегда тёмный, задушенный «кержак» подымается в романе вместе со своим поколением, растёт, образовывается, становится членом рабочего коллектива, энтузиастом-новатором, социалистическим рабочим...

Что спасает Ивана? Прежде всего новое, высокое наполнение жизни после революции, заставляющее его резко порвать с прошлым, заново оценить себя, свой труд... И, конечно, заложенная в нём, в потомственном рабочем, «бажовская» радость умения, полезной людям работы, простор для которой открылся после бегства Ивана из дома на социалистический рудник. И как-то естественно, порой незаметно для себя Иван вырос в нового человека. Автор очень органично подводит своего героя к тому, что тот в конце романа становится вполне сознательным, идейным антагонистом Мытникова. Именно его слова по адресу врагов в финале книги звучат как «суровый и беспощадный приговор».

Писателю на многих страницах удалось живо изобразить душевное своеобразие героя, осторожный и отважный нрав Ивана, рост его сознания под влиянием впечатлений жизни и дружбы с коммунистом Шуваловым... И всё же в ряде мест образу не хватает глубины, психологии. Главным образом это относится ко второй половине, к концу романа. Здесь, в описании счастливой любви Ивана к учительнице Машеньке, в его думах просто много выпренности и шаблона. Образ теряет свою оригинальность и определённую, становясь привычным книжным «амплуа» — «передовым рабочим». С психологической стороны тут есть и совсем «пустые» места. Иван по недоказанному обвинению во вредительстве попадает в тюрьму (а на самом деле он хотел ввести новый прогрессивный механизм для добычи руды). Это должно быть для него драмой, по-человечески понятной. Но читатель так и не узнаёт: чем жил, что передумал за это время Иван, как он теперь понимает жизнь...

В первой половине книги, там, где описывается дореволюционный заводской город, его быт, строительство рудника в первые годы индустриализации — кулацкая агитация, вредительство, жизнь рабочих на руднике, сцена в Берлине — парад штур-

мовиков во главе с Герингом — всё это разнообразные, хорошо написанные картины жизни. Здесь много очень привлекательных художественных зарисовок, деталей, помогающих как бы «увидеть» описываемое, «поймать» его на глаз. Описывая тяжкую полуденную жару, А. Письменный может чудесно, смешно заметить, например: «Поблѣкший петух топтался возле кур, едва перебирая ногами; клюв его был раскрыт, он тихо клокотал, точно закипавший чайник». А вот картина воскресного гулянья в рабочем городке: «Вокруг гуляющих... стояли велосипеды в суконных пиджаках. Небрежно облокотившись на свои машины, они грызли подсолнухи и похлёстывали девушек белыми астрами, вынимая цветы из пиджачных петлиц».

А. Письменный хорошо владеет художественным письмом. Это прежде всего придаёт убедительность гражданской теме его романа. Там же, где верх берёт «рассуждение», дидактизм, там, конечно, начинает проигрывать и содержание.

Мы охарактеризовали как определённую художественную удачу образ Мытникова в романе А. Письменного. Но есть одна важная деталь, сильно подрывающая психологическую убедительность образа. Разоблачение Мытникова идёт в романе подчас слишком навязчиво и ненатурально. Бывает, что автор, освещая преступные мысли Мытникова и его сподручных, их органическую враждебность народу, советскому строю, говорит языком, в котором выражено наше, советское отношение к предательству, к реакции. И тогда вдруг Мытников называет своего заграничного патрона, меньшевистского лидера, «социал-предателем», Нижегородцев даёт вполне марксистский анализ целей антипартийного блока, и всё время эти люди упорно разоблачают свои зарубежные связи и пользуются иностранными в их устах, при разговоре с глазу на глаз, определениями: «колонизаторы», «империалисты», «реакционеры».

Но это, хотя и досадные, но частные несообразности.

Роман А. Письменного «Приговор» несомненно заинтересует читателя и своей острой темой, и правдивостью многих сцен и человеческих характеров, и тем художественным умением, с которым он написан.

М. ЩЕГЛОВ.



Человек при деле

Один из героев книги Г. Калиновского — шофёр Егор Макарыч, любящий пофилософствовать, а иногда и поучить молодёжь уму-разуму, — как-то сказал: «Человек для труда рождён! Понимать надо!» Атмосфера творческой приподнятости ощущается с первых и до последних страниц сборника и как будто без всяких усилий со стороны автора. Думается, что секрет этого кроется в том, что писатель, изображая трудовые будни людей, осваивающих пустыню, — геологов, топографов, рабочих — сумел без излишних деклараций и рассуждений показать труд как органическую потребность человеческой природы: через труд мы познаём людей, знакомимся с чертами их характера.

Счастлив был Халлар Кумбаев (рассказ «Конец караванной тропы»), когда его умение ориентироваться в пустыне пригодилось людям, пришедшим сюда издалека. Он воскресил профессию своих предков, стал проводником. «Поразительное у него чутьё на дорогу! Совершенно непонятно, по каким приметам он указывал Егору Макарычу: «Здесь езжай». Однако скоро выяснилось, что шофёры так изучили пустыню, что могли обходиться без Халлара. Для Халлара это было страшной катастрофой. Он не мог представить себя не нужным коллективу геологов, с которыми сроднился, дела которых стали ему близки и дороги. Это хорошо понял шофёр Егор Макарыч и решил обучить Халлара управлять машиной. Во время рейса в пустыню Егор Макарыч передаёт руль Халлару; люди, сидящие в кузове, не знают этого. И вдруг: «Делая невероятные, не учтённые никакими шофёрскими учебниками прыжки, грузовик словно сошёл с ума и бешено закрутился по такыру.

Увидев за рулём Халлара, Коля Черёмушкин издал дикий вопль и, рискуя разбиться, выбросился из кузова...

— Объясните, чёрт возьми! Что это такое?

— Это? — Катя подумала и, подражая Егору Макарычу, неопределённо провела рукой по воздуху. — Жизнь...»

Да, жизнь в труде, трудиться так, чтобы приносить пользу людям, — этим живут герои книги.

Г. Калиновский. «Конец караванной тропы». Рассказы. «Советский писатель», М. 1955.

Во многих рассказах сборника автор говорит о чувстве товарищеского долга; о том, как в трудные минуты познаётся человек, проявляется его подлинная натура. Особенно полно эта мысль выражена в рассказе «Квадрат А-6». Мало кто был знаком с топографом Рубцовым, когда он появился в геологической партии. Правда, открытое, живое лицо и весёлый нрав Рубцова многим пришлись по душе, но для того, чтобы узнать человека по-настоящему, этого ещё было мало. Здесь требовалась проверка особая: как он проявит себя в деле, во взаимоотношениях с товарищами. «А можно ли с ним оказаться вдвоём в пустыне? Как поведёт себя он, если вода будет на исходе, машина испорчена, а впереди добрая сотня километров?»

Оказалось, когда пришлось Рубцову туго, он не думал о себе, а ради спасения товарищей рисковал собственной жизнью.

Характерной чертой рассказов Г. Калиновского является сдержанная манера письма. Автор лаконичен в описаниях, да и герои его немногословны. Однако читателю они успевают хорошо запомниться именно потому, что мы познаём их не столько по характеристикам автора, сколько через их дела. Тактично, ничего не навязывая читателю, писатель показывает индивидуальные особенности каждого из своих персонажей. Всего несколько штрихов даны для внешней характеристики геолога Кати Лавровой (рассказ «Конец караванной тропы»). Однако облик её отчётливо вырисовывается со страниц сборника. Смелость, напористость, даже какая-то мужская хватка проглядывают в её характере. Про таких говорят: отчаянная! Автор знакомит нас с ней во время поездки вглубь пустыни. Это своё первое, крупное и ответственное в жизни дело Катя хочет выполнить как можно лучше. Но шофёр машины, на которой едет молодой геолог, заблудился. Катя бессильна что-нибудь сделать, и это мучит её. Срысывается выполнение задания, рушатся мечты о самостоятельной работе.

В ответ на вопрос спутников: что же делать дальше, Катя произносит:

«— Так... — Катя поправила выскочившие из-под соломенной шляпы косы, — поворачиваем обратно, Макарыч. Первый блин комом...»

Катя запнулась и вдруг почувствовала, что если сейчас умолкнет, то немедленно выбросит папиросу и заревёт, зальётся обыкновенными бабьими слезами...

В этой короткой реплике сказалось и умение героини смотреть в глаза трудностям, реально оценивать события и, вместе с тем, проявилось что-то женское, слабое, такое, что нуждается в утешении. Г. Калиновский умеет подмечать психологически-тонкие движения человеческой души. Есть в сборнике и рассказы, написанные как бы в лёгком, шутивном тоне («Текущий счёт», «Неблагодарный пациент»).

Мягким юмором окрашен драматичный в своей основе рассказ «Курьер Тянучей тропы», в котором говорится о любви одинокого, потерявшего во время войны всех своих близких, замкнутого и нелюдимого шофёра Фёдора к молодой девушке Саодат. Ответная любовь Саодат как бы вернула Фёдора к жизни.

В этом рассказе, так же как и в других, видна большая душа и моральная чистота героев.

В реальное существование этих героев верить. Создаётся впечатление, что писатель рассказывает нам словно бы о своих друзьях и знакомых. Лишь иногда это чувство исчезает. А бывает это в тех случаях, когда автор ради занимательности нарочито усложняет сюжеты рассказов. Сама по себе занимательность — качество для любого произведения хорошее, но, разумеется, она не должна существовать за счёт правдивости изображения явлений жизни. К сожалению, это не всегда соблюдает Г. Калиновский. Возьмём, например, рассказ «Оранжевые холмы». Автор, от лица которого ведётся повествование, приезжает на квартиру к знаменитому геологу, профессору Бармину, чтобы поговорить с ним о делах экспедиции. Рассматривая снимки экспедиции, Бармин вспоминает свою молодость. Сейчас у него большое сердце, и это не позволяет ему осуществить своё страстное желание вновь поехать в пустыню. В конце концов Бармин, несмотря на запреты врачей, едет туда и, как мальчишка, лазает по барханам, с упоением рассматривает шурфы, делает геологам замечания и т. д. Сердечный приступ прерывает кипучую деятельность вспомнившего молодость старика.

Естественно развивается сюжет, и вдруг появляется выдумка; ситуации становятся

искусственными и натянутыми. Оказывается, поездкой в пустыню руководило в первую очередь желание Бармина разыскать человека, чей портрет он увидел на снимках геологической экспедиции и чьё сходство с близким другом детства поразило его. После сердечного приступа он попадает в дом, где встречается с Меретом — сыном своего друга. И здесь начинается разговор, окрашенный в сладкие, сентиментальные тона, не вяжущиеся ни с тоном рассказа, ни с вообще простой и бесхитростной манерой письма автора. «Продолжая грустно улыбаться, Бармин открыл свою полевую сумку и протянул Мерету квадратный кусок плотного картона...

— Мой отец! — воскликнул Мерет. — Он погиб в двадцать втором году. Мне было три месяца...

— А я с вашим отцом познакомился в тысяча девятьсот двенадцатом!

Что-то мучительно вспоминая, Мерет потёр ладонью лоб и с трудом выговорил:

— Белоголовый мальчик!..»

И далее Мерет говорит:

«— Так, значит, это вы дали моему отцу деньги, чтобы он смог уплатить хану подати? Ведь ему грозило в то время рабство!

— Нечто похожее было... — смущённо пробормотал Бармин».

«...— Считайте меня вашим сыном, — просил Мерет. — Я буду самый послушный сын!

— Тогда садитесь и слушайте о вашем сбросе».

После умильных восклицаний странно выглядит последняя фраза, в которой автор как бы возвращается к своему обычному и, надо сказать, вполне оправдавшему себя деловому тону.

Придуманной кажется и вся история с пустынником, сорок лет ждущим своей смерти в мёртвом, засыпанном песком городе, у могилы племянника Магомета («Человек при деле»), хотя рассказ в целом пронизан всё той же мыслью о всё побеждающей силе труда, что и другие произведения сборника.

Г. Калиновский — писатель молодой. Рассказы, собранные в этом сборнике, — его первый серьёзный труд. Думается, читатели от души порадуются успеху молодого автора.

Г. КОИРАНСКАЯ.

★

Жизненное и надуманное

Сборник стихов Василия Фёдорова называется «Лесные родники». По мысли автора, это название в известной мере должно, видимо, символизировать отношение поэта к творчеству, которое требует от художника естественности и непосредственности, душевной чистоты, прозрачности стиля в выражении своих чувств и мыслей. Такое понимание поэзии не только декларировано автором — в лучших стихах книжки оно подтверждено его практикой.

Очень хорошее впечатление производит небольшая поэма «Ленинский подарок». В ней нет надуманных ситуаций — всё естественно, правдиво, жизненно.

До сознания и до сердца читателя наверняка дойдёт рассказ поэта о том, как Ленин в тяжёлую годину войны и разрухи, посетив один из госпиталей, проявил отеческую заботу о простом русском человеке и как это высоко подняло, окрылило многих людей — и знавших Владимира Ильича лично и вовсе с ним не знакомых. Санитарки, которых Ленин увидел в госпитале, были измождены работой, голодны, плохо одеты и обуты. Он ничего не мог им тогда пообещать, лишь улыбнулся той неповторимой улыбкой, сверкнувшей сразу и весёлыми и грустными огоньками, в которой и был ответ на все наболевшие вопросы: республике сейчас тяжело, очень тяжело, но она никогда не забудет своих сынов и дочерей. А через некоторое время в госпиталь пришёл бесценный подарок от родного Ильича — несколько пар добротных солдатских ботинок.

Был или не был в действительности такой случай, мы не знаем, но поэт рассказал о нём так, что видишь и Ленина, и женщин-патриоток, и эпизод, положенный в основу поэмы, остаётся в памяти как исторический факт.

К сожалению, жизненность, достоверность изображаемого радуют не во всех произведениях В. Фёдорова.

Вот открывающая книжку поэма «Обида». Надуманный конфликт положен в её основу. Животноводческой ферме грозит беда: семь дней бушует метель, пришёл к концу корм для скота. Зоотехник Настя решает созвать комсомольцев села, чтобы отправить их в поле на поиски занесённого

снегом сена. Среди комсомольцев, поднятых Настей по тревоге, — и её возлюбленный, Олег.

В опасный поход за сеном решено отправить «только шесть или семь добровольцев». В их числе — и Олег. Желая ободрить своего возлюбленного перед трудной дорогой, Настя, так же как и другие девушки, при всех кладёт на стол «свои варежки праздничной вязки». Это — и знак любви и проявление заботы об успехе похода. На столе — семь пар варежек. Парни быстро разбирают подарки, «невостребованными» оказались только настины. Девушка стораёт от стыда: отвергнута её чистая, бескорыстная девичья любовь. Она не знает, как и что ей предпринять, и наконец решает отправиться с шестёркой добровольцев, чтобы хоть как-то заглушить свою боль. Олег же остаётся в селе.

Непонятно возникновение этого конфликта в поэме. Молодые люди любят друг друга, один в другом души не чаёт, но автору почему-то захотелось их поссорить. И в результате — не конфликт, а недоразумение. Но недоразумение обычно разъясняется хотя бы «под занавес». Здесь же оно оказывается «злокачественным» — Настя и Олег так и уходят из поэмы со своей непонятной размовкой.

Не конфликт, а «случай» лежит в основе и другой поэмы — «Далёкая».

...Человек девять лет не видел девушку, в которую был влюблён. Наконец разыскал её в Ленинграде, специально приехав сюда из Новосибирска. Разыскал и горько разочаровался: она была уже не той, какой он знал её прежде, — погрязла в мещанстве, в сграниценном убогом миреке своей новой семьи.

Герой поэмы должен был бы пережить тут глубокую драму — он навсегда потерял любимого человека. Но поэт сделал весьма робкую попытку показать душевное состояние человека в эти переломные в его жизни минуты.

Герой утешился быстрее быстрее: вышел на улицу, услышал за спиной звонок первого утреннего трамвая, обернулся и встретился взглядом с «девушкой, похожей на потерянную мечту».

Примерно та тема, что и в «Далёкой», решается в стихотворении «Я шёл тропой...», но решается уже совсем по-иному. Лири-

ческий герой приходит в дом к подруге своего детства. Он застаёт здесь уже не девочку, а женщину — одновременно и очень близко и во многом теперь далёкого ему человека. Поэт тонко, с большим тактом находит слова для того, чтобы передать переживания своего героя. Он не впадает ни в мелодраму, ни становится быстро утешившимся бодрячком:

— Так это же ведь ты?! — и засмеялась
Тем радостным и тем задорным смехом,
Как будто это прежняя Наташа,
В ней спрятанная.
Голос подала.

Сначала голос, а минутой позже
Я видел на лице её красивом,
Хоть всё ещё чужом и незнакомом,
Те прежние. наташины глаза.
И странно было видеть, как, меняясь
И голосом, и жестом, и глазами,
То девочка заговорит со мною,
То женщина степенно перебьёт...

Выгодно отличается от поэм «Обида», «Далёкая» и стихотворение о старом мастере, честно прожившем свою трудовую жизнь.

О чудесном старике этом не написано и трёх десятков строк, но он запомнится всем, кто прочтёт стихотворение, — каждое слово сказано тут от всего сердца:

И теперь
За всё, что в недрах брал,
Что в огне горячем переделал.
Он земле в уплату отдавал
Маленькое, сухонькое тело.
Никому,
Кто знал его давно,
Не казалась малой эта плата.
Сухонькое, лёгкое, оно
Стоило того,
Что было взято.

Хочется, чтобы таких вот, согретых тёплым человеческим дыханием строк было у Василия Фёдорова больше. В его стихах живут и борются два начала — одно, идущее от жизни, от желания знать её действительные приметы и конфликты, и другое — от сочинительства, от конфликтов мнимых, а не подлинных. Пусть первое как можно скорее возьмёт верх над вторым.

В. ТЕЛЬПУГОВ.

★

Поэма о доверии

Трагедия «Верность» Ольги Берггольц производит сильное и сложное впечатление. На первый взгляд, эту сложность как будто бы создаёт необычная форма произведения. Но дело, конечно, не в форме, а в сложности, подчас противоречивости самого содержания трагедии.

Тема верности привлекла О. Берггольц не в своём обиходном, бытовом проявлении, а прежде всего в самом высоком — как тема незыблемой преданности Отчизне в самое трудное для неё время. И Севастополь лета 1942-го (где развёртывается действие трагедии) — это не столько определённый город, сколько поэтический символ стойкости, беззаветного героизма и верности, повсеместно проявленных советскими людьми в годы Великой Отечественной войны.

На героическом материале О. Берггольц развивает избранную тему и берёт её, на наш взгляд, в интересном и остром повороте: центральной проблемой становится вопрос о доверии человека человеку. Как решает его поэтесса?

Действие (а стало быть, и испытание верности) начинается «с конца, с горы убитых, с ночи поражения». Армия ушла, город в руинах, враг торжествует на пепелище... Весь мир, «весь земной амфитеатр» притих, слушает, ждёт... Чего? Воплей, причитаний полонянок? На край обрыва выходят три женщины — Жена, Невеста, Мать. Страшное горе гнетёт их: никто из родных воинов не откликается на отчаянные призывы, «никто не стонет, и никто не дышит». Поле молчит.

Говорит мать:

Не вымолите, сердце не дожждётся,
не встретите ни вдалеке, ни тут.
Но — муж погиб, а войны придут,
Солдат убит, но Армия — вернётся.

Суровые слова, но какая безоглядная вера в народ, в победу слышится в них!

Муж не погиб: чудом уцелевший председатель Совета Андрей Морозов начинает собирать партизанскую группу. Поэтессе мало занимают реальные черты этой работы, она говорит о них бегло, сухо, скучновато; её захватывает другая сторона дела: как относиться к людям в новой, напряжённой обстановке вражеского плена? Верить или не верить?

Ольга Берггольц. «Верность». Трагедия. «Советский писатель», Л. 1954.

Андрей ещё не приступил к борьбе, а его учитель, старик Хмара, снова напоминает своему бывшему ученику, «что доверяющий — сильнее всех». Эта мысль становится знаменем, вокруг которого смыкается широкое кольцо патриотов. И когда Анна, жена, просит Андрея не открываться людям, боясь, что те выдадут, Андрей возмущённо отталкивает её, усомнившуюся, оскорбившую его веру в советского человека.

Жизнь подтверждает правоту Морозова: за всё время неволи народ себя «не замарал обманом».

Но одна и та же земля растит и полезные злаки и плевелы. Доверять ли всем без разбора? Ведь сомневающаяся Анна оказывается в какой-то мере тоже права: она первая заподозрила в фельдшере Жиге предателя.

И трудно согласиться с восторженной, исполненной самого бескорыстного пафоса мыслью поэтессы:

Предательство опасно только там,
где нет доверия людей друг к другу.

Да, конечно, всего опаснее там! Но вряд ли только там. Предательство — «люте смерти и врагов страшнее», оно — могила для доверия, это верно. Но зато совсем неверно думать обратное, будто всеобщим доверием оно исключается. Романтическая вера сталкивается здесь с реальными фактами: ведь облечённый доверием Жигу выдал красноармейца палачам.

Как же примирить возвышенное стремление людей к доверию с необходимостью строгой революционной бдительности? Ответа в поэме мы не найдём. Думается, причина тому — отвлечённость и несколько искусственное углубление этого противоречия.

Понятно, что при такой постановке вопроса примирение и невозможно. Небольшой пример: раскаявшаяся в своём недоверии Анна снова находит Андрея, но путь в подполье преграждает Хмара: «Пароль». Старик чуть не с плёнок знает Анну, именно он воспитал у Андрея веру в людей, то качество, за отсутствие которого Андрей отвернулся от жены, — и теперь он сам, как в каменный панцирь, замкнулся в подозрительность: «Пароль». Поистине жестоко! Тем более, что жестокость конфликта

здесь, как и в ряде других мест, явно лишняя.

Вообще следует отметить, что вынужденная суровость отношений между людьми в военное время иногда доводится Берггольц до крайней остроты и ожесточённости, до излишней мучительности. От стремления потерзать читательское сердце не свободна и разбираемая поэма. Так, истекающий кровью солдат умоляет любимую о прощении за временное поражение, за свою увечность и беспомощность, даже за... пахнувшие раны. В его словах, бесспорно, подкупает высокое чувство личной ответственности за судьбу страны, но всё-таки они несправедливо жестоки. Так не только люди сторонятся раз оступившейся Анны, как прокажённой, — она сама, идя на подвиг, не прощает себе греха, а, вырвавшись из застенка, хочет умереть, убить себя, чтобы не быть подозреваемой в измене. Такова и сцена казни Жигу. Конечно, старик, осквернивший свои седины чёрным предательством, не заслуживает снисхождения. Но беспощадный к опасному врагу народ не истязает лежачего. Он одним ударом обезвредит Иуду, но не станет равнодушно взирать на то, как преступник на его глазах медленно издыхает от голода и жажды. Правосудие исключает мстительность, а священная патриотическая ненависть не мирится со злобностью. Поэтому растянутая картина смерти Жигу снижает чистое звучание поэмы, мельчит благородный гнев.

И, наконец, один из последних эпизодов: в тот день, когда армия вернулась в город, могила расстрелянного фашистами бойца впервые не покрылась цветами — все они были отданы живым героям. Это напоминает начало «Ленинградской поэмы», где поэтесса убеждала читателя в том, что хлеб живому нужнее, чем гроб мёртвому. И здесь и там гуманизм приобретает какой-то слишком здравомысленный и «прежестокый» оттенок.

«Верность» названа автором трагедией. При этом О. Берггольц имеет в виду не только драматическую форму, но и характер конфликта, она говорит о «трагедии всех трагедий» — о целой «душе... поколения». Конечно, поэт вправе сам определить своё произведение, но и мы вправе заметить, что, на наш взгляд, трагедии здесь нет.

От сердца к сердцу
Только этот путь
Я выбрала...—

заявляет поэтесса, начиная этими словами произведение. И хотя в «трагедии» есть последовательно проведённый сюжет, она не становится от этого «эпичнее»: конкретная жизнь и облик людей даны настолько условно, нарочито схематично, что сам сюжет предстаёт своеобразным «эпическим отступлением» в общей лирической стихии. А выделение наиболее важных идейно-эмоциональных размышлений в три программных «обращения» лишь закрепляет преобладание лирики. Вместе с тем они сообщают «трагедии» известную композиционную стройность.

Ещё одна особенность отличает образную систему «Верности». На этот раз она вызвана не столько своеобразием идейного задания, сколько творческой индивидуальностью О. Берггольц. Мы имеем в виду сугубо лирическое дарование автора, убежденность в том, что можно и нужно выступать от имени души всего героического поколения «по праву разделённого стра-

дания». Отсюда и возникает особенность, которую характеризует сама поэтесса:

...Как страшно становиться многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Ещё страшней — всегда самой собой
остаться в разных обликах и душах,
и в чьём-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шёпот слушать...

И в самом деле, если отвлечься от очевидного противопоставления в сюжетном конфликте «их» (врагов) и «нас», то «мы» это, в сущности, одно лицо, лицо поэтессы, а «Верность» — лирическая поэма в лицах, где страстные авторские монологи и глубокие раздумья распределены между условными персонажами, где сомнения, тревожащие поэта, как бы расщеплены и персонифицированы.

Возможно, что жанровое обозначение «трагедия» послужило автору для оправдания некоторых «трагедийных» излишеств, подобных упомянутым выше, которые снижают впечатление от серьёзной и смелой поэмы о доверии.

В. СКВОЗНИКОВ.

★

Органичность героя

Повесть Елены Ржевской «На новом месте» рассказывает о новосёлах в карельском лесу. С разных концов страны, по разным мотивам приезжают люди сюда обживать землю, заготавливать древесину, начинать здесь новую жизнь; должно быть, так же или похоже складывается быт новосёлов в целинных совхозах. Повесть передаёт особую, неповторимую атмосферу жизни на новом месте. Здесь всё не устроено — нет жилья, нет больницы, нет детского сада. Не устроены судьбы многих людей: для одних начало жизни на новом месте совпадает с началом жизни вообще (молодой врач Валя Соколова), другие приехали сюда потому, что хотели что-то в своей судьбе изменить (комендант посёлка Тая Фетисова), для третьих пересзд оказался ломкой установившегося уклада (муж Таи — Григорий).

Общее дело сталкивает людей друг с другом, возникают новые отношения, заново строятся судьбы, люди находят себя и своё место в жизни.

Елена Ржевская. «На новом месте». Повесть. Октябрь, № 2. 1955.

Органичность — характерная черта повести Ржевской. В какие бы трудные положения ни ставила жизнь героев этой повести, нигде нет ощущения, что писатель сам ищет для своих героев какой-то выход, что он произвольно управляет героями и событиями. Преодоление трудностей, разрешение противоречий возникают в повести как естественное следствие развития образа, как необходимость самой жизни.

Общественные проявления героев повести Ржевской — это неизбежные проявления своеобразия их личных характеров.

Собственно говоря, в повести трудно разграничить личную и общественную сферы жизни. Личная драма Таи Фетисовой — это не только её личная драма и не только трагедия многих жён и невест, которых война обрекает на одиночество или на компромиссы, это и выражение острого общественного конфликта, возникающего в силу различного уровня общественного сознания у различных людей.

У Таи — за плечами фронт; она знала дни «горячего единения с людьми», «яростного накала воли, энергии». Потребность чувствовать свою нужность людям, потребность

«быть на виду у жизни», знать, что в город, который будет построен, вложен твой труд — труд Таи Фетисовой, заставляет Таю бросить тихую заводь, спокойную работу в брестской гостинице, и приехать с семьёй в Карелию, на беспокойную должность коменданта неотстроенного ещё посёлка лесозаготовителей. Это — главное в Тае, но это не всё. Тая потеряла на войне любимого человека — отца своего сына. Одиночество — больше чем что-нибудь другое — причина её второго замужества. Второй муж Таи, Григорий, человек добрый, покладистый, но это мирный «честный» обыватель. Он не может уяснить себе, зачем Тая «хлопочет, надрывается, а сама обеими руками держится за этот посёлок», что ей нужно от жизни и от него. Стремление Таи «быть на виду у жизни» он способен понять лишь как тщеславие; он простит его Тае, но он не увидит за ним той потребности «горячего единения с людьми», что движет поступками Таи.

Григорий работает в посёлке завхозом, и Тае обидно, что он не стремится к большему, а Григорий разлад в семье понимает по-своему — он мало приносит в полчку.

«Как же нам дальше жить?» — спрашивала Тая себя «и со страхом чувствовала, что прислала к этому человеку, что ей не обойтись без его ласковой терпеливости».

Разрешая личную драму Таи Фетисовой, автор не совершает насилия над героями, не принуждает их к несвойственным им поступкам, не заставляет Таю принять решение, на которое она не способна, не заставляет Григория немедленно измениться и понять то, что понять ему пока не дано. Личная драма Таи разрешается всем ходом жизни посёлка. В лесу вводятся новые поточные линии, а людей не хватает. Григория, как и многих других, переводят из его кладовой на работу в лес. «Григорий никогда не работал так, как сейчас — обща с другими... Не было в его прежней работе этого налаженного ритма, объединяющего его с людьми». Тае и по-женски и по-человечески приятно, что теперь она, как и другие женщины, может встречать Григория в толпе мужчин, возвращающихся из лесу в посёлок после трудового рабочего дня, что теперь не только она одна знает, какой сильный Григорий. Григорий постепенно, не отдавая себе отчёта, начинает чувствовать то, что чувствует Тая, — общ-

ность с людьми, хотя он ещё не совсем понимает Таю и думает, что отношения в семье налаживаются оттого, что у него теперь «зарботки приличные». Противоречие между Таей и Григорием ещё остаётся, но общая жизнь их уже окрепла.

И это — не механическое решение вопроса и не отдача решения на волю слепых обстоятельств, это — раскрытие закономерностей советского общежития в их взаимодействии с особенностями человеческих характеров.

Образ молодого врача Вали Соколовой построен на том же пересечении закономерностей общественной жизни и особенностей личного характера. Валя, ещё не умеющая перевести дозы рецепта на принятые в домашнем хозяйстве мерки («Возьмите 0,4 грамма соли», — поучает она мать больного ребёнка), Валя, то и дело заглядывающая в тетрадки, организует вокруг себя санитарный актив предупреждает эпидемию, добивается изменения министерского плана и строительства в посёлке больницы. В её энергичности — не только чувство ответственности за порученное дело, воспитанное в ней всей жизнью, но и желание утвердить себя в собственных глазах, самой себе доказать, что она человек, ведь работа в посёлке — её первое испытание. Кое-где это самоутверждение даже переходит в самолюбование, так свойственное юности, впервые устанавливающей свои отношения с жизнью, и это не упрек автору. Автора тут следует упрекнуть в другом: пусть Валя любит свою «дельность» — ей в двадцать два года это под стать, не нужно только, чтобы все окружающие — и герои и автор — так любовались ею. Автор уделит слишком большое внимание валиным письмам: Валя ещё не выросла в такого человека, письма которого имели бы право на то место в повести, которое они занимают, к тому же сам автор рассказывает о Вале интереснее, чем делает она в своих письмах. И автор и жизнь должны быть к Вале суровее и строже. Но всё, что делает, что думает Валя, вызывает доверие, только так она могла думать и поступать.

Чем же достигается эта органичность поведения героев повести?

Если проследить отдельные линии, например, линию Таи, линию Вали, то в основе развития каждого образа можно обнаружить движение внутренней жизни, которое не выступает на поверхность обнажённо, но

и нигде не прерывается, сообщая цельность различным внешним проявлениям героя.

Автор не называет тех чувств, которые составляют внутреннюю жизнь, но показывает, как они выражают себя в поступках, в восприятии внешнего мира. Вот Вале показалось, что тракторист Гурстев, с которым она познакомилась на лесосеке, разговаривает с ней «небрежно», вот, обо всём позабыв, она бежит через амбулаторию, мимо своих пациентов, узнать его имя; возвращаясь с работы вечером, она чувствует что-то переменчивое, непрочное, беспоконное в огнях встречных машин; позже ей кажется, что за каждой излучиной река разольётся морем, а потом, напротив, мир кажется ей обледенелым и неподвижным. Под проливным дождём в поздний вечерний час она идёт к начальнику лесопункта Бабанину и, положив мокрые руки на его письменный стол, требует от него открытия стационара: «Амбулатория — это узко». Ей обидно, что «для всех она прежде всего врач. А о том, что у неё на душе, никто не думает». Потом это же её радует. А под этими отдельными противоречащими друг другу фактами — логика единой внутренней жизни: это — первое возникновение чувства, обнаруживающее себя сначала в отчуждении, потом в порыве доверия, потом в тревоге. Это — счастье: ощущение бесконечности и подвижности мира оттого, что она с Гурстевым, это — горе оттого, что он не пришёл, и желание защититься от горя значительностью своего дела. Это — ощущение, что она чужая в посёлке, и, после удачно проведённой борьбы с эпидемией, это — радость оттого, что она здесь своя.

Каждый отдельный отрывок повести независимо от того, что он объективно

рисует — работу на лесосеке, собрание женщин или пейзаж, — отражает какой-то момент этого движения внутренней жизни одного из героев, что и придаёт повести поэтичность.

Ржевская сталкивает героев, заставляет читателя смотреть на одного героя глазами другого, и это определяет одну черту композиции: удачное сочетание глав. После главы о свидании Вали Соколовой и Петра Гурстева уместна глава о Григории, полнее раскрывающая всех троих; после главы о Гурстеве, к которому слава пришла раньше, чем он до неё дорос, и который в известной степени является жертвой казённой организации соревнования, — предистория Вали. Предистории входят в текст не одновременно с героями, как это часто бывает, не как аттестация, не как обязательный пропуск, без которого героя дальше не пустят, а как мотивировка поведения там, где она нужна.

Но есть в повести люди, судьба которых, видимо, не заинтересовала автора. Начальник лесопункта Бабанин и начальник строительного участка Козырев присутствуют в повести как бы по обязанности. Бабанин дан поверхностно, традиционно, он повторяет некоторые образы руководителей, уже созданные нашей послевоенной литературой. Допустим, это второстепенный образ, «деталь фона». Бабанин по крайней мере как-то ясен. Начальник строительного участка Козырев до конца повести остаётся фигурой зашифрованной.

Елена Ржевская — в начале своего писательского пути. Пусть в её следующих работах сохранится правда человеческих судеб, характерная для повести «На новом месте».

Ю. КАПУСТО.

★

Жанр обязывает

Когда молодой писатель начинает с рассказа, это вовсе не значит, что он обратился к самому простому в художественной прозе. Здесь идея, овладевшая рассказчиком, должна найти своё выражение в предельно экономной литературной форме. Талантливость автора обнаруживается в рас-

сказе не меньше, чем в романе, и высокая профессиональная выучка нужна рассказчику не меньше, чем творцу больших литературных полотен.

Точно сформулировал существенные черты этого жанра Алексей Толстой: «Новелла — труднейшая форма искусства. В большой повести можно «заговорить зубы» читателю превосходными описаниями, остроумными диалогами, — мало ли чем... Здесь же вы весь на ладони. Вы должны быть умны, вы

Д. Калашников. «Жизнь зовёт». Рассказы. Издательство «Тамбовская правда». 1955.

должны быть значительны, — малая форма не освобождает вас от большого содержания. Вы должны быть лаконичны, как поэт в сонете, но лаконичность должна получаться от концентрации материала, от выбора только самого необходимого.

Сюжет новеллы, в котором организуются мысли, наблюдения, знания рассказчика, «всегда приходит из шума жизни, из живой борьбы сегодняшнего дня».

Эти соображения приходят на ум, когда знакомишься со сборником рассказов Дмитрия Калашникова «Жизнь зовёт». В прошлом автор учительствовал, сейчас работает в «Тамбовской правде», выступает с очерками и рассказами в альманахе «Литературный Тамбов».

Испытание прочности характера советского человека в столкновении с трудностями жизни — так можно было бы определить пафос рассказов Д. Калашникова. Автор ставит перед собой задачу — раскрыть высокие моральные качества людей, созидателей коммунизма, их мужество, благородство, самоотверженность, их неиссякаемую творческую энергию. Молодой писатель стремится осмыслить и показать человеческую жизнь с разных сторон, в разных проявлениях, хочет, чтобы читатель проникся серьёзностью исканий юноши, обдумывающего жизнь («Захаров сад»), разделен горю женщины, скоронившей мужа («На берегу Студенца»), поверил в талант и стойкость человека, изведавшего горечь неудач («Испытание»).

К большим чувствам, к серьёзным конфликтам хотел бы привлечь автор читательское внимание. Этой задачей продиктована тематика рассказов и определена их форма. Автор тяготеет к сюжетному повествованию, понимая, что в сюжетном рассказе, где есть то «но», та «запятая» в судьбе героя, в развитии события, которые обуславливают драматизм, действительность повествования, полнее обнаруживается сложность человеческих натур и взаимоотношений.

И всё же со страниц книжки Д. Калашникова лишь слабо доносится шум реальной жизни. Трудно представить себе очеркиста областной газеты кабинетным затворником. Очевидно, невнятность разговора Д. Калашникова с читателем кроется не в том, что автор мало общается с прототипами своих героев и не знает, чем они живут. Скорее всего другое: обладая зна-

нием жизненных фактов, автор не сумел внести ничего своего в изображение окружающего и подошёл к изученному явлению с изученной литературной меркой, руководствуясь готовыми литературными представлениями и повторяя известные приёмы.

Как-то умный и зоркий художник П. Павленко занёс в свою записную книжку наблюдение об одном из самых печальных недоразумений жизни, которое состоит в том, что нередко близкие по духу люди не могут жить вместе. Схема рассказа Д. Калашникова «Иесня» базируется как раз на такой ситуации. Но это именно традиционная схема, где дан трафаретный треугольник, описана поверхность быта, названы лишь условные признаки связей, отношений и фактов.

«Набирая соки, в палевый цвет окрашивалась пшеница. И радостью наливались сердца колхозников. Только в семье Бекетова ядовитое подозрение отравляло мирную жизнь».

Муж и жена не понимают друг друга. Но с чего, когда началось это непонимание, что хорошего и что плохого в обоих, чего хочет каждый из них? Что связывает или, как хочет уверить нас автор, отталкивает этих двух людей друг от друга? Об этом догадаться невозможно. Скороговорка (может быть, по ошибке принимаемая автором за лаконичность) не позволяет читателю представить себе ни прошлое, ни будущее семьи Бекетовых.

А что роднит Бекетова с подругой юности Татьяной, оставленной мужем?

«— О прошлом надо ли говорить? — сказал Савелий, срывая и надламывая былинки пырея. — Прошлое известно. Смотри-ка, — он выбросил вперёд коричневую ладонь, — посевы — смотри-ка! Душа радуется. Вот о чём, о душе поговорить-то надо..»

— И впрямь, — серьёзно подтвердила Финогенова, думая о своём. — Время боль лечит..»

— Погоди, не перебивай, — заторопился Бекетов. — Я к чему говорю? Вот ты хлопчешь насчёт колодца. Это правильно, это вот как надо! А вот ты — председатель — ответь мне, почему в клубе вашем одни танцальки? — Бекетов сердито отбросил сломанную былинку. — Ведь это кустарщина, неорганизованность..»

— Да-а-а, — протянула Финогенова, теряя пальцами снопок пшеницы. — Концерты или спектакли наладить забываем.

— Непростительно забываем, Татьяна! — подхватил Бекетов...

— Не ты один, сама давно об этом думаю, — обиженно сказала Финогенова. — Руки не доходят. Ты бы, вместо болтовни, взялся сам...

— Поручаешь? И организую, — уверенно промолвил Савелий».

Нет, не слышно живого человеческого голоса в этом потоке невыразительных фраз, не доносится до читателя биение человеческого сердца. И хотя герои говорят о вещах значительных, не веришь в значительность самих собеседников — так скудно, невыразительно переданы их мысли и речи.

Может быть, действия говорят больше о внутренней жизни героев, чем их размышления и разговоры? Об этом трудно судить, потому что никаких поступков персонажи «Песни» не совершают. Сюжет рассказа статичен во всех его звеньях.

Так и остаётся нерешённой эта задача с треугольником, в котором все стороны равно безлики, как это присуще подобным фигурам в их прямолинейном геометрическом начертании.

Бедно изображён душевный мир героев рассказа, поверхностны их портретные характеристики. Автор понимает, насколько примелькались такие детали портрета, как «живые, умные глаза» или «улыбка, обнажающая чистые ровные зубы», и потому ни с того ни с сего, видимо для оригинальности, упоминает о чём-то неприятном в лице Бекетова (хотя вовсе не собирався делать своего героя отталкивающим). И, конечно, такой нарочитый штрих не вносит ничего живого в этот тусклый, бесплотный образ.

В рассказе «Испытание» автор попытался создать более весомый характер. Герой рассказа — инженер-новатор, изобретатель высокопроизводительной машины для свекловичных плантаций. Радость возвращения Булатова из армии после войны омрачена жестоким ударом: во время бомбёжки погибли все его чертежи и записки, погиб и экспериментальный образец машины. Велико отчаяние человека, отдавшего много лет осуществлению любимой идеи, когда он узнаёт об этой катастрофе. Но Булатов человек сильный. Он начинает всё сначала и в конце концов добывается успеха.

Однако на пути к этому успеху автор воздвигает перед своим героем неоправданные препятствия, искусственно изолирует Була-

това от помощи и участия окружающих. Инженер работает сверх сил и на заводе, и дома, но «бежал месяц за месяцем», прежде чем жена Булатова, Катя, «однажды» увидела не у себя дома, а при встрече на заводском дворе, каким измученным и исхудавшим сделался её муж. И тогда наконец она — экономист, человек с высшим образованием — предлагает мужу сделать необходимые математические вычисления. Автору кажется, что этот запоздалый жест Кати заслуживает умилительного комментария («Булатов с признательностью посмотрел в родные, доверчивые глаза Кати»), а читателю сдаётся, что она черства и невнимательна. Д. Калашников стремится подчеркнуть целеустремлённость, настойчивость Булатова, но напрасно он для достижения этой цели делает изобретателя героем-одиночкой. Читателю с первых строк ясно, что без помощи заводского коллектива Булатову не обойтись (и так оно в результате и происходит), но автор, как нарочно, ходит вокруг да около и досаждаёт своему герою осложнениями, вовсе не объяснительными.

Надуманности построениями отличается и рассказ «Волга-Волга». Молодой каменщик Владимир Складнов решает ехать на строительство Волжской гидростанции. Его увлекает громадность стройки. «Эх, и размахнулся бы я там! Ведь интересно...» — убеждает он отца, которому не по душе непоседливость сына. Жена Владимира, Лиза, рассказывает автору, колеблется, ей не хочется сниматься с насиженного места. И Владимир тут же «почувствовал, что... связывающая их до этого духовная нить порвалась. У него заохолонуло сердце, и страшная мысль пронеслась в голове: «Кажется, я ошибся: она не такая, как я думал».

Трудно разделить и прежнее ослепление и наступившее разочарование молодого мужа, так как невозможно составить себе представление о Лизе, этой бездействующей безмолвной фигуре, в уста которой вложены всего две фразы, в начале рассказа: «Я не знаю... как Вова...», и в конце: «Договорились мы».

Молодожёны договорились между собой где-то за пределами рассказа. В это читатель не посвящён. А отношение старика Складнова к планам сына меняется прямо-таки на наших глазах. Случайно на скамейке сквера он стал свидетелем беседы студента с профессором, едущим на строи-

тельство Куйбышевского гидроузла. Студент декламировал стихи о Волге. «Хорошие стихи! Некрасовские. И какие верные, хотя им почти сто лет. Много в них мечты...» — заметил профессор и с жаром стал рисовать «заманчивые картины того, что будет после сооружения волжских гидроузлов».

Здесь всё сконструировано из «подходящих» элементов, всё подогнано: и стихи на «соответствующую тему» и «выступление» профессора перед присутствующими, в чьи уста автор вложил изрядный кусок газетного очерка. Разумеется, и неожиданная встреча и случайно услышанный разговор могут оставить отпечаток в сознании размышляющего человека, читатель вполне допускает эту возможность. Но в данном случае, где всё механически подстроено, подсказка автора слишком быстро делает своё незамысловатое дело. Старый Складнов, которому «по-иному хотелось направить жизнь сына», враз преодолевает свои сомнения и мановением волшебной палочки переводится из одного умонастроения в другое, от сумрачного недовольства сыном к состоянию приподнятой бодрости. Для порядка по пути домой он ещё вспоминает о заявленных автором, но не видных читателю разногласиях между молодыми, но когда узнаёт, что те «договорились», сам торопит их с отъездом: «Довольно тары-бары разводить. Ехаж так ехаж».

В этом рассказе автор попытался развить не одну, а несколько важных мыслей. Одна из них — романтическое стремление наших людей, как и в годы первой пятилетки, сердцем и мастерством своим приобщиться к созиданию больших, известных всей стране промышленных строек. Другая — взаимоотношения отцов и детей в наше, советское время. Наконец, третья — становление новой семьи, протекающее далеко не всегда гладко («Семью склеить — не штука», — как говорит старый Складнов). И все эти темы

скомканы, испорчены штампом, нагромождением искусственных трудностей и бездумным преодолением их.

Беда всех восьми рассказов этого сборника в таком рационалистическом, схематическом построении. Хотя Д. Калашников и кладёт в основу своих рассказов факты действительности, хотя он и знает, во имя чего и для чего должен быть написан рассказ, ему не хватает умения органически воплотить свой замысел в художественно правдивом сюжете. Вот почему его рассказы оставляют впечатление лишь жизнеподобных и литературоподобных зарисовок.

Никогда кудреватая красавица не заменит истинной красоты, подслащённая чувствительность — глубокого и сильного чувства. К сожалению, Д. Калашников, описывая своих героев и обстановку, которая их окружает, часто прибегает именно к суррогатам, внешне цветистым, а в сущности бесцветным, набившим оскомину деталям. «Свежее дыхание молодости», «свежий и яркий эскиз картины», «длинные ресницы», «пышные волосы», «сопрано звенело, точно рассыпая вокруг серебро», «суровая правда жизни», «упругий шаг», старик, «похожий на старый дубовый пенёк» — сколько раз мы встречали подобные сравнения! И сколько раз скользили взором по таким примелькавшимся картинкам: «На крыльцо дома, прятаясь от ливня, вбежала незнакомая девушка. Её большие глаза блистали в полумраке. Мокрое платье облепило худощавое, гибкое тело. Склонив голову, она отряхивала густые каштановые волосы. Во всех её движениях была молодая энергия».

Досадно делается, когда наталкиваешься на подобную гладкопись в произведении начинающего автора. Ведь молодой писатель обязан заявить о себе пусть не окрепшим, но зато своим, собственным голосом.

Л. МИХАЙЛОВА.



«...Не лишена недостатков»

Книга эта открывается кратким вступлением «От автора», в котором сообщается, что данное пособие представляет собой попытку сосредоточить обширный учебный

Н. Зверев. «Русская советская литература. Часть 1». Издательство Харьковского государственного университета имени А. М. Горького, Харьков, 1954.

материал, указанный в учебной программе, и тем самым несколько облегчить заочникам филологического и исторического факультетов университетов и педагогических институтов самостоятельное изучение курса истории русской советской литературы.

Нельзя не одобрить этого намерения. Но как осуществил его автор?

Книга представляет собой обзор основных этапов развития русской советской литературы — от гражданской войны до наших дней. Автор называет и подвергает беглому рассмотрению десятки произведений крупнейших наших прозаиков, поэтов, драматургов, чьи имена известны миллионам читателей. Каждый из этих мастеров слова имеет своё неповторимое творческое лицо, свою, только ему присущую манеру письма.

Но, странное дело, чем внимательнее вчитываешься в книгу Н. Зверева, тем всё более схожими между собой и неотличимыми друг от друга становятся все названные в ней авторы и все их произведения. Для каждого из писателей Н. Зверев находит одно и то же универсальное и исчерпывающее определение. Все, как один, они пишут «ярко». Вот несколько примеров:

«Расправа самодержавия с рабочими ярко показана Серафимовичем».

«Эренбург... создал цикл ярких и гневных памфлетов».

«Яркими произведениями в советской драматургии были также стихотворная пьеса В. Гусева «Слава» (1935), пьеса Афиногенова «Далёкое» (1935), комедия Корнейчука «В степях Украины» (1940)».

«В поэме «Трагедийная ночь» (1931) А. Безыменский ярко изобразил широкие масштабы грандиозного социалистического строительства».

«Ярким выражением этих настроений и мотивов поэта явилась его замечательная поэма «Сын»».

«Ярким произведением периода Великой Отечественной войны советского народа является повесть Б. Горбатова «Непокорённые» (1943)».

И дальше идёт в том же духе: «Ярок и образ Сергея Тюленина», «Николай Шаронов — яркая индивидуальность», «Ярко очерчены в романе образы...» и т. д. и т. п.

Может быть, автор взял на себя просто непосильную задачу — на 170 страницах оценить десятки произведений — и, отступив перед трудностями анализа, прибегнул к «спасительному» штампу? Может быть, наконец, книга преследует задачу быть в первую очередь справочником, который, претендуя на глубину и самостоятельность анализа литературных явлений, призван дать студентам точные фактические сведения о творчестве крупнейших советских писателей, об их произведениях?

Остановимся прежде всего на том, что сказано в книге о крупнейших произведениях советской литературы, составляющих её гордость и славу.

О «Тихом Доне» в книге упоминается дважды и оба раза в главе о литературе двадцатых годов. Сначала роман Шолохова просто назван в ряду других произведений о гражданской войне и датирован 1928—1929 годами, затем о нём сказано буквально следующее: «С 1926 г. Шолохов начинает работать над своей эпопеей «Тихий Дон». И это всё, что мы узнаём о «Тихом Доне!»

О произведениях А. Толстого в книге Н. Зверева говорится дважды, в главе о литературе тридцатых годов. Первый раз сказано: «Идейно растёт и А. Н. Толстой, создавший выдающийся, к сожалению незаконченный, исторический роман «Пётр Первый», повесть «Хлеб». Второй раз: «Тема защиты Родины раскрывается в произведениях А. Н. Толстого, автора эпопеи «Хождение по мукам» и повести «Хлеб». И это тоже всё, что узнаёт из книги студент-заочник о крупнейших созданиях замечательного мастера советской прозы!»

Почти столько же сказано и о творчестве Н. Островского. «Этой же большой проблеме («рождения нового человека». — В. А.) посвящён и роман Н. Островского «Как закалялась сталь» (1934) и незаконченное его произведение «Рождённые бурей» — и только!»

Так в нескольких ничего не значащих словах, вяло, как бы между прочим, говорит автор о крупнейших произведениях советской литературы. Чаще же всего он перечисляет подряд несколько самых различных произведений, объединённых по принципу «единства темы». Суммарный, оптовый подход Н. Зверева к произведениям советской литературы и их авторам приводит его в ряде случаев к поспешным, необоснованным выводам и заключениям. Так, в главе о литературе двадцатых годов он безоговорочно утверждает, будто и А. Малышкин, и Б. Лавренёв, и Вс. Иванов «не видели творческого начала Великой Октябрьской революции», что, разумеется, неверно, если говорить даже о самых ранних, во многом ещё несовершенных книгах этих писателей.

К некоторым же советским литераторам Н. Зверев настолько строг, что отказывается

видеть какую бы то ни было ценность в их самых крупных произведениях.

Поинтересуемся, например, что сказано в книге о творчестве Э. Багрицкого, поэта, чьё имя, кстати говоря, незаслуженно редко вспоминают в последнее время наши литературоведы и критики.

Нисколько не смущаясь, Н. Зверев безоговорочно объявляет «Думу про Опанаса» «идейно порочным», «политически ошибочным» произведением. Н. Зверев даже не упоминает о существовании такого замечательного произведения поэта, как «Смерть пионерки», а написанную и напечатанную одновременно с этим произведением — в 1932 году — поэму «Последняя ночь» относит почему-то к 1930 году.

Перелистает читатель ещё несколько страниц книги Н. Зверева и удивится ещё больше. Выяснится, что одни и те же произведения, если верить автору, написаны авторами как бы по два раза. Так, например, роман Павленко «На Востоке» на странице 88 отнесён к 1936 году, а на странице 147 — к 1938; пьесы Вишневого «Первая Конная» и «Оптимистическая трагедия» датированы на странице 94 1930 и 1933 годами, а на странице 156 уже 1939 и 1940 годами.

После этого не покажется удивительным, что автор книги путает даты появления таких произведений, как «Дело Артамоновых» Горького, «Сергею Есенину» и целого ряда других известнейших стихотворений Маяковского, даты основания горьковского журнала «Наши достижения», награждения орденом Красного Знамени Демьяна Бедного и т. д.

Стоит ли удивляться путанице в датах, когда даже имена и фамилии советских писателей сплошь и рядом оказываются в книге искажёнными. Так, Иосиф Уткин назван Н. Уткиным, а Джек Алтаузен — Д. Алтгаузен. Не согласен автор книги и с тем, что те или иные известные произведения принадлежат вполне определённым авторам. И вот песню М. Голодного «Партизан Железняк» он великодушно дарит М. Светлову, а к известным песням А. Суркова «Конармейская песня», «Песня о Сталине» смело приписывает ещё две — «По военной дороге» и «На просторах родины чудесной», хотя это те же самые две песни, только названные по их первым строкам.

В книге Н. Зверева немало цитат. Приводя высказывания советских писателей, он

и здесь остаётся верным своему принципу — перепутать и перемешать всё, что только представляется возможным. Так, известное высказывание А. М. Горького, относящееся к 1927 году, «Моя радость и гордость — новый человек, строитель нового государства» датировано в книге 1918 годом и объединено в одну цитату с более ранним высказыванием писателя, а в цитатах из письма Горького к Гладкову и из статьи «О пьесах» пропущены или заменены другими важные по смыслу слова, что ведёт к явным нелепостям. Если Горький по поводу «Цемент» пишет: «В ней (книге. — В. А.) впервые за время революции взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности — труд», то Н. Зверев «исправляет» Горького и приводит цитату в следующем виде: «В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема революционности труда» (!?) (разрядка моя. — В. А.).

Вообще отношение Н. Зверева к горьковским текстам, мягко выражаясь, весьма своеобразное. Приводя, например, известное высказывание Горького о советском историческом романе, он без всяких оговорок, не поставив даже обязательного в таких случаях уточнения, выбрасывает всё, что сказано Горьким о романах Ю. Тынянова. Чтобы заделать образовавшуюся брешь, Н. Зверев проставляет взамен горьковских свои знаки препинания и конструирует из укороченного им предложения самостоятельную фразу. «Не повезло» в книге и Александру Блоку. Цитируя блоковскую статью «Интеллигенция и революция», Н. Зверев заставляет поэта говорить прямо противоположное тому, что им было сказано в действительности. Так, «лживая, грязная», по определению Блока, предреволюционная жизнь превращается у Н. Зверева в «живую, грозную»...

Невозможно перечислить все те искажения фактов, дат и текстов, которыми щедро переполнена книга Н. Зверева. Трудно сказать, эти ли именно или ещё какие-либо недостатки своего труда имел в виду автор, когда писал в предисловии: «Работа, представляющая попытку автора обобщить педагогический его опыт, не лишена, конечно, некоторых недостатков». Этих «некоторых недостатков» в книге так много, что за ними решительно не видно каких бы то ни бы-

ло самых скромных её достоинств. Приходится удивляться тому, что все отмеченные особенности рассматриваемой книги не помешали ни её автору, ни редактору книги, профессору М. П. Гушину, выпустить в свет

пятнадцатитысячным тиражом, да ещё под маркой Харьковского государственного университета имени А. М. Горького явно негодное издание.

В. АФАНАСЬЕВ.

★

Книга о Чернышевском-писателе

Саратовское книжное издательство принадлежит к числу тех немногих областных издательств, которые систематически работают над изданием научной литературоведческой и критической литературы. Многие работы о Чернышевском, изданные в Саратове (Н. М. Чернышевской, А. П. Скафтымова и других), завоевали признание у широкого круга читателей.

Книга Г. Тамарченко «Романы Н. Г. Чернышевского» вносит в литературу о Чернышевском-писателе ряд новых самостоятельных выводов и наблюдений. Этой работе присущи два главных достоинства. Первое из них заключается в единстве идейного и стилистического анализа романов Чернышевского. Автор стремится — и в большинстве случаев удачно — проследить, как идейное содержание романов Чернышевского преломляется в конкретных элементах их образно-художественной ткани. Особенно свежи и богаты новыми наблюдениями главы, посвящённые сатире и юмору, а также языку великого писателя.

Другое достоинство книги Г. Тамарченко заключается в стремлении связать анализ идейного содержания и стиля романов Чернышевского с его философскими и эстетическими взглядами. Как материалист, Чернышевский, справедливо указывает Г. Тамарченко, в своих романах «показывает влияние обстоятельств на формирование каждого человека. Но это не приводит к объективизму, к представлению, что виновных нет, что человек всегда зависит от массы внешних условий». «Не только внешние условия, но и связанная с ними общественная практика человека (разрядка моя.— Г. Ф.) определяют ценность и достоинство личности». Приближение к критерию общественной практики при обрисовке типических черт каждого из персонажей составляет

одну из ярких особенностей реализма Чернышевского. Столь же плодотворные замечания о связи между мировоззрением и стилем Чернышевского встречаются и в других главах книги, в особенности, в главах о типическом и индивидуальном, о юморе и сатире. Интересно, например, указание автора на использование Чернышевским сатириком приёмов фарса, которым он отвёл также роль в своей теории комического. Оно заслуживает внимания и при изучении художественных приёмов сатиры Щедрина.

Нельзя не согласиться с критикой Г. Тамарченко мнения тех литературоведов, которые, сужая социально-политическое содержание заключительных глав романа «Что делать?», утверждают, что мы имеем в них дело не с художественным обобщением, а лишь с изображением личной судьбы самого Чернышевского и О. С. Чернышевской. Автор, несомненно, прав, полагая, что речь здесь идёт не только о судьбе самого Чернышевского, но и других участников освободительного движения шестидесятых годов, арестованных царским правительством, освобождение которых писатель связывал с победой народной революции.

В интересной книге Г. Тамарченко встречается и ряд неточных формулировок, недостаточно продуманных и аргументированных положений.

Автор делает, например, неудачную попытку дать своё истолкование этики Чернышевского, утверждая, что термин «разумный эгоизм» имел в устах героев Чернышевского лишь «ироническое» или «эзоповски условное» значение. Разумеется, между нравственными идеями Чернышевского, выраженными в романе «Что делать?», и этикой материалистов XVIII века, как правильно указывает автор, существует очень большое различие. Однако отсюда не следует, что русские революционные демократы отвергали материалистическую по своему духу идею о совпадении обществен-

Гр. Тамарченко. «Романы Н. Г. Чернышевского». Саратовское книжное издательство, 1954.

ных интересов и общественной нравственности с правильно понятыми интересами личности. Считая, что передовая личность является представительницей народа, они делали вывод о совпадении правильно понятых, «здоровых» интересов личности с интересами массы. Идеал «разумного эгоизма» в подобном революционно-демократическом истолковании составляет неотъемлемую составную часть этики Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского, Некрасова. Для доказательства этого достаточно, не говоря о романе «Что делать?», сослаться хотя бы на статью Герцена «Новые вариации на старые темы» или на «Песню Ерёмушке» Некрасова.

Трудно согласиться с отдельными замечаниями автора о некоторых романах шестидесятых годов, посвящённых, как и «Что делать?» Чернышевского, теме «новых людей». Автор недостаточно учитывает широту и многогранность этой темы. Отсюда недооценка им значения изображённого в «Отцах и детях» столкновения различных поколений. Между тем конфликт «отцов» и «детей» занимает ведь существенное место и в романах Чернышевского, являясь одной из сторон раскрытия основных противоречий эпохи (вспомним молодого Волгина и его родителей в «Старине», Веру Павловну и её мать!) Досадным упрощением является замечание автора о том, что, изображая Базарова в качестве гостя Кирсановых, Тургенев будто бы ставит его в «фальшивое положение», допуская «отступление от реализма».

Одной из слабых сторон книги Г. Тамарченко является слишком общее и отвлечён-

ное освещение вопроса о литературных традициях Чернышевского-писателя. Правильно указывая на преемственность между романами Чернышевского и повестями Герцена, автор не развёртывает этого указания, не проследивает конкретно, в чём заключается близость Чернышевского к традициям Герцена и передовой социально-критической беллетристики сороковых годов. Анализируя критику либерализма в «Прологе», автор не раскрывает связи этой важнейшей для Чернышевского темы с революционно-демократической традицией, которая так ярко проявилась наряду с Чернышевским у Некрасова и Щедрина. Не уделено внимания в книге и вопросу о близких Чернышевскому-писателю явлениях передовой революционной беллетристики Запада.

Книга Г. Тамарченко посвящена двум главным романам Чернышевского — «Что делать?» и «Прологу». О других литературных произведениях Чернышевского автор говорит мимоходом и крайне сжато. Между тем за последнее время появился ряд содержательных статей и исследований о таких менее известных произведениях Чернышевского, как «Алферьев», «Повести в повести», «Отблески сияния». На сцене театра Советской Армии с успехом идёт комедия Чернышевского «Мастерица варить кашу». Следует сожалеть, чтобы автор расширил рамки своего исследования, дополнив его при переиздании более обстоятельным разбором повестей Чернышевского, а также его драматургических опытов.

Г. ФРИДЛЕНДЕР.



Политика и наука

Богатый богатеет, бедный беднеет...

В марте этого года в американском городе Мобиль (штат Алабама) произошло событие, примечательное со всех точек зрения. Оно свидетельствует не только о «мобильности» транспортных средств в Соединённых Штатах, но в ещё большей степени о превратностях сегодняшнего образа жизни американцев.

H. L. U m e r. „War economy and crisis“. New York, 1954 (X. Л у м е р. «Военная экономика и кризис». Нью-Йорк, 1954).

А случилось вот что. В назначенный местными властями час в городе раздался вой сирены и поднялась невообразимая суматоха. Все улицы оказались запружёнными грузовыми автомашинами. В самом пожарном порядке на грузовики погрузили 45 тысяч детей и, к ужасу их родителей, с молниеносной быстротой отправили в неизвестном направлении. Как вы думаете, куда?.. Об этом в сообщении агентства Юнайтед Пресс говорится так:

«В районы, отдалённые от места предположительного (!) взрыва водородной бомбы». Оказывается, происходила очередная подготовка населения на случай будущей войны.

В том же месяце американцам преподнесли ещё один сюрприз подобного рода. Радио передало истерическую речь некоего Петерсона, руководителя федерального управления гражданской обороны. Пугая своих соотечественников всякого рода межконтинентальными снарядами, это официальное лицо настойчиво рекомендовало как можно скорее построить подземные убежища и «сложить в них пяти-шестидневный запас продовольствия и воды». В заключение Петерсон посоветовал слушателям почаще... молиться богу о спасении души. Как видим, речь была строго выдержанной, представляя собой образец классического сочетания чисто американского практицизма с типичным ханжеством.

Создавая в стране обстановку всё большей военной истерии, американские правительственные органы проводят систематические учения «защиты от атомного нападения», чтобы держать жителей в состоянии постоянной тревоги. Газеты, журналы, радио, не жалея красок, по указке монополистов расписывают ужасы атомных бомбардировок и призывают население к дальнейшим жертвам во имя «обороны от коммунизма».

Для чего всё это делается и к чему ведёт, хорошо показано в книге прогрессивного американского экономиста Х. Лумера «Военная экономика и кризис», недавно выпущенной в свет издательством «Интернейшнл паблишерс» в Нью-Йорке.

В 1953 году, указывает автор, трудящиеся США уплатили различных налогов почти в полтора раза больше, чем в военном 1945 году, и в одиннадцать раз больше, чем в довоенном 1939 году. «Сейчас средний американский рабочий выплачивает в виде налогов примерно одну треть своей заработной платы», в результате чего у него «остаётся сумма, которой ему не хватает, чтобы свести концы с концами». Зато монополистам Уолл-стрита гонка вооружений даёт возможность колоссальной наживы. В прошлом году, например, чистые прибыли американских монополий составили около 18 миллиардов долларов. Это примерно втрое больше среднегодовых прибылей,

которые они получали во время второй мировой войны.

Привлекая большой фактический и цифровой материал, Лумер показывает, что в качестве основного механизма ограбления трудящихся масс американские монополии используют федеральный бюджет Соединённых Штатов. Одни лишь прямые ассигнования на военные цели намечаются на 1955/56 финансовый год в сумме около сорока с половиной миллиардов долларов, то есть достигают почти 70 процентов всех расходов бюджета. Подавляющая часть этих средств попадает в карманы американских «торговцев смертью» в виде прибылей от выполнения правительственных заказов на производство вооружения.

Из недавнего послания Эйзенхауэра американскому конгрессу по бюджетным вопросам видно, что и без того высокие налоги на заработную плату и другие трудовые доходы населения возрастают в текущем финансовом году на два миллиарда долларов, тогда как налоги с капиталистических корпораций уменьшаются на полтора миллиарда долларов. Таким образом, милитаризация в США, обеспечивая монополиям постоянный рост их прибылей, в то же время ведёт к резкому ухудшению положения трудящихся масс. «Проще говоря, — пишет Лумер, — в условиях военной экономики богатый богатеет, а бедный беднеет значительно скорее, чем обычно, и пропасть между крайним богатством и крайней бедностью расширяется всё быстрее».

Большое место в книге уделено критике высказываний буржуазных экономистов, стремящихся привить американцам ту мысль, что военный бизнес спасает от кризиса, а постоянная милитаризация является «живительным бальзамом», способным поддерживать «вечное процветание» американской экономики. Как известно, идея «перманентной военной экономики» отнюдь не нова. Она не является детищем современных апологетов американского империализма В Соединённых Штатах Америки, пишет Лумер, «нынешняя военная экономика является лишь новым вариантом нацистского «вервиртшафта» (военного хозяйства). Действительно, ещё в тридцатых годах заповеди гитлеровского «рейха» на все лады воспевали военизацию и преподносили её германскому народу в качестве средства от всех бед. Немецкий народ на практике убедился тогда в истинном значении мили-

таристского лозунга «пушки вместо масла». В настоящее время, говорится в книге, «милитаризация экономики в Соединённых Штатах также направлена на превращение страны в вооружённый лагерь по нацистскому образцу». Её цель — подготовка к грабительским агрессивным войнам, планы которых по приказу американских монополий разрабатываются Пентагоном.

Автор замечает, что крупные военные расходы способны на короткое время оттянуть начало кризиса и смягчить его симптомы. Однако, подчёркивает он, это достигается лишь путём дальнейшего обострения всех противоречий капитализма. «Прибегая к военному производству как к панацее против экономических кризисов, монополистический капитал больше всего

походит на наркомана, в котором доля наркотика сначала вызывает приятное ощущение благополучия. Однако за этим вскоре следуют болезненные последствия, от которых можно освободиться, лишь прибегая ещё к одной, более крупной дозе наркотика... Каждое «впрыскивание» на какой-то малый отрезок времени предотвращает вспышку кризиса, но делает это лишь за счёт усиления факторов, способствующих возникновению кризиса».

В заключительной части книги Х. Лумер говорит о необходимости усилить борьбу против агрессивной политики правящих кругов США, которая ведёт к возрастающему унижению широких масс американских трудящихся, к развязыванию новой мировой войны.

А. БАТУРИН.

★

Поучительная история

Каждое произведение имеет свою судьбу, свою историю. Бывает и так, что эта история не менее интересна и поучительна, чем самая книга. Сказанное, думается нам, полностью относится к работе лорда Э. Рассела «Проклятие свастики».

Автор — видный военный юрист, кавалер многих орденов Великобритании. В годы второй мировой войны он работал в главном штабе союзных войск, затем был юридическим советником главнокомандующего британскими оккупационными войсками в Германии, принимал участие в Нюрнбергском процессе. В последнее время Рассел занимал пост заместителя главного военного юриста английских вооружённых сил.

В 1946—1951 годах, находясь в Западной Германии, Рассел собрал много документов и фактов о военных преступлениях и зверствах гитлеровцев. Этот материал и лёг в основу задуманного им произведения. Как указывает автор, он «получил разрешение от канцелярии лорда-канцлера написать любую книгу, в которой будут излагаться только факты и исторические события». Как будто бы всё было согласовано, никаких осложнений не предвиделось.

Но в начале августа прошлого года, когда работа уже была подготовлена к изданию, в английском министерстве иностранных дел забили тревогу. Расселу предъяви-

ли ультиматум: либо изъять из печати свою книгу, либо оставить государственную службу. Рассел выбрал последнее. «Я ушёл в отставку для того, чтобы моя книга вышла в свет», — заявил он.

Каково же содержание книги «Проклятие свастики», опубликование которой стало возможным только ценой отставки её автора?

В первой главе, названной «Гитлеровские орудия тираннии», Рассел рассказывает о структуре тех организаций, которые проводили в жизнь бредовые замыслы фашистских главарей о завоевании мирового господства, поощряли и разжигали расовую ненависть, проповедуя принцип «расы господ».

Автор подробно описывает механику политического и государственного аппарата гитлеровской Германии, несущего вину за преступления против мира, против человечности. Руководящий состав нацистской партии, говорится в книге, был тем «главным звеном в системе гражданского командования, с помощью которого осуществлялся генеральный план». Массовое истребление людей, казни мирных жителей — всё это было результатом давнего планирования.

Гитлеровские головорезы нагло попирали все и всякие законы ведения войны и нормы международного права. Пользуясь достоверными источниками, Рассел воссоздаёт чудовищную картину массовых расправ с военнопленными, чинившихся фашистскими

палачами. В книге подчёркивается, что в данном случае имело место продуманное и систематическое убийство. «Было расследовано и подтверждено множество примеров жестокого обращения с русскими военнопленными. Некоторых пытали раскалённым железом, выкалывали глаза, вспарывали животы, отрезали ноги, руки, пальцы, уши и носы», — пишет Рассел. Автор полностью приводит приказ Гитлера от 18 октября 1942 года, который по существу разрешал и даже обязывал расстреливать захваченных в плен солдат и офицеров. Вопреки международному праву, пленных использовали в качестве смертников для расчистки минных полей и живого заслона.

Однако, подробно рассказывая о преступлениях фашистов, автор не ставит знака равенства между немецким народом и гитлеровцами. «Обстоятельства убийств, — подчёркивает он, — были самые разнообразные, но все они были тщательно организованы и исходили из высших сфер».

Идеологи германского фашизма, провозгласившие пресловутое «тысячелетнее господство нордической расы», цинично заявляли, что якобы только они, «арийцы», являются нацией господ, а всё остальное человечество частью должно быть уничтожено, частью стать их рабами. Рассел описывает, как осуществляли гитлеровцы эту варварскую «теорию» на практике.

Между 1941 и 1945 годами в Германию было угнано в качестве рабов свыше пяти миллионов иностранных рабочих, многие из которых нашли там смерть. Глава книги, названная «Рабский труд», повествует о том, что с ними произошло. Автор цитирует приказ Заукеля, повешенного впоследствии по приговору Нюрнбергского трибунала: «Всех рабочих следует кормить и предоставлять им жилища лишь в той мере и обращаться с ними таким образом, чтобы использовать их в максимально возможной степени при самых минимальных издержках». Приказ этот вряд ли нуждается в особых комментариях.

В 1942 году, говорится в книге, Заукель распорядился набрать на Украине два миллиона рабочих, дав при этом указание «безжалостно использовать все ресурсы». Автор приводит документ, характеризующий, как он указывает, реакцию на это требование рейхскомиссара Украины Коха: «Я извлеку всё возможное из этой страны... Мы, безусловно, пришли сюда не для того, чтобы

принести им (населению УССР.— М. С.) манну небесную. Мы раса господ и должны помнить, что даже самый плохой германский рабочий в биологическом отношении и с расовой точки зрения в тысячу раз лучше, чем местное население». А вот заявление рейхсфюрера Гиммлера, также приведённое в книге: «Умрут ли 10 тысяч русских женщин от истощения во время рытья противотанковых рвов, меня вовсе не интересует, если только ров будет закончен для Германии».

Заключительные главы книги посвящены описанию кошмарной обстановки гитлеровских лагерей смерти, а также нацистских зверств, связанных с осуществлением чудовищной программы «окончательного решения еврейского вопроса». Свыше пяти миллионов евреев, проживающих в СССР, Польше, Франции, Бельгии, Голландии и других странах Европы, были умерщвлены нацистами во время второй мировой войны.

Таково вкратце содержание книги Э. Рассела «Проклятие свастики». Как указывает автор, она написана с целью дать рядовому читателю правдивый и точный отчёт о многочисленных военных преступлениях гитлеровцев.

Что же так встревожило правящие круги Англии, почему они решили воспрепятствовать опубликованию этой книги? Может быть, автор нарушил условия, поставленные ему лордом-канцлером? Отнюдь нет. «Сведения, которые я использовал, — указывает Рассел, — были получены из опубликованных отчётов о процессах военных преступников, и каждому беспристрастному человеку, который прочтёт эту книгу, должно быть ясно, что в ней изложены только факты и исторические события».

Вот об этих-то документах английским властям вовсе не хотелось напоминать широкой общественности. Как сообщила газета «Дейли экспресс», это усилило бы возмущение народных масс планами правительства Великобритании, направленными к возрождению немецкого вермахта; кроме того, вызвало бы недовольство политических деятелей и военных руководителей Соединённых Штатов, которые стремятся без промедления перевооружить Германию.

Между тем спрос на книгу настолько возрос, что было объявлено о повторном её издании. Разыгрался самый настоящий политический скандал. Лейборист Гарольд Дэвис сделал в парламенте запрос о проведении

расследования обстоятельств отставки Рассела. В английской печати и по радио поднялись жаркие споры. Дискуссия вышла далеко за рамки обсуждения самого произведения — она затрагивала наиболее животрепещущий вопрос, который ныне волнует не только англичан, но и все народы Европы. В рецензии на «Проклятие свастики» член парламента Гринвуд отмечал: «Германский генеральный штаб возрождается. Нацистские генералы возглавляют секретную службу... Не следует ли нам предпринять ещё одну попытку и предложить отсрочить перевооружение Германии в обмен на реальные переговоры с Россией о будущем Германии, переговоры, направ-

ленные к тому, чтобы добиться воссоединения Германии без угрозы для безопасности России, Франции или нашей страны».

Книга «Проклятие свастики» получила широкий отклик далеко за пределами Англии. Она уже переведена на двенадцать языков и издана во многих европейских странах.

Документы, приведённые Расселом, напоминают народам всего мира о том, к чему может привести политика поощрения немецких реваншистов, политика возрождения гитлеровского вермахта. И в этом — главное значение книги «Проклятие свастики».

М. СТУРУА.

★

История жизни замечательного революционера

Было то без малого полвека назад, в дни первой русской революции. По Забайкалью рыскали карательные отряды царских палачей Ренненкампа и Меллер-Закомельского. Близ Иркутска каратели остановили поезд, шедший из Читы, обшарили вагоны, в одном из них нашли ящики с оружием. Сопровождавших этот груз схватили и крепко связали. А через несколько дней, 31 января 1906 года, без суда и следствия всех шестерых расстреляли на станции Мысовая.

Лишь спустя четыре года печальная весть об этой расправе дошла до В. И. Ленина. В некрологе «Иван Васильевич Бабушкин», помещённом в нелегальной большевистской «Рабочей газете», Ленин писал о погибшем вожаке тех шести, что пали под Иркутском, одним из первых своих учеников, выдающемся революционере-большевике: «Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано и с к л ю ч и т е л ь н о борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабушкин... С такими людьми русский народ завоеует себе полное освобождение от всякой эксплуатации»¹.

Недавно вышла в свет книга М. Новосёлова об Иване Васильевиче Бабушкине.

Шаг за шагом прослеживает автор героическую жизнь И. В. Бабушкина — больше-

вика, профессионального революционера, вся жизнь которого была неразрывно связана с ленинской партией.

Ещё в юношеские годы Бабушкин ощутил бесправие рабочего человека в царской России. В ту пору В. И. Ленин был уже в Петербурге. За Нарвской заставой он вёл марксистский кружок рабочих. Там и встретились они, учитель и ученик — Ленин и Бабушкин. Занятия в ленинском кружке, активное участие в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» обогатили, закалили молодого рабочего. После ареста В. И. Ленина он становится во главе пропагандистов рабочих кружков в районе Шлиссельбургского тракта, самостоятельно пишет агитационную листовку «Что такое социалист и политический преступник?». Глубокой верой в неиссякаемые силы рабочего класса, несокрушимую мощь его единства проникнуты заключительные слова этой листовки: «Силы наши велики, ничто не устоит перед нами, если мы будем идти рука об руку все вместе».

В главе «Первый русский рабкор» автор описывает напряжённый труд Бабушкина по организации корреспонденций в «Искру», доставку и распространение газеты среди подмосковных текстильщиков. «Пока Иван Васильевич остается на воле, — вспоминал В. И. Ленин, — «Искра» не терпит недостатка в чисто-рабочих корреспонденциях»¹.

М. Новосёлов. «Иван Васильевич Бабушкин, 1873—1906». Издательство «Молодая гвардия», М., 1954.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, том 16, стр. 334.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, том 16, стр. 332.

По заданию В. И. Ленина Бабушкин выступает с хорошо аргументированным, гневым опровержением статьи некоего Даднова, который на страницах народнического журнала «Русское богатство» упражнялся в клевете на рабочих. Яркая политическая статья Бабушкина «В защиту иваново-вознесенских рабочих» была помещена в особом приложении к девятому номеру «Искры» в октябре 1901 года.

Арест, тюрьма, смелый побег, поездка в Лондон к В. И. Ленину, разоблачение зубатовцев в Петербурге, снова арест, ссылка в Верхоянск — обо всех этих событиях жизни Бабушкина, полных героизма, самоотверженности, революционного энтузиазма, рассказывается в книге. Две последние главы посвящены роли Бабушкина в организации вооружённого восстания в Чите в 1905 году. М. Новосёлов привлёк интересный познавательный материал, использовал архивные источники. Жизнеописание И. В. Бабушкина — хорошее чтение для советской молодёжи.

Книга не свободна от недочётов. Не всегда цитируемые документы органично входят в текст. Мало сказано об одном из интереснейших этапов деятельности Бабушкина — его борьбе с зубатовщиной.

«Бабушкин, — отмечает автор, — затратил много труда и энергии для преодоления растлевающего влияния зубатовцев на некоторые слои столичных рабочих». Далее говорится, что он действовал через своих товарищей по кружкам, через членов районных комитетов. И всё. Но ведь помимо этого Бабушкин сам, своим личным примером, показывал, как надо на деле разоблачать и срывать подлые уловки полицейской организации. Именно это подчёркивал В. И. Ленин в статье «О задачах III

Интернационала», когда писал, что Бабушкин «ходил на зубатовские собрания, чтобы бороться с зубатовщиной и вылавливать рабочих из ее лап»¹. Досадно, что эта замечательная ленинская характеристика Бабушкина вообще не нашла места в книге М. Новосёлова.

Но дело не только в этом. Автору следовало бы обратить внимание читателя на огромное международное значение опыта русских коммунистов по борьбе с зубатовщиной. Цитируя известное место из работы В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», М. Новосёлов, к сожалению, не отметил важного указания Ленина в примечании, где говорится, что Гомперсы, Гендерсоны, Жуо, Легины — не что иное, как зубатовцы, отличающиеся от Зубатова европейским костюмом, лоском, цивилизованно, уточнённо, демократически прилизанными приёмами проведения их подлой политики. Это принципиальное ленинское замечание надо было бы объяснить и показать молодому читателю, как оно актуально сейчас, когда в капиталистических странах вовсю орудуют зубатовы. Борьба Бабушкина с «полицейским социализмом» приобрела бы тем самым для читателя не один лишь исторический интерес.

Можно было бы пополнить список источников, упоминаемых М. Новосёловым. Не использованы воспоминания жены Бабушкина — Прасковьи Никитичны. В библиографии не названы работы Г. Мишкевича, перу которого принадлежат биографический очерк и повесть о Бабушкине.

Кандидат исторических наук
Ю. ШАРАПОВ.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, том 29, стр. 465.

★

Родина воздухоплавания

Начало истории воздухоплавания положено в 1731 году полётом писца рязанской воеводской канцелярии Крякутного. Он построил воздушный шар и, по рассказам современника, наполнил его «дымом поганым и вонючим, от него зделал петлю сел в неё, и нечистая сила подняла его выше берёзы, и после ударила его о колокольню,

Н. Г. Стобровский. «Наша страна — родина воздухоплавания». Воениздат, М. 1954.

но он уцепился за верёвку чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву и хотели закопать живого в землю, или сжечь». Лишь полвека спустя во Франции появился аэростат братьев Монгольфье.

О развитии и достижениях отечественного аэростатного дела и дирижаблестроения рассказывается в книге Н. Г. Стобровского. Автор — сам опытный воздухоплаватель, сумел изложить сложный материал с до-

статочной популярностью, правильно и убедительно показав передовую роль, которую сыграли наши учёные, изобретатели и спортсмены в совершенствовании воздухоплавания. В книге приведены интересные исторические факты, сообщаются общие основы теории полёта аэростатов, дано детальное описание отдельных их групп, отличающихся по своим конструктивным особенностям и назначению.

М. В. Ломоносов первым поставил на научную основу изучение земной атмосферы. Ему же принадлежит идея подъёма на большую высоту метеорологических приборов, для чего он построил модель вертолёта. Эти работы, указывает Н. Стобровский, вызвали большой интерес русских изобретателей и учёных к проблемам аэростатики. В начале XIX века в России появились воздушные шары, которые наполнялись светильным газом, водородом.

Мысль о создании управляемого аэростата — дирижабля — не оставляла воздухоплателей. Первая попытка была предпринята в России во время войны с Наполеоном. В дальнейшем наши соотечественники немало потрудились над решением этой задачи. В 1849 году военный инженер И. И. Третесский разработал оригинальный проект реактивного аэростата, оболочка которого имела удлинённую форму и разделялась внутри на отсеки. Это значительно повышало надёжность воздухоплательного аппарата: в случае прорыва оболочки газ задерживался в других отсеках. Впоследствии изобретение Третесского было использовано во всех конструкциях аэростатов.

Огромное значение для развития воздухоплавания имели труды морского офицера Н. М. Соковнина. В 1866 году он представил замечательный по своей новизне и смелости проект жёсткого дирижабля с реактивным двигателем. Через тридцать лет эта идея была повторена немецким конструктором Цеппелином. Соковнин предложил использовать для полёта негорючий газ — аммиак — и первым сделал вывод о том, что «оболочка аэростата непременно должна быть металлическая». Эту мысль позднее глубоко развил К. Э. Циолковский.

Автор подробно освещает вопрос о том, где и как могут применяться свободные, привязные и управляемые аэростаты для нужд народного хозяйства, а также в условиях военного времени. Дирижабли могут

транспортировать грузы в труднодоступные районы, где невозможна посадка самолёта, вести разведку лесных массивов и на рыбных промыслах, использоваться для научно-исследовательской работы. В военном деле дирижабли и аэростаты применяются для противовоздушной обороны, патрулирования и борьбы с подводными лодками противника.

В ряде случаев аэростаты продолжают оставаться незаменимыми. По некоторым своим свойствам они превосходят аэропланы.

Воздушный шар в состоянии подняться на высоту, значительно превышающую потолок самолёта. Ещё в 1934 году советский стратостат «Осоавиахим-1» впервые в истории человечества достиг высоты в 22 тысячи метров. Увеличив объём оболочки примерно вчетверо по сравнению с «Осоавиахимом-1», американцы О. Андерсон и А. Стивенс смогли подняться на 22 066 метров. Выше этого пока ещё не взлетал ни один человек.

Дирижабль обладает большой грузоподъёмностью. Он может поднять до 60 тонн груза и, летя со скоростью около 120 километров в час, доставить его без посадки за 14 тысяч километров. Экипаж имеет возможность находиться в воздухе очень долго. Так, в 1937 году дирижабль «СССР-В6» установил мировой рекорд продолжительности полёта — свыше пяти суток (130 часов 27 минут).

Для взлёта и посадки дирижабля не требуется ровной, специально оборудованной площадки. Он садится и на поляну в лесу и на воду. Его скорость может быть уменьшена до самых малых пределов, вплоть до остановки в воздухе. На дирижабле безопасно лететь ночью, в тумане, а отказ двигателей в полёте не грозит аварией. В боевых условиях применение дирижабля даёт выгоду в том отношении, что он может бесшумно подойти к намеченной цели, выключив двигатели и дрейфуя, то есть перемещаясь вместе с воздушными массами.

Советский Союз прочно удерживает за собой ведущее место в области воздухоплавания. На 1 января 1955 года Международной авиационной федерацией (ФАИ) зарегистрировано 34 воздухоплательных рекорда. Из них 23 принадлежат СССР, 4 — Франции, 3 — Германии, 2 — Австрии, 1 — Польше и 1 — Соединённым Штатам Америки. Эти цифры достаточно красноречиво

говорят о значительных успехах, достигнутых советскими авиаторами.

Конечно, в век реактивной авиации и бурного развития ракетной техники значение аэростатов стало иным, чем прежде. Ещё первый изобретатель самолёта А. Ф. Можайский предвидел, что не воздушные шары, а аппараты тяжелее воздуха способны действительно покорить воздушную стихию. Тем не менее и воздухоплавание до сих пор не утратило своей роли.

Полезную книгу Н. Стобровского завершают приложенные к ней содержательный перечень знаменательных дат в развитии отечественного воздухоплавания и таблица официальных мировых рекордов, установленных на сферических аэростатах советскими воздухоплавателями. К сожалению, в этой таблице допущен ряд неточностей: пропущены четыре женских мировых рекорда, хотя они и учтены ФАИ, внесён один устаревший рекорд (А. Кондратьевой), а также спутаны даты некоторых полётов.

В главе о привязных аэростатах утвер-

ждается, что «Первая в России попытка применить аэростат на войне относится ещё к периоду Крымской кампании (1853—1856)». На самом деле такая попытка была предпринята значительно раньше, в 1812 году.

В целом рецензируемая книга заслуживает положительной оценки. Её с интересом прочтут не только специалисты, но и молодёжь, тяготеющая к авиационному спорту. И будет очень хорошо, если книга Н. Стобровского поможет росту числа авиаспорсменов.

Хочется пожелать, чтобы у нас больше появлялось литературы на такие темы. Возможно, что это «встряхнёт» наших воздухоплавателей, которые хотя и занимают первое место в мире, но в последнее время заметно ослабили свою активность. Ведь последний рекорд, который они вписали в таблицу ФАИ, имеет уже семилетнюю давность.

*Подполковник
П. КОРЗИНКИН.*

★

Проектировщики стальных магистралей

Проезжая в поезде, пассажир иной раз равнодушно прочтёт: разъезд Кузнецовский, станция Урсатьевская, разъезд Марков. И не знает он, что эти названия даны в честь изыскателей, впервые проложивших когда-то пешеходную тропу по направлению будущей магистрали.

Много самых разнообразных профессий предоставляет Советское государство на выбор юношам и девушкам, оканчивающим среднюю школу. Во всех отраслях народного хозяйства нужны их знания, вдохновенный творческий труд. И очень важно помочь молодому человеку заблаговременно и правильно определить свой жизненный путь, на котором наиболее полно могут проявиться его способности. Даже по одному этому заслуживает внимания книга М. Арлазорова «В поисках новых дорог», рассчитанная на учащихся старших классов средней школы.

Советский Союз — великая железнодорожная держава. Если вытянуть все наши стальные магистрали в одну линию, то она опояшет земной шар вокруг экватора четыре с лишним раза. По протяжению сети

М. С. Арлазоров. «В поисках новых дорог». Трансжелдориздат, М., 1954.

железных дорог СССР занимает первое место в Европе, а по их грузонапряжённости — первое место в мире. В настоящее время на долю железнодорожного транспорта падает свыше 80 процентов общего объёма перевозок в нашей стране.

Упоминая об этом в своей книге, М. Арлазоров тем самым как бы подчёркивает большое государственное значение, ответственность и сложность труда проектировщиков новых путей. Автор обстоятельно, в иных местах, пожалуй, даже чересчур детально, рассказывает о существе разносторонней изыскательской специальности, излагает основные вопросы, которые приходится решать на различных стадиях проектирования. Возможно, несколько упрощая, он всё же довольно образно сравнивает работу проектировщика и живописца: «Начиная рисунок, художник прежде всего набрасывает грубые контуры. Так поступают и инженеры. Дорога ещё не построена и не спроектирована, но облик её уже вырисовывается из таблиц и графиков, экономических расчётов. Экономисты наметили контуры, положили первые штрихи проекта — портрета будущей магистрали».

Действительно, экономические изыскания

являются у нас основой технического проектирования. На сопоставлениях с «принципами» строительства железных дорог в капиталистических странах автору удалось показать, что только в условиях социалистического планового хозяйства возможно научное решение всех вопросов, связанных с определением экономической эффективности и технической целесообразности того или другого проекта.

Дело в том, что бизнесмены буржуазных государств не видят в строительстве новых путей сообщения ничего иного, кроме возможности наживы. В бешеной конкурентной драке, пишет автор, рождаются решения, порой поражающие своей нелепостью. Так, например, в США между Нью-Йорком и Чикаго построено восемь крупных железнодорожных линий, постоянно конкурирующих друг с другом. «Вперегонки, «голова к голове» идут по параллельным путям паровозы соперничающих компаний. В одно и то же время доставляются грузы. Возможности дорог в результате нелепой конкуренции недоиспользуются».

Для правильной технической оценки и выбора наилучшего варианта строительства железной дороги от советских инженеров требуется всестороннее изучение, как правило, довольно обширной территории.

Из книги «В поисках новых дорог» читатель узнает и об истории возникновения и развития передовых способов изысканий. Наши соотечественники Ф. Павленков, Р. Савельев и другие являются основоположниками геодезической разведки с воздуха. Русский инженер Р. Тилле впервые в истории получил аэрофотометодами карту большого района. Он создал оригинальный аппарат, названный панорамографом, состоявший из нескольких фотокамер, затворы которых действовали одновременно, и в результате на снимках получалась широкая панорама местности.

Теперь аэрофотосъемка прочно вошла в практику проектирования железных дорог. На помощь изыскателям ныне приходят также радионивелирование, автоматические приборы, высотомеры. Однако, хотя на вооружении изыскательских партий имеется совершенная техника, им приходится встре-

чаться с множеством трудностей. Ведь эти люди первыми прорубают просеки в глухих лесных чащах, преодолевают реки и горные перевалы, пробираются через районы сплошных болот, оползней и лавин, побеждают вечную мерзлоту и движущиеся пески пустынь. Физическая выносливость, крепкие нервы, умение находить выход из любого сложного положения—необходимые качества изыскателя. Жаль, что об этом в книге М. Арлазорова сказано весьма скупо, а ведь неприкрашенное описание условий работы по той или иной специальности как раз и представляет наибольший интерес для молодёжи.

Достоинством книги является то, что она даёт достаточно полное представление о многообразии различных областей знания, которыми надо владеть, чтобы научиться умело проектировать железные дороги. При изучении материалов приходится пользоваться данными метеорологов и гидрологов, геологов и сейсмологов. Проектируя дорогу, необходимо хорошо представлять себе её будущую эксплуатацию и процесс строительства. Поэтому правильно поступил автор, посвятив заключительные главы книги краткому описанию «дороги в действии», работе её станций, перегонов, депо, технике строительства.

Книгу М. Арлазорова надо признать удачной и полезной. Но следовало бы указать на необходимость уточнения некоторых положений, высказанных автором. В книге, например, говорится: «долгота определяется при помощи астрономических наблюдений и сопоставления местного времени с сигналами точного времени, передаваемыми по радио». Из этой туманной фразы трудно понять, как в действительности осуществляется определение долготы, какими инструментами, в чём сущность процесса. Книга намного выиграла бы, если бы М. Арлазоров привёл больше фактического материала из практики изыскательских работ.

Хочется надеяться, что книга «В поисках новых дорог» не будет единственной в своём роде.

Кандидат технических наук
А. КОНДРАТЧЕНКО.

Новые книги об изобретателе самолёта

Сто тридцатая годовщина со дня рождения А. Ф. Можайского, торжественно отмеченная в марте 1955 года, была ознаменована изданием новых трудов о нём.

Подробные документы о жизни и деятельности этого замечательного русского учёного и изобретателя удалось обнаружить в государственных архивах лишь в советское время.

Читатели получили интересный сборник документов, подготовленный Институтом истории естествознания и техники Академии наук СССР и Главным архивным управлением, а также новое, исправленное и дополненное издание книги Н. Черемных и И. Шипилова «А. Ф. Можайский — создатель первого в мире самолёта».

«Я хотел быть полезным своему Отечеству» — эти слова Александра Фёдоровича Можайского стали девизом всей его жизни. Неутомимый труженик, талантливый конструктор, он до последнего дня боролся с косностью и тупоумием официальных чинов, вставших на пути его замечательного изобретения. «Полный послужной список 8 флотского экипажа капитана 1-го ранга Александра Можайского 1-го», опубликованный в приложениях к «Сборнику документов», скупно, лаконически рассказывает о жизни, полной подвигов и приключений. Можайский плавал на Белом и Балтийском морях, побывал в Рио-де-Жанейро, огибал мыс Горн, наблюдал разрушительное землетрясение у японского городка Симода, терпел кораблекрушение, совершил трудное, но увлекательное путешествие в далёкую Хиву.

Интересы Можайского не укладывались в строго определённые рамки, он был многогранен. Недавно в Центральной военно-морской библиотеке в Ленинграде был найден альбом с двадцатью шестью рисунками, сделанными Можайским во время плавания к берегам Японии на фрегате «Диана». Это рисунки большого мастера. Нашим искусствоведам следовало бы заинтересоваться ими.

«Александр Фёдорович Можайский — создатель первого самолёта. Сборник документов». Издательство Академии наук СССР, М. 1955.
Н. Черемных, И. Шипилова. «А. Ф. Можайский — создатель первого в мире самолёта». Воениздат, М. 1955.

Приведённые в «Сборнике», а также в книге Н. Черемных и И. Шипилова материалы говорят о том, что в начале восьмидесятых годов прошлого столетия Можайский воплотил свой проект «воздухоплательного снаряда» в реально осязаемые формы — построил самолёт и испытал его на практике. Это произошло за двадцать лет до первого полёта братьев Райт. Впоследствии Можайский приступил к проектированию нового, более совершенного летательного аппарата, однако увидеть его в действии изобретателю не пришлось — в 1890 году он умер. Дело Можайского продолжили и развили многие учёные в нашей стране и за её пределами.

«Сборник документов», выпущенный издательством Академии наук СССР, является сводом всех выявленных до настоящего времени материалов о Можайском, за некоторым исключением публикуемых впервые. Всего учтено около 400 документов; жаль лишь, что многие из них только названы, но не приведены. Весьма беден раздел «Материалы к биографии А. Ф. Можайского», который к тому же почему-то вынесен в конец книги. На наш взгляд, следовало бы поместить в «Сборнике» статьи Можайского, напечатанные в своё время в журналах «Морской сборник» и «Русский художественный листок». Однако и в настоящем виде книга весьма полезна; она даёт подробное представление о разработке проекта первого самолёта, его постройке и испытаниях.

Новое издание книги Н. Черемных и И. Шипилова о Можайском (первая брошюра вышла в свет пять лет назад) задумано как популярный и в то же время научно-документированный очерк жизни и деятельности изобретателя, рассчитанный на массового читателя. По сравнению с первым изданием работа расширена примерно вдвое. В ней устранены ранее допущенные авторами неточности, произвольные, не подкреплённые документами выводы. Книга иллюстрирована чертежами, снимками с документов, фотографиями. Особенную ценность представляют репродукции рисунков Можайского, с некоторыми из которых читатель знакомится впервые.

Книга «А. Ф. Можайский — создатель первого в мире самолёта» в целом заслуживает положительной оценки. Однако вызывают

возражения некоторые высказанные в ней утверждения. Это прежде всего касается даты полёта. Большинство советских исследователей считает, что полёт был совершён весной—летом 1883 года. Об этом, в частности, свидетельствуют факты, сообщённые в «Сборнике документов». Тем не менее авторы рецензируемой книги попрежнему утверждают, что первые испытания самолёта в воздухе состоялись 20 июля 1882 года. Мнение своё они подкрепляют лишь ссылкой на то, что в этот день в Петербурге была хорошая погода.

Авторы, как это явствует из предисловия редактора книги Е. С. Андреева, были знакомы со «Сборником документов» Института истории естествознания и техники ещё в процессе его подготовки к печати. В связи с этим непонятны отдельные расхождения в ряде сведений. В «Сборнике» приво-

дится одна дата смерти Можайского, а в книге Н. Черемных и И. Шипилова — другая. Различны и размерные данные двигателя, установленного на самолёте.

На нескольких страницах Н. Черемных и И. Шипилов разбирают ранее изданные труды, посвящённые Можайскому. И смысл и тон этих страниц по меньшей мере удивляют читателя. Работы других авторов в большинстве случаев оспариваются. Это относится, в частности, к исследованиям академика Б. Н. Юрьева и В. А. Попова, которые будто бы «изображают Можайского как одиночку», «запутывают вопрос о размерах несущей поверхности самолёта», «пытаются возродить неправильные взгляды» и т. д. и т. п. Нам эти упрёки представляются совершенно незаслуженными.

Е. НЕМИРОВСКИЙ.



РЕПЛИКИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ТЕАТР

В своей заключительной речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей Алексей Максимович Горький сказал: «Затем мы должны просить Правительство обсудить вопрос о необходимости организации в Москве «Всесоюзного театра», в котором артисты всех народностей Союза Советских Социалистических Республик получили бы возможность ознакомить нас, русских, с их драматическим искусством и посредством его — с прошлым и настоящим их культурной жизни. Основной, постоянной труппой этого театра должна быть русская, которая разыгрывала бы пьесы Азербайджана, армян, белорусов, грузин, татар и всех других народностей Средней Азии, Кавказа, Сибири, — на русском языке, в образцовых переводах».

Предложение Горького надо развить и продумать. Оно в наши дни не только не утратило своего значения, но, наоборот, подтверждается всей жизнью советского многонационального искусства.

Когда академик А. В. Шусев вернулся из Ташкента, где он присутствовал на открытии театра имени Алишера Навои, выстроенного по его проекту, он долго и с увлечением рассказывал мне, как очаровали его узбекские танцы, как общение

с искусством солнечного Узбекистана вдохновило его на новые творческие дерзания.

Я сам испытал большую творческую радость, ознаменовавшуюся комившись с чудесным музыкальным, песенным и танцевальным богатством Карело-Финской ССР.

Передо мной возникают гармонические контуры ещё неосуществлённого «Всесоюзного театра», задуманного Горьким.

Да! Такой театр должен быть создан в Москве, может быть, на Ленинских горах или в районе Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вблизи Главного ботанического сада.

Декады искусств советских союзных и автономных республик вошли в традицию. Они — всегда большой праздник не только для участников, но и для зрителей.

Пусть же радушная Москва встречает своих дорогих гостей в новом, светлом, прекрасно оборудованном театральном здании, с большой и малой сценой, с просторными фойе — залами для выставок национального искусства.

Такой театр даст возможность чаще видеть в Москве прекрасные постановки украинского театра имени Ивана Франко, грузинского театра имени Шота Руставели и многих других. Не только во время летних гастролей, но и в разгар театрального сезона мы сможем увидеть на сцене Всесоюзного театра самые значительные спектакли лучших театров страны. Здесь же, думается мне, будет особенно умест-

но проводить встречи с посланцами искусств республик народных демократий и дружественных нам стран.

Могут возразить, что в репертуар столичных театров уже прочно вошли лучшие пьесы национальной советской драматургии и без специального театра на московской сцене выступают лучшие актёры советских республик. Это хорошо. Но дальнейший расцвет и подъём культуры гребуют от нас постоянно углублять и развивать достигнутое. Жизнь советского искусства должна быть ключом. Ведь недалеко Москву называют «театральной Меккой».

В чувстве единой семьи советских народов, связанных узами братства, — могучая сила социалистического искусства.

Я верю, что в Москве в ближайшие годы будет создан театр народов СССР — лучшая сцена мира.

Сергей КОНЕНКОВ.

★

ЗА ВОСПИТАНИЕ ХОРОШЕГО ВКУСА

Пожалуй, всеобщим стало недовольство теми псевдохудожественными произведениями, которые призваны украшать наш быт.

Цена того или иного «произведения искусства», как правило, не служит критерием его качества. Почти в равной степени нам неприятно созерцать небесно-голубую, в золотых яблоках, с коричневыми усами кошку (почти что в натуральную величину!) на дощатом рыночном прилавке и какую-нибудь вы-

ставленную в витрине магазина солидную вазу отличного фарфора, пышно расписанную пунцовыми розанами или запечатлевшую на себе небольшую, с фотографической точностью воспроизведённую сценку сугубо производственного характера. Не в большом восторге мы и от матерчатых красавиц в кринолинах всех цветов радуги — от пурпурного до нежносиреневого... Но эти «красавицы» имеют хотя бы целевое назначение, являясь в общем не плохой грелкой для чайника. Гораздо хуже, когда в качестве изящной вещи такого рода «произведение» празднично украшает комнату.

Не будем перечислять всё то аляповатое, слашавое, замысловатое, якобы богатое, а на самом деле убогое и примитивное, что, по мнению некоторых наивных людей, вносит красоту в их жизнь. Увы, со вторжением подобных экспонатов в жилище приходит не красота, а та «изящная» жизнь, над которой так сердито усмехался Маяковский.

Справедливость требует признать, что в последние годы положение несколько выпрямляется. Появляются иногда простые и строгие, отмеченные печатью подлинного вкуса изделия. Но как их мало!

И, вместе с тем, какие большие у нас возможности! Свидетельством этому может служить хотя бы выставка декоративных искусств, не так давно открывшаяся в Москве. Здесь и удивительные произведения народного творчества — резьба по дереву и кости, керамика, майолика, фарфор, — и оригинальнейшая

«графическая скульптура» И. Ефремова, и многое другое. Ходишь по выставке от витрины к витрине и думаешь: как хорошо было бы добиться массового производства целого ряда этих, подлинно прекрасных произведений!

Ещё одна мысль невольно приходит в голову: почему бы не вспомнить и не вернуть к жизни те истинно художественные произведения, что по праву считаются нетленными сокровищами культуры всего человечества? Отбор их произведён веками и поколениями. Ведь ещё сравнительно недавно можно было приобрести — конечно, в уменьшенном размере — скульптурные копии танагрских статуэток, отличные образцы ваяний древнего Египта, бессмертный торс Венеры Милосской, знаменитый гудоновский бюст Вольтера с его характерной, запечатлённой в бронзе иронической улыбкой, нашу гордость — скульптуры Шубина, Марка Антокольского, такую дорогую для всех нас посмертную маску Пушкина.

Помню, как светло стало в одной из подмосковных изб-читален, заведующий которой из очередной поездки в Москву привёз несколько бесценных — а в денежном выражении весьма дешёвых — репродукций произведений мирового искусства. Помню белоголового мальчугана-подростка — постоянного посетителя изб-читальни, — подолгу, внимательно, серьёзно, почти строго рассматривавшего всемирно известную статую Аполлона. Да что мальчик!.. Многие колхозные посетители читальни восхи-

щались репродукцией замечательной работы М. Антокольского «Иван Грозный»...

Эти и подобные им гениальные произведения искусства могли бы во множестве экземпляров распространяться по всей стране, будя мысль, воспитывая, совершенствуя вкус людей. По непонятным причинам выпуск таких репродукций прекращён. Зато с завидным постоянством сияют с прилавков восковыми улыбками кринолиновые красавицы. Мы не против этих художественно оформленных грелок. Пусть существуют!

Но пусть не будут преданы забвению прекрасные создания великих мастеров скульптуры и живописи! Мы хотим, чтобы те, в чьём ведении находятся вопросы воспитания художественного вкуса нашего народа, сделали всё возможное для того, чтобы вернуть в нашу жизнь, пусть самую скромную, комнату образцы истинного искусства.

Валерия ГЕРАСИМОВА.

★

СМЕНА ТРАДИЦИЙ

Общепринятое мнение о том, что оперный театр, а Большой в частности и особенно, не может осуществлять выездные спектакли, считалось непререкаемым до самого последнего времени.

Но вот 4 и 5 июня было доказано противоположное, и доказано не на творческой дискуссии, обсуждавшей теоретические положения принципов работы оперных театров на современном этапе, а самой жизнью, практи-

кой: в помещении Дворца культуры Загорска Большой театр дал два представления оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». Выездной спектакль не нуждался ни в каких скидках на необычность условий: он шёл не хуже, чем в Москве, на нашей прославленной сцене, — в тех же декорациях, которые, кстати сказать, только выиграли здесь, став как бы более компактными, легче обозримыми, в тех же костюмах, с теми же исполнителями основных партий, среди которых были артисты и старшего и более молодого поколений Большого театра.

В новом зале (Загорский дворец культуры построен в конце прошлого года, а ведь таких новых клубов и дворцов сейчас много и не только в Подмоскowie), вмещающем 900 человек, оказалась хорошая акустика — по свидетельству публики, каждый звук отлично долетал даже до самых дальних и неудобных мест, прекрасно звучал хор и оркестр.

Таким образом, все мы убедились, что «традиция неподвижности» академических театров оперы и балета может и должна быть сменена новой традицией: систематической организацией выездных спектаклей в небольшие города, в сельские местности для приближения оперного искусства к самым широким массам зрителей и слушателей.

Надо ли говорить о том, как это важно сейчас, в дни, когда весь наш народ стремится возможно быстрее, полнее и лучше выполнить исторические решения партии о резком подъёме сельского хозяйства? Надо ли объяснять, как многое могут

сделать люди искусства, отдавая своё творчество тем, кто растит для нас «хлеб наш насущный»? Радость, которую получают люди в театре, слушая дивную музыку, они хранят в своей душе не день и не два. Долгое время воспоминания о музыке, о том, что столичные артисты приехали к ним со своим настоящим, полноценным спектаклем, помогают им трудиться, бодрят их и настраивают на такой лад, который веселит сердце, зовёт к новым, большим делам и свершениям. А ведь уж давно было сказано, что, когда весело живётся, работа спорится. Может ли быть у артиста, большее удовлетворение, чем то, которое даёт сознание: моя работа нужна людям, она делает их жизнь полнее и лучше, а их работу спорой и продуктивной?!

И если бы сейчас нашлись скептики, которые бы усомнились в том, что всё сказанное — сама жизнь, я бы искренне пожалела, что они не были с нами в Загорске, не слышали аплодисментов этой необыкновенной аудитории, не видели сияющих глаз людей, пришедших к нам за кулисы после представления оперы Россини.

Наше искусство подвижно и должно быть доступно всем! И все наши академические оперные театры должны сделать выездные спектакли традиционными, ибо они нужны народу и полезны самим артистам, особенно артистической молодёжи.

*Заслуженная артистка
РСФСР*

Вера ФИРЦОВА.

★

ДРАГОЦЕННЫЕ ЧЕРТЫ

В нынешнем году наши журналы начали публиковать воспоминания о мастерах советской литературы, ушедших из жизни. Читателей порадовали достоверные и проникновенные строки, запечатлевшие драгоценные черты А. М. Горького, В. В. Маяковского, А. Н. Толстого, Л. Н. Сейфулиной, М. М. Пришвина. Однако к этой радости примешивалось чувство удивления и досады: трудно понять, почему подобные воспоминания появляются так редко, почему они так немногочисленны и коротки.

Речь идёт о продолжении замечательной традиции русской литературы, традиции, получившей воплощение не только в книгах Авдотьи Панаевой, П. В. Анненкова, Ив. Ив. Панаева, Н. А. Тучковой-Огарёвой и многих других.

Интерес подобных работ, разумеется, далеко выходит за рамки истории литературы. Они дают картину общественной жизни, раскрывают благородство и высокие нравственные достоинства борцов за передовые идеи.

С каким волнением были бы прочитаны рассказы товарищей, знавших комиссара Чапаевской дивизии Дм. Фурманова, бывалого моряка А. С. Новикова-Грибоя, чудесного воспитателя юношества А. С. Макаренко! Животворная идея коммунистической партийности искусства наглядно воплощена в жизни и деятельности В. В. Вишневского, Б. Л. Горбатова, П. А. Павленко. Надо рас-

сказать о С. Диковском, Ю. Крымове, Б. Лапине, Б. Левине, Е. П. Петрове, В. Ставском, З. Хацревшине и других писателях, доблестно погибших в бою.

В номере четвёртом журнала «Новый мир» Сергей Голубов писал о необходимости издания ценных мемуаров, существующих пока лишь в рукописном виде. Воспоминания, о которых мы говорим здесь, по большей части ещё и вовсе не закреплены на бумаге. Они живут пока лишь в памяти свидетелей, имевших счастье работать рука об руку с А. М. Горьким и В. В. Маяковским — великими художниками, которые для молодых поколений уже стали легендой и историей. А они должны быть собраны в объёмистых книгах, обстоятельно и достоверно рассказывающих об упорном и вдохновенном трудовом подвиге советских литераторов.

Задача эта не проста, но увлекательна и благодарна. Для решения её не надо создавать новой, особой организации — она уже существует и обладает необходимыми возможностями для того, чтобы дать ход важному и нужному делу. Это — издательство «Советский писатель»!

И. ГРИНБЕРГ.

★

РЕПЛИКИ УСЛЫШАНЫ

В № 3 нашего журнала была опубликована реплика Евг. Долматовского «Устаревшее издание», в которой говорилось о необходимости нового, в корне перерабо-

танного издания «Литературной энциклопедии».

Реплика эта услышана. Главный редактор Государственного издательства художественной литературы товарищ Пузиков сообщил нам, что многие члены редсовета горячо поддержали предложение Евг. Долматовского. Принято решение включить в проект перспективного плана издательства ряд справочных изданий по литературе, в том числе и «Литературную энциклопедию».

★

РЕПЛИКА НА РЕПЛИКУ

В «Литературной газете» (№ 77 от 30 июня 1955 года) появилась весьма категорическая заметка «Гомеопатическими дозами...»

Авторы этой заметки, критикуя журналы «Знамя» и «Новый мир», ратуют за то, чтобы всякий журнал, располагающий несколькими крупными произведениями, непременно выстраивал их в затылок — сначала кончал печатать одно и только потом начинал печатать другое, при этом обязательно крупными кусками, и, упаси боже, не публиковал бы два-три крупных произведения одновременно.

Авторы заметки настолько уверены в своей непогрешимости, что заранее заявляют, что «тут всё ясно» и что их точка зрения даже не дискуссионна.

Между тем достаточно обратиться к таким образцам русской журналистики, как «Современник» или «Отечественные записки», чтобы увидеть, насколько расхотелась практика этих

изданий с рецептами, предложенными в заметке «Литературной газеты».

Можно перелистать и комплекты «Нового мира», «Красной нови», «Октября» и других советских журналов за три десятилетия их работы. Мы увидим, что в большинстве случаев многолетняя практика этих журналов опровергает тот обязательный распорядок печатания крупных произведений, который авторы заметки в «Литературной газете» хотят навязать всем журналам подряд. Есть, правда, в журналистике и другие примеры. Журнал «Знамя», скажем, до войны практиковал печатание почти в каждом номере одной, но законченной вещи. Лучше это или хуже — вопрос дискуссионный, но именно дискуссионный, требующий в интересах дела серьёзного обсуждения, а не легкомысленных окриков, основанных на нехитром желании всех остричь под одну гребёнку.

Что касается существа дела, то несомненно одно — журнал, на 98 процентов распространяемый по подписке, должен в течение года давать подписчику разнообразный и интересный материал для чтения, безусловно заканчивая при этом на своих страницах всё то, что было начато печатанием в текущем году.

Порядок же расположения материала в каждом из номеров журнала, пожалуй, целесообразно оставить в ведении тех, кто делает тот или иной журнал, не взваливая этого труда на плечи редакции «Литературной газеты».

К. СИМОНОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Третий съезд РСДРП. 468 стр. Цена 7 р.

Н. А. Булганин. Заявление на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе 11 мая 1955 года. 24 стр. Цена 25 к.

Н. С. Бирюков. Возрождение германского милитаризма — угроза безопасности Франции. 168 стр. Цена 2 р.

М. Ким. Коммунистическая партия — организатор культурной революции в СССР. 340 стр. Цена 5 р.

И. Кривогуз, Р. Мнухина. Международное значение революции 1905—1907 годов. 72 стр. Цена 85 к.

В. А. Матвеев. Провал мюнхенской политики (1938—1939 гг.). 264 стр. Цена 4 р. 20 к.

Д. Мельников. Германский вопрос и европейская безопасность. 84 стр. Цена 1 р.

Н. Молчанов. Парижские соглашения — угроза миру. 160 стр. Цена 1 р. 85 к.

С. Пилипчук. Народная Чехословакия. 120 стр. Цена 1 р.

В. К. Попов. Провал агрессии США в Китае после второй мировой войны. 248 стр. Цена 3 р. 90 к.

А. Сгибнев. В новой Германии. 96 стр. Цена 80 к.

А. Ф. Яковлев. Экономические кризисы в России. 404 стр. Цена 6 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Алигер. Лирика. 396 стр. Цена 8 р. 30 к.

Л. Елисеев. Двойной удар. Роман. 446 стр. Цена 7 р. 40 к.

Г. Лезгинцев. В таёжной стороне. 468 стр. Цена 7 р. 85 к.

И. Нехода. Книга лирики. Авторизованный перевод с украинского. 152 стр. Цена 2 р. 45 к.

П. Павленко. Писатель и жизнь. 368 стр. Цена 7 р. 55 к.

А. Прокофьев. Заречье. Стихи. 168 стр. Цена 2 р. 45 к.

А. Хинт. Берег ветров. Перевод с эстонского. 217 стр. Цена 7 р. 50 к.

Ч. Цыдендамбаев. Доржи, сын Банзара. Перевод с монгольского. 448 стр. Цена 7 р. 60 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ванда Василевская. Собрание сочинений в шести томах. Перевод с польского. Том 6. Бартош-Гловацкий. — Повести о детях — Рассказы. — Воспоминания. 512 стр. Цена 9 р. 50 к.

В. Гроссман. Степан Кольчугин. Роман. Книга 1. 360 стр. Цена 7 р. 80 к. Книга 2. 464 стр. Цена 9 р. 40 к.

Виктор Гюго. Собрание сочинений в 15 томах. Перевод с французского. Том 9. Труженики моря. 480 стр. Цена 12 р.

Е. А. Долматовский. Избранное. 480 стр. Цена 10 р. 25 к.

Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Роман. 552 стр. Цена 9 р.

Индийские сказки. Перевод с языка урду. 216 стр. Цена 2 р. 75 к.

Вилис Лацис. Собрание сочинений в шести томах. Перевод с латышского. Том 6. К новому берегу. Роман. 672 стр. Цена 11 р. 50 к.

Мао Дунь. Избранное. Перевод с китайского. 696 стр. Цена 12 р. 65 к.

В. Овечкин. Избранное. 564 стр. Цена 10 р. 35 к.

Рабиндранат Тагор. Рассказы. Перевод с бенгальского. 160 стр. Цена 2 р.

Н. С. Тихонов. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Стихотворения. Поэмы. 560 стр. Цена 10 р. 10 к. Том 2. Рассказы. 544 стр. Цена 9 р. 50 к.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Том 1. 519 стр. Цена 11 р. 90 к. Том 2. 504 стр. Цена 11 р. 80 к.

А. П. Чехов. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том 3. Повести и рассказы. 1884—1885. 616 стр. Цена 12 р.

В. Ян. К «последнему морю» (Путь Баття). Историческая повесть. 320 стр. Цена 6 р. 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Валерий Вагранов. Друзья приносят победу. 152 стр. Цена 2 р. 25 к.

М. Колесников. Повести о дружбе. 480 стр. Цена 7 р. 30 к.

Фёдор Колунцев. Дороги зовут. Рассказы. 208 стр. Цена 4 р. 55 к.

Владимир Луговской. Песня о ветре. Стихи. 176 стр. Цена 4 р. 95 к.

Дмитро Павлычко. Стихи. Перевод с украинского. 80 стр. Цена 2 р.

ДЕТГИЗ

Э. Амичис. От Аппенин до Анд. Рассказы. Перевод с итальянского. 64 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Венгров, М. Эфрос. Дмитрий Фурманов. 224 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Гайдар. Собрание сочинений в четырёх томах. Том 1. 352 стр. Цена 8 р.

Г. Гардони. Звёзды Эгера. Исторический роман. Перевод с венгерского. 560 стр. Цена 12 р. 40 к.

С. Маршак. Биль-небылица. Разговор в парадном подъезде. 32 стр. Цена 2 р. 60 к.

На берегах Ак-Идели. Стихи и рассказы башкирских писателей. 352 стр. Цена 7 р. 80 к.

Поэзия западных и южных славян. 504 стр. Цена 6 р. 90 к.

Л. Родин. Путешествие в тропики. 224 стр. Цена 4 р. 55 к.

П. Цвирка. Сахарные барашки. Перевод с литовского. 208 стр. Цена 3 р. 60 к.

К. Циолковский. На Луне. Фантастическая повесть. 64 стр. Цена 1 р. 10 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы культуры речи. Выпуск 1. 239 стр. Цена 7 р. 20 к.

Ю. Г. Гейвиш. Поль Ланжевен — учёный, борец за мир и демократию. 125 стр. Цена 3 р. 70 к.

Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Часть 2. 444 стр. Цена 22 р. 80 к.

История английской литературы. Том II, Выпуск второй. 441 стр. Цена 12 р. 40 к.

Б. Кедров, Т. Ченцова. Браунер — сподвижник Менделеева. 125 стр. Цена 5 р. 75 к.

В. С. Рожицын. Джордано Бруно и инквизиция. 383 стр. Цена 15 р.

Б. А. Рубин, Л. В. Метлицкий. Основы хранения овощей и плодов. 107 стр. Цена 1 р. 60 к.

Танские новеллы. 228 стр. Цена 8 р. 35 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

За нашу Советскую Родину! Книга для чтения. 867 стр. Цена 17 р. 20 к.

И. А. Марголин, Н. П. Румянцев. Основы инфракрасной техники. 263 стр. Цена 8 р. 95 к.

И. Пономарёв. Герои «Потёмкина». 174 стр. Цена 3 р. 50 к.

Средства и способы защиты от атомного оружия. 125 стр. Цена 1 р. 35 к.

ГЕОГРАФИЗ

Л. Б. Беме. Рассказы натуралиста. 119 стр. Цена 1 р. 85 к.

Г. Д. Богемский. По городам Италии. 240 стр. Цена 3 р. 70 к.

А. В. Волков. Испания. 375 стр. Цена 11 р. 50 к.

М. П. Забродская. Русские путешественники по Африке. 87 стр. Цена 1 р. 35 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Английские монополии. Перевод с английского. 261 стр. Цена 10 р. 15 к.

Д. Барта. Декабрьская всеобщая стачка в 1920 г. в Чехословакии. Перевод с чешского. 195 стр. Цена 6 р. 5 к.

Стефан Гейм. Голдборо. Роман. Перевод с английского. 504 стр. Цена 15 р. 50 к.

Джеральд Гордон. Да сгинет день. Роман. Перевод с английского. 262 стр. Цена 9 р.

Джавахарлал Неру. Открытие Индии. Перевод с английского. 650 стр. Цена 20 р.

«ИСКУССТВО»

Ю. Золотов. Жан-Батист Симеон Шарден. 32 стр. Цена 1 р. 25 к.

Классическая драматургия стран народной демократии. Том I. 584 стр. Цена 18 р. 20 к. Том II. 698 стр. Цена 22 р.

Главный редактор К. М. Симонов

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), С. Н. Голубов,
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), Б. А. Лавренёв,
М. К. Луконин, С. Б. Сутоцкий, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 27/VI-55 г.

А 03441 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л.

Подписано к печати 27/VI-55 г.

Тираж 140.000. Заказ № 1196.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 7 руб.